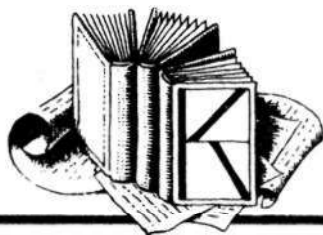




ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Ю.И.КАГАРЛИЦКИЙ
ВГЛЯДЫВАЯСЬ
В ГРЯДУЩЕЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

**Ю. И. КАГАРЛИЦКИЙ
ВГЛЯДЫВАЯСЬ
В ГРЯДУЩЕЕ**

КНИГА О ГЕРБЕРТЕ УЭЛЛСЕ

МОСКВА «КНИГА» 1989

ББК 84Р7-4
К 12

Общественная редколлегия серии:
*Д. А. Гранин, А. М. Зверев, Ю. В. Манн,
Э. В. Переслгина, Г. Е. Померанцева, А. М. Турков*

Рецензент — профессор *Чернышева Т. А.*


Предисловие профессора *П. Париндера*,
председателя Уэллсовского общества

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Яцука

Художник *А. Бегак*

К $\frac{4702010201-005}{002(01)-89}$ 24-89

ISBN 5-212-00114-5

 Издательство «Книга», 1989

Так ли просто объяснить, почему мы сегодня продолжаем восхищаться Уэллсом? Его книги принадлежат своему времени — как, впрочем, и романы Диккенса, Тrolлопа или Джейн Остен. Чем больше мы узнаем о жизни самого Уэллса (а многие ее обстоятельства, ранее знакомые нам лишь по слухам, теперь становятся общеизвестными), тем более он открывается нам не только как наблюдатель с острым взглядом, но и как активный участник общественных событий. Однако события эти тоже происходили восемьдесят—девяносто лет назад. И тем не менее Уэллс — художник и мыслитель — разговаривает с нами сегодняшними. Его вклад в развитие научной фантастики, гуманизм и сила предвидения, заключенные в его лучших книгах, убедительнейшим образом свидетельствуют о его значении как художника. Основоположник современного космологического направления в литературе, автор «Машины времени» и «Войны миров», создатель перевернутого гротескно-раблезианского мира «Истории мистера Полли» не нуждается в лишних похвалах. Но вправе ли мы забывать о том, сколько в уэллсовской фантастике тонких реалистических наблюдений, и о том, что в каждой его книге можно обнаружить воплощение какой-либо стороны социальной жизни викторианской и эдвардианской Англии. Тот же исторический и социологический смысл лежит в основе постоянных попыток Уэллса сформулировать свое понимание человеческого предназначения. Лишь немногие из нас способны сегодня увидеть, что в книгах Уэллса уже содержится зародыш современных идей, но это так, и проблемы, на которые он указал, по-прежнему важны для человечества.

В книге «Интерпретация радия» (1908) физик-атомщик Фредерик Содди писал о «возможностях совершенно новой цивилизации», возникающей с открытием ядерной энергии. «Сегодня мы находимся в том же положении, что и первобытный человек, открывший энергию огня». Уэллс на заре XX века думал точно так же. Книга Содди очень ему помогла. Но и Содди, как нетрудно догадаться, был горячим почитателем Уэллса. В словах Содди об огромном разрушительном потенциале атомного ядра можно уловить тревожную нотку. Писателя Уэллса эта опасность беспокоила еще больше, чем ученого Содди. Роман-предупреждение «Освобожденный мир» посвящен «Интерпретации радия», и это один из немногих случаев, когда книга посвящается не какому-то лицу, а другой книге. Будущее, изображенное в этом романе, — Европа 50-х годов XX века, опустошенная ядерной войной. Уэллс был писателем с научной выучкой. Это позволило ему, преодолев необоснованный оптимизм большинства тогдашних ученых, изобразить наш нынешний мир, где возможности технологической и социальной революции сочетаются с опасностью саморазрушения человечества.

Надо признаться, что, хотя я занимаюсь Уэллсом уже около двадцати лет, я лишь недавно прочел «Интерпретацию радия». Некоторое время спустя я вновь открыл очень дорогой мне экземпляр английского издания книги Юлиа Кагарлицкого «Герберт Уэллс. Человек и мыслитель» (Лондон, 1966) и в первой же главе обнаружил цитату из Содди. Так через много лет я подошел к той отправной точке, откуда Кагарлицкий в известном смысле начал, — и это отражает исключительное положение, какое он занимает среди исследователей и почитателей Уэллса во всем мире.

При чтении ранней книги Кагарлицкого неизбежно напрашивается вывод, что произведения Уэллса имели и, без сомнения, продолжают иметь особое значение для русского читателя. Вскоре после выхода в свет «Герберта Уэллса» я обнаружил в славянской библиотеке Кембриджского университета целую полку русских переводов Уэллса, начиная с первых его фантастических произведений. Некоторые из них были изданы по-русски в тот же год, что и по-английски. Здесь же стояла небольшая книжечка Евгения Замятина, опубликованная в 1922 году, — одно из самых блестящих и восторженных исследований, когда-либо посвященных современному иностранному автору. Неудивительно, что в 1911 году Уэллс уже написал предисловие к русскому собранию своих сочинений, а в 1914 году впервые приехал в Россию. Два его последующих визита, его встречи с Лениным и Сталиным принадлежат истории.

Многое может быть сказано и о дружбе Уэллса с учеными и государственными деятелями, о его попытках влиять на этих людей. Но мне больше хотелось бы обратить внимание на то, что привлекало в его произведениях людей искусства. Правда, некоторые романисты осуждали Уэллса за стилистические погрешности и на этом основании отказывали ему в праве называться писателем, но ведь именно среди поэтов, людей особенно чутких к форме, можно найти самых ревностных его почитателей. Томас Стернс Элиот и Филипп Ларкин не раз говорили о его удивительном воображении, Уильям Эмпсон восхищался его «пронзительным взглядом», Уистен Хью Оден использовал один из его рассказов как основу для своей поэмы "Gare du Midi"¹. Я привожу эти примеры еще и потому, что Юлий Кагарлицкий, будучи в первую очередь ученым, обладает и некоторыми чертами поэта. И дело не только в том, как он великолепно оценивает наиболее «поэтические» элементы в фантастике Уэллса, его юмористических романах и особенно в рассказах. Важнее всего то, что этот исследователь, сохраняя верность фактам, придает им подлинно уэллсовский колорит, уэллсовский аромат и уэллсовское волшебство.

Именно поэтому работы Юлиа Кагарлицкого так высоко ценят на Западе. В 1972 году он получил в США Международную

¹ Южный вокзал (*фр.*).

премию «Пилигрим» за популяризацию творчества Уэллса в России и за упомянутую книгу о нем, переведенную два года спустя в Италии. В 1982 году Кагарлицкий был избран вице-президентом Международного Уэллсовского общества (Англия).

Думаю, профессор Кагарлицкий простит мне, если я закончу предисловие цитатой из другого критика, английского поэта Нормана Николсона, умершего в этом году. Николсон завершает свое новаторское исследование об Уэллсе, изданное в 1950 году, размышлениями о месте этого писателя в литературе будущего. С одной стороны, пишет он, мы видим у него богатое творческое воображение, умение передавать свой интерес к жизни и способность радоваться ей во всех ее проявлениях, с другой стороны — поспешность в работе, технические огрехи, приверженность к спорам и запальчивость, мешающие ему как писателю. Все это слишком часто заслоняет непреходящие достоинства Уэллса. Николсон суммирует свои размышления следующим образом:

«Сейчас не угадаешь, что будут думать об Уэллсе грядущие поколения, но несомненно одно: они обязательно будут о нем думать. Мы заявляем об этом не только потому, что восхищаемся им и надеемся, что он займет свое место в умах людей, — мы в это твердо верим. Впрочем, мы тем самым показываем себя людьми меньшего масштаба, чем Уэллс, которому на все это было наплевать».

Для тех, кто хочет приобщиться к Уэллсу, и для тех, кто уже успел его полюбить, Юлий Кагарлицкий окажется самым лучшим наставником. Писать предисловие к его книге было для меня большой честью.

Профессор *Патрик Париндер*,
заведующий кафедрой английского языка и литературы
Редингского университета,
председатель Уэллсовского общества (Англия).

«...Большинство людей, по-видимому, разыгрывают в жизни какую-то роль. Выражаясь театральным языком, каждый из них имеет свое постоянное амплуа. В их жизни есть начало, середина и конец, и в каждый из этих периодов, тесно связанных между собой, они поступают так, как должен поступать изображаемый ими тип... Они принадлежат к определенному классу, занимают определенное общественное положение, знают, чего хотят и что им полагается; когда они умирают, соответствующих размеров надгробие показывает, насколько хорошо они сыграли свою роль.

Но бывает жизнь другого рода, когда человек не столько живет, сколько пробует жизнь во всем ее разнообразии. Одного вынуждает к этому какое-то неудачное стечение обстоятельств; другой выбивается из своей обычной колеи и в течение всей остальной жизни живет не так, как ему хотелось бы, перенося одно испытание за другим.

Вот такая жизнь выпала мне на долю...»

Так сказал о себе Джордж Пондерво — один из героев Уэллса, — и это, по его словам, побудило его «написать нечто вроде романа».

«Я полагаю, что в действительности пытаюсь описать не более не менее, как самое жизнь — жизнь, как ее видел один человек. Мне хочется написать о самом себе, о своих впечатлениях, о жизни в целом, рассказать, как остро воспринимал я законы, традиции и привычки, господствующие в обществе... И вот я пишу роман — свой собственный роман».

Трудно ли догадаться, что это сказал сам Уэллс, и не о ком-нибудь, а о себе? Он всегда писал «свой собственный роман» и при этом ставил себе целью «описать не более не менее, как самое жизнь». Что и говорить — непростая задача! Ведь рассказать нераздельно о себе и о жизни способен лишь человек, хоть сколько-нибудь соразмерный жизни.

Мог ли такое сказать о себе Герберт Уэллс?

Он этого не знал.

Он писал о судьбах человечества, путях прогресса, законах мироздания, и он же — о «маленьком человеке». В те же годы — даже чуть раньше, — когда чаплинский Чарли, помахивая тросточкой и все чаще печально вглядываясь в глаза зрителя, зашагал своей нелепой походкой по экранам мира, отправился в свое велосипедное путешествие уэллсовский приказчик Хупдрайвер. Потом перед читателями явился нескладный и добрый Киппе, а еще спустя какое-то время взбунтовался против судьбы мистер Полли, пустил красного петуха — и не где-нибудь, а в собственной лавке — и пошел куда глаза глядят, получая наконец-то удовольствие от жизни. Ибо маленькие люди Уэллса — существа неспокойные. Нет, они не стремятся пробиться наверх, а когда случайно попадают в «хорошее общество», с облегчением возвра-

щаются в свой круг. Но им как-то не сидится на месте. Куда-то хочется вырваться.

Уэллсу хотелось того же. С той разницей, что возвращаться к старому он не собирался — разве что в собственном воображении, за письменным столом. Он упорно и целеустремленно прокладывал свой путь от книги к книге, от успеха к успеху, от известности к мировой славе. Бросить все и бродяжничать, как мистер Полли? Но у него было дело, требовавшее времени, отдачи всех сил, жизни устроенной и стабильной. Он никогда бы не поменялся местами с мистером Полли. Ко всему прочему, он умел ценить возможности, которые давало принесенное славой богатство. Что не мешало ему завидовать этому беглому лавочнику. Ведь благополучие всегда грозило обернуться рутинной. Позднее он написал, что в превосходном его кабинете ему не хватает лишь одного — чтобы пейзаж за окном все время менялся. Беспокойство, импульсивность, безотчетность порывов были свойственны ему не меньше, чем его героям. В литературе у него не было устойчивого амплуа. Он писал учебники, рецензии, бытовые очерки, потом прославился научной фантастикой и сразу задумал поскорее от нее отказаться, но и успех в области традиционного романа (правда, он и эту традицию, сколько мог, постарался нарушить) не успокоил его — он задумал преобразовать педагогику, а с ее помощью — не только мировые порядки, но и, если удастся, человеческое существо как таковое. С этой целью он выпустил «образовательную трилогию», которая должна была по-новому ориентировать умы всего человечества. Разумеется, ему было не с руки повторять мысль Клода Адриана Гельвеция (1715—1771), с которой спорил еще Дидро, о том, что в человеке все зависит только от воспитания. Он уже достаточно знал законы наследственности. Но с удовольствием забыл бы о них. Ему хотелось вмешаться в ход мировых событий самым непосредственным образом. Всех всему научить. Или даже, что, как известно, труднее, — переучить. Но едва лишь начинало казаться, что Уэллс-художник куда-то ушел, он возвращался — то как романист, то как фантаст, то в новом для себя качестве сценариста. Это принято называть «приключениями мысли». Но Уэллсу и их не хватало...

Среди полусотни книг, написанных об Уэллсе у нас, у него на родине, в США, Франции, Германии и других странах, одна удачно выделяется если не научным уровнем, то, по крайней мере, названием: «Герберт Уэллс: его бурное время и жизнь». Действительно, жизнь Уэллса была на редкость бурной, даже если выйти за пределы не только литературы, но и его весьма многообразной общественной деятельности.

В любом из нас, должно быть, дремлет страсть к поучительству. Заведя разговор о писателе, так и тянет представить его образцом всех добродетелей. В разговоре об Уэллсе этой застрявшей в нас еще со школьной скамьи потребности лучше все-таки противостоять. Иначе грозит опасность сказать неправду. Но

Уэллсу нетрудно отыскать оправдание. Все, что он делал в литературе и в жизни, было грандиозным экспериментом. И ценность этого эксперимента — так, во всяком случае, полагал Уэллс — необыкновенно возрастала из-за того, что он был поставлен на человеке выдающихся способностей, но при этом весьма заурядном. Или, если быть совсем уже точным, человек выдающихся способностей ставил эксперимент на человеке заурядном. Одним из многих.

Уэллс всегда писал «свой собственный роман», но ему давно уже хотелось написать о себе без обиняков. Мешало одно обстоятельство. Как сообщил он в апреле 1930 года одному из своих издателей, любяя правдивая его биография, написанная раньше, вызвала бы неудовольствие его жены: она хотела видеть его в лучшем свете. Но Энн Кэтрин (он называл ее Джейн) уже два года как умерла, и Уэллс теперь давал разрешение писать о себе, снабжал авторов материалами, а потом и сам обратился к этой как-никак весьма близкой ему теме. Мысль написать автобиографию подал ему учитель русского языка его детей С. С. Котелянский, имевший отношение к издательскому делу, и Уэллс сразу за нее ухватился. В январе 1933 года он писал Котелянскому, что уже занимается книгой, которая получила потом название «Опыт автобиографии». В ней предстояло прямоком рассказать о себе. Все как есть.

О себе? Но, собственно говоря, о ком? Об объекте эксперимента или об экспериментаторе?

Уэллс разделил эти задачи. Первую половину автобиографии он посвятил рассказу о том, как он выбивался в люди и какой человеческий опыт в результате приобрел. Временами он отсылал читателя к своим романам, где уже описал этот период своей жизни или какой-то ее эпизод. Что же касается второго тома, то он, по сути дела, отдан был теоретическим взглядам Уэллса. Оба эти тома вышли в конце 1934 года. Подзаголовком служили слова: «Открытия и заключения одного весьма ординарного ума, сделанные с 1866 года». Отсчет Уэллс повел с самого начала: в 1866 году он родился. Зато кончал он рассказ о себе 1900 годом. В письме Котелянскому он объяснял это тем, что живы еще многие люди, о которых хотелось бы написать. И никто не подозревал тогда, что он все-таки о них написал! Не обо всех, правда, — преимущественно о женщинах. Здесь ему было что рассказать (личная жизнь у него была весьма непростая), и он знал, для чего это стоило рассказывать. В поставленном эксперименте эта сторона жизни тоже играла немаловажную роль.

Появление в 1984 году книги «Уэллс в любви» оказалось совершенной сенсацией. Архив Уэллса был продан после его смерти Иллинойскому университету (США), и никто не подозревал, что у его сына Джорджа Уэллса хранится некий «Постскрипtum к автобиографии». Уэллс завещал издать его, когда умрет последняя из упомянутых в нем женщин. Этой «последней

из упомянутых» была видная английская писательница и общественная деятельница Ребекка Уэст. Когда Ребекке показалось, что она навеки соединила свою судьбу с судьбой Уэллса, ей было двадцать лет, Уэллсу — сорок шесть. Умерла «дама Ребекка» (ей было присвоено звание «дамы», соответствующее для женщины званию рыцаря) девяносто лет от роду, пережив своего возлюбленного на тридцать семь лет. И все это время книга лежала под спудом. Что, впрочем, и сделало ее сенсационной.

Дело в том, что, за единственным исключением, все женщины, отношения с которыми Уэллс не считал возможным предавать огласке, придерживались на этот счет иного мнения, и в опубликованной с такими предосторожностями книге не содержалось, по сути дела, ни одной новой фамилии. В 1974 году даже вышла отдельная, богато документированная и снабженная множеством иллюстраций книга «Уэллс и Ребекка Уэст», сведения для которой в основном дала сама Ребекка. В 1973 году появилась также первая книга, в которой были использованы материалы архива Уэллса, касающиеся его личной жизни, — «Путешественник по времени». Эта книга, кстати, не только ввела в научный обиход новые факты, но и позволила исправить целый ряд ошибок, содержащихся в автобиографии Уэллса. Перечитай он повнимательнее свои старые письма, как это сделали потом его биографы, он бы избежал подобных ошибок. Но ни «Уэллс и Ребекка Уэст», ни «Путешественник по времени» широкого распространения не получили. Про автора первой из этих книг, профессора Гордона Рэя, можно сказать, что он написал самую академичную историю любви, какую только можно вообразить; авторы второй, супруги Норманн и Джинн Маккензи, с самого начала ставили перед собой задачи академические, и их работа вообще осталась вне сферы внимания, тех, кого принято называть «читающей публикой». К 1984 году даже те, кто в свое время прочитал эти две книги, основательно их позабыли. И вдруг — «Уэллс в любви!» Книга, некогда тайно написанная самим Уэллсом! Третий том его знаменитого «Опыта автобиографии» — одной из тех немногих писательских автобиографий, которые мы вправе поставить вровень с прочими их книгами, а в ряде случаев даже выше! Так что Ребекка своим долголетием оказала немалую услугу человеку, с коим за шестьдесят с лишним лет до этого расстался нельзя сказать что совсем по-хорошему. Когда в том же 1984 году появилась еще и апологетическая книга воспоминаний об Уэллсе его сына от Ребекки Уэст Энтони Уэста, где он спорил со своей матерью, наступило своего рода «Уэллсовское возрождение». Были переизданы первые два тома его автобиографии и огромное число других его книг, не обязательно самых лучших. О нем вновь стали говорить как о человеке, только что ушедшем.

Конечно, сам Уэллс, как уже упоминалось, назвал свою будущую книгу гораздо скромнее: «Постскрипtum к автобиографии». Заголовок «Уэллс в любви» придумал, скорее всего, его

сын, поставивший на титульном листе свое имя в качестве редактора, дополнивший ее рядом других материалов и снабдивший ее примечаниями. Думается, здесь сыграли известную роль сообщения коммерческие, хотя нетрудно заметить и другое: для «постскриптума» книга великовата. Но не странно ли, что широкую публику так заинтересовали любовные дела писателя, умершего почти за сорок лет до того? Не вернее ли предположить, что новый интерес вызвала, скорее, сама его личность, раскрывшаяся еще с одной стороны? Ибо даже те факты, о которых все знали, осветились теперь по-новому. Все увидели, как они преломлялись в сознании Уэллса. А значит, появилась возможность еще раз заглянуть в это сознание.

Слова «еще раз» следует здесь подчеркнуть. Сколько бы неизвестных сведений ни принесли нам биографические исследования, — даже те, что провел сам Уэллс, — главное он все же написал в своих книгах. И даже при том, как велик в них (с годами это выясняется все больше и больше) автобиографический элемент, есть в них и нечто очень важное от биографии современного мира, рассказанной так, словно это — тоже автобиография. И подобно тому, как с годами мы научаемся по-новому осмысливать события собственной жизни, сейчас, когда уже так близок конец столетия, людям — самым обычным людям — хочется окинуть взором прошедшее. Уэллс для них, для этих обычных людей, — незаменимый помощник, ибо он принадлежал своему времени, закреплял его приметы и далеко выходил за его пределы.

Говорят, мертвые не стареют. Кроме тех, кто оставил по себе письменный след. Писатели стареют. Порой они отодвигаются в прошлое, чтобы потом снова на несколько шагов к нам приблизиться, но иногда прямо на глазах рассыпаются в прах. С Уэллсом этого не случилось. И не могло случиться.

У истоков английского театра есть пьеса «Всякий человек». Уэллс и видел в себе этого извечного «всякого человека», которому довелось прожить последнюю треть прошлого и почти половину нашего столетия: «Я прожил не исключительную жизнь, а шаблонную; ее ценность — в ее типичности; благодаря этому она и сохраняет свой интерес», — заявил он в «Опыте автобиографии». В словах «открытия и заключения одного весьма ординарного ума, сделанные с 1866 года» не было никакого кокетства, и Уэллс приходил в ярость, если его в чем-то подобном подозревали. Излишней скромностью он не отличался и, когда его однажды назвали гением, ответил без лишних затей: «Да, я гениален». И своеобразие этой личности он вполне понимал, чему-то в себе радуясь, о чем-то жалея. Но свое место в мире видел именно в том, чтобы быть «всяким человеком», через ум и душу которого проходят веянья века. Только он хотел быть этим «всяким человеком» больше кого бы то ни было. Ни с кем не сравнимым.

И конечно, как у любого «всякого человека», у него были начало, середина и конец. Но сперва еще — предыстория.

ПРЕДЫСТОРИЯ



Уэллс считал, что историю всякого человека надо начинать с зарождения жизни на Земле. Но сам вынужден был держаться более скромных рамок. Его биограф — тем более.

Все беды пошли с «чугунки».

Сначала все ладилось. Сейчас уже трудно сказать, почему семейство Нилов перебралось из Северной Ирландии в Англию. Скорее всего, ими двигала та же мысль, что и тысячами других ирландских переселенцев: Англия — страна больших возможностей, в ней легче добиться успеха. А Ирландия — что? Ирландия — захолустье. И действительно, когда Нилы променяли ирландское захолустье на английское, им кое-что удалось. Сперва Нилы открыли придорожный трактир в богом забытом Чичестере, потом Джордж Нил, дед Уэллса, переселился поближе к Лондону, в Мидхерст. Он теперь жил-не тужил: трактирщик в небольшом городке — лицо заметное. Да и прикладываться к бутылке в собственном заведении куда дешевле, чем где-то на стороне. Разумеется, у трактирщика существуют и иные обязанности, но Джордж Нил, пусть с меньшей охотой, тоже их исполнял. Порой его даже охватывали приступы деловой активности. Так, следуя примеру отца, он завел почтовых лошадей. Но, конечно, не вовремя. Уже в 1825 году в Англии была проложена первая железнодорожная линия. Правда, связывала она два незначительных городка — Стоктон и Дарлингтон, длиной была всего в двадцать миль и поезда по ней ходили сперва на конной тяге. Но всегда полупьяный трактирщик из Мидхерста не обладал даром предвиденья, которым прославился его внук Герберт Джордж. Где ему было знать, что скоро сеть железных дорог покроет всю страну и английские инженеры-путейцы примутся за дело на континенте? Он и без того не раз оказывался на мели, а железные дороги совсем его доконали. Да и с лошадьми еще до этого вышла задача. За кучера был его дядя. И вот как-то раз, в метель, дядя, возвращаясь из Лондона, прибегнул к своему обычному средству против простуды, но слегка перебрал и никак не мог въехать в город. Поразмыслив немного, он погнал лошадей прямо в пруд и там честно разделил их участь. Хорошо еще, что пассажиров в карете не было и никто больше не утонул. Но материального положения Джорджа Нила это, как легко понять, не улучшило. Когда в 1853 году он умер и наследники расплатились с долгами, каждому из двух выживших детей — Саре и ее младшему брату Джорджу — досталось по десять фунтов.

Сара Нил, впрочем, была к этому времени особой самостоятельной. Однажды, лет за двадцать до этого, Джордж Нил оказался вдруг при деньгах: умер его прадедушка — и он, по совету соседей, решил дать дочери образование. В 1834 году, когда девочке исполнилось двенадцать лет, он определил ее на три года в чичестерскую школу «для молодых леди», где ее обучили чтению, письму (писала она с ошибками и без знаков препинания, но зато очень красивым почерком), счету и даже начаткам гео-

графии. Сара Нил на зубок знала названия всех европейских государств, их столиц, английских графств, их главных городов и рек, на которых они стоят. Кроме того, она слыхала о четырех природных стихиях, семи чудесах света и кое-что о девяти музах, имена которых, правда, немного путала. И впрямь, в изящную словесность здесь не углублялись, а против романов даже предостерегали. Но от серьезного чтения не отвращали, и Сара Нил со временем нашла свою любимую книгу — «Английские королевы», написанную некоей миссис Стрикленд. Особенную ее любовь вызывала королева Виктория. Еще когда Сара училась в школе и до сведения учениц и наставницы дошли слухи, что в Лондоне сомневаются, передавать ли престол принцессе Виктории, это вызвало их бурное негодование. Когда же пятнадцатилетняя дочь трактирщика прошла курс наук, а год спустя восемнадцатилетняя дочь герцога Кентского стала английской королевой, первая из них радовалась этому словно собственной победе. Она следила за всеми подробностями ее личной и общественной жизни, старалась увидеть, когда могла, ее торжественные выезды, одевалась по той же моде, и, как вспоминал ее сын, с годами эти две старушки — Сара и Виктория — делались все больше похожи друг на друга. Разве что жили по-разному...

Но мы слишком уж забежали вперед. Сара пока еще в школе, и, если оборвать на этом рассказ о годах ее учения, читатель может получить неполное представление об уровне ее знаний. Ибо среди изучаемых предметов была еще история Англии. Молодые леди заучивали перечень английских королей и генеалогию царствующего дома. И конечно, юных пансионеров укрепляли в вере. Нилы были убежденные протестанты евангелического толка, но в конфликт с англиканством как таковым не вступали — просто причисляли себя к «низкой церкви». Взгляды мисс Рили, державшей школу, где училась Сара, во всем совпадали с вынесенными девочкой из дому, так что религиозных сомнений она не испытала. Как, впрочем, не испытывала их и на протяжении всей своей последующей жизни. Еще в школе преподавали французский, и девочка очень хотела его выучить, но отец воспротивился. За уроки французского полагалась дополнительная плата, и Джордж Нил счел этот предмет лишним.

И, пожалуй, был прав. Догадаться, что французский Саре не понадобится, можно было, и не обладая даром предвидения. Смолоду она помогала по трактиру и дому — нацеживала и разносила пиво, накрывала на стол. Потом ее отдали на выучку к портнихе и дамскому парикмахеру. На это пошло несколько лет, хотя ни к той, ни к другой профессии ее не предназначали. Из нее готовили прислугу, которая всегда могла бы рассчитывать на место в хорошей семье. В двадцать лет ее устроили в такую семью, но три года спустя она оттуда ушла, поняв, что ее хозяева придерживаются иных религиозных взглядов. Стерпеть подобное было невозможно. Следующие три года Сара состояла при жене

некоего капитана Форда. С ней она побывала в Ирландии и многих городах Англии, но из-за болезни матери не могла с какого-то времени сопровождать миссис Форд в ее многочисленных поездках и вернулась домой. Два года спустя она нашла новое место. Было ей тогда без малого двадцать восемь (Сара Нил родилась 10 октября 1822 года), и день 7 сентября 1850 года, когда эта розовощекая миниатюрная девушка с наивными голубыми глазами и серьезным лицом вошла в ворота Ап-парка, до конца дней остался в ее памяти. Она, конечно, не могла тогда знать, сколь многое он определит в ее жизни. Ей просто нравилось, что, во-первых, новая служба находится не слишком далеко от дома. Если даже пешком, то всего три часа. Можно часто навещать родителей, а это очень важно — мама хворает. Во-вторых, — что дом знатный. В викторианские времена общественное положение слуг прямо определялось положением господ, а Ап-парк знали далеко за пределами графства Кент. Мисс Фанни Буллок, к которой она поступила в услужение, встретила ее хорошо. Вот, пожалуй, и все, что тогда запало в ее сознание.

Постепенно она приобретала все больше сведений об этом доме и проникалась все большей преданностью хозяевам. Здесь все было ей по душе. И дом, и его история, и его обитатели.

Ап-парк стоял на высоком, кончавшемся обрывом холме, окруженном лесами. Он смотрел фасадом на меловые скалы, подступающие к берегам Канала, как называют в Англии Ла-Манш, и не только архитектурой своей, но и образом жизни олицетворял XVIII век. Самое его начало. Дом построили вскоре после «Славной революции», начавшейся 5 ноября 1688 года, когда штатгальтер Нидерландов, Вильгельм III Оранский, приглашенный всеми английскими политическими партиями, высадился в бухте Торбей и, не встречая сопротивления, пошел со своей армией на Лондон. Единственная трудность, возникшая тогда перед Вильгельмом, состояла в том, чтобы Яков II Стюарт, которого он пришел свергнуть, подобру-поздорову убрался из Лондона. Яков был ему тестем, да и вообще не хотелось делать из него короля-мученика. 11 декабря Яков и впрямь попытался бежать на остров Шеппей, откуда его должны были переправить во Францию, но на побережье местные рыбаки приняли его за тайного иезуита и передали наместнику графства Кент, убедившему короля вернуться в столицу. Пришлось Вильгельму послать в Лондон кавалерийский разезд, который и перевез Якова из Сент-Джеймского дворца в Рочестерский замок. Правда, крепость эта охранялась только с суши, а со стороны моря поставили хорошо снаряженную яхту. На то, чтобы Яков припомнил, что он — адмирал и владеет искусством кораблевождения, понадобилось около недели. Но 23 декабря он все же отплыл во Францию, и все вздохнули с облегчением. Нидерландский штатгальтер Вильгельм III стал в 1689 году английским королем Вильгельмом III, разделив престол со своей женой Марией, законной наслед-

ницей английской короны, и это событие подвело черту под бурными событиями уходящего века. Ибо «Славная революция» была не из тех революций, что потрясают основы, — она призвана была их укрепить. «Великий бунт» середины столетия, когда пришлось отрубить голову Карлу I, военная диктатура Кромвеля, Реставрация и вспышка реакции в годы правления дурака адмирала — все теперь было в прошлом. Устанавливался порядок. Самое время было строиться, обраться к имуществу. Или, смотря по наклонностям, его прокучивать.

Меньше чем за полвека Ап-парк сменил шесть хозяев, но в 1747 году его купил за девять тысяч фунтов — сумма в ту пору немалая — сэр Мэтью Фетерстонхау, и с тех пор он оставался в этой семье. Сэр Мэтью был вольнодумец и философ. Слово это тогда значило многое. Сэр Мэтью ставил опыты с электричеством и магнетизмом и даже был выбран в Королевское общество. В своем доме он собрал (ему не дано было узнать, для кого он это делает) довольно эклектичную, но весьма обширную библиотеку.

Затем дом и поместье перешли к еще одному вольнодумцу, его сыну сэру Гарри, собутыльнику принца-регента, впоследствии короля Георга IV. Времена регентства (1811—1820) не отличались строгостью нравов, и сэр Гарри хоть и пожил весело, но до седых волос остался холостяком. Он, правда, любил оказывать покровительство молодым особам женского пола, но они как-то не задерживались в его доме, хотя среди них была и такая примечательная личность, как Эмми Лайон. Попала она в Ап-парк шестнадцатилетней, уже беременной, потом сменила много мест и фамилий, пока не стала леди Гамильтон — любовницей адмирала Нельсона.

Когда сэру Гарри шло к семидесяти, он все-таки женился. В жены он взял двадцатилетнюю молочницу из своего поместья, по имени Мэри Энн Буллок, и отправил ее в Париж пообтесаться. Сказать, что сэр Гарри женился на склоне лет, было бы неверно: он прожил до девяноста двух, но детей от этого брака не было. Так и остался Ап-парк после его смерти в 1846 году на попечении двух женщин: леди Мэри Энн и ее младшей сестры Фрэнсис (или попросту Фанни) Буллок.

Сэр Гарри долго выбирал, но женился удачно. Сестры Буллок его боготворили, а после его смерти чувствовали себя скорее домоправительницами, нежели хозяйками поместья. Их главной заботой было, чтобы «все оставалось, как при сэре Гарри». Ничто не менялось в доме. Почти ничего не менялось в семейном укладе. Так двадцативосьмилетняя камеристка Сара Нил вступила в восемнадцатый век, хотя, конечно, нельзя сказать с уверенностью, что до этого она жила в девятнадцатом. Потом, много лет спустя, тем же путем совершил свою короткую вылазку в прошлое ее младший сын Герберт Джордж Уэллс.

Сестры Буллок были женщины неглупые. В деревне знали, каких они кровей, и они, в отличие от многих, не придумывали

себе замысловатую родословную. Держались обе они хоть и с достоинством, но без спеси. Сара Нил скоро была уже не столько служанкой, сколько подругой своей ровесницы Фанни Буллок, отнюдь не превосходящей ее в образовании. Началась счастливейшая пора ее жизни. Она была в барском доме почти как своя. Конечно, она не возгордилась. Она знала: над нею господь бог, королева Виктория, хозяева. Их полагалось любить, и этой своей обязанностью она не пренебрегала — как и любой другой. Напротив, исполняла ее ревностно. Но все же пребывание в Ап-парке возвышало ее в собственных глазах и в глазах окружающих. Службы и зал для прислуги располагались в полуподвале, «под лестницей», как принято было говорить, комнаты для прислуги — под крышей (отдельно стоял еще домик садовника), но жилось здесь не только сытно, но и нескучно. В зале для прислуги по субботам под звуки скрипки и концертно танцевали популярные контрадансы прошлого века, такие, например, как «Сэр Роджер де Коверли». За обедом велись разговоры о генеалогии гостей, обсуждались светские новости, и никто не пренебрегал мнением камеристки, как-никак кончившей школу для молодых леди и обученной чтению, письму, счету, шитью, прическе и даже начаткам истории и географии.

Из ста семнадцати окон этого розового кирпичного дома открывался вид на обширную и благоустроенную территорию парка — второго по величине в графстве. Парк был поистине прекрасен, и не только своей продуманной планировкой, но и множеством лесных полянок, лощин, овражков, где текли ручьи и пробивалась сквозь папоротники небольшая речка. Из зарослей время от времени выглядывали лани — их здесь было не перечесть. Но вся эта красота вряд ли глубоко трогала сердце Сары Нил, никогда не отличавшейся особой любовью к природе. Зато другой человек впитывал ее всей душой.

Звали его Джозеф Уэллс, и был он на пять лет моложе Сары. Понять, кто из них стоял выше на социальной лестнице, сейчас практически невозможно: викторианское общество знало в этом смысле столько градаций, что современное сознание перед всем этим просто пасует. А с Джо дело обстояло совсем сложно. Часть его родни была из крестьян-арендаторов, часть относилась к кругу лиц, в низших сословиях высоко почитаемых: они были старшими господскими слугами. Сам он появился в Ап-парке в июне 1851 года в качестве садовника, а значит, принадлежал к категории «слуг вне дома», но, с другой стороны, его отец был старшим садовником в обширном, еще тюдоровских времен, поместье барона де Лисла в Пенхерсте. Отец и определил его по своей профессии.

Сара, впрочем, не задалась тогда вопросом, кто из них перед кем должен драть нос. В середине прошлого века в Англии около сорока процентов женщин оставались незамужними, и, хотя Сара не была сведуща в статистике, она прекрасно знала это

из жизни. Ей же вот-вот должно было стукнуть двадцать девять, и она отнеслась к молодому садовнику с большим интересом. Она уже давно вела дневник и, когда ей представили мистера Уэллса, отметила там, что в нем есть что-то «особенное». Сделай она эту запись несколькими годами позже, она бы добавила: «и для меня неприемлемое». Не во всем, разумеется. Их сближало то, что оба они были люди грамотные (тогда это отнюдь не был общим правилом), он много читал, а ей нравилось записывать все, что случалось с ней и вокруг нее. Но положительность, сдержанность (недоброжелатели назвали бы ее чопорностью) и некоторая доля душевной сухости Сары Нил никак не гармонировали с открытым, беспокойным и, как выяснилось с годами, раздражительным характером молодого человека, которому посчастливилось привлечь к себе ее внимание. Он был, что называется, «хороший парень», — но и только. Растения он любил, но окапывал их лишь по обязанности. Что он и впрямь делал с энтузиазмом, так это играл в крикет.

Надо сказать, это было немало. Крикет иногда называют просто английской лаптой, но в таком сравнении пропадает главное: крикет — это любимейшее развлечение англичан и ведущие крикетисты — почти что национальные герои. Эта медленная игра, способная усыпить любого иностранца (да и английским зрителям дающая возможность вздремнуть на солнышке), считается своеобразной приметой английского образа жизни, и самый малый уважающий себя город стремится иметь свой крикетный клуб. Соревнования между ними происходят по субботам и длятся по шесть часов, а между сборными графств — по три дня. А Джо обещал стать первоклассным крикетистом. Он был невелик ростом, но необычайно ловок, подвижен, изобретателен. Очевидно, это было семейное. Двоюродный брат его отца Тимоти Дьюк, которому еще предстояло возникнуть в дальнейшей жизни Джо, несколько лет подряд выступал за сборную Кента, а потом создал в Пенхерсте собственное дело по производству принадлежностей для крикета. Когда Джо получил свое первое место всего в миле пути от Пенхерста, он после работы бегом несясь домой, чтобы до наступления сумерек успеть еще полчаса поиграть в крикет. С местом ему повезло. Он попал в имение Редлиф, славившееся своими садами. Хозяин этого поместья Уильям Уэллс был нельзя сказать что из больших бар. Он служил в свое время капитаном корабля, ходившего в Индию, потом стал судовладельцем, титулов не имел и единственно чем мог похвастаться, так это кличкой «тигр», приобретенной за лютость в обращении с подчиненными. Зато его садовник был человек знаменитый. Он создал первый в Англии «американский сад» — некую имитацию пейзажа, характерного для северо-западной части тихоокеанского побережья США, и этим положил начало новому стилю садоводства, быстро вошедшему в моду. Все, кто мог, принялись устраивать у себя «дикие» и «экзотические» сады. Он считался выдающимся мас-

тером своего дела и даже удостоился статьи о себе в «Гарднерс мэгэзин». Звали его так же, как и мальчишку, поступившего в 1843 году к нему в помощники, и как отца этого мальчишки, так что когда старший садовник барона де Лисла (получившего, кстати говоря, свой титул за то, что женился на королевской любовнице) Джозеф Уэллс определил того из своих пяти сыновей, которого звали Джозеф Уэллс, к старшему садовнику из Редлифа Джозефу Уэллсу, состоявшему на службе у Уильяма Уэллса, такой чреде совпадений нельзя было не подивиться. Дед писателя, видимо, хотел вырастить из своего сына садовника самого высокого класса и в выборе места для него не ошибся. У садовника из Редлифа было чему учиться, и он любил учить. Он привязался к шустрому пареньку, давал ему читать книги по ботанике, учил зарисовывать растения и старался привить вкус к самообразованию. Каким-то путем он понял, что мальчишка этот — не без способностей. Так оно и было. Джо Уэллс любил задаваться вопросами. Много лет спустя он, к удивлению своего сына Герберта («Берти»), рассказывал ему, как часами глядел на звездное небо, пытаясь разгадать, что за тайны скрыты в этих неведомых мирах, и Берти про себя тотчас отметил, что его мать подобными вопросами наверняка не задавалась: она все знала про небесную твердь и про звезды, укрепленные на ней господом во славу свою. Да, Джо Уэллс был не без способностей. Но реализоваться им не было суждено. За четыре года, проведенные в Редлифе, он гораздо меньше перенял у своего наставника, чем можно было ожидать: очень уж отвлекал крикет. А в 1847 году «тигр» Уэллс помер, имение было продано, садовник, которому перевалило за семьдесят, ушел на покой и Джо остался без работы.

То, что в этот период все вокруг были Уэллсы, привело к занятной путанице, которая потом сложилась в семейную легенду. Садовник Уэллс превратился в хозяина имения, и его отеческое отношение к младшему тезке и однофамильцу якобы заставило того думать, что добрый старик что-то «отпишет» и ему в завещании, но его ожидания не оправдались. Герберт Уэллс тоже верил в эту легенду. Ее он и изложил как чистую правду в своем «Опыте автобиографии».

Как бы там ни было, а в 1847 году двадцатилетний младший садовник принялся искать себе новое место. Другого такого, как Редлиф, было не найти, и следующие четыре года — вплоть до поступления в Ап-парк — он нигде прочно осесть не мог. Вероятно, именно тогда его впервые посетила мысль, по временам к нему возвращавшаяся, — уехать куда-нибудь в Америку или, еще лучше, в Австралию рыть золото. Но ни в этот раз, ни в какой-либо другой он серьезных шагов к осуществлению этого смелого плана не предпринял. В Ап-парке же он ни о чем подобном, конечно, не думал: здесь у него зародились иные мечты.

С Сарой Нил они встречались на субботних танцах, достаточно, следует думать, церемонных (никто из слуг в этом доме не

потерпел бы, разумеется, богопротивной фривольности, отличавшей мерзких папистов, живущих по ту сторону Канала), и еще по воскресеньям, когда вся дворня, растянувшись чуть ли не на сотню ярдов, шествовала в приходскую церковь. Джо, подавляя свою природную живость, вышагивал не менее солидно, чем остальные. С некоторых пор он удостоился чести нести молитвенник мисс Нил (такова была общепринятая форма ухаживания), и они рассуждали о серьезных предметах — например о первоначальном грехе. В голосе Сары все чаще появлялись теплые нотки. Если тот или иной вопрос оставался нерешенным, они обменивались письмами. Конечно, через почту они их не пересылали, такой нужды не было, но какое викторианское ухаживание обходилось без переписки? И все чаще Джо делился с «дражайшей Сарой» мечтами о том времени, когда они рядышком будут листать Священное писание у своего камелька. Если у нее зарождались сомнения в его религиозности, он опровергал их самым решительным образом. Немногим более года спустя после появления мистера Уэллса в Ап-парке они с мисс Нил уже знали, что их судьбы связаны навеки. Все было решено. И если свадьба задержалась, то не по их вине.

В апреле 1853 года Сара получила дурные вести из дому и в середине месяца покинула Ап-парк. Мать недомогала все больше и больше, с ней творилось что-то странное, и за ней требовался постоянный присмотр. И тут внезапно умер отец. Случилось это через четыре с лишним месяца после возвращения Сары домой. Она всегда была почтительной, заботливой, любящей дочерью, и, когда после похорон мать в бешенстве кинулась на нее с криком, что она запрятала родного отца в тюрьму, она была потрясена до глубины души. В следующие два месяца, проведенные с безумной матерью, бедняжке Саре потребовалось все ее христианское терпение. К ноябрю мать умерла.

С отъездом Сары Джозефу тоже незачем было оставаться в Ап-парке, и он предупредил хозяев об уходе. Никаких определенных планов у него не было, ему просто не сиделось на месте. Для начала он немного погостил у брата. Потом устроился на временную работу и стал искать постоянную, с приличным жалованьем и жильем. Но поиски затягивались. В конце концов они с Сарой поженились, не имея, что называется, ни кола ни двора. Кому это первому пришло в голову? Трудно сказать. Джозеф Уэллс не годился, конечно, в настоящие викторианцы: те знали, что надо сперва основательно устроиться в жизни, а потом уже обзаводиться семьей. Но ведь и Саре был уже тридцать один год.

Венчались они 22 ноября 1853 года в Лондоне, в Сити, в церкви, расположенной прямо рядом с Английским банком, но вряд ли это предвещало богатство — уж больно жалкой была сама свадьба: ни подружек, ни даже подвенечного платья. Да и куда деваться потом?

Четыре с лишним месяца спустя работа все-таки нашлась. Джо приняли старшим садовником в средних размеров поместье с приличным по тем временам жалованьем — двадцать пять шиллингов в неделю. Под его началом состояло десять рабочих, и ему был отведен уютный коттедж с небольшим собственным садиком. Неделю спустя сияющий Джо встретил Сару на станции и отвез в свой домик, сразу ей приглянувшийся.

К сожалению, она пробыла там хозяйкой совсем недолго. Уже через месяц хозяин начал сомневаться в правильности своего выбора, причем сомнениями этими не преминул поделиться с Джо-зефом. Тот покладистым нравом не отличался, и отношения стали портиться.

Чем дальше, тем больше. Так что на этой должности Джозеф Уэллс не застрял. 12 апреля 1854 года он ее получил, 11 августа 1855 года ее лишился. Снова надо было искать работу и пристанище. На сей раз для троих: 20 февраля 1855 года у них родилась дочка. Сара назвала ее Фрэнсис, очевидно, в честь любимой хозяйки.

Джозеф на время пристроил жену с дочкой к родственникам, а сам отправился в Лондон искать место. Ничего подходящего не подворачивалось. И тут Уэллсы (так они потом сами считали) совершили свою главную ошибку. Они купили посудную лавку в Бромли.

Продал им ее Джордж Уэллс, двоюродный брат Джозефа, и поначалу это выглядело чуть ли не как подарок. Небольшие деньги, скопленные «про черный день», у Джозефа и Сары имелись, и к тому же Джозеф знал, что после смерти отца на его долю придется около ста фунтов наследства. И тем не менее Джордж не заставил их залезать в долги, с расплатой согласился подождать три года, а другой родственник, Том Уэллс, в изобилии снабдил их всяческой бакалеей, чтобы легче было завести хозяйство. И когда 9 октября 1855 года чета Уэллсов въехала в свой дом — Бромли, Хай-стрит, 47, — настроение у них было, наверное, самое радужное.

Но уже на четвертый день Сара почувствовала что-то неладное. За все это время в лавку не зашел ни один покупатель! То же самое повторилось и в следующие дни. Сара поняла, что родственники их попросту обманули. К тому же скоро выяснилось, что в торговле тоже надо знать толк. Как и в хозяйстве. А ни Джозеф, ни Сара ничего не понимали ни в том, ни в другом. Он был садовник и крикетист, она — камеристка. Они принадлежали к тому разряду господских слуг, которые привыкли жить на всем готовом. Здесь же некому было делать прическу, зато надо было уметь стряпать. Но ее этому не учили! (Как она в свое время вела хозяйство в доме своих родителей, остается загадкой. Во всяком случае, ее сын Герберт Джордж считал, что полная неспособность его матери справиться с кухней относилась к числу ее врожденных качеств.) Джозефа же никогда не натаскивали

в умении вести приходно-расходные книги, оформлять кредит, налаживать отношения с оптовиками. Правда, Джозеф не соби-рался сидеть сложа руки. Он соорудил некое подобие семафора, которому положено было подниматься в кухне, когда в лавку входил покупатель. Кроме того, он объявил свое заведение не просто лавкой, но и чем-то вроде прокатной конторы. Из его рек-ламы обитатели Бромли могли узнать, что он за умеренную плату готов обеспечивать их посудой, если им захочется отметить какое-либо торжественное событие или просто устроить бал, пикник или что-нибудь еще в этом роде. Судя по всему, на эти объявления никто не откликнулся. Во всяком случае, в анналах Бромли не зарегистрировано ни одного скандала, который несомненно раз-разился бы, прими кто-то всерьез эти посулы: в лавке не хватило бы тарелок и для того, чтобы обеспечить хороший званый обед.

Немногим более двух лет спустя после новоселья, в декабре 1857 года, Джозеф решил попытать счастья в Новой Зеландии и поместил в газете объявление о том, что лавка продается или сдается в наем. В январе следующего года он поместил второе объявление, и кто-то к нему действительно заглянул. Но тут же ушел. Тогда в окне лавки (она же — витрина) появилось постоян-ное объявление о сдаче в наем. На этот раз зашло и ушло уже несколько человек. Но владельцем торгового заведения в Бромли, на Хай-Стрит остался все тот же Джозеф Уэллс. Его знал теперь в лицо весь город: день-деньской он торчал перед дверьми, болтая с соседними лавочниками и с приятелями, которых становилось все больше, и издали приглядывался к каждому прохожему: а вдруг покупатель?

И опять надвигалось это бедствие — «чугунка».

Бромли находится совсем близко от Лондона, и поездка в столицу не составляла никакого труда: каждый будний день от гостиницы Белла, что напротив посудной лавки Уэллсов, отправля-лись в Лондон две почтовые кареты. С ходом лет они из между-городного транспорта постепенно превращались в городской: Бромли все больше сливался с Лондоном. Последнюю свою поезд-ку они совершили в 1884 году. Но уже с 1861 года в Бромли по-явилась железнодорожная станция, в 1877 — вторая, и местные жители начали обзаводиться недорогими сезонными билетами. А столичные магазины всегда представляли для них больший интерес, чем бромлейские. Хорошо было мистеру Ковеллу, мясни-ку, перед лавкой которого было вывешено на обозрение публики десятка два туш и несколько дюжин битой птицы! Или торговцу рыбой мистеру Вудолу! За мясом и рыбой в Лондон никто не ездил. Да и другие соседи — галантерейщик Манди, портной Купер и даже торговец обувью Перси Оливер, что устроился ря-дышком с гостиницей Белла, хоть в богачах не ходили, на жизнь зарабатывали. Но у посудной лавки Уэллсов прохожие ускоряли шаги. Неужели лишь потому, что лавка была очень уж грязная? Но в конце концов, если кто купит чашку или тарелку, ее можно

для него и помыть! А самому сразу брать товар в руки вовсе не обязательно.

Да, конечно, грязно. И голодно. Но пойдя управься с таким хозяйством! И поживи в таком доме!

Назывался он Атлас-хаус — Дом Атланта. В единственном окне, выходившем на улицу, стояла масляная лампа — Атлант, взваливший себе на спину земной шар. Он держал эту непомерную ношу с давних времен, и, очевидно, до него не успели еще дойти слухи о том, что Земля вращается. А может быть, он сознательно пропустил их мимо ушей. С неподвижной Землей было легче. И вообще он, судя по всему, не желал, чтобы что-то куда-то двигалось. А для лавки Уэллсов его слово было закон.

Фасадом Дом Атланта выходил на главную улицу Бромли, но позади начинался склон, ведущий к реке, так что трудно было понять, сколько в нем этажей. Спереди было три — и подвал, освещаемый через окно, выходящее в проделанный в тротуаре колодец. Колодец, разумеется, был закрыт решеткой, так что конечности, а может, и жизнь прохожих не подвергались опасности, но когда над решеткой возникали чьи-то башмаки, в кухне становилось еще темнее. Утешением служило лишь то, что башмаки большей частью были сильно ношенные, хорошо еще если чиненые — не одним им, значит, трудно жилось! Сзади этажей оказывалось четыре. В подвале, или, если смотреть с другой стороны, на первом этаже, были кухня и посудомойня. Тут же, под лестницей, — хранилище для угля. Поскольку к дому можно было подняться лишь с улицы, привезенный уголь, засоряя все вокруг, таскали в мешках через лавку и крошечную «гостиную» позади нее. На верхних двух этажах было по две малюсеньких спальни.

Но основное свое время семья проводила на кухне, тем более что оттуда был прямой выход во двор, где располагались «службы». Часть дворика была зацементирована, другая, отделенная сточной канавой, предоставляла возможность заняться садоводством. Свободного места хватало на то, чтобы посадить кустик-другой и дикий виноград у забора, отгораживавшего от мистера Купера. Забор, впрочем, был недостаточно высокий, и портняжные подмастерья все время глазели во двор Уэллсов. Почему-то им особенно нравилось смотреть, как другие ходят в уборную. Во всяком случае, они в это время не отворачивались, и Сару это раздражало необычайно. Мясник тоже в известном смысле был сосед не из лучших. Туши, вывешенные для привлечения покупате-



лей, привлекали еще и полчища мух, а его двор всегда был забит ревушим скотом, который резали тут же, на месте. После прогона скота улица, впрочем, очищалась довольно быстро. Один из соседей, увлекавшийся огородничеством, собирал навоз и складывал его в большой открытый деревянный ящик в углу двора, подалее от собственной задней двери и поближе к соседской.

Этот дом, обставленный подержанной мебелью и провонявший парафином, с помощью которого пытались морить клопов, был сразу и слишком велик и слишком тесен. Посланные от угольщика чертыхались, протаскивая свои мешки по узенькой лесенке, ведущей в подвал, хозяйка же, пытаясь навести элементарный порядок на четырех этажах, молила господу даровать ей терпение. Былого румянца на ее щеках никто больше не замечал, глаза утрачивали свою небесную голубизну и наивность. Дел не убавлялось. Напротив. Вскоре после переезда в Бромли у нее родился в 1857 году сын Фрэнк. Пять лет спустя, в 1862 году, еще один сын — Фред. Теперь все время, оставшееся от уборки и мучительных попыток приготовить обед, она проводила в «гостиной», обшивая семью и прислушиваясь, не откроется ли входная дверь, возвещая о приходе долгожданного покупателя. Дверь ныне отворялась чаще, чем прежде. Тимоти Дьюк из Мидхерста решил помочь своему двоюродному племяннику и стал снабжать его в кредит принадлежностями для крикета, что послужило поводом для еще одного выступления Джозефа Уэллса в печати. Новое объявление, появившееся в местной газете, звучало гораздо оптимистичнее предыдущих и было многословнее. Выглядело оно так:

КРИКЕТ! КРИКЕТ! КРИКЕТ!

Джозеф Уэллс предлагает по умеренным ценам превосходный набор первоклассных принадлежностей для этой благородной игры. Биты с камышовыми ручками, самолично им отобранные, по общему мнению, не знают себе равных, и их невозможно приобрести ни в одном другом торговом заведении. Имеются в продаже также детские биты любых размеров. Все это и многое прочее — в его основанном в стародавние времена магазине фарфоровых и стеклянных изделий

Хай-стрит, Бромли, Кент.



Эту четвертую по счету пробу пера можно с полным правом назвать замечательным образцом документальной прозы. В отличие от первого объявления (о прокате посуды) здесь почти все, исключая разве упоминание о «других торговых заведениях», куда не стоит наведываться, отвечало истине или, во всяком случае, к ней приближалось.

Соответственно изменился вид витрины Атлас-хауса. Теперь по одну сторону от Атланта стояли тарелки, чашки и даже несколько хрустальных фужеров, а по другую — лежали мячи, биты, спицы и сетки для крикетных ворот. Ими же была завалена часть «гостиной». Кроме того (не иначе — надоумил Атлант!), Джозеф Уэллс открыл торговлю фитилями, маслом для ламп и парафином. Лавка начала приносить до пятидесяти фунтов в год. Прибавился и еще один источник доходов. До появления Джозефа Уэллса бромлейский крикетный клуб влачил жалкое существование. С его приездом он возродился к жизни, начал брать призы, а сам Джозеф все чаще получал приглашения выступить за какую-нибудь чужую команду. Эти игры оплачивались, и, хотя Джозеф по вечерам был не прочь посидеть с друзьями в пивной у Белла — всего-то и перейти через дорогу! — большая часть денег шла в дом. Еще он подрабатывал, обучая начинающих игроков. Но Сара этого словно не замечала. Отношения между супругами уже давно начали портиться, а неизбежные отлучки Джозефа и вовсе ее ожесточили. Все шло к одному: чем больше она его тиранила, тем меньше ему хотелось проводить с ней время; чем чаще его не было дома, тем больше было у нее оснований высказывать свое недовольство. К тому же выяснилось, что он чуть ли не безбожник: в церковь его не заманишь. И конечно же, как забыть, что он весьма далек от высшего общества. «Как жаль, что отец ваш — не джентльмен», — говорила она детям. Сама она продолжала поддерживать отношения с Ап-парком, постоянно переписывалась с Фанни Буллок и, пока жива была маленькая тезка бывшей хозяйки, получала от нее приглашения в гости. Разумеется, это необычайно поднимало ее в собственных глазах.

К сожалению, никак не в глазах окружающих. Откуда им было знать о ее аристократических связях? Не демонстрировать же письма из дворянского дома соседям и покупателям! А без этого она была для них всего-навсего сварливая жена Джозефа Уэллса, замечательного крикетиста, принесшего славу родному городу, человека, становившегося год от года все популярнее. Чем лучше относились к нему, тем хуже к ней. Близости с окружающими не было. Одни были недостойны ее дружбы, другие сами ее не искали. Делу это не могло не вредить: ведь бромлейские лавочники потому и держались на плаву, что старые клиенты сохраняли им верность. Это все были давние соседи, знавшие друг друга с детства. А Уэллсы были люди пришлые, корнями в местную почву не вросшие.

Одно трагическое событие еще усилило ее отчуждение. В 1864 году умерла от приступа аппендицита (или, как тогда говорили, «воспаления внутренностей») девятилетняя Фанни. Перед этим она побывала в гостях у соседей, и Сара заключила отсюда, что ее «чем-то не тем покормили». Она прониклась к этим соседям жгучей ненавистью и даже запретила домашним упоминать их имя.

За домом Уэллсов, на спуске к реке стояла небольшая церквушка, при ней было старинное кладбище с покосившимися памятниками. На нем появилась теперь могилка Фанни. Но разве так надо было укореняться в бромлейской земле?

Из дому Сара обычно выходила лишь в церковь и за покупками, которые от первой до последней можно было сделать на той же Хай-стрит. После смерти Фанни она постоянно пребывала в депрессии и вряд ли даже по-настоящему заметила, как изменился город за минувшие годы. Когда они переехали сюда, Бромли только-только оправлялся после тяжелых времен. Но «голодные сороковые», когда толпа, требуя отмены «хлебных законов», громила булочную на центральной площади города, были уже позади, население за пятидесятые годы выросло с четырех тысяч до пяти с половиной, вокруг города стали появляться богатые виллы, соломенные крыши сменялись черепичными, и город этот все труднее становилось спутать с деревней. В 1850 году в нем начала выходить первая газета, потом еще две, возникло литературное общество с библиотекой, именовавшее себя «Литературным институтом», а вслед за ним еще несколько литературных и дискуссионных кружков, были учреждены благотворительная организация, Ассоциация налогоплательщиков и «Ассоциация молодых христиан». Словом, в городе затеплилась общественная жизнь — в той, разумеется, форме, в какой это было характерно для викторианской Англии. Но и самое привлекающее, что было в нем от деревни, Бромли тоже еще не утратил. По берегам Рейвенсбурна сидели удильщики — речка была хоть небольшая, но чистая, и в ней водилась форель, — и не надо было далеко ходить, чтобы попасть в поля, окружавшие город.

Через центр города пролегла главная улица — Хай-стрит — со своими лавками, мастерскими, почтой и гостиницей Белла, от которой еще двадцать три года после открытия железнодорожной станции отправлялись в центр Лондона конные экипажи. Посреди этой улицы стоял дом за номером сорок семь, и в его стенах ежедневно заносила в дневник записи о своей погубленной жизни бывшая камеристка из поместья Ап-парк, все более окутывавшегося розовой дымкой воспоминаний. В этот же дом по вечерам — день ото дня позднее — возвращался любимец всей округи Джозеф Уэллс. А во дворе этого дома, между каменной уборной, сточной ямой и мусорным ящиком, играли два сына Уэллсов.

Скоро должен был появиться третий.

В субботу 21 сентября 1866 года сорокалетняя Сара Уэллс послала своего старшего сына, девятилетнего Фрэнка, за повивальной бабкой Эммой Харвей. Следом за ней явился и врач, мистер Морган. В половине пятого родился третий сын Уэллсов Герберт Джордж.

Правда, его еще долго называли Берти.

НАЧАЛО



Первые попытки сделать из него человека

Королева Виктория правила долго. Она вступила на престол в 1837 году и умерла в 1901-м, Уже сама по себе необычайная продолжительность этого царствования внушала почтительный трепет. В Италии сменилось три короля, в Испании — четыре, во Франции пали две династии, а на английском троне по-прежнему сидела королева Виктория, мать девяти детей, породнивших ее чуть ли не со всеми августейшими фамилиями Европы. Популярность ее была велика, хотя и завоевана не очень трудным путем. Пока жив был ее муж принц Альберт, она пользовалась его политическими советами, один из которых, самый, пожалуй, ценный, состоял в том, чтобы поменьше вмешиваться в политику. После его смерти Виктория сохранила о нем самую благодарную память и написала о нем две книги. Она и прежде уделяла большое внимание литературе и искусству, пренебрегая порой даже своими протокольными обязанностями. И сколь ни ожесточенная борьба политических интересов и личных самолюбий кипела вокруг нее, она сохраняла позицию некоторой отстраненности: она помнила, что олицетворяет нацию, а после дарования ей в 1876 году титула императрицы Индии — и всю Британскую империю. И это мало у кого вызывало сомнения. Нет, Англия поистине страна парадоксов: самая бездейственная личность века и была его главной фигурой.

И все-таки понятие «викторианства» во всей его полноте приложимо не ко всем шестидесяти четырем годам этого царствования. Викторианство — это имперская мощь, устойчивость моральных понятий и политических институтов, относительное социальное благополучие. Но можно ли сказать что-либо подобное о начале этого периода, явившегося и началом чартистского движения, или о сороковых годах, отмеченных страшным голодом в Ирландии, голодными бунтами в самой метрополии и тяжелейшей, так и не завершившейся тогда полной победой, борьбой против «хлебных законов», которые обрекали на постоянное недоедание «низшие классы», но зато приносили колоссальные прибыли земельной аристократии? Или о восьмидесятых годах, когда почва снова заколебалась и стало ясно, что слова «привычное» и «вечное» — отнюдь не синонимы?

Пятидесятые, шестидесятые, отчасти семидесятые годы только и были истинными викторианскими десятилетиями. Правда, и здесь не следует поддаваться гипнозу исторических обобщений. Диккенс создал все свои романы, начиная с 1837 года, когда исполненный оптимизма, веселья и иронии «Пиквикский клуб» словно бы отметил восшествие на престол королевы Виктории, и до 1870 года, становясь от романа к роману все суровее

и мрачнее. Викторианцем он был или антивикторианцем? Наверное, викторианцем: ведь он был любимым писателем королевы Виктории! Но каким антивикторианцем был Диккенс, если попробовать совместить его книги с лубочной картиной викторианского процветания!

Нет, подлинным викторианцем был все-таки не Диккенс. И даже не королева Виктория, на глазах которой как-никак «делалась политика» — та самая, которую французы называют «грязным ремеслом». Настоящей викторианкой была Сара Уэллс — законченное олицетворение массового сознания. Она, конечно, слыхом не слыхивала таких слов. Как и любой из лавочников, ее окружавших, — и тех, кто кичился перед ней, и тех, перед кем кичилась она. Но кто как не они были не только носителями массового сознания, но и массовой опорой существующего порядка? И где мог крепче угнеститься этот тип сознания, как не в мелкобуржуазном Бромли?

Именно в доме Сары Уэллс, на Хай-стрит, где расположились в ряд торговые заведения и мелкие мастерские, в городе Бромли, все больше превращавшемся в лондонский пригород, и появился на свет Берти, которому суждено было стать Гербертом Джорджем Уэллсом. Он родился в середине шестидесятых годов и прожил в этом доме, на этой улице, в этом городе первые тринадцать лет своей жизни, приходящиеся как раз на самый расцвет викторианства. Стоит ли удивляться тому, что он стал таким законченным антивикторианцем? Ибо только те крайние формы викторианства, которые он наблюдал в детстве и которые так упорно старались внушить ему, способны породить подобный протест.

Конечно, для этого требуется еще определенный характер.

Берти не был милым ребенком. Сколько мать ни рассказывала ему, каким ангелочком была его сестра, умершая за два года до его рождения, пример этот не вызывал у него страсти к подражанию. Он с криком и топотом носился по лестницам, пытался отнять приглянувшиеся ему игрушки у старших братьев и поднимал дикий рев, когда они прикасались к чему-то, что, считал он, принадлежало ему, кусался, лягался, как-то раз запустил вилкой во Фрэнка, да так, что у того всю жизнь оставался шрам на лбу, в другой раз кинул деревянную лошадку во Фреда, но промахнулся и всего лишь разбил окно. В конце концов братья, тоже не отличавшиеся мирным нравом, затащили его на чердак и принялись душить подушкой. Почему им не удалось довести дело до конца, Уэллс не мог понять даже на седьмом десятке. Что поделаешь, таким он появился на свет. Когда ему был всего месяц от роду, мать занесла в дневник: «Малютка очень беспокойный и утомительный» и немного погодя: «Никогда еще у меня не было такого утомительного ребенка». Его неприятности с религией начались уже во время крестин — по общему мнению, он вел себя безобразно. Как это должно было огорчить его мать!

Единственно что ее утешало, так это его успехи в учении. Здесь он все схватывал на лету, и в подготовительных классах миссис Нот, куда стал ходить в пятилетнем возрасте, он никому не доставил хлопот, тем более что мать уже успела позаниматься с ним чтением и письмом. (Как жаль, что ни миссис Нот, ни ее дочери мисс Сэмон, которая как раз и учила детей, так и не суждено было узнать, что на их чудом сохранившемся домике в 1984 году будет установлена мемориальная доска!) Передать Берти другие свои научные познания Саре тоже не стоило труда. Почему-то первым словом, которое он написал, было «масло». Ко всему прочему, он хорошо рисовал и легко заучивал стихи. Об этом знали даже соседи, хотя маленького Берти старались поменьше выпускать со двора, — а вдруг наберется нехороших слов? И, разумеется, его заранее предостерегали против «дурного общества». Особенно против «простонародья». Этих человеческих особенностей следовало остерегаться больше всего и во всем стараться быть на них непохожими. В том числе и в одежде. Дети Сары Уэллс ходили в аккуратных костюмчиках, очень стеснявших их во время игр. Снять пиджачок, однако, строжайше запрещалось — могло обнаружиться, что белье латанное-перелатанное. К сожалению, чем старше становились дети, тем труднее было удержать их в узком пространстве между уборной, выгребной ямой и мусорным ящиком. И как следует за всем присмотреть. Да и времени не хватало. Но Сара делала, что могла. И как бы они с возрастом ни менялись — не всегда к лучшему, — ее ни в чем нельзя было обвинить.

Само собой, Сара Уэллс прилагала все усилия к тому, чтобы укрепить своих детей в вере. С Берти это оказалось особенно трудно. Среди прочего Саре надо было поведать младшему сыну о рае и, к сожалению, об аде. При этом, надо отдать ей должное, она старалась не травмировать ребенка и слишком на последнем вопросе не задерживалась. Но не могла же она утаить от него правду и скрыть существование ада! У него же рассказы про адские муки вызывали столь яростный гнев против того, кто их изобрел, что мальчику грозила опасность вырасти богохульником. Чем дальше, тем больше очевидным становилось, что Берти не только ее сын, но еще и сын Джозефа.

«Одна из частей богослужения называлась литанией; в ней священник долго и с чувством перечислял все бедствия, какие только могут быть уготованы роду человеческому: войны, мор, голод, а паства то и дело прерывала его восклицаниями «Господи, помилуй!», хотя естественно было бы предполагать, что все эти проблемы скорее входят в компетенцию наших международных организаций и учреждений по здравоохранению и питанию, чем в компетенцию всевышнего. Затем священник, совершающий богослужение, переходил к молитвам за королеву и правителей, за урожай, за еретиков, за обездоленных и странников, находив-

шихся, насколько я мог понять, в крайне бедственном положении из-за преступной нерадивости святого провидения».

Какое счастье, что Сара Уэллс (она умерла 12 июня 1905 года) не могла прочесть этих слов! И, следует надеяться, ей не попала на глаза пародия на литанию в «Острове доктора Моро», написанном еще при ее жизни: ее ведь предупреждали в «школе для молодых леди» против чтения романов, а она была не из тех, кому только дай послушаться наставника. Что за богохульник вырос из ее сына! При том, как старалась она воспитать его в правилах христианства. Где было ей знать, что в данном случае лучше употребить слова «казенного христианства».

С королевой Викторией тоже вышла незадача. Сара Нил была так ею занята, что Берти возненавидел и ее, и все, что с нею было связано, — все эти пышные наряды, все эти великолепные замки, весь этот обязательный антураж. Он с ужасом ждал дней, когда мать в очередной раз потащит его захватывать местечко получше в толпе, собравшейся, чтобы поглазеть на королеву (чаще — просто на королевскую карету), проезжающую в Виндзор. И вообще, он не мог понять, почему Виктория, ее дети и, что главное, ее внуки, его ровесники, должны жить лучше, чем он и его родители. Они ведь, наверно, и едят что хотят, и одеваются как хотят, и вообще делают что хотят! Эта сторона дела, как-то ускользавшая от внимания его матери, еще больше усиливала ненависть Берти к королеве Виктории. Он потом сравнивал ее с пресс-папье, которое на полвека наложили на людские мозги. Его выручила тогда, считал он, обыкновенная зависть. Но Сара Уэллс, не ведая, что творит, сама ее подогревала.

Словом, Саре Уэллс не удалось сформировать духовный мир сына, как ей хотелось. Трудный оказался ребенок! И все же нельзя сказать, что Берти просто пропустил все, что она говорила, мимо ушей. В этом смысле ее усилия не пропали даром. Пусть необычным способом, но она воспитала безбожника и республиканца в те годы, когда в Англии их было не так уж много.

Ну а потом пришло время идти в школу.

В 1871 году в Англии специальным парламентским актом было введено всеобщее обязательное обучение, но Сара Уэллс, разумеется, не могла и подумать отдать сына в государственную школу, где он сидел бы в одном классе со всяким простонародьем. Бромли, слава богу, представлял возможность избежать этой опасности. В нем издавна существовала своя «Академия», владельцем которой первоначально был некий Роберт Бут Роуз, выделявшийся если не какими-либо особыми талантами, то, во всяком случае, своей наружностью. Существует предположение, что именно с него списал своего мистера Пиквика Диккенс. Двенадцать лет спустя он разорился. Бромли, впрочем, не остался без своей «Академии». Ее восстановил в том же 1849 году один из учителей

Роуза — Томас Морли. Средства у мистера Морли были весьма ограниченные, и вся его школа помещалась в одной большой комнате, бывшей посудомойне. Вдоль стен стояли обычные парты, а посреди комнаты еще две большие — на шесть человек каждая — и печка. В угол классной выходило окно спальни мистера и миссис Морли, и там же восседал на кафедре сам владелец «Коммерческой академии Морли» — дородный лысый мужчина с рыжими, тронутыми сединой бакенбардами и очками на носу, формой и цветом напоминавшем спелую клубнику. Рядом с ним помещалась огромная бутылка чернил, стопка грифельных досок и еще стояла не знавшая усталости трость, с помощью которой мистер Морли вершил правосудие. Она была, разумеется, не единственным орудием справедливости — в случае нужды в дело пускались линейки, книги и вообще все, что попадает под руку. Если же с подручными средствами возникали какие-то трудности, мистер Морли вынужден бывал прибегать к примитивному рукоприкладству. Цели при этом у мистера Морли были самые возвышенные: он мечтал воспитать своих учеников полными самоуважения и достоинства. Им предписывалось ходить в цилиндрах, свободного покроя сюртуках, повязывать белый галстук и почаще произносить слово «сэр». Время от времени в классной появлялась миссис Морли — толстая дама с кольцами на всех пальцах и золотой цепью на черном шелковом платье — присмотреть за самыми маленькими, но в основном ученики черпали премудрость из уст мистера Морли. С образованием у него самого дело поначалу обстояло не очень хорошо, но он всю жизнь старался его пополнить, ездил в «колледж наставников» и постепенно пришел к выводу, что ему не стоит преподавать те предметы, которых он сам не знает. Так, в проспекте, опубликованном в связи с открытием школы, было обещано уделять особое внимание истории древнего Египта, но двадцать пять лет спустя, когда в стены этого учебного заведения вступил Берти Уэллс, слово «Египет» в помещении бывшей посудомойни вообще не упоминалось. Одно важное для педагога качество у мистера Морли, впрочем, все же было: он обладал хорошим чувством языка и старательно прививал ученикам привычку к точному словоупотреблению. Уэллс за это всегда был ему благодарен. Французского, правда, он ему простить не мог, но, думается, был здесь излишне придирчив. Скорее всего, мистер Морли просто не знал, что не владеет этим языком. К тому же, проявляя такую суровость, Уэллсу следовало бы вспомнить о матери: как, должно быть, она гордилась, что ее сын учит французский, в котором ей самой было отказано!

Слово «Коммерческая» стояло в названии школы Морли без основания. В ней учили бухгалтерии, учету и высоко ценившейся тогда каллиграфии — пишущие машинки не получили еще широкого распространения. Но, хорошо или плохо обучали этим предметам, нам никогда не узнать. Конечно, «Коммерческую ака-

демию Морли» за долгие годы ее существования окончило множество молодых людей — классная вмещала от двадцати пяти до тридцати пяти учеников, — но лишь один из них оставил о ней воспоминания, а ему и бухгалтерия и каллиграфия не слишком пригодились.

От учителя и от учеников этой школы требовалось немало усердия. Занятия начинались в девять, шли до двенадцати, а потом опять с двух до пяти, и все эти часы надо было высидеть в душной, пыльной, зловонной комнате. Примерно половина мальчиков находилась на пансионе, еще несколько человек — дети окрестных фермеров — оставались в школе обедать. Если же, вспомнив о трости, прикинуть, каких затрат не только умственной, но и физической энергии требовал каждый рабочий день от этого уже не очень молодого шотландца, мистера Морли трудно не пожалеть.

Уэллс пробыл в «Коммерческой академии Морли» с 1874 по 1880 год — срок по тем временам немалый, — кончил ее в достаточно сознательном возрасте тринадцати лет, и к его суждениям об этой школе стоит прислушаться. Он, конечно, понимал, что учился в школе, весьма похожей на те, какие описывал Диккенс, но всячески старался сохранить объективность и сказать о Морли все хорошее, что только мог. «Коммерческая академия» была, считал он, все-таки лучше недавно учрежденных государственных школ, задача которых состояла в том, чтобы навсегда закрепить «простонародье» на низших ступенях социальной лестницы. Подобные школы, утверждал он, не были на самом деле демократическими. Они предназначались для низших классов, и их выпускники не имели никакой надежды выйтись в люди. А Морли хотя бы готовил хороших клерков. Притом он склонялся к радикализму и республиканизму, и его иногда «прорывало». Прочитав в газете, что парламент опять сделал к свадьбе денежный подарок тому или иному члену королевской семьи, он непременно высказывал в классе свое недовольство и постоянно возмущался излишними тратами на военные нужды. «Не от него ли отчасти я приобрел некоторые свои принципы?» — спрашивал себя Уэллс. К тому же Томас Морли сразу догадался, что маленький Берти — мальчик незаурядный, и выделял его. Конечно, стоило Берти не так взять ручку, и ему тут же, как и другим, доставалось линейкой по пальцам: у мистера Морли были твердые принципы. Но Уэллс, в отличие от прочих детей, никогда не слышал от него оскорблений. И какой-нибудь клички Морли не старался ему придумать...

Уэллс и в самом деле пришел в школу более подготовленный, чем его одноклассники. Тут не было бы счастья, да несчастье помогло.

Читать он, как говорилось, научился рано, но мать подсовывала ему «серьезные» книжки — в основном о божественном. Хорошо еще, что среди них оказалась такая замечательная вещь, как

«Путь паломника» Джона Беньяна — одно из основополагающих произведений английской прозы. Но по-настоящему он пристрастился к чтению благодаря чистой случайности.

За несколько месяцев до поступления в школу (его приняли в «Коммерческую академию» семи лет и девяти месяцев) Берти играл на крикетной площадке, и его заметил один из почитателей отца, сын владельца гостиницы Белла мистера Саттона. Этот юноша подбежал к мальчику и с криком «А ну скажи, чей ты?!» подбросил его в воздух, но не сумел поймать. Домой его пришлось отнести: он сломал большую берцовую кость. И тут Берти понял, как прекрасна жизнь! Он сразу стал в доме центром внимания. Миссис Саттон, в страшном смущении от промаха сына, заваливала его сладостями, фруктами, всевозможными яствами. Кое-что он попробовал тогда первый раз в жизни. Он мог требовать все, что хотел. Но прежде всего потребовал книги!

Выручило существование «Литературного института». Отец ежедневно приносил оттуда по книге. Приносила книги и миссис Саттон. И мальчик читал запоем. Нога начала срастаться неправильно, ее пришлось снова ломать. Но он этого словно бы и не заметил. Чтение теперь поглощало его целиком.

Мир для него необычайно раздвинулся. Он оказался необыкновенно велик и разнообразен. Сколько в нем притягательного и страшного! Посмотреть бы все это! Но хорошо все-таки, что Англия — остров и сюда не могут забрести русские волки или бенгальские тигры!

Работая над автобиографией (ему в это время шло к семидесяти), Уэллс, конечно, не мог точно припомнить те несколько десятков книг, которые он проглотил за время болезни, но в память ему запали «Естественная история» Вуда, какой-то двухтомник по географии, биография герцога Веллингтона, история гражданской войны в США и переплетенные комплекты «Панча» и другого тогдашнего юмористического журнала «Фан». Все это были книги для взрослых, но маленький Берти читал их без труда. Обычное детское чтение — Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма — привлекло его уже позже. Ибо серьезные взрослые книги разжигали его воображение ничуть не хуже книг, специально предназначенных для детей. К тому же они давали почву для размышлений. Уэллсу потом даже казалось, что именно в семилетнем возрасте в его сознании смутно забрезжила картина эволюции. Что же касается «Панча» и «Фана», то не от них ли пошли те забавные «рисункки», как он их называл, которыми он сопровождал, а порою и заменял свои письма, оставляя внизу место для одной-двух строчек? Эти два журнала, ко всему прочему, изобиловали политическими карикатурами, и Уэллс впоследствии не сомневался, что именно они начали формировать его политическое сознание.

Но, что самое важное, эти недели породили в нем никогда уже не оставившую его страсть к чтению и потребность с помощью

книг проникнуть в мир за стенами Атлас-хауса. Когда он выздоровел, родители попытались отучить его от этой вредной для здоровья привычки, но у них ничего не вышло. Уэллс уже вступил на свой путь, и тут его было не сбить. Так что молодого Саттона он потом называл «посланцем судьбы». «Если бы я не сломал тогда ногу, я, возможно, не был бы сейчас жив и не писал бы эту автобиографию, а давно бы уже умер измученным и выгнанным с работы приказчиком» — так оценивал потом Уэллс это событие своей жизни. В «Опыте автобиографии» он посвятил ему целую главу.

И как-то само собой получилось, что он начал писать. Уже после смерти в его бумагах обнаружилась им же самим иллюстрированная рукопись задорной пародии «Маргаритка в пустыне», где высмеивались короли, политики, генералы и епископы. В этом тринадцатилетнем авторе кое-что уже предвещало будущего Уэллса, хотя, следуя образцам литературы прошлых веков, он выдал себя за редактора, завершившего работу некоего Басса (домашнее прозвище Уэллса), которому пришлось удалиться в сумасшедший дом, где ему запретили заниматься литературой. В 1957 году «Маргаритка в пустыне» вышла в США как факсимильное издание.

Написал он ее, впрочем, уже в последний год своего пребывания в Бромли. В писатели его, разумеется, никто не готовил, но у Сары Уэллс были свои честолюбивые планы в отношении сыновей: ей хотелось сделать их приказчиками в мануфактурных магазинах. Эта сфера деятельности представлялась ей очень солидной, почтенной, сулившей обеспеченное будущее. Мануфактура, только мануфактура! Ни на что меньшее для своих детей она бы не согласилась. Тем более — для младшего сына. Несмотря на его недостатки, она его любила больше всех.

Старшие были уже пристроены. Особенно она радовалась за Фрэнка. Его карьера налаживалась. Какое утешение для матери! Кто мог ожидать, что этот забияка, предводитель местных мальчишек, опустошавших чужие сады и огороды, постоянный источник неприятностей для родителей, так успешно пройдет период ученичества и делается младшим приказчиком в мануфактурном магазине. И действительно, Фрэнк выдержал долго, целых пятнадцать лет. Но в конце концов ее ждало разочарование. Фрэнк был с детства большим искусником, руки у него были, что называется, золотые, и в один прекрасный день он бросил работу и сделался бродячим ремесленником. Он ходил по дорогам Сассекса и Хэмпшира, чинил людям часы, немножко приторговывал, болтал с прохожими и наконец-то получал удовольствие от жизни. У Фреда сложилось иначе. Он, по словам Уэллса, «среди всех нас был единственным хорошим мальчиком», и сначала судьба ему улыбнулась. Он стал приказчиком в небольшом городке Уокинэме, и дела его шли на редкость успешно. За несколько лет он скопил сотню фунтов и начал подумывать о собственном магазине. Это не были пустые мечтания. В отличие от братьев, он

обладал прекрасными деловыми качествами: быстрым и точным умом (он неизменно обыгрывал Герберта в шахматы), аккуратностью, безукоризненной честностью, умением нравиться людям. Еще бы годика три-четыре — и все было бы в порядке. Но вдруг ему не повезло. Его место понадобилось сыну хозяина, и его уволили. Он долго и безуспешно искал работу, вознамерился даже (на сей раз — от отчаянья) основать фирму «Братья Уэллс», но Герберту, которого он тоже привлек к этому плану, без труда удалось убедить его, что с их деньгами это невозможно. Это заставило его задуматься об эмиграции. В отличие от отца, он свое намеренье осуществил и, преодолев сопротивление матери, уехал в Кейптаун, где его уже ждало готовое место. В Южной Африке он завел со временем собственное дело и много лет спустя, когда ему уже шло к шестидесяти, вернулся в Англию богатым человеком. Здесь он женился, и у Герберта Джорджа появилась единственная племянница.

В 1880 году, когда Берти кончил школу, Сара Уэллс не могла еще, разумеется, знать ни о будущих неприятностях со старшими детьми, ни о благополучном исходе истории Фреда. Пока что все получалось как надо. Оставалось только позаботиться о судьбе младшенького. Откладывать это надолго было нельзя. Семья попала в тяжелое положение.

В октябре 1877 года Джозеф Уэллс решил подстричь дикий виноград у забора. Он принес скамейку, поставил на нее лесенку, залез на нее с садовыми ножницами, но потерял равновесие и упал. Было воскресенье, Сара с детьми ушла в церковь. Вернувшись, они застали отца на земле, громко стонавшего. Соседи помогли перенести его в спальню, вызвали врача. Обнаружился сложный перелом берцовой кости, и Джозеф остался хромым на всю жизнь. С крикетом было покончено. Вот когда Сара оценила своего непутевого мужа! Без его приработков семья чуть ли не голодала. Все наличные деньги ушли на гонорар врачу. По счету мистера Морли не могли заплатить в течение года. Когда Фрэнк сумел выкроить из своего нищенского жалованья полсоверена на то, чтобы купить Берти новые ботинки взамен старых, из которых тот вырос, мать расплакалась. Казалось, выхода нет. Но «бог даст день, бог даст пищу»...

В 1875 году умерла Мэри Энн Фетерстонхау, и Фанни Буллок, отныне — леди Фетерстонхау, вступила во владение поместьем. Управиться с хозяйством ей было не под силу. На то, чтобы убедиться в этом, ей потребовалось пять лет, но в конце концов, когда умерла старая домоправительница, ей пришла в голову мысль, что не получившееся у нее и у покойницы, может быть, удастся ее бывшей камеристке. В 1880 году она пригласила Сару на должность домоправительницы, и та за это предложение ухватилась. Оставив своего хромого мужа бедовать в Атлас-хаусе, она немедленно отбыла в свой родимый Ап-парк. Что ей было терять в Бромли?

Берти сам задумывается о своей судьбе

Когда Сара Уэллс завела переговоры о месте для сына, она еще не знала, что ее призовет к себе Фанни Буллок, и главной ее заботой было, чтоб ребенок не оставался без присмотра и жил по возможности неподалеку от дома.

В этом должен был помочь дядя Том, ее троюродный брат.

Дядя Том, или, если говорить уважительней, мистер Томас Пенникот, был человек безграмотный, что не помешало ему стать владельцем гостиницы в Виндзоре, а потом построить рядышком еще и другую, на берегу Темзы. Эта вторая гостиница «Шурли Холл» пользовалась во время каникул особой популярностью у итонских любителей водного спорта, и на ней были начертаны по-латыни, притом без ошибок, изречения, прославившие эту знаменитую закрытую школу. Дядина безграмотность не передалась по наследству его двум дочерям, помогавшим отцу по хозяйству, и они обладали даже некоторыми признаками интеллигентности. В доме было полное иллюстрированное собрание сочинений Диккенса и «Парижские тайны» Эжена Сю, казавшиеся одно время Берти вершиной мировой литературы. Дядя Том взял себе за правило (к сожалению, знавшее исключение) приглашать на праздники детей Сары Уэллс, и каждая такая поездка доставляла Берти большую радость. Кейт и Клара — им было лет по двадцать — много болтали с этим остроумным и занятым мальчиком, охотно с ним возились, и, хотя к воде его не подпускали (он научился плавать лишь в тридцать с лишним), это не слишком его огорчало: от книг его было не оторвать. В их же доме он пережил своего рода потрясение, когда увидел приехавшую сюда учить роль великую Эллен Терри в самом расцвете обаяния и красоты. Она была словно из другого мира. И еще ее навестил замечательный актер и режиссер Генри Ирвинг. Уэллс не удержится и расскажет потом об этом в своем «Билби»...

Повесть эту он написал уже много лет спустя, в 1915 году, но такие впечатления крепко западают в память, и стоит послушать, что испытал этот неприкаянный мальчишка Билби, так похожий во многом на Берти Уэллса, когда однажды к дому подъехал фургон, из него раздался чарующий голос, а потом и сама его обладательница явилась перед его взором, и «душа Билби мгновенно склонилась перед ней в рабской покорности. Никогда еще не видел он ничего прелестнее. Тоненькая и стройная, она была вся в голубом; белокурые, чуть золотящиеся волосы были откинута с ясного лба и падали назад густыми локонами, а лучезарнее этих глаз не было в целом свете. Тонкая ручка придерживала юбку, другая ухватилась за притолоку. Красавица глядела на Билби и улыбалась.

Вот уже два года, как она посылала свою улыбку со сцены всем Билби на свете. Вот и сейчас она по привычке вышла с улыбкой. Восхищение Билби было для нее чем-то само собой разумеющимся».

Этому детскому восхищению не помешало даже то обстоятельство, в викторианские времена не очень обычное, что эта небесная фея имела обыкновение после еды доставать сигарету и закуривать. Едва она обращалась к нему, у него перехватывало дух, он краснел и смущался...

Эллен Терри — фигура для английского театра почти легендарная. Это она, считали многие, придала блеск самым удачным спектаклям Генри Ирвинга, а ее Порция из «Венецианского купца» сразу же стала классикой. Ей, когда она совсем еще ребенком начала выступать на сцене, подарил свою «Алису в Стране Чудес» Льюис Кэрролл, она дала жизнь великому режиссеру Гордону Крэггу, обожавшему свою мать, и она же, старухой, предсказала будущность великого актера шестилетнему Лоренсу Оливье, не зная еще, что он окажется главным соперником ее внучатому племяннику Джону Гилгуду. Легко представить себе, сколько восторгов выпало на ее долю. Но вряд ли все они могут сравниться по свежести чувства с тем, что запечатлел на своих страницах за тринадцать лет до конца ее долгой жизни Герберт Уэллс.

Но пока что этот будущий великий писатель был всего лишь несчастным гостем своего состоятельного родственника, и он даже не проделал с Эллен Терри того путешествия, которым осчастливил своего юного героя. Он только наблюдал ее издалека. Да и о своем будущем не имел пока ни малейшего представления, хотя честолюбивые мечты и тогда его порою обуревали. Но, прояви он хоть немного здравомыслия (как хорошо, что он его в конце концов не проявил!), он бы понял, сколь тщетны подобные надежды. Всякий, с кем бы он ими поделился, без труда убедил бы его, что самое большое, о чем он может мечтать, это сделаться приказчиком в лавке. Если повезет — в хорошей. А уж если в мануфактурной!...

Здесь вся надежда была на дядю Тома.

Так вот как раз дядя Том и пристроил Берти в торговое заведение господ Роджера и Денайера, что находилось в Виндзоре, прямо напротив королевского замка, совсем неподалеку от его собственного обиталища. Думается, сделал он это без особого труда — в своей



округе он был человек влиятельный. Переговорив с соседями-мануфактурщиками, дядя Том прислал за Берти свою охотничью коляску, и, проделав недолгий путь, юный кассир и уборщик очутился в магазине Роджера и Денайера. Здесь ему предстояло работать, жить, столоваться. По узкой лестнице он поднялся в мужской дортуар, обнаружив там четыре койки и умывальник (спать он, значит, будет все-таки в отдельной постели!), осмотрел крошечную «гостиную» с огромным, до полу, окном, глядевшим на глухую стену, и освещенное газовыми рожками мрачное подвальное помещение с двумя длинными столами, накрытыми клеенкой. Это была столовая. И опять, как дома, в подвале! Назавтра, в полвосьмого утра, он должен был спуститься в торговый зал, протереть прилавки и витрины, съесть час спустя кусок хлеба с маслом и усесться за кассу. Получив деньги и дав сдачу, полагалось занести эти операции в приходно-расходную ведомость, пересчитать в конце дня деньги в кассе и сверить результат с ведомостью. Затем ему представлялась возможность немного размяться: подмести пол и помочь свернуть штуки материи. В полвосьмого был ужин. С восьми до половины одиннадцатого он был волен делать что вздумается, но помнить, что в этот час входная дверь будет заперта, а затем выключен свет.

И так изо дня в день — с полвосьмого до восьми, а потом точно отмеренные два с половиной часа, в течение которых разрешалось чувствовать себя человеком.

В эти часы он чуть ли не бегом бежал к Пенникотам, где Кейт и Клара знали, какой он умный мальчик. Им было интересно, что он говорил. Они пели ему, и он, исполненный восхищения, слушал их, сидя в уютной комнате с мягкими креслами и лампой под абажуром. Здесь к нему возвращалось самоуважение.



Фред и Фрэнк провели каждый на своем первом месте по четыре-пять лет. Берти с трудом хватило на месяц. Или, если быть правдивыми и беспристрастными, на месяц хватило терпения у хозяев. Он инстинктивно чувствовал, что если втянется во все это, то что-то в себе утратит, и работал из рук вон плохо, предпочитая все время о чем-то мечтать. От уборки отлынивал, как мог. С кассой творилось что-то непонятное. Сначала в ней оказывалось то больше денег, чем надо, то меньше. Потом установился некоторый порядок: изо дня в день неизменно обнаруживалась недостача. В ведомостях цифры никогда не сходились, заполнены они были безобразнейшим образом, и счетовод подолгу с ними мучился. И с ним тоже, тщетно пытаясь чему-то его научить. Перелгать вину на мистера Морли не следует. Берти просто не хотелось делать эту работу. Сама же она не делалась.

Постоянная нехватка денег в кассе была самым неприятным. Заподозрить его в нечестности было трудно: при нем никогда не было больше шести пенсов, отпускаемых ему в неделю на карманные расходы, он явно ни на что не тратился и делался все обтрепанней и обтрепанней, грозя в скором времени стать позором торгового заведения господ Роджера и Денайера. Правда, у одного из компаньонов промелькнула мысль, что тут не все чисто, но дядя Том так решительно с ним поговорил, что он к подобным идеям больше не возвращался. Если кто-то и запускал руку в кассу, то, во всяком случае, не юный Уэллс. Другое дело, что он предоставлял для этого неограниченные возможности любому желающему. Он то записывался почитать в уборной, то прятался с книжкой в рукавах за тюками нераспакованных тканей. Наверняка заставить его на рабочем месте можно было только при смене караула в Виндзорском замке: из кассы было удобнее всего глазеть в окно. Когда же он (обнаружив тем самым, что не обладает должным чувством собственного достоинства) подрался с младшим привратником и получил синяк под глазом, его песенка была спета. Хозяева объявили, что он не прошел испытательный срок, и сдали его с рук на руки дяде Тому. Надо сказать, они проявили при этом немалую добропорядочность. За обучение профессии приказчика полагалось платить пятьдесят фунтов — примерно столько, сколько составлял годовой доход Атлас-хауса. Но денег они не взяли. Впрочем, не очень понятно, кто бы их дал.

Снова надо было искать место для Берти. Отец попытался устроить его банковским клерком у своего бывшего крикетного клиента, но, как всегда, потерпел неудачу и дальнейшей активности не проявлял. Саре тоже казалось, что ее возможности исчерпаны.

И тут возник «дядя Уильямс».

Альфред Уильямс не был из кровной родни — он был женат на сестре дяди Тома (но, как пояснит Уэллс в «Тоно-Бенге», «в викторианскую эпоху у людей средних классов было принято всех старших родственников из вежливости звать „дядями“»).

Значительную часть своей жизни он провел за пределами Англии, так что в семье его знали не очень хорошо. Совсем недавно, вернувшись из Вест-Индии, с Ямайки, где он работал учителем, Уильямс получил в свое распоряжение школу, основанную согласно закону о всеобщем обязательном обучении в соммерсетширской деревне Вукей. Туда он и взял своего юного родственника в качестве «практиканта». После издания закона 1871 года выяснилось, что учителей не хватает, и подобного рода «практиканты» после четырех лет работы в школе и дополнительного года стационарного обучения допускались к экзаменам на звание учителя младших классов. Срок практики можно было сократить, сдавая в ходе ее экзамены в «Колледже наставников»; Уильямс надеялся, что Берти уже года через два станет полноправным учителем.

К сожалению, сам он ровно никаких прав не имел. При первой же проверке обнаружилось, что бумаги свои он подделал, и его с позором прогнали. Нельзя сказать, что это слишком его огорчило. Он нашел дело повыгоднее — вступил партнером в фирму по производству школьного оборудования, внося вместо капитала свой патент на усовершенствованную парту: в этой парте чернильницы, как это с тех пор и повелось, не стояли сверху, а были погружены в специальные углубления. В этой фирме Уильямс и остался, перейдя, правда, позже на положение клерка. Он слишком легко тратил деньги. Возможно, не только свои, но и чужие.

С уходом «дяди» Уильямса не к чему было оставаться и Берти, но к тому времени он уже три месяца исполнял, как мог, учительские обязанности, обучая деревенских мальчишек чтению и заставляя их заучивать исторические даты, географические названия и таблицу мер и весов. Трудность состояла в том, что многие мальчишки были выше него ростом, сильнее, горластее, и поскольку он знал лишь один, заимствованный у мистера Морли, способ поддерживать дисциплину, она никогда не находилась на должной высоте. Порой ее уровень понижался настолько, что с учителем случались приступы дикой ярости, по всему классу сыпались оплеухи, а однажды он выскочил из класса вслед за непослушным учеником, погнался за ним через всю деревню и уже настиг его возле дома, когда в дверях возникла разгневанная мамаша и погнала его самого назад, к школе. И туда и обратно за учителем с криками неслись весь класс. «Дядя» Уильямс редко давал какие-либо указания или советы своему ассистенту, но тут сделал ему замечание. «У тебя не хватает такта», — сказал он. Это и был первый (но, увы, не последний) случай, когда Уэллс подобное о себе услышал.

Так выглядело приобщение Уэллса к педагогике.

Но опыт, приобретенный им в Соммерсетшире, этим не ограничился. Ему много дало общение с Альфредом Уильямсом.

Уильямс был убежденный мошенник. Он знал за собой эту слабость, но считал, что мир и не заслуживает лучшего отно-

шения. Человек он был, безусловно, неглупый, взгляды имел независимые, все вокруг одарял насмешкой, и Берти вдруг понял, что спастись от действительности, когда она становится невыносимой, можно, не только уйдя в область мечтаний, как случилось с ним в магазине, но и посмеявшись над ней. Уэллс-юморист родился именно в этой захолустной деревушке во время долгих бесед со своим говорливым и острым на язык наставником. Он всегда вспоминал его с благодарностью.

У Герберта Уэллса все шло в дело, и каждый занятный человеческий тип, им когда-либо встреченный, непременно обретал новую жизнь на страницах его книг, хотя бы как эпизодический персонаж. Альфред Уильямс удостоился этой чести дважды. В первый раз он возник бледной тенью в сборнике его ранних очерков «Избранные разговоры с дядей» (1895), второй раз, пять лет спустя, в романе «Любовь и мистер Льюишем» (1900). В романе портрет получился уже много рельефнее и правдивее. С мистером Чэффери студент Льюишем впервые сталкивается на спиритическом сеансе, где того разоблачают как мошенника. И вдруг он узнает, что, женившись, оказался с ним в родстве: его Этель — падчерица, а отчасти и помощница этого прохиндея! Но встречи между ними теперь неизбежны, и постепенно Чэффери перестает казаться недавнему максималисту чудовищем и злодеем. Даже когда Чэффери, сбежав с любовницей и прихватив заодно состояние самого доверчивого из своих клиентов, оставляет на руках у Льюишема, и так живущего, что называется, из рук в рот, еще и свою брошенную жену, тот неспособен по-настоящему вознегодовать: уж больно много ума и неподвластности предрассудкам выказал этот человек! Жаль только, что он относит к числу предрассудков уважение к чужому имуществу.

Трудно определить, какие изречения Чэффери слетели с уст Альфреда Уильямса. Легче, пожалуй, заметить, какие были произнесены до него. Так, рассуждение о костюме, который «делает человека», это не более как краткое резюме первой части книги Томаса Карлайла (1795—1881) «Сартор Резартус» (1836). Можно, думается, найти и другие источники. Так что, скорее всего, литературный герой заимствовал у своего прототипа всего только стиль мышления. Но, в конце концов, и этого достаточно. Никто из героев Уэллса не обладает таким парадоксалистски смелым складом ума. «Видите ли, — поучает Чэффери своего новоприобретенного родственника, — я думаю, вы несколько приуменьшаете значение иллюзии в жизни, истинную природу лжи и обмана в человеческом поведении... Я же готов утверждать, что честность, по существу, является в обществе силой анархической и разрушающей, что общность людей держится, а прогресс цивилизации становится возможным только благодаря энергичной, а подчас даже агрессивной лжи, что Общественный Договор — это не что иное, как уговор людей между собой лгать друг другу и обманывать себя и других ради общего блага». Конечно, Оскар

Уайлд написал свой «Упадок искусства лжи» (1889) до уэллсовского «Мистера Льюишема». Не являются ли в таком случае рассуждения Чейфери социологизированным вариантом парадоксов Уайлда? Что ж, очень может быть. Но дорогу к Уайлду вымостил для Уэллса своей праздной болтовней самозванный деревенский учитель.

Впрочем, когда в декабре 1880 года Берти препроводили обратно в Шурли-холл, он, вероятно, меньше всего думал о том, сколько пользы принес ему Альфред Уильямс. Скорее, наоборот. Да и обстановка в семье дяди Тома была уже не такая безоблачная, как за несколько месяцев до того. Кейт и Клара пытались устроить свою судьбу согласно собственным представлениям и симпатиям, и в доме назревала трагедия. Клару Берти по возвращении уже не застал: она бежала в Лондон с любовником. Через четыре года она вновь появилась в Шурли-холле, покинутая, бесприютная. Но отец ей ничего не простил, и однажды ночью она выскочила из дому в одной рубашке и утопилась. У Кейт шли скандалы с отцом. Выйдя вскоре, вопреки его воле, замуж, она сразу же покинула родные места. Прожила она тоже недолго. На Томаса Пенникота надвигалось разорение, он помрачнел, рассуждал о божественном промысле, но судьба больше уже не улыбнулась ему. Он не сумел погасить кредит, полученный на постройку Шурли-холла, потерял все, что нажил, и умер. Исчез еще один дом, который Уэллс начинал считать почти что родным. И предвестия этого ощущались уже сейчас.

В создавшейся обстановке Саре тем более неудобно было надолго оставлять сына у родственников, но и взять его к себе без согласия хозяйки тоже было нельзя. Наконец, уже под Рождество, она решилась попросить разрешения, и тридцать с лишним лет спустя после того, как в Ап-парке появилась розовощекая и голубоглазая камеристка Сара Нил, в те же ворота вошел усталый, грязный и голодный с дороги сын домоправительницы Сары Уэллс. Ему отвели крохотную спальню в мансарде, но большую часть времени он проводил в ее двух комнатах в полуподвале, где на пятчасовый чай собирались все старшие слуги. Несколько раз приходилось его там запирать: он, например, как-то взял духовой пистолет и прострелил чуть выше копыта заднюю ногу лошади на одной из картин в галерее. Но обычно он доставлял окружающим более безобидные развлечения. Когда на Рождество Ап-парк оказался почти на две недели отрезан от остального мира снежными заносами, он принялся издавать для прислуги ежедневную рукописную юмористическую газету «Ап-парковский паникер». Он соорудил также теневой театр и показывал там какую-то пьесу собственного сочинения.

Ему нетрудно было оценить место, где он теперь жил. Он не просто переселился из подвала Атлас-хауса в полуподвал Ап-парка — он попал в иной мир. Он никогда не бывал в музеях, и ап-парковская картинная галерея, собрание репродукций картин Хо-

гарта и ватиканских работ Рафаэля и Микеланжело, виды столиц Европы, запечатленные в 1780 году, и подробный географический атлас XVIII века, где на карте Голландии красовался рыбак с лодкой, Россия была представлена казаком, а Япония — удивительными людьми в одежде, похожей на пагоды, — все это было для него настоящим открытием. В мансарде, рядом со своей комнатой, он нашел разобранный телескоп сэра Мэтью, собрал его и начал наблюдать звездное небо, прибегая к помощи найденного неподалеку пособия по астрономии. Какой восторг он испытал, поймав наконец в объектив Юпитер с его спутниками! Он почувствовал себя новым Галилеем. В той же мансарде обнаружилось целые залежи книг, вышедших за пределы понимания наделенной титулом, но, увы, в получившей образования владелицы Ап-парка. Сына домоправительницы они, напротив, заинтересовали необычайно.

«Книги, хранившиеся в тесной ветхой мансарде, были, очевидно, изгнаны из салона в период викторианского возрождения хорошего вкуса и изощренной ортодоксальности, и моя мать не имела о них ни малейшего представления, — вспоминал потом Уэллс. — Именно поэтому мне удалось ознакомиться с замечательной риторикой «Прав человека» и «Здорового смысла» Тома Пейна — отличных книг, подвергшихся злобной клевете, хотя до этого их хвалили епископы. Здесь был «Гулливер» без всяких сокращений; читать эту книгу в полном виде мальчику, пожалуй бы, и не следовало, но особого вреда в этом, по-моему, нет, и впоследствии я никогда не жалел об отсутствии у меня щепетильности в подобных вопросах. Прочтя Свифта, я очень разозлился на него за гуингнмов, и лошади мне потом никогда не нравились.

Затем, припоминая, я прочел перевод вольтеровского «Кандида», прочел «Расселаса» и вполне убежден, что, несмотря на огромный объем, от корки до корки, — правда, в каком-то одурении, заглядывая по временам в атлас, — осилил весь двенадцатитомный труд Гиббона.

Я разохотился читать и стал тайком совершать налеты на книжные шкафы в салоне. Я успел прочитать немало книг, прежде чем мое кошунственное безрассудство было обнаружено... Помнится, в числе других книг я пытался осилить перевод «Республики» Платона, но нашел его неинтересным, так как был слишком молод. Зато «Ватек» меня очаровал. Например, этот эпизод с пинками, когда каждый обязан был пинать!..

Каждый рейд за книгами был сопряжен с большими опасностями и требовал исключительной смелости. Нужно было спуститься по главной служебной лестнице, но это еще дозволялось законом. Беззаконие начиналось на маленькой лестничной площадке, откуда предстояло прокрасться через дверь, обитую красной байкой. Небольшой коридор вел в холл, и здесь нужно было произвести рекогносцировку, чтобы установить местонахождение старой служанки Энн (молодые поддерживали со мной

дружественные отношения и в счет не шли). Выяснив, что Энн находилась где-нибудь в безопасном для меня отдалении, я быстро перебежал через открытое пространство к подножию огромной лестницы, которой никто не пользовался с тех пор, как пудра вышла из моды, а оттуда — к двери салона. Устрашающего вида фарфоровый китаец в натуральную величину принимался гримасничать и трясти головой, отзываясь даже на самые легкие шаги. Наибольшую опасность таила сама дверь: двойная, толстая, как стена, она заглушала звуки, так что услышать, не работает ли кто-нибудь в комнате метелкой из перьев, было невозможно.

Со страхом блуждая по огромным помещениям в поисках жалких крох знаний, разве я не напоминал чем-то крысу?

Я помню, что среди книг в кладовой обнаружил и Плутарха в переводе Ленгорна. Сейчас мне кажется удивительным, что именно так я приобрел гордость и самоуважение, получил представление о государстве, о том, что такое общественное устройство; удивительно также, что учить меня этому пришлось старому греку, умершему восемнадцать веков назад».

Конечно, и кроме Плутарха было кому учить его, что такое общественное устройство. Его учили этому все, с кем он сталкивался, и все ситуации, в которые он попадал. Его учили этому в Атлас-хаусе, в «Коммерческой академии Морли», даже в мануфактурном магазине господ Роджера и Денайера, хотя свой месяц у них он провёл как во сне. А «дядя» Уильямс? Справедливо ли забыть Альфреда Уильямса? Да и Ап-парк учил его все тому же.

К своим впечатлениям от этого поместья Уэллс возвращался всю жизнь, и, естественно, на первый план выступала то одна, то другая их сторона. Ап-парк оскорблял его гордость — Берти ведь был из людей, живущих «под лестницей». Хуже того, Ап-парк был пережитком прошлого, уродующим настоящее.

«Как-то, бродя по Рочестеру, я мельком взглянул на раскинувшуюся за городом долину Стоура; ее цементные заводы, трубы которых изрыгали зловонный дым, ряды безобразных, закопченных, неудобных домишек, где ютились рабочие, произвели на меня удручающее впечатление. Так я получил первое представление о том, к чему приводит индустриализм в стране помещиков...»

Но тот же Ап-парк воплощал устойчивость, которой была лишена его собственная жизнь, традиционную культуру, к которой ему стоило таких усилий пробиться, в каком-то смысле — даже науку, ибо Королевское общество было создано такими, как сэр Мэтью, джентльменами, избавленными от изнурительного, отупляющего труда и вместе с тем, поскольку они управляли своими поместьями, не потерявшими контакта с реальностью.

Живая картина Ап-парка с годами не сглаживалась, напротив, становилась отчетливее. Образ этого поместья все время витал где-то в бромлейской лавке — разве могла Сара Уэллс забыть эти счастливые годы и не поделиться своими воспоминаниями с сыном? — и теперь, когда Ап-парк во всей своей красоте и вели-

чий возник перед глазами этого подростка, он навсегда врезался в его память. И вместе с тем Ап-парк все больше делался для Уэллса каким-то символом. Он олицетворял для него сразу и утопию и социальное неравенство, мешающее приходу этой утопии. А также косность, столь же для него неприемлемую.

Так в картину мира, постепенно вырисовывавшуюся перед глазами Уэллса, вписался Ап-парк.

Его ученью, впрочем, предстояло еще продолжиться.

Несколько недель спустя после появления Берти в Ап-парке мать нашла ему новое место, на сей раз в своем родном Мидхерсте, всего в нескольких милях от Ап-парка. В Мидхерст Берти попал впервые, и этот тихий и скучный городок сразу произвел на него очень хорошее впечатление, особенно после Бромли, казавшегося ему беспорядочным скоплением домов. Это впечатление и потом ему не оставило. Ему нравились живописные, чистенькие улицы, вымощенные брусчаткой, неожиданные повороты и закоулки, парк, примыкавший к городу. Центром этого уютного мирка для него стала аптека. Здесь ему предстояло работать помощником провизора — раскатывать и нарезать тестообразную массу для таблеток, отпускать посетителям патентованные лекарства, стирать пыль с прилавка, а также с установленных по обычаю в витрине синей, желтой и красной бутылей, и с пристроившейся рядом с ними белой гипсовой лошади, обозначающей, что в аптеке имеются ветеринарные снадобья, и с бюста Самуэля Хансмана, основателя гомеопатии. Хансман служил тем же рекламным целям, что и белая лошадь.

В аптеке Берти понравилось. Работа его не тяготила, общаться с аптекарем и его милой, веселой женой доставляло одно удовольствие. К тому же ущерб, который он нанес своему нанимателю, был на сей раз невелик; он всего лишь разбил дюжину сифонов для содовой воды, когда затеял шутливое сражение на метелках с мальчишкой-рассыльным. В дальнейшем Уэллсу предстояло выучиться на аптекаря, и эта перспектива показалась ему столь заманчивой, что он решил поскорее разузнать, с какими мероприятиями и расходами это связано. Собранные им сведения оказались неутешительными. Плата за обучение фармацевтике была так велика, что ясно было — матери этого не осилить. Сама же она как-то забыла об этом осведомиться. Остаться на всю жизнь подручным не имело смысла, и шесть недель спустя после поступления в аптеку Берти с нею расстался.

Но не с Мидхерстом.

Фармацевтика требует знания латыни, и Берти вскоре после поступления на работу начал посещать местную «грамматическую школу» и обучаться этому языку. До ухода из аптеки он успел посетить всего четыре или пять занятий, но все равно произвел своим рвением и способностями большое впечатление на учителя, который сам и руководил школой. Ему тем более захотелось помочь этому одаренному подростку, что и сам имел бы в резуль-

тате известные выгоды. Только что была введена система, согласно которой директор школы получал денежное вознаграждение за каждый успешно сданный экзамен по естественным дисциплинам, и мистер Хорэс Байат, как звали нового наставника, не сомневался, что Уэллс принесет ему не одни только душевные радости. Он взял его, разумеется, за известное вознаграждение, на пансион в свой дом, и с конца февраля 1881 года до прохождения экзаменов Уэллс опять мог пополнять свое образование. К сожалению, и этот период ограничился всего лишь шестью неделями. По истечении их он сдал экзамены по физиологии и еще одному тогдашнему предмету — физиографии, дававшей представление сразу о нескольких науках, включая геологию и астрономию, и ненадолго вернулся в Ап-парк, где мать сообщила ему, что успела уже позаботиться о его дальнейшей судьбе. Она поговорила с сэром Уильямом Кингом, который вел юридические и финансовые дела Ап-парка, и тот выхлопотал Берти место младшего ученика в крупной мануфактурной фирме в Саутси. За обучение надо было заплатить те же пятьдесят фунтов, но сделать это можно было в рассрочку. К тому же здесь открывались лучшие возможности продвижения по служебной лестнице, нежели в Виндзоре.

И все равно Берти взбунтовался. Он уже представлял себе, что такое мануфактурная торговля, и ужедохнул свободы, позволявшей с утра до ночи сидеть за книгами. Сара плакала, умоляла. В конце концов пришлось подчиниться: у него не было выбора. В мае 1881 года он прошел испытательный срок, в июне был подписан договор на четыре года. Уэллс воспринял его как приговор. К этому времени он уже отбыл месяц, но знал: это лишь первый срок. Впереди маячило пожизненное заключение.

А ведь условия здесь были лучше, чем у господ Роджера и Денайера. Столовая не в подвале, в комнатах для приказчиков чисто, кровати в дортуаре разделены перегородками, и в каждом таком «боксе» — шифоньер, вешалка, стул. Эдвин Хайд, хозяин фирмы, вообще принадлежал, по словам Уэллса, к очень редкой в ту пору породе цивилизованных нанимателей. Он даже создал при главном магазине библиотеку из нескольких сотен книг, в основном — из романов Безанта, миссис Брэддон, Райдера Хаггарда, Мэри Корелли и других авторов. Сегодня, за одним-двумя исключениями, даже знание их имен требует большой литературоведческой эрудиции, но в конце прошлого века писатели эти пользовались немалой известностью и удовлетворяли культурные запросы не одних только провинциальных приказчиков. Уэллс, впрочем, этих книг не читал. Его рабочий день продолжался тринадцать часов. И он не мог позволить себе тратить время на беллетристику. К счастью, среди книг, собранных мистером Хайдом, попался популярный очерк философских систем; другие подобного рода издания тоже как-то удавалось доставать. Продолжал он и свои занятия латынью. Знание этого языка

было для него символом приобщения к образованному обществу.

Теперь он уже не так пренебрегал своими обязанностями, как в Виндзоре. Он успел послушаться страшных рассказов о безработных приказчиках, согласных наняться в такие места, перед которыми даже ненавистная виндзорская лавка казалась райским уголком, и его подстегивала боязнь очутиться в подобном положении. Но, видно, у него в самом деле не было способностей к торговле мануфактурой. Правильно свернуть штуку материи оставалось для него непосильной задачей, покупки он завертывал и завязывал так, что вряд ли их удавалось донести в целости и сохранности до дому, и управляющий, поглядывая на него, то и дело произносил в изумлении: «Ну и ну!» При этом Берти, конечно же, не слишком себя утруждал. Если он во что-то и вкладывал душу, то отнюдь не в торговлю. Он по-прежнему не упускал случая спрятаться где-нибудь и почитать. Больше всего его раздражало, что работа была суетливая, мешавшая сосредоточиться на какой-либо собственной мысли. Правда, в качестве младшего ученика он ходил за мелкими покупками для постоянных клиентов, если в магазине не было нужных товаров, и, само собой разумеется, старался затянуть эти экспедиции, сколько мог. Но годом позже в магазин взяли нового младшего ученика. Уэллс повысился в ранге и лишился возжеленной возможности оставаться наедине с самим собой.

К тому же он остро ощущал свою социальную неполноценность.

Тринадцать лет спустя, давно уже вырвавшись из этого рабства, он устами первого же из своих героев-приказчиков рассказал, что думает о подобной профессии:

«Ремесло это не очень честное и не очень полезное; не очень почетное; ни свободы, ни досуга — с семи до полдевятого, каждый день. Много ли человеку остается? Настоящие рабочие смеются над нами, а образованные — банковские клерки, или те, что служат у стряпчих, — эти смотрят на нас сверху вниз. Выглядишь-то ты прилично, а, по сути дела, тебя держат в общежитии, как в тюрьме, кормят хлебом с маслом и помыкают, как рабом. Все твоё положение в том и состоит, что ты понимаешь, что никакого положения у тебя нет. Без денег ничего не добьешься; из ста продавцов едва ли один зарабатывает столько, чтобы можно было жениться; а если даже он и женится, все равно главный управляющий захочет — заставит его чистить ботинки, и он пикнуть не посмеет. Вот что такое приказчик».

Надо сказать, что положение Уэллса было в известном смысле хуже, чем у героя «Колес фортуны» (1896), произнесшего этот монолог. Он, в отличие от Хупдрайвера, был от природы наделен незаурядным умом и способностями, понимал, что его место — не в мануфактурной лавке, но как было убедить в этом отца и мать? И куда податься?

На втором году ученичества у него все-таки созрел определенный план. Он решил добиться от Хореса Байата, своего учителя из Мидхерста, чтобы тот взял его «практикантом». Потом — он был в этом уверен — можно будет двинуться дальше. Но задача оказалась сложнее, чем думалось. Байат согласился, более того, предложил ему должность младшего учителя, но поставил условием, что первый год не будет платить ему жалованья. Это значило, что придется жить на материнские деньги. Она же никак не могла понять, чего ради идти на такие жертвы. Разве не заплатила она уже сорок фунтов мистеру Хайду? Что ж теперь этим деньгам — пропадать?

Уэллс написал отцу, и тот сперва с энтузиазмом его подержал. Но потом испугался трат и принялся его отговаривать с еще большим рвением, чем мать.

Герберт продолжал писать матери письма — деловые, умоляющие, озлобленные, грозился самоубийством. Ничего не помогало. Наконец он не выдержал и ранним воскресным утром двинулся в путь. Отшагав семнадцать миль (около часа езды на поезде!), он появился в Ап-парке.

«Я выбрал кратчайший путь... и решил пересечь парк, чтобы перехватить возвращающихся из церкви людей, — писал он в «Тоно-Бенге». — Мне не хотелось попадаться им на глаза, пока я не увидаюсь с матерью, и в том месте, где тропинка проходит между холмов, я свернул с дорожки и не то чтобы спрятался, а просто встал за кустами...

Странное чувство испытывал я, стоя в своей засаде. Я воображал себя дерзким разбойником, отчаянным бандитом, замыслившим налет на эти мирные места. Впервые я так остро чувствовал себя отщепенцем, и в дальнейшем это чувство сыграло большую роль в моей жизни. Я осознал, что для меня нет и не будет места в этом мире, если я сам не завоюю его.

Вскоре на холме появились слуги, которые шли небольшими группами: впереди — садовники и жена дворецкого, за ними две смешные неразлучные старухи прачки, потом первый ливрейный лакей, что-то объяснявший маленькой дочке дворецкого, и наконец моя мать в черном платье; с суровым видом шагала она рядом со старой Энн...

С мальчишеским легкомыслием я решил превратить все в шутку. Выйдя из кустов, я прокричал:

— Ку-ку, мама! Ку-ку!

Мать глянула на меня, побледнела и схватилась рукой за сердце...»

И все-таки в этот раз ему удалось добиться от матери лишь обещания как следует все обдумать... Оставалось продолжать осаду.

Первым дрогнул Хорес Байат. Он сообразил, что молодой учитель сумеет покрыть расходы при помощи премий, которые школа получит за экзамены, успешно сданные его учениками

в «Колледже наставников», и согласился платить ему в первый год двадцать фунтов, а начиная со второго — и все сорок. Чтобы прокормиться и заплатить за жилье, нужно было тридцать пять фунтов. Неужели мать откажет ему в жалких пятнадцати фунтах?

Она согласилась. Мистер Хайд просил Уэллса не уходить, пока не кончится летняя распродажа, но тот наотрез отказался. До начала занятий в школе оставался месяц, и его можно было посвятить чтению!

И вот он уже в поезде на Петерсфилд, с остановкой в Мидхерсте. В купе кроме него ни души, выдавший виды верный его саквояж валяется на сиденье напротив. И вдруг будущий младший учитель обнаружил, что пляшет и с торжеством поет какую-то дичь на мотив «Нам не страшен серый волк»:

Чертов парень убежал, убежал, убежал!

Чертов парень убежал, убежал навек!

3

«Мистер Уэллс»

До начала занятий оставался еще целый месяц, но все было давно договорено, и Уэллс даже знал, где и с кем будет жить. Школа за два года его отсутствия успела разрастись. В ней было теперь шестьдесят учеников — в два раза больше, чем прежде. Было построено здание, где жил со своей семьей Хорес Байат и размещалось двадцать пенсионеров, наняты два новых учителя. С одним из них, по фамилии Хэррис, Уэллс снимал мансарду над кондитерской миссис Уолтон — двенадцать шиллингов в неделю на полном пансионе, — но Хэррис должен был вернуться лишь к первому сентября, и пока что новый учитель был у себя полным хозяином. Он наслаждался одиночеством, которого два последних года был лишен, тихими улочками и уютным парком любимого им Мидхерста, обильной и вкусной пищей. Миссис Уолтон, энергичная круглолицая кареглазая женщина в очках, любила готовить и от души радовалась, наблюдая, с каким энтузиазмом новый жилец поглощает ее завтраки, обеды и ужины.

Жильцу этому было восемнадцать лет, и звали его мистер Уэллс. «Берти» — так учителей не зовут. Даже младших. Но и для себя самого Уэллс перестал быть Берти. Последний раунд его борьбы за место под солнцем был таким напряженным и требовал от него такой концентрации сил, что Берти и в самом деле куда-то исчез. На его место явился Герберт Джордж. Можно ли было назвать его взрослым человеком? Пожалуй, нет. Не больше, чем любого другого восемнадцатилетнего юношу. Но он с честью выдержал испытание, закалил свою волю, понял, что способен преодолевать жизненные преграды, и готовился преодолеть все — сколько их перед ним ни возникнет.

Он вставал в пять утра, устраивался за письменным столом, роль которого исполнял большой желтый ящик (в другом таком ящике постепенно возникала его библиотека), и принимался за дело. До восьми он успевал уже поработать три часа. И совершенно так же использовался каждый просвет, возникавший на протяжении дня, даже когда уже начались занятия в школе. Над ящиком-библиотекой висела программа его будущих научных и литературных успехов (в литературной области были, правда, пока запланированы лишь «брошюры либерального направления»), а по комнате были развешаны изречения: «Знание — сила» (афоризм Фрэнсиса Бэкона), «Что сделал один, способен сделать другой», «Тот, кто желает управлять другими, должен прежде всего научиться управлять собой». Последнее звучало как призыв, изначально адресованный не кому иному, как самому Уэллсу. Пока что это давалось ему без большого труда. Увлечение порождало усердие. Кроме этапов на пути к будущему величию, на другом листке были размечены и более непосредственные планы. В определенные часы — не исключая обеда — положено было заниматься латынью, французским, Шекспиром и несколькими естественными и точными науками. Когда вернулся после каникул Хэррис, они начали — тоже, разумеется, согласно точному расписанию — совершать часовые прогулки по парку, во время которых Уэллс излагал коллеге свои научные и житейские идеи. Шли они всегда таким быстрым шагом, что бедняга Хэррис еле успевал переводить дыхание и все удивлялся, как Уэллс ухитряется еще говорить без умолку.

В этом восемнадцатилетнем юноше, дорвавшемся наконец до вожаемой возможности развивать свой ум и душу, все теперь вызывало удивление. И не у одного только Хэрриса. Байат быстро понял, что сделал правильный выбор. Новый учитель на лету ловил его советы и неплохо подменял его в младших классах. К тому же, что важнее, он целиком взял на себя вечерние классы, которые сулили денежные награды за успешно сданные экзамены по естественным и точным наукам. Сам Байат не имел обо всей этой премудрости никаких представлений и, хотя считал своим долгом присутствовать на уроках, занимался там своими делами — исправлял сочинения, писал письма. Уэллс тоже не блистал большими познаниями в науке, но, готовясь к урокам, приобретал их так быстро, словно изучал эти предметы всю жизнь. Недавний «аршинник», глядя на которого управляющий приговаривал: «Ну и ну!», очутившись в своей стихии, оказался превосходным работником. Он мог быть доволен собой — он ведь сам, без чужой подсказки, догадался, к чему у него лежит душа и есть способности.

Мучило его только одно — уже сейчас, на первом этапе, пришлось в чем-то поступиться своими убеждениями.

За два года, проведенные в мануфактурном магазине, у него была возможность проверить свое отношение к религии. Люди,

его окружавшие, вышли в основном из тех же социальных слоев, что и он, но, в отличие от него, не взбунтовались против своей среды, а усвоили ее предрассудки. Естественно, рядом с ним никогда не было недостатка в доброжелателях, мечтавших обратить его помыслы к богу. И Уэллс согласился пройти испытание. В свободные вечера он принимался ходить в самые разные церкви. Он слушал популярных проповедников в католическом соборе, познакомился с высокой англиканской церковью, побывал у сектантов. Это только укрепило его в неверии. Раньше оно было инстинктивным, теперь стало сознательным. Особенное впечатление произвели на него несколько книг по теологии, которые ему навязали его друзья. Предназначены они были к тому, чтобы опровергнуть возражения против веры. Но из них он узнал о возражениях, которые раньше не приходили ему в голову, а доводы богословов ни в чем его не убедили. Любимым его чтением сделался отныне атеистический журнал «Вольнодумец». Овладев новым кругом знаний, он уже не просто не принимал основные положения христианства, его отталкивала сама мысль об «организованной религии». Образцом подобного рода религии для него на всю жизнь стало католичество, с ходом лет все более вызывавшее его ненависть. Он и сам не заметил, как свободомыслие перепелось в его сознании с усвоенной от матери нелюбовью к «папистам».

Стоит ли удивляться, что, когда настал срок пройти конфирмацию, он отказался. Матери не удалось его уговорить. Тогда она написала мистеру Хайду, тот вызвал его к себе, побеседовал с ним, но тоже безрезультатно. Один из товарищей (разумеется, с тем же успехом) посоветовал молиться об обретении веры.

Уэллс продолжал говорить, что думал, и соответственно вел себя.

В Мидхерсте, однако, выяснилось, что быть неверующим приказчиком куда легче, чем неверующим учителем. В государственной школе разрешалось преподавать лишь тем, кто исповедовал государственную религию, и Уэллс прошел конфирмацию. Конечно, он не отказал себе в удовольствии поиздеваться над молодым застенчивым священником, готовившим его к этому обряду. Он задавал ему вопрос за вопросом и требовал указать точную дату

FORD
TS FOR HOME
H US FROM ALL SIN



N'S ENT
NDITION

грехопадения или объяснить, как соотносится Библия со сведениями, сообщаемыми наукой, прежде всего — геологией и дарвиновской теорией эволюции. Священник краснел, запинаясь, что-то мямлил, но Уэллс с ним не спорил. Он просто после каждого подобного объяснения говорил: «Так вот, значит, во что я должен верить!» И все же настал день, когда заиграл орган, он преклонил колени и был принят в лоно англиканской церкви. Этот атеист и республиканец формально приобщился к церкви, главой которой считается английский король. Или королева. В данном случае — ненавистная королева Виктория.

Впрочем, он все больше убеждался, что «Париж стоит обедни». Обучая других, он приобретал больше знаний, чем его ученики. Но и те, очевидно, усваивали немало. Письменные экзамены принесли феноменальный успех. В том числе и финансовый. Байат понял, что, сразу же назначив Уэллсу сорок фунтов жалования, он все равно бы не остался внакладе. На будущий год он твердо обещал ему эти деньги и еще дополнительный доход. Герберт был счастлив. Он выполнил свое обещание матери и больше от нее не зависел. Но тут выяснилось, что не одни лишь дурные вести не приходят поодиночке. Случается, что и хорошие.

Толчок описываемым событиям дала лондонская Всемирная выставка 1851 года, показавшая, что другие европейские страны начинают нагонять Англию в отношении науки и техники. Откликом на это было создание при музее практической геологии на Джермин-стрит Государственной горной и научной школы, которая постепенно стала обрастать предметами, ранее в ней не представленными. Появились курсы химии, физики, а под конец даже и биологии. Нужда в выпускниках Горной школы все возрастала. Борьба передовых английских ученых за модернизацию системы образования и увеличение доли научных дисциплин постепенно приносила плоды. И тут выяснилось, что эти новые для английской школы предметы попросту некому преподавать. Министерство просвещения, как и полагается солидному государственному учреждению, в особенности — английскому, раздумывало долго, но наконец решилось. За пять лет до случившегося, в 1881 году, любимому ученику и другу Дарвина Томасу Хаксли (Гексли) удалось, объединив Горную школу и несколько возникших за предыдущие годы небольших учебных заведений, создать при Лондонском университете педагогический факультет. Назывался он сначала, в подражание знаменитому педагогическому институту в Париже, Нормальная школа наук, потом был переименован в Королевский колледж науки. В просторечии его упоминали еще как «научные школы» — в память о том, как он возник (он даже и назывался первое время «Нормальная школа науки и Королевская горная школа» или «Южный Кенсингтон» — по месторасположению). «Южный Кенсингтон» был призван готовить кадры компетентных преподавателей естественных и точных наук. В нем было три факультета — биологический, минералогический

и физико-астрономический, — и закончившие все три получали диплом Лондонского университета. Курс обучения на каждом факультете продолжался год. Выпускники одного факультета переходили по решению специальной отборочной комиссии на другой, а потом и на третий.

«Южный Кенсингтон» не был просто частью Лондонского университета. Он находился на особом положении. Были там, конечно, студенты из состоятельных семей, платившие за обучение, были вольнослушатели, но основной контингент составляли юноши из той же среды, что и Уэллс, или даже более низкой. Дик Грегори, в будущем сэр Ричард Грегори, видный астроном, редактор прославленного журнала «Нейчур» («Природа»), автор популярной книги «Небосвод» и таких, выходявших за пределы его профессии, книг, как «Роль религии в истории науки и цивилизации», был, например, сыном сапожника. Этих студентов набирали из младших учителей, чьи ученики хорошо показывали себя на экзаменах. Им предоставлялась стипендия — гинея в неделю — и к тому же бесплатный проезд в Лондон вагоном второго класса.

Всего этого учитель из Мидхерста толком не знал. Не знал и того, что успел обратить на себя внимание министерства просвещения. Поэтому он был от души поражен, получив по почте анкету Нормальной школы. Он заполнил ее и отослал потихоньку от Байата. Ему не верилось в реальность случившегося. Но все подтвердилось. Он получил официальное письмо, где ему предлагалось прослушать годовой курс по биологии у профессора Хаксли; к письму был приложен оплаченный билет до Лондона. Успех пришел быстрее, чем он ожидал. Всего за один год!

Занятия в Нормальной школе начинались в сентябре, и каникулы Уэллс провел частью в Ап-парке, частью в Бромли. Слухи о профессоре Хаксли успели уже достичь ушей домоправительницы Ап-парка и были не в его пользу. Поговаривали, что этот Хаксли просто безбожник. Он не верит, что бог сотворил Адама, утверждает, что все мы произошли от обезьяны, и непочтительно спорит с епископами. Поэтому она очень опасалась за сына, подвластного, как она уже знала, подобного рода дурным влияниям. Но Берти успокоил ее простейшим способом. Сара Уэллс усвоила слово «декан» в одном только значении. В Англии так называют настоятеля собора. И, услышав от сына, что Хаксли — декан, перестала волноваться. Деканы не бывают безбожниками.

(Уэллс не мог тогда, разумеется, знать, что и Томас Хаксли, который всегда был не прочь сам над собой посмеяться, тоже любит обыгрывать двойной смысл слова «декан». Одному своему знакомому он, например, выразил крайнее возмущение в связи с тем, что тот на своем письме, ему адресованном, не написал: «Его высокопреподобно». «Я не очень забочусь об этикете, — писал он, — но когда вижу неуважение к моему священническому сану, немедленно даю отпор обидчику».)

С отцом Герберт не виделся дольше, чем с матерью. Поведение Джозефа в период, когда решался вопрос об его уходе из мануфактурного магазина, восстановило против него сына. «Этот человек стоит на моем пути», — писал он тогда одному из братьев. Но теперь все было в прошлом, и Уэллс больше не держал на отца зла. Напротив, очень хотел с ним увидеться. А очутившись в Бромли, по-своему за него порадовался.

Джозеф наконец-то жил как хотел. В доме царил совершеннейший кавардак, но кому было его упрекнуть? Он еще не знал, что один из его сыновей станет бродячим ремесленником, но сам уже был чем-то в этом роде. Чем дожидаться покупателей в Атлас-хаусе, он принялся торговать вразнос, конечно, не посудой — ее недолго ведь и побить, — а принадлежностями для крикета. Когда-то, вступив во владение посудной лавкой, Джозеф Уэллс начал именовать себя «негоциантом». Теперь он о своем социальном статусе не раздумывал и с радостью пошел в коробейники — самую презираемую в этих кругах часть купеческого сословия. Он обнаружил, что так веселей. Еще он чинил часы, пробовал свои силы в приготовлении пищи (что получалось у него гораздо лучше, чем у жены), подолгу смотрел, как летают птички. К нему вернулась давно, казалось бы, утраченная любовь к чтению, и они с сыном находили теперь особое удовольствие в разговорах друг с другом. И, разумеется, не об одних лишь книгах. Джозеф рассказывал о своем детстве и юности, о тех годах, к которым ныне возвращался не только мыслями. Какой-то инстинкт бродяг, мастеровых и художников жил, видно, в семье Уэллсов и то и дело прорывался наружу. Джозеф Уэллс был очень своеобразной личностью, но его всю жизнь приучали считать это пороком. Оставшись без присмотра, этот большой ребенок уже не смирял себя и сделался снова самим собой — существом непоседливым, любопытным, с душой бесшабашной и вольной. И очень нравился своему сыну.

В Атлас-хаусе он после отъезда жены продержался еще восемь лет, до 1887 года. За двадцать два года, что минуло со дня переезда в Бромли, в лавке скопилось немало посуды, и она никак не желала покидать эти стены. Когда 7 мая 1887 года имущество Джозефа было описано за неуплату налогов, в составленном протоколе значились 142 чашки с блюдами, 36 молочников, 125 обеденных тарелок и в придачу к ним 200 соусников, 142 предмета керамики, 5 больших суден и некоторое количество других разрозненных предметов. И все же с Атлас-хаусом удалось в этот же год расстаться. В истории Уэллсов возник еще один, последний, мануфактурщик, на сей раз свой, бромлейский, с той же Хай-стрит. Он начал скупать соседние лавки, чтобы построить на их месте большой магазин. Звали его Фредерик Меджерст, и он не знал, что эта торговая операция навеки прославит его имя. Почему-то задуманное преобразование Хай-стрит задержалось на много десятилетий. Эта улица была снесена, и на ее месте

построено большое торговое здание лишь в 1934 году. Магазин Медхерста перешел тем временем в другие руки, но сохранил свое название, и теперь на нем установлена мемориальная доска, а в одной из витрин, на том месте, где стоял когда-то Атлас-хаус, лежат ключи от этого не существующего ныне дома. Ключи огромные, «амбарные». Что было там запирать?

Когда Атлас-хаус был продан на слом, капитал Джозефа Уэллса увеличился на тринадцать фунтов пять шиллингов, которых как раз хватило для того, чтобы снять домик в деревне Найвудс в графстве Суссекс, где он жил на вспомоществование, положенное ему Сарой Уэллс. Скоро к удалившемуся на покой коробейнику присоединился его сын, успевший заделаться бродячим ремесленником, и они коротали свои дни ко взаимному удовольствию.

Со стороны их образ и условия жизни не производили, однако, столь отрадного впечатления, и когда полгода спустя после вселения Джозефа в его новое жилище их с Фрэнком навестил Герберт, он пришел в ужас от «разбойничьего логова», в котором угнездился «этот старый язычник». Он хотел подольше погостить у них, но это оказалось невозможно. Во-первых, там негде было жить. Дом состоял из трех комнат, но в одной из них протекал потолок, что, видимо, представлялось обоим Уэллсам некоей фатальной неизбежностью, ибо попыток починить крышу они не предпринимали. Во-вторых, там нечего было есть, во всяком случае — гостю, хотя в добывании пищи хозяева не проявляли такой бездеятельности, как в отношении удобств и уюта. Джозеф немного огородничал, немного браконьерствовал, иногда совершал налеты на чужие курятники, а в свободное время валялся на полу среди скопившихся за неустановленный срок обедков и курил свой вонючий табак или, готовясь к очередной вылазке, чистил парафином ружье. А Фрэнк сидел целыми днями на скамеечке у окна, копаясь в механизме часов или музыкальных ящиков. Вид у него был при этом такой, «словно он изобретает патентованную машину для истребления крыс и прочих вредных грызунов, которая исполняла бы подобную операцию сложнейшим образом и с наименьшим успехом». От работы он получал при этом столько удовольствия, что согласился бы делать ее бесплатно. А может быть, судя по состоянию его кошелька, так и поступал. Вспомоществование от Сары Уэллс тоже, как легко заключить, не превышало сумм, отпущавшихся некогда приходом на содержание бедняков. Теперь этих денег, к сожалению, не платили, и роль местных властей вынуждена была взять на себя жена одичавшего лавочника. В чем она не проявляла особого рвения...

Впрочем, мы опять забежали вперед, и притом достаточно далеко, в 1888 год. Пока же идет еще только 1884-й. Но уже приближается сентябрь — месяц, которого Уэллс ждет со всевозрастающим нетерпением. Ведь в этот месяц должна произойти его встреча с «Южным Кенсингтоном». И с Лондоном.

И снова просто Герберт Уэллс

Трудно поверить, что юноша, родившийся в предместье Лондона, никогда прежде не был в этом городе. И тем не менее это так. Дороги судьбы все время уводили его в противоположную сторону — в Виндзор, на побережье Ла-Манша, где расположен Ап-парк, в Мидхерст — город предков и в другие места.

При первой встрече Лондон Герберту не понравился.

«...Я не имел ни малейшего представления о том, что такое большой город... И, когда Лондон внезапно открылся передо мной, я был ошеломлен...

Я приехал в хмурый, туманный день по Юго-Восточной железной дороге. Поезд тащился медленно, то и дело останавливаясь, и прибыл с опозданием на полчаса...

Наконец мы очутились в густой паутине железнодорожных линий, среди больших заводов, резервуаров для газа, кругом теснились прокопченные, грязные домишки, настоящие трущобы — с каждой минутой они казались все грязнее и безобразнее...

Вскоре тесно сгрудившиеся домишки сменились многоквартирными домами, и я поражался, как огромен мир, населенный бедняками. В вагон стали проникать запахи заводов, кожи, пива. Небо потемнело; поезд с грохотом промчался по мостам над улицами, где теснились экипажи, и пересек Темзу. Я увидел обширные склады, мутную воду реки, сгрудившиеся баржи и невероятно грязные берега.

И вот я на станции Кеннон-стрит — в этой чудовищной закопченной пещере; она была забита бесчисленными поездами, а вдоль платформы сновало несметное множество носильщиков.

Я вышел из вагона с саквояжем в руке и поплелся к выходу, чувствуя себя таким маленьким и беспомощным...

Потом я ехал в кэбе по шумной, похожей на каньон улице, между огромными складами и с удивлением поглядывал вверх на потемневшие стены собора св. Павла. Движение на Чипсайте (в те дни самым распространенным средством передвижения был конный омнибус) показалось мне невероятным, а шум — потрясающим. Я с удивлением размышлял, откуда берутся деньги, чтобы нанимать все эти кэбы, и на какие средства существуют бесчисленные люди в шелковых цилиндрах и сюртуках, которые толкались, шумели и куда-то спешили...

Да, мое первое посещение Лондона в тот сырой, холодный январский день произвело на меня огромное впечатление. Это было тяжелым разочарованием. Лондон мне представлялся огромным, свободным, приветливым городом, где человека ожидает много приключений, а на деле он оказался неряшливым, черствым и суровым...

Со временем я убедился, что был не прав...» («Тоно-Бенге»).

На это и в самом деле потребовался известный срок. Сара Уэллс заранее позаботилась о том, чтобы Берти был устроен в Лондоне наилучшим образом. У нее была подруга детства, ныне покойная, чьи религиозные взгляды заслуживали всяческого одобрения, и она разыскала ее дочь, сдававшую комнаты в Лондоне. К сожалению, до Сары не дошли сведения о том, что дочка подруги давно утратила благостность, пристрастилась к бутылке и очень интересуется человеческими особями противоположного пола, а ее «комнаты» — это мебелирашки невысокого пошиба. Дом был маленький, зато набитый до отказа. Герберт жил в одной комнате с другим человеком, хотя ему разрешалось еще пользоваться лестничной площадкой, где стоял покрытый клеенкой стол, за которым два хозяйкиных отпрыска начинали свой путь к вершинам знания, пытаясь овладеть основами чтения и письма. Теперь к этому столу приставили еще один стул: в доме как-никак появилась студент. Самому же студенту этот дом напминал обезьянник лондонского зоопарка, каким он был, пока этих наших родственников не расселили по просторным клеткам, придав им тем самым известную респектабельность. В человеческом обезьяннике, где Уэллс поселился, подобных перемен не предвиделось. Внизу жил какой-то мелкий чиновник, с женой которого дружила хозяйка. Сама она тоже была замужем (муж ее работал в оптовой бакалейной фирме), но это не мешало двум молодым женщинам каждый вечер отправляться на поиски приключений и на следующий день рассказывать о них всем обитателям дома, делая исключение только для своих мужей и, само собой, как положено в приличном обществе, опуская некоторые подробности. К новому постояльцу хозяйка тоже проявила известный интерес, но натура у нее была широкая, и с некоторых пор она старалась оставлять его вечерами наедине с золовкой, чтобы он ее немножко «развлек». Разговаривать с ней было не о чем, развлекать женщин по-иному Герберт не очень умел, а времени было до смерти жалко...

Но это был еще самый благополучный период жизни Герберта в доме, куда его пристроила богобоязненная Сара Уэллс. Вообще, по его словам, провидение то и дело шутило с ним шутки дурного вкуса, и эта была не из лучших. В один прекрасный день жилица и хозяйка что-то не поделили, и дом наполнился громкой бранью. В отсутствие жилицы хозяйка сообщала окружающим, что та представляет собой прямую опасность для мужчин, дорожащих своим здоровьем. Что рассказывала о ней жилица, Уэллс не запомнил. Не запомнил он и человека, на пару с которым снимал комнату. И вообще он многое забыл о своем первом лондонском доме. В этом отношении он сравнивался для него с магазином Роджера и Денайера. Память Уэллса отличалась не столь уж редкой особенностью: в ней застревали совершенные пустяки — им только надо было для этого быть достаточно забавными, — тогда как от вещей более существенных, но не столь интересных

она легко избавлялась. А тем более — от воспоминаний неприятных. Их Уэллс, как, впрочем, и всякий другой, инстинктивно старался вытеснить. Так что, видимо, забавного в этом доме было не слишком много. Скуки и всякой мерзости — гораздо больше.

Единственным преимуществом этого жилища была его относительная близость к Нормальной школе. Стоило пройти по прилегающим улицам и пересечь Кенсингтонский парк, как ты оказывался на Экзебишн-роуд, где неподалеку от естественно-научного музея стояло это здание. Правда, парк в определенный час закрывался, и по вечерам Уэллсу приходилось, чтобы вовремя достичь противоположных ворот, бежать под свистки и крики сторожей, оповещавших посетителей, что пора и честь знать.

И вот в один прекрасный день Уэллс впервые проделал путь от Уэстборн-парка через Кенсингтонский парк, вышел на Экзебишн-роуд и замер перед зданием «научных школ», с которым у него сейчас было связано столько надежд, а потом — воспоминаний.

Здание и правда производило немалое впечатление. Оно было сложено из красного кирпича, с белыми колоннами, поддерживавшими стрельчатые аркады у входа, и высокими — снизу доверху — квадратными эркерами по углам. Большие стрельчатые окна первого этажа и прямоугольные окна второго и третьего тоже были очерчены белым. Над карнизом, отделявшим нижние три этажа, помещалась белая надстройка с частыми и высокими стрельчатыми окнами по фасаду и более широкими и редкими полукруглыми окнами с торцов. Невысокие двойные башенки, двускатные крыши которых только и возвышались над зданием, словно бы увенчивали эркеры и вместе с тем вписывались в надстройку, выдержанную в более напряженном ритме, чем нижние этажи. В этом неплохом образце викторианской готики поражали соразмерность и точная соотнесенность частей. Красное и белое, верх и низ замечательно сочетались и контрастировали, а целое было сразу строгим и праздничным. Это четырехэтажное здание казалось больше своих размеров. Этажи были высокие, полные света и воздуха, от всего веяло какой-то величавостью. Храм науки!

Он вошел за железную ограду, переступил порог пока еще незнакомого дома, расписался о прибытии и поднялся на лифте на верхний этаж. В Нормальной школе не было первого, второго и третьего курсов. Студентов набирали на все факультеты одновременно, и показавшие успехи в учении переходили потом кто с геологического на физико-астрономический, кто с физико-астрономического на биологический, — в любой последовательности. Сказать, что здание кишело народом, было никак нельзя. На курсе, куда приняли Уэллса, учился, например, всего 21 человек.

Первым факультетом Уэллса был биологический, и первой комнатой в Нормальной школе, куда он вошел, — Лаборатория. Настоящая лаборатория, где перед ним в реальности предстало

все, что он раньше видел лишь на плохих картинках. Это была длинная комната с сосновыми столами, множеством водопроводных кранов и фаянсовых раковин, полками с препаратами, диаграммами и рабочими наставлениями по стенам. Под газовыми лампами с зелеными абажурами стояли микроскопы, реактивы и приспособления для анатомирования животных. Двери были выкрашены в черный цвет и служили классными досками. Здесь правил демонстратор Хауэс — быстрый чернородый бледноватый человек в очках. Он и пояснительные схемы вычерчивал цветными мелками с поразительной быстротой. Он все время ходил по комнате, присаживаясь то к одному студенту, то к другому. Ошибки он схватывал на лету.

Много лет спустя в ту же лабораторию попала Анна Вероника — одна из героинь Уэллса. Вот какой она ей представилась:

«В биологической лаборатории царила особая атмосфера. Оттуда, с верхнего этажа, открывался широкий вид на Риджент-парк и на массив тесно столпившихся более низких домов. Лаборатория, длинная и узкая комната, спокойная, достаточно освещенная, с хорошей вентиляцией и вереницей небольших столов и моек, была пропитана испарениями метилового спирта и умеренным запахом стерилизованных продуктов органического распада. По внутренней стене была выставлена замечательно классифицированная самим Расселом (Томасом Хаксли. — Ю. К.) серия образцов. Наибольшее впечатление на Анну Веронику произвела необыкновенная продуманность этой серии... И целое, и каждая деталь в отдельности были подчинены одной задаче: пояснить, разработать, критически осветить и все полнее и полнее представить строение животных и растений. Сверху донизу и от начала до конца — все находившиеся здесь предметы были связаны с теорией о формах жизни; даже тряпка для стирания мела участвовала в этой работе, даже мойки под кранами; все в этой комнате подчинялось одной цели, пожалуй, еще больше, чем в церкви. Вот почему здесь было так приятно работать».

Одна дверь из лаборатории вела в препараторскую, откуда возникал и куда исчезал Хауэс, другая — в квадратный лекционный зал, стены которого были заставлены полками со скелетами, черепами и восковыми моделями. Из зала студенты переходили в лабораторию, чтобы тут же проделать нужные опыты. Некоторые задерживались, перерисовывая с доски схемы и разглядывая экспонаты.

В этом лекционном зале Уэллс прослушал курсы общей биологии (тогда он назывался «Элементарная биология») и зоологии. Оба их вел Томас Хаксли.

Именно Хаксли был духовным отцом Уэллса. И не его одного. Много лет спустя Уэллс писал: «Не знаю, способны ли нынешние студенты понять, какие чувства мы испытывали по отношению к нашему декану... Я считал тогда, что повстречал самого великого из людей, с кем когда-либо пересекутся наши жизненные

пути, и я еще тверже верю в это сейчас». Он и вправду необыкновенно много получил в лабораториях и лекционном зале на четвертом этаже бело-красного здания на Экзебишн-роуд, где каждый день из-за тяжелых портьер появлялся и всходил на кафедру высокий кареглазый плотный человек с одухотворенным лицом и львиной гривой седых волос. Студенты предшествующих лет рассказывали, что иногда из-за тех же портьер выглядело лицо Чарлза Дарвина, пришедшего послушать своего младшего друга: Дарвин умер меньше чем за два года до поступления Уэллса в Нормальную школу, и здесь все было овеяно его невидимым присутствием. Но и Томас Хаксли стал к этому времени живой легендой. Ему еще не исполнилось шестидесяти, однако за его плечами было уже три с лишним десятилетия громкой славы.

Хаксли происходил из семьи более интеллигентной, чем Уэллс, хотя вряд ли более обеспеченной, образование получил за казенный счет («Я плебей и остаюсь верным своей среде», — говорил он), но уже в двадцать шесть лет стал академиком. Он, как и Дарвин, начал свою научную карьеру морским путешествием (в Австралию) и, вернувшись, обнаружил, что его публикации все читали и его дружбы ищут такие люди, как Дарвин и основатель английского позитивизма Герберт Спенсер. Он еще не был тогда эволюционистом, но, прочитав в 1859 году только что вышедшую книгу Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», стал виднейшим пропагандистом дарвинизма. Он написал первую рецензию на «Происхождение видов» и именно по этой статье, а потом по его блестящим публичным лекциям широкая публика знакомилась с дарвиновской теорией эволюции. «Эволюция в науке означала революцию в религии», — остроумно заметил один критик, и Хаксли был виднейшим деятелем этой революции. Он первым в Англии — еще до Дарвина — открыто заявил своей книгой «Место человека в природе» (1863) о происхождении человека от общего с обезьяной предка, чем вызвал ненависть церковников и восхищение всех, кто стоял за свободу научного исследования. Он был замечательный полемист, писатель, человек разносторонней культуры, одним словом — человек блестящий.

Так в жизнь Уэллса вошла одна из самых значительных личностей XIX века. Хаксли был уверен, что не должно быть резко очерченных границ между литературой и наукой. И чем дальше, тем больше он писал уже не о собственно научных, а о философских и общекультурных проблемах. Так, воспитывая из Уэллса ученого, он воспитывал из него писателя и просветителя.

То, что предметом занятий Уэллса оказалась именно биология, эта «новая наука» второй половины прошлого века, сыграло здесь огромную роль. Десятки аспектов идейной борьбы на протяжении нескольких десятилетий были отмечены влиянием дарвиновской теории эволюции. Она казалась ключом к современному

знанию, а биология, носительница этой теории, — царицей наук, отрешившихся от своей былой замкнутости. Было доказано — мир не стоит на месте, он подвержен изменениям. Разве это не освещало путь для тех, кто жаждал перемен?

Вспоминая о Южном Кенсингтоне, Уэллс всегда подчеркивал, что именно там, научившись мыслить как ученый, он обрел себя как личность.

И еще одно духовное качество отличало людей, бившихся на стороне Дарвина. Оно перешло от Дарвина к Хаксли, от Хаксли — к его ученикам. Как писал сын Дарвина Уильям, «чертой его характера, которая ярче всего запечатлелась в моей памяти, было какое-то напряженное отвращение или ненависть ко всему, сколько-нибудь напоминавшему насилие, жестокость, в особенности — рабство. Это чувство шло рука об руку с восторженной любовью, с энтузиазмом к свободе — к свободе личности или к свободным учреждениям». Хаксли, с гордостью заявлявший, что он — плебей, был достойным учеником Дарвина. Уэллс, с гордостью вспоминая свой голодные лондонские годы, был учеником Хаксли.

А годы и в самом деле были голодные.

Уэллс жил в доме на Уэстборн-парк на пансионе, иными словами, он получал там завтрак и легкий ужин. На транспорт и одежду он не тратился (в результате чего под конец совсем обносился), и все равно в последние дни перед средой, когда он получал свою гинейю, он не мог позволить себе купить даже булочку — обычный свой обед. Конечно, недоедать ему было не впервой. Но теперь он отощал до безобразия и с отвращением рассматривал себя в зеркало. Взору его представляли запавшие щеки, выпирающие ребра, дряблые мускулы.

На второй год пребывания Уэллса в Южном Кенсингтоне там открыли дешевую студенческую столовую, но это означало только, что, если булочек хватало порой на шесть дней в неделю, обедать удавалось не более пяти и, разумеется, не слишком плотно. Притом — не одному Уэллсу. Он еще кое-как держался, но на его глазах другие студенты дважды падали в голодные обмороки.

Уэллс был убежден, что именно эти годы подорвали его здоровье.

Один из его друзей, сын владельца частной школы Дженнингс, с которым он соревновался за первое место в списке прошедших экзамены, однажды покормил его обедом. Уэллс на всю жизнь запомнил этот обед. Там было мясное блюдо, два овощных, кружка пива, пудинг с вареньем и кусок сыра. Но когда Дженнингс надумал ввести эти обеды в обычай, Уэллс из гордости отказался, хотя тот пытался убедить его, что кормит его, чтобы сохранить самоуважение: между завтраком и ужином проходило девять часов, Уэллс был вечно голоден, и это ставило их в неравные условия...

Впрочем, если бы только это! Уэллс в стольком проигрывал по сравнению со студентами, пришедшими из интеллигентных

семей! Особенно из семей, так или иначе связанных с наукой. То, что те впитали с молоком матери, было для него открытием, завоеванием, стоило немалого труда. И он трудился с утра до ночи, не только заполняя пробелы в знаниях, но и стараясь победить комплекс социальной неполноценности. А он возникал на каждом шагу. Люди, окружавшие его, большей частью были лучше одеты, правильнее говорили, лучше держались. Да и просто были здоровее, крупнее, выше ростом, не такие заморенные.

Сохранились две фотографии, сделанные, насколько можно судить, приблизительно в одно и то же время. На первой изображен Томас Хаксли. Он стоит у стола, опершись на три внушительных фолианта, в позе раскованной и свободной. Правая рука — в кармане брюк, в левой он держит человеческий череп — держит непринужденно, не как символ, а как экспонат. Костюм на нем безукоризненный, рубашка белоснежная, с бабочкой, на губах полуулыбка — сильный, внушительный, рано завоевавший свое место в мире человек.

На другой фотографии — Уэллс рядом с экспонатом, который Хаксли демонстрировал на лекциях: скелетом обезьяны. Он стоит, положив руку на плечо своему низкорослому предку и младшему собрату. Нога его — на подставке, рядом с лапами этого нецивилизованного существа, в другой руке — человеческий череп, но явно выставленный напоказ, поза нарочитая, не без подражания Хаксли. Брюки и куртка — мятые. Если для такой торжественной фотографии их не погладили, то, видно, лишь из-за невозможности заменить их на время чем-либо другим. Лицо напряженное, но и достаточно волевое. Перед нами человек, уверенный, что будущее принадлежит ему, но осознавший и другую сторону дела: остальные этого пока не понимают!

Как их в этом убедить?

Несмотря на усиленные занятия, он все равно выкраивал время еще и на Дискуссионное общество, которое тогда полагалось иметь всякому уважающему себя колледжу. Заседания его происходили в плохо освещенной подвальной аудитории Горной школы (еще один подвал в его жизни!), заставленной вдоль стен образцами пород и завешанной непонятными схемами. Обсуждать разрешалось все на свете за исключением вопросов религии и политики, — то есть как раз тех, что представлялись Уэллсу наиболее важными. Разумеется, он попытался нарушить запрет. Какое-то из своих выступлений он начал так: «Один бродячий проповедник, имевший двенадцать учеников...», но его тут же прервали, заявив, что нельзя столь неуважительно говорить об основателе христианства. Уэллс принялся доказывать, что никакого неуважения здесь нет, но с ним не согласились. Он в свою очередь не согласился со своими оппонентами, и ему предложили покинуть кафедру. Когда же он отказался, его сволокли с трибуны. Он отбивался, как мог, но кто-то ухватил его за волосы, и это оказалось слишком уж больно...

Вообще студенты Нормальной школы, особенно те, что состояли на казенном довольствии, не производили особенно почтенного впечатления. Конечно, они старались выглядеть как можно respectableнее. Они ходили в цилиндрах, а по воскресеньям надевали фраки. И фраки, и цилиндры имели жалкий вид, но это были фраки и цилиндры. И конечно, все носили белые воротнички, правда, гуттаперчевые и успевшие пожелтеть. Но в стенах Нормальной школы этот внешний лоск как-то тускнел. Заседания Дискуссионного общества были сплошной серией перебранок, порой переходивших в рукопашную. Свое неодобрение выражали, принимаясь стучать крышками парт, да так, что все вокруг заливалось чернилами. Еще полагалось гудеть, устраивать иронические взрывы рукоплесканий, выкрикивать оскорбления. Эти бурсацкие нравы царили не только в подвальной аудитории Горной школы. Когда по средам появлялся кассир, раздававший гиней, его встречали с такой горячностью, что бедный старик скоро стал опасаться за сохранность своей жестянки с золотыми и отказался приходить в это бандитское логово иначе как в сопровождении полицейского.

Несмотря на расправу, учиненную над ним на одном из заседаний, Уэллс именно благодаря Дискуссионному обществу приобрел в Нормальной школе репутацию большого остроумца. Тогда же у него появились друзья (в их числе был и Ричард Грегори), близкие отношения с которыми сохранились на всю жизнь. Репутация эта поддерживалась и на более благопристойных собраниях. Студентки ввели в обычай устраивать после лабораторных занятий чай, на который приглашали и демонстратора, и здесь, разумеется, царила совсем иная атмосфера, хотя присутствие девиц, пусть большей частью невзрачных, еще усиливало борьбу самолюбий.

В этой борьбе за право владеть чужими умами Уэллс все больше выигрывал. Одна из студенток того же курса, Элизабет Хили, оставшаяся его другом на всю жизнь, рассказывала, что он с первого взгляда поразил ее своими удивительными голубыми глазами, замечательной шевелюрой, но, главное, своей общительностью, дружелюбием, юмором и способностью вести увлекательный разговор. В Дискуссионном обществе история с «одним бродячим проповедником» и последовавшей потасовкой больше не повторилась. «Я в то время не знала лучшего оратора, — вспоминала Элизабет Хили. — Ум у него был острый и быстрый. Его сарказм никогда не ранил тех, против кого был направлен, потому что он все смягчал своим юмором и говорил правду. Он нападал на условности, фальшь и притворство... и разрушал устоявшиеся мнения».

Но, конечно, больше всего ценились успехи в ученье. Для Уэллса они оправдали все затраченные усилия. Когда после каникул (Уэллс провел их частью в Бромли, частью в Ап-парке) толпа студентов собралась перед вывешенным на лестничной площадке списком биологического факультета, выяснилось, что «про-

ходящий курс усовершенствования учитель» Герберт Джордж Уэллс окончил год по первому разряду. Для этого надо было сдать на «отлично» не меньше восьмидесяти процентов экзаменов по множеству весьма узких дисциплин. Дженнингс и еще один студент добились таких же успехов. Остальные попали во второй и третий разряды. Несколько человек провалилось.

Разумеется, Уэллс получил право пройти следующий курс, но не это было главное. Он окончательно утвердился в самоуважении, зародившемся в нем в Мидхерсте. Он теперь был уверен, что, представься ему возможность, он со временем станет профессором зоологии. Знаний и навыков, полученных у Хаксли, для начала вполне бы хватило. Но подобной возможности не представилось. На следующий год свободные места были на физическом факультете. И здесь положение в корне переменялось. На беду, студентов обучали самостоятельно изготавливать физические приборы, а к подобным делам Уэллса нельзя было подпускать. Человеку, столь убедительно доказавшему свою неспособность правильно свернуть штуку материи, поручили на первый раз изготовить барометр. Перебив множество стеклянных трубок, он исхитрился наконец запаять и изогнуть одну из них (обнаружив при этом, что о горячее стекло можно сильно обжечься), затем отпаять один конец, заполнить трубку ртутью и даже прикрепить ее к градуированной дощечке. Производство рук начинающего студента-физика при ближайшем рассмотрении и вправду отдаленно напоминало барометр. Труды его не пропали даром: этот барометр долго потом держали в лаборатории всем на удивление. Тем не менее он остался недоволен. Среди прочего еще и тем, что ему, как, впрочем, и всем остальным, позабыли предварительно объяснить, что такое атмосферное давление, и дать общие сведения о барометрах...

Изготовление градуированной стеклянной шкалы оказалось предприятием еще более трудным, хуже того — опасным. Деления надо было нанести при помощи фтора, и Уэллс для начала закапал этой кислотой, способной, как известно, разъедать самые прочные предметы, свои единственные бьюки. К тому же, когда стеклянная шкала попала в руки лаборанта, тот обнаружил, что Уэллс рассматривает миллиметр как понятие сугубо субъективное.

Неудачи следовали одна за другой. Постепенно в его сознание начала закрадываться мысль: а зачем все это? Разве будущим учителям предстоит преподавать физику в джунглях, где им придется самостоятельно изготавливать физические приборы? Не лучше ли посвятить это время знакомству с законами, управляющими вселенной?

Профессор Гатри, читавший курс общей физики, произвел на Уэллса впечатление старика, которому давно все надоело. Он сообщал факты из школьных учебников, не делая даже попытки как-то их философски осмыслить или хотя бы выстроить в систему. Студенты на его лекциях разговаривали, но и это было ему

безразлично. Впрочем, Уэллсу, в отличие от других, было не просто скучно. Он кипел от возмущения. После того, как он соприкоснулся с человеком такого глубокого, философски ориентированного и живого ума, как Хаксли, лекции Гатри казались ему пустой тратой времени. Потом Уэллс узнал, что Гатри было всего пятьдесят два года и ему предстояло через год умереть от рака горла, но это не изменило его к нему отношения. Он всегда вспоминал ему как худший образец позитивистской науки. Термодинамику читал молодой доцент Бойз, тоже плохой лектор. Он абсолютно не представлял себе, что следует растолковать, а что достаточно упомянуть, и у него была каша во рту.

Ни профессор Гатри, ни доцент Бойз не оставили следа в истории физики, и судить о них остается лишь по воспоминаниям Уэллса. Скорее всего, и тот и другой в самом деле были неважными преподавателями, но хорошо преподавать физику в середине 80-х годов XIX века, вероятно, было непросто. Старое знание давно формализовалось, новой физике еще только предстояло прийти. Чтобы быть вторым Хаксли, надо было быть первооткрывателем, а где было найти такого в заурядной академической среде? Считалось, что в физике все давным-давно известно, остается лишь уточнять и классифицировать понятия, а подобный подход к профессии не привлекает блестящие умы. Хаксли помог Уэллсу найти определенную систему мышления, простиравшуюся далеко за пределы биологии. К физике Гатри и Бойза она оказалась неприложима. Что ж, Уэллс принялся искать собственные подходы. Насколько они оказались плодотворны, обнаружится лишь потом, в дни «Машины времени», сейчас же речь шла о гораздо меньшем: надо было сдать экзамены. Уэллс прошел среди первых по начертательной геометрии, и это отчасти компенсировало провал по астрономии и лабораторной практике. Общую физику он кое-как, но все же сдал. Результаты экзаменов объявлялись в Нормальной школе не сразу, и когда во время каникул (он провел их на ферме у одного родственника) Уэллс получил соответствующие вести из Лондона, то решил, не откладывая, искать место учителя, тем более что его очень тяготила ужасающая бедность, в которой он прожил два студенческих года. Но его все же перевели на следующий (геологический) факультет, и он вернулся в Лондон в опостылевшее ему здание на Экзебишн-роуд.

На этот раз дела пошли совсем плохо. Уэллс хорошо усваивал лишь то, что давало пищу его уму, а здесь ему (к счастью, лишь в переносном смысле) грозило умереть голодной смертью.

Казалось бы, все должно было быть иначе. Геология была в те дни передовой отраслью знания, давшей толчок общей теории эволюции и тесно связанной с судьбой эволюционной теории Дарвина. Но Уэллсу в пределах Нормальной школы не дано было это понять. Геология преподавалась там как предмет сугубо описательный, требующий усилий памяти, а не ума. К тому же Уэллс, все еще одержимый воспоминаниями о Хаксли, сразу невзлюбил

читавшего общий курс профессора Джадда с его привычкой потирать руки, медлительной манерой и тусклым, убаюкивающим голосом. Потом Уэллс слышал о нем только хорошее. Джадд был видным ученым и, по общему мнению, очень порядочным и приятным человеком. Но, пока он стоял на кафедре, Уэллса все в нем раздражало. Не в последнюю очередь, думается, — его привычка неотрывно разглядывать аудиторию. У Гатри хотя бы можно было поболтать!

Если воспользоваться, пусть в обратном смысле, словами Фигаро, Уэллс был сейчас много хуже своей репутации, но, завоеванная на первом курсе, она держалась достаточно прочно. Он сдал зимние экзамены по второму разряду и был оставлен на полугодовой срок, дабы усовершенствоваться в науке, в которой, по чести говоря, не постиг и азов. Пока это оставалось его личной тайной. Но все тайное, как известно, становится явным. В июне 1887 года он провалился на выпускных экзаменах. Это разом перечеркнуло все его предыдущие достижения и закрыло путь к научной карьере.

Впоследствии Уэллс не раз возвращался мыслью к двум последним годам в Южном Кенсингтоне. Конечно, он пережил тогда чуть ли не позор, и все же он никогда бы не согласился с мнением, что просто потерял эти два года. Напротив, они были для него временем больших открытий — пусть не в термодинамике и минералогии, а в окружающем мире и в себе.

Лондон виделся ему теперь совсем иным, чем в первый приезд.

«Этот город-гигант соблазнял заманчивыми предложениями, сулил открыть пока еще неясные, но полные тайного значения великолепные возможности.

Путешествия по городу не только помогли мне составить представление о его величине, населении, перспективах, какие открываются здесь перед человеком; я стал понимать многие, ранее неизвестные мне вещи, увидел, словно их осветили ярким светом, новые стороны жизни... В Музее искусств я впервые оценил выставленную для всеобщего обозрения красоту обнаженного тела, которую относил до этого к разряду позорных тайн. Я понял, что эта красота не только позволительна, но желанна и что она нередко встречается в жизни. Познакомился я и со многим другим, о чем раньше не подозревал. Однажды вечером на верхней галерее Альберт-холла я с восторгом услышал величавую музыку — это была, как я думаю сейчас, Девятая симфония Бетховена...

Перед вами открывалась удивительная жизнь. Даже рекламы как-то странно действовали на чувства человека. Вы могли купить памфлеты и брошюры, где проповедовались незнакомые, смелые идеи, превосходящие даже самые рискованные ваши мысли. В парках вы слушали, как обсуждается вопрос о существовании самого бога, как отрицается право собственности, как дебатировались сотни вопросов... А когда после мрачного утра и серого дня

наступали сумерки, Лондон превращался в сказочное море огней: вспыхивало золотистое зарево иллюминации, создававшее причудливую, таинственную игру теней, мерцали, подобно разноцветным драгоценным камням, светящиеся рекламы.

И уже не было истощенных и жалких людей — только непрерывное, загадочное шествие каких-то фантастических существ...»

Конечно, учился он все хуже и хуже. И отнюдь не был к этому безразличен. Ему все еще приходилось завоевывать веру в себя, и, когда одна девица получила лучшие отметки, чем он, это для него было большим унижением.

«И все же я по временам сомневаюсь, можно ли назвать этот период моей жизни неудачным... Мой ум не бездействовал, он только питался запретной пищей. Я не изучил того, что могли бы мне дать профессора со своими ассистентами, но узнал многое другое, научился мыслить широко и при этом самостоятельно.

В конце концов мои товарищи, которые успешно сдали экзамены и считались у профессоров примерными студентами, не добились таких поразительных успехов, как я. Некоторые стали профессорами, другие техническими экспертами, но ни один из них не может похвастаться, что сделал столько для человечества, сколько я, работая во имя своих личных целей» («Тона-Бенге»).

Сказано все это много позже, в 1909 году, человеком, уже добившимся успеха. В 1887 году Уэллс пережил свой провал очень тяжело. Но и тогда, когда все шло к этому печальному концу, он не постарался его предотвратить. Он следовал какому-то инстинкту, который, как потом выяснилось, правильно его ориентировал, подсказав, что ему предстоит стать не ученым, а писателем, и притом писателем совершенно особого рода. Полученного в Южном Кенсингтоне для этого вполне хватало. И его ум жадно тянулся к недостающему опыту и впечатлениям.

А недоставало ему, как легко догадаться, очень многого. Он открывал для себя целые неведомые миры. И главным открытием была музыка.

«Однажды вечером на верхней галерее Альберт-холла я с восторгом услышал величавую музыку — это была, как я думаю сейчас, Девятая симфония Бетховена».

За этой фразой скрывается больше, чем может показаться с первого взгляда. Конечно, он не собирался стать музыкантом, но разве меньшим из-за этого становится впечатление от симфонической музыки, услышанной впервые в двадцатилетнем возрасте? Шло ли это в какое-либо сравнение с привычным с детства церковным пением или теми непрехотливыми мотивчиками, под которые танцевали слуги в Ап-парке?

За годы, проведенные в Южном Кенсингтоне, Уэллс не только чему-то учился. Он еще и приобщался к культуре. И музыка заметно обогатила его духовный мир. Но с другими видами искус-

ства дело обстояло сложнее. Здесь все очень непростым образом переплеталось с его социальными устремлениями.

Большую роль в его формировании как личности сыграл в этот период Уильям Моррис (1834—1896).

Сейчас нелегко понять, что привело его к этому человеку. Во всяком случае, не научные интересы. Моррис никак не был сторонником, а тем более почитателем Томаса Хаксли и в 1894 году в статье «Как я стал социалистом» одну из причин своего прихода к этому учению объяснял тем, что «из мира исчезает все радующее глаз, а место Гомера занимает Хаксли». Протест Морриса против викторианского общества, сделавший из него в итоге одного из руководителей левого движения в Англии, имел эстетические корни. Викторианская Англия представлялась ему царством буржуазной безвкусицы, и в социализме он увидел единственный путь к пробуждению в людях подлинной духовности. Огюст Лавуазье, в которой Уэллс, произведя в первых числах сентября 1884 года вскрытие кролика, начал свою так печально закончившуюся карьеру в Нормальной школе наук, выходили прямо на Южно-Кенсингтонскую художественную школу, где Моррис уже с 1876 года принимал вступительные экзамены по рисованию, но о каких-либо связях между этими двумя учебными заведениями ничего не известно. В рассказе Уэллса «Препарат под микроскопом» (он отсылает к нему читателей своей автобиографии, интересующихся тогдашней обстановкой на биологическом факультете) студент Хилл, во многом похожий на тогдашнего Уэллса, правда, дает читать своим товарищам моррисовские «Вести ниоткуда», однако это — явный анахронизм: знаменитая утопия Морриса начала печататься в его журнале «Коммонуэлл» в январе 1890 года, а отдельным изданием вышла год спустя — через четыре года после ухода Уэллса из Нормальной школы. И все же в известном смысле именно влияние Хаксли сложным путем привело Уэллса к социализму, хотя сам Хаксли социалистом никогда не был. Моррис в свою очередь весьма неважно относился к науке. Она была для него еще одним воплощением буржуазного стремления к «пользе». Эта с трудом подавляемая антипатия чувствуется даже тогда, когда он в «Вестях ниоткуда» рисует уже не буржуазное, а коммунистическое общество. В изображенной им Федерации небольших независимых общин царит ремесленный труд, а потому не нужны ни развитая система сообщений, ни современные средства связи. Правда, при этом исчезает и подлинный духовный обмен между людьми. Но зачем он, если каждый ремесленник может выразить свою личность через прекрасные предметы, которые он производит? И при этом живет на лоне природы, наслаждаясь ее красотой. Книги здесь издаются лишь в небольшом количестве экземпляров. Интересы утопийцев весьма ограничены, знания их невелики. Большинство из них даже не представляет себе, какие страны расположены за морем. Конечно, здесь не запрещено заниматься наукой или писать романы для

узкого круга людей, но общество сильно отнюдь не трудом ученых, И не наукой или литературой поддерживается добродетельная патриархальность моррисовских утопистов... Такому ли человеку было любить ученых, погруженных в отвлеченные выкладки и безразличных к красоте природы и творений человеческих рук?

Но в том-то и дело, что ни Дарвин, ни Хаксли не были тем, за кого Моррис их принимал. В известном смысле, напротив, они были полнейшими его союзниками. Красота природы так же привлекала их, а антиэстетичность буржуазного быта так же отталкивала.

Широко известны строки из автобиографии Дарвина, где он сетует на то, что уже много лет не может заставить себя прочитать ни одной стихотворной строки, потерял вкус к живописи и музыке. Но это было следствием колоссального перенапряжения: природа мстила Дарвину за раскрытие одной из ее величайших тайн — и воспринималось им самим как огромная потеря. Прежде все было иначе. Дарвин не только писал о законах природы. Он наслаждался ею. Она открывалась ему, как открывается лишь поэтам. Он умел ценить ее красоту и красоту искусства.

К. Тимирязев в статье «Кембридж и Дарвин», в которой рассказывается о его поездке на празднование пятидесятилетия со дня выхода в свет «Происхождения видов» (22—24 июня 1909 г.), приводит интересные отрывки из речи Уильяма Дарвина об отце:

«...его воображение находило себе пищу в красоте ландшафта, цветов или вообще растений, в музыке, да еще в романах, чтение которых вслух, равно как и выбор, взяла на себя всецело моя мать... Я думаю, что некоторых страниц «Происхождения видов» или того известного письма к моей матери из Мур-парка, в котором, описывая, как, задремав в лесу и внезапно разбуженный пением птиц и прыгавшими над его головой белками, он был так всецело поглощен красотой окружавшей картины, что ему первый раз в жизни, казалось, не было никакого дела до того, как создавались все эти птицы и зверюшки, всего этого не мог бы написать человек, не обладавший глубоким чувством красоты и поэзии в природе и жизни. Любовь к предметам искусства никогда его не покидала... Он был знатоком и строгим судьей гравюр и нередко посмеивался над современным декоративным искусством. Однажды, когда он гостил у нас в Саутхемптоне, воспользовавшись случаем, когда ни меня, ни жены не было дома, он обошел все комнаты и снес в одну из них все фарфоровые, бронзовые и другие художественные произведения, украшавшие камин и т. д., которые казались ему особенно безобразными, а когда мы вернулись — с хохотом пригласил нас в эту, как он выразился, "комнату ужасов"».

Разве не мог так же поступить владелец и главный дизайнер преуспевающей декоративной фирмы «Уильям Моррис и К°», основанной для того, чтобы исправить вкус англичан?

В столь же малой степени были справедливы претензии Морриса к Томасу Хаксли. Этому выдающемуся ученому принадлежат слова об отношениях искусства и науки, не только не теряющие, но и с годами все больше выявляющие свою актуальность. Как полезно, например, было бы выслушать их людям, видящим в семиотике начало и конец исследования искусства! «Я всю жизнь испытывал острое наслаждение, встречаясь с красотой, которую предлагают нам природа и искусство, — писал Томас Хаксли в 1886 году в статье «Наука и мораль». — Физика, надо думать, окажется когда-нибудь в состоянии сообщить нашим потомкам точные физические условия, основные и сопутствующие, рождающие это удивительное и восторженное ощущение красоты. Но если такой день и придет, наслаждение и восторг при созерцании красоты по-прежнему пребудут вне мира, истолкованного физикой». Искусство не было для Хаксли способом передачи истины, найденной наукой. Оно само по себе было средством исследования мира и нахождения истины. Но столь же твердым было убеждение Хаксли в том, что художник, чей разум развился в общении с современным знанием, всегда имеет преимущество перед художником, безразличным к науке. Художник, отвернувшийся от науки, это для него художник, отвернувшийся от современности, не желающий мыслить в ее масштабах, принять ее взгляд на вселенную, задуматься о человеке и мироздании. И здесь они с Моррисом, конечно, решительно расходились. Моррис был поклонником средневековья. Не того, разумеется, средневековья, которое осталось в людской памяти своей дикостью, религиозными преследованиями, жестокими войнами и фанатизмом, а того, что было временем, когда труд и искусство были неразделимы и свободный ремесленник целиком выражал себя через произведение своих рук.

Думается, впрочем, нелюбовь Морриса к Хаксли объяснялась все-таки не этим. Он вряд ли достаточно четко представлял себе взгляды Хаксли на искусство. Скорее, здесь сыграла роль дружба Хаксли со Спенсером. Дружба никак не случайная. И Хаксли и Спенсер одинаково боролись за независимость научного знания и право подходить к исследованию природы и общества, минуя запреты религии. К тому же у Хаксли нетрудно найти высказывания, неотличимые от позитивистских. Он, например, определял науку как «всего-навсего вымуштрованный здравый смысл». Но, по существу, Хаксли взял от позитивизма лишь то, что тот в свою очередь заимствовал от Просвещения. И, в отличие от Спенсера, он сохранил демократическую традицию просветительной мысли, научно ее подкрепив; Спенсер был основателем «социального дарвинизма» и законченным индивидуалистом — Хаксли делал из дарвинизма совсем иные выводы. Он доказывал, что человек сумел выжить перед лицом гораздо более сильных существ лишь потому, что сформировался внутри племенных групп. Отсюда, по Хаксли, следует, что коллективизм является изначальным

условием существования любой человеческой особи и человеческого общества в целом. Другое дело, что сам Хаксли одним из принципов современного коллективизма считал союз труда и капитала и спорил по этому вопросу с социалистами. Его ученик Уэллс сделал следующий шаг. От коллективизма он пришел к социализму.

Так студент второго курса Герберт Уэллс вместе с несколькими своими однокашниками появился в одном из богатых особняков, расположенных на берегу Темзы в лондонском районе Хаммерсмит. Этот обширный, выстроенный в готическом стиле дом, окруженный огромным садом, с 1878 года принадлежал Уильяму Моррису, и его название — Келмскотт — ныне упоминается и в истории прикладного искусства, и в истории эстетической мысли, и в истории английского социализма. В стеклянной оранжерее, расположенной в саду, воскресными вечерами устраивались собрания, притягивавшие всех, кто склонялся к левым идеям. Здесь оттачивал свой полемический дар высокий рыжебородый ирландец Бернард Шоу (1856—1950), выступала Анни Безант (1847—1933), прошедшая путь от религиозной ортодоксальности к социализму, позднее переехавшая вслед за Анной Петровной Блаватской (1831—1891) в Индию, чтобы помочь той воссоздать Теософское общество, а после ее смерти ставшая одним из активнейших борцов за освобождение Индии, председателем Индийского национального конгресса. Были и другие люди с достаточно сложными духовными и политическими биографиями. Тут собирались социалисты, коммунисты, анархисты, деятели Парижской коммуны, успевшие спастись от версальцев, немцы, покинувшие родину после издания бисмарковских антисоциалистических законов, соратники Морриса в реформе декоративного искусства, такие, как художник Уолтер Крейн (1845—1915), левые общественные деятели Эрнст Белфорт Бакс (1854—1926) и Роберт Бонтайн Каннинхэм-Грехем (1852—1936), молодые чиновники Сидней Уэбб (1859—1947) и Сидней Оливье (1859—1943), основавшие в 1884 году Фабианское общество, глава возникшей на три года раньше Демократической федерации Генри Мейерс Гайндман (1842—1921), который излагал марксистское учение как свое собственное и потому старался не упоминать имя Маркса, и многие другие. Легко представить себе, какие кипели споры в этом не слишком просторном и к концу каждого заседания совершенно прокуренным помещении! Уэллс и его товарищи были здесь лишь скромными слушателями. Они спорили уже по дороге домой.

Личность Морриса не могла не произвести на них впечатление. Моррису было в это время пятьдесят два года, но даже юнцы из Нормальной школы вряд ли думали о нем как о пожилом человеке. Он обладал могучим здоровьем, редкой физической силой и при своем малом росте был так широкоплеч, что казался квадратным. Жители Хаммерсмита поначалу принимали этого просто

одетого человека, ежедневно вышагивавшего твердой, размеренной поступью несколько миль до своих мастерских, за бывшего моряка. Одарен он был всесторонне. Он был поэтом, писателем, художником, архитектором и владел неисчислимым количеством ремесел. Первый образец почти любого изделия, выпускавшегося его фирмой, он делал самолучно, поощряя при этом рабочих, его воспроизводивших, к импровизациям и развивая их вкус.

Уэллсу запомнилась его манера речи. Он выступал всегда стоя у стены и заложив руки за спину. По мере того как он разворачивал свою мысль, он все больше наклонялся вперед, а закончив длинную фразу, рывком откидывался назад. Было в этом что-то необычное, присущее ему одному, как и во всем, что он делал. Вот уж кто действительно был личностью! Так что недаром студент Хилл давал всем читать пока еще, к сожалению, не существующую книгу «Вести ниоткуда». С Моррисом во многом можно было не соглашаться, но в одном ему нельзя было отказать. В его утопии не было обычной для этого жанра умозрительности и мертвенности. Он писал о людях и для людей.

Антибуржуазность этого выходца из богатой буржуазной семьи переросла в социализм после Парижской коммуны и промышленного спада конца семидесятых годов. Он принялся за «Капитал» Маркса, с увлечением прочитал его историческую часть и во всем с ним согласился, но с экономической теорией Маркса справился лишь много позже и с чужой помощью.

Социалистические организации в Англии были в те годы очень слабы. Рабочее движение находилось под влиянием левого крыла либеральной партии, и попытки социалистов выступать на рабочих митингах против либералов, связанных с тред-юнионами, встречались свистом и улюлюканьем. В Демократической федерации насчитывалось всего лишь несколько сот членов. К тому же она была очень пестра по составу. В нее входили оуэнисты, многочисленные анархисты и близкие к ним «крайние левые» (в Федерации их называли «леваками»). Людей, знакомых с работами Маркса и Энгельса, можно было перечесть по пальцам. К тому же «Капитал» был пока переведен с немецкого только на французский язык. Моррис по-французски его и прочел. Словом, Федерация никак не радовала глаз. Но другого выбора не было. В Демократическую федерацию Моррис вступил в 1881 году, едва она была основана, и в августе 1884 года стал членом Исполнительного комитета, который преобразовал ее в Социал-демократическую федерацию и подготовил ее новую, социалистическую, программу. С Гайндманом он, впрочем, разошелся довольно быстро. В последние месяцы 1884 года речь шла уже лишь о том, кто из них первым покинет Социал-демократическую федерацию. 27 декабря Моррис, Элеонора Маркс, Эдвард Эвелинг и еще около двухсот членов, в основном анархистов и «леваков», вышли из Федерации и 30 декабря организовали Социалистическую лигу, провозгласившую принципы «революционного интернационального

социализма». Полтора года спустя Лига насчитывала более тысячи членов, имела несколько отделений в провинции и издавала на средства Морриса журнал «Коммонуэлл», в котором Энгельс, желая оказать моральную поддержку Моррису, Элеоноре Маркс и Эвелингу, напечатал одну свою статью и две небольшие заметки.

Социалистической лиге, однако, тоже не суждено было вырасти в подлинную марксистскую организацию. Ее раздирали беспрестанные противоречия. «Коммонуэлл» захватили в конце концов анархисты, с которыми Моррис в некоторых пунктах сам сближался. «В Социалистической лиге анархисты быстро делают успехи, — писал Энгельс Адольфу Зорге 29 апреля 1886 года. — Моррис и Бакс, один — социалист эмоциональной окраски [...], другой — искатель философских парадоксов, находятся сейчас всецело у них в руках [...] И эти путаники хотят руководить английским рабочим классом! К счастью, последний об этом знать ничего не хочет»¹.

Впрочем, отнюдь не изолированность Социалистической лиги от рабочего движения помешала Уэллсу сделать следующий шаг в сторону Морриса. По отношению к нему в Уэллсе действовали силы притяжения и отталкивания. Моррис, следует думать, попал в сферу внимания Уэллса не в последнюю очередь потому, что тот в это время заинтересовался прикладным искусством. Как и искусством вообще.

Музыка не была единственным его открытием в Лондоне. Еще он открыл для себя поэзию. Сперва он увлекся Блейком, потом почувствовал очарование стихов последователя прерафаэлитов Алджернона Суинберна (1837—1909), лучшие сборники которого появились как раз в те годы, когда Уэллс начал пробиваться к культуре. Он был современник! Да и Моррис, оказывается, был не только дизайнером, но и поэтом сродни Суинберну. Он тоже был другом поэта и художника Данте Габриэля Росетти (1828—1882), основателя Прерафаэлитского братства.

Прерафаэлиты принадлежали далекому прошлому. Их Братство возникло еще в 1848 году. И в то же время они были где-то совсем рядом. По-прежнему работали Моррис и Суинберн. И по-прежнему вызывали удивление картины, написанные несколько десятилетий назад.

Живопись была единственным видом искусства, с которым Уэллс познакомился в отрочестве, причем знакомство было очень близким. Оно началось с простреленной лошадиной ноги в картинной галерее Ап-парка. Но то, что он увидел в Лондоне, отнюдь не походило на классику, которой были увешаны стены старинного поместья. Восьмидесятые годы были пиком английского эстетизма, и все, созданное в этой манере в прошлые десятилетия, оказалось теперь в центре внимания. Это давнее искусство словно бы приобретало новый смысл. Правда, само представление об эсте-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 409.

тизме начинало двоиться. Его родоначальников, прерафаэлитов, сравнивали в свое время с чартистами, и в этом была доля правды. Викторианское общество, начавшее складываться после поражения чартистов, прерафаэлиты решительно не принимали. О политических его устоях они не задумывались, но его духовный мир казался им жалким, а его вкусы отталкивающими. Свой идеал (отсюда впоследствии и возникла утопия Морриса) они видели в средневековом ремесленнике — сразу художнике и труженике. Академисты, шедшие от Рафаэля, казались им помпезными и бездуховными. Они их ненавидели. Академисты платили им тем же. Стоит ли удивляться, что поздние прерафаэлиты, да и кое-кто из стоявших у истоков этого движения, проделали путь, нередкий для людей подобной духовной организации. От эстетического неприятия общества они шли к политическому его неприятию. Джон Рёскин, знаменитый искусствовед, первым вступивший за прерафаэлитов, двигался от художественной критики к критике социальной. Друг Росетти Уильям Моррис стал основателем одной из первых социалистических организаций в Англии. Суинберн все чаще заявлял себя политическим радикалом.

Но с годами намечался и обратный процесс. Былые новации, войдя в моду, делались штампами, мораль оборачивалась назидательностью, увлечение средневековьем вело к сентиментальной религиозности. Да, многие из тех, кто вырос на прерафаэлитизме, политически сдвинулись влево, но ведь главным их полем боя было искусство, а их оружие все больше затуплялось. Пучина викторианства засасывала своих недавних противников. И когда молодой, самый, наверно, талантливый из учеников Рёскина Оскар Уайлд взбунтовался против викторианства, он от имени своего поколения отверг и многое из того, чему поклонялись его учителя, — Пользу, Веру, Мораль, Общее дело. Последнее — при том, что он, повинувшись духу времени, объявил себя социалистом. Эстетизм понемногу превращался в эстетство. Когда сторонники эстетического движения пятидесятих годов боролись за самостоятельность искусства, они имели в виду его способность самостоятельно исследовать жизнь и отыскивать истину. «Величайшее, на что способен человек, это *увидеть* что-то и простейшими словами сказать, что он увидел», — заявил как-то Рёскин. Когда же о самоценности искусства заговорили эстеты, они противопоставили его жизни. Искусство не учит жизни и не учится у нее. Оно учит жизнь. Точнее, поучает ее. Втолковывает ей, какой ей положено быть, чтобы выполнить свое назначение: порадовать взор ценителя.

К счастью, это были по преимуществу одни декларации. Аморальные афоризмы Уайлда никак не сходятся со смыслом ни сказок его, ни комедий, ни даже единственного его романа «Портрет Дориана Грея», где как раз и показана губительность аморализма. Уайлд всю жизнь словно боролся сам с собой. Но ведь тот, с кем ты борешься, тоже должен присутствовать на подмостках. Особенно если этот твой антагонист — ты сам.

Так ли просто было во всем этом разобраться двадцатилетнему провинциалу, выходцу из не слишком-то культурной среды? Антивикторианцем он был чуть не от рождения, и все антивикторианское сразу его приманивало. А теперь еще и все, непохожее на опостылевшую рутину Нормальной школы с этими «проклятыми позитивистами» на профессорской кафедре.

Неудивительно, что он пережил пусть очень короткий, но при этом и достаточно бурный период увлечения английским эстетизмом, причем вначале он существовал в его сознании в некоей нераздельности. Как, впрочем и в сознании многих, кто был старше его и опытнее. «Старики» не заметили, что понятия Красоты и Общего дела начинают уже расщепляться. Уильям Моррис, отдавший столько сил социалистическому движению и искавший близости с Фридрихом Энгельсом, по-прежнему верил, что, обновляя вкус публики, он способствует приходу нового общества. Рёскин, забросив искусствоведение ради социологии, был вместе с тем полон восхищения перед своим учеником Оскаром Уайлдом. Ему и в голову не приходило, что тот — нечто иное, нежели он сам и те, с кем он начинал.

А вот Уэллс — голодный мальчишка, только что выбравшийся из мешанского Бромли, недоучка, чей уровень культуры был так далек от рёскинского, моррисовского, уайлдовского, каким-то чудом все это понял. Не сразу, конечно. Но очень быстро.

Впрочем, думается, чуда здесь никакого не было. Он ведь шел не к социализму через искусство, а к искусству через социализм.

Правда, и в социализме он определился не сразу. Но как раз в доме Морриса была возможность сознательного выбора. Социалистическое движение было представлено здесь чрезвычайно широко.

Что узнал Уэллс к этому времени о социализме? Не очень много. В один из приездов в Ап-парк (он не помнил точно, в какой) он, лежа на зеленой лужайке, прочитал «Государство» Платона и, хотя, по собственному признанию, не слишком много в нем понял, в его сознание проникла совершенно новая для него идея. До этого он воспринимал частную собственность, совсем как его мать воспринимала монархию и церковь. Это было для него нечто изначально данное и не подлежащее обсуждению. Теперь он понял, что возможна и другая организация общества, при которой общий интерес одержит победу над «экономическим индивидуализмом». К бунту против монархии и религии присоединилось неприятие существующих экономических отношений.

Когда он учительствовал в Мидхерсте, ему попала в газетном киоске книжка в зеленом бумажном переплете — дешевое издание «Прогресса и бедности» (1879) американского экономиста Генри Джорджа (1839—1897), который считал, что национализация земли или обложение ее высокой рентой положит конец бедности. Вероятно, низкая цена книги сыграла не послед-

ную роль в этом приобретении. Уэллс прежде о Генри Джордже не слышал, как долго еще не слышал о Марксе. (А ведь первый том «Капитала» вышел через год после его рождения!) Однако именно книга Джорджа захватила его сознание. У этой книги вообще занятая судьба. При том, что сам Генри Джордж не был социалистом, она очень многих обратила мыслями к социализму. В том числе и Уэллса, который, по его словам, был с этого момента и на протяжении еще некоторого времени «социалистом, проходящим фазу озлобления». Он тоже, подобно Моррису, стал «социалистом эмоциональной окраски», хотя эмоции у него были другие. Он негодовал против условий жизни своих и своей семьи. Рассказывая о своем пути к социализму, Уэллс непременно оговаривал, что он — сын разорившегося лавочника. Взявшись за Генри Джорджа, он припомнил и краткое изложение взглядов английского социалиста-утописта Роберта Оуэна (1771—1858), попавшееся ему на глаза в Саутси. Так Уэллс превратился в «домарксовского социалиста, жившего после Маркса», как он себя называл. Но почему «домарксовского», если он жил после Маркса? На это Уэллс тоже давал вполне определенный ответ. В Марксе его не устраивало «лишь одно» — теория классово-борьбы. Понятия пролетариата и буржуазии он объявлял «мистическими» и не раз пытался противопоставить теории Маркса свою собственную. Разумеется, для серьезного ученого, каким мечтал стать Уэллс, спор с Марксом подразумевал для начала настоящее с ним знакомство. И действительно, Уэллс всю жизнь собирался серьезно заняться Марксом — разумеется, чтобы его опровергнуть, — но так и не собрался. Не сохранилось никаких свидетельств того, что он читал «Капитал», хотя, возможно, когда-то слегка его полистал. И тем не менее собственную теорию социализма он начал создавать очень рано. В летние каникулы 1886 года, которые Уэллс провел на ферме у родственника, он размышлял не только о собственной судьбе. Одному из своих университетских друзей он послал карикатуру на себя. Он изображен там задремавшим над бумажками с заголовками задуманных статей: «Как бы я спас страну», «Все о боге», «Секрет космоса», «Долг человека» и, наконец, «Уэллсовский план новой организации общества». Последнюю статью он и в самом деле писал, переписывал и снова переписывал, пока она не превратилась в реферат о «демократическом социализме», который и был им зачитан 15 октября в Дискуссионном обществе. Наверно, желание поделиться своими мыслями с товарищами сыграло не последнюю роль в его решении все-таки вернуться в Нормальную школу.

Само собой разумеется, «демократический социализм» Уэллса, всегда помнившего, что он — сын разорившегося лавочника, исключал какую-либо причастность к делам Социалистической лиги, многие члены которой считали себя марксистами и, пусть неудачно, пытались внушить свои идеи рабочему классу. Больше всего Уэллса с самого начала тянуло к фабианцам. Фабианцы

(в чем они оказались правы) считали, что Англия не готова к революции, и мечтали внедрить социализм постепенно, завоевывая на свою сторону административные органы и в них проникая. Последнее особенно удалось Сиднею Оливье, ставшему губернатором Ямайки, а потом государственным секретарем по делам Индии в первом лейбористском правительстве. Правда, о том, как барон Оливье Рамсденский (сделавшись важным лицом, он получил этот титул) внедрял социализм на Ямайке или в Индии, сведений не сохранилось...

В свой последний год в Нормальной школе Уэллс начал посещать фабианские собрания, а однажды даже заглянул с товарищами в штаб-квартиру этой политической группы. Располагалась она на Стрэнде в здании, сохранившем почтенное название Клементс-Инн — по адвокатской коллегии, находившейся некогда на том же месте и упомянутой у Шекспира и Теккерея. Впрочем, тут его ждало двойное разочарование. Во-первых, как выяснилось, фабианцы размещались в подвале. Уэллс с детства мечтал выбраться из подвала, а судьба, словно в насмешку, снова и снова его туда загоняла! Но, что важнее, фабианцы не просто хотели овладеть административными постами (разумеется — в идейных целях), но по внутреннему своему духу вполне для них подходили. Секретарь, разговаривавший с Уэллсом и его товарищами, был уже законченным бюрократом. Выяснилось, что в Обществе состоит около семисот человек и что оно крайне неохотно принимает новых членов. Секретарь начал строго их допрашивать. Он стоял перед камином в надменной позе, широко расставив ноги, и все пытался выяснить серьезность их намерений. Они получили у него несколько брошюр и ушли, чтобы больше в этот подвал не возвращаться.

От этого похода к фабианцам у Уэллса надолго остался неприятный осадок. Его «демократический социализм» как-то не вязался с кастово-бюрократическим духом этого Общества. И, надо сказать, в своем тогдашнем неприятии фабианцев Уэллс был не одинок. Многие считали их в те годы просто карьеристами особого рода. Разумеется, это было верно по отношению далеко не ко всем. Тот же Сидней Уэбб, работавший вместе со своей женой Беатрисой Уэбб (1858—1943), прожил вполне достойную жизнь, оставил после себя серьезные книги по экономике и истории английского рабочего движения, одну из которых перевел В. И. Ленин, и титул барона Пассфилда получил в 1929 году за свои действительные заслуги перед обществом. Но молодого Уэллса что-то отвращало даже от такого фабианца, как Бернард Шоу, не мечтавшего, разумеется, ни о какой чиновничьей карьере. Все это были прирожденные интеллигенты и, как ему тогда казалось, ужасные снобы.

Оставался один только способ выразить свои взгляды: основать журнал. И двадцатилетнему нерадивому студенту это удалось! В декабре 1886 года вышел первый номер «Журнала научных

школ», прожившего потом долгую жизнь. Уэллсу довелось выступить с приветствием этому журналу (переименованному к тому времени в «Феникс») по случаю его пятидесятилетнего юбилея.

«Мы ждали от этого журнала чудес, — писал он. — Социалистическое движение растормошило большинство из нас, и в нас бродили (не очень ясные и не очень зрелые) мысли, что студент-естественник должен иметь свой особый взгляд на жизнь и на общественные дела».

Разумеется, этот «особый взгляд» нашел самое широкое и многообразное выражение на страницах журнала. Уэллс предпочитал высказывать его в форме смелых научных прогнозов, которые потом так или иначе помогли ему как научному фантасту, а то и в своих первых литературных опытах. Какой-то его небольшой рассказ был примерно в это время напечатан в журнале «Фэмили Херальд», и Уэллс получил первый в жизни гонорар — одну гинею. Касмо Роу, молодой художник, предоставлявший в те годы свою мастерскую для собраний радикально настроенных студентов, вспоминал потом, что как-то в распахнувшуюся дверь вошел, помехивая чеком на десять шиллингов, Уэллс и с гордостью заявил, что со временем будет зарабатывать таким путем уйму денег и ездить в красивом экипаже. Однако большинство своих произведений этих и последующих лет он напечатал в безгонорарном «Журнале научных школ», и если о рассказе в «Фэмили Херальд» отзывался потом как о вещи «неряшливой, сентиментальной и нечестной», то публикации в «Журнале научных школ» не вызывали у него подобного чувства. Конечно, став настоящим мастером, он сделал все возможное, чтобы они не попадались на глаза читателям, но сам-то о большинстве из них не забыл и не раз к ним возвращался, разрабатывая заключенные в них идеи.

К сожалению, в редакторах ему удалось пробыть недолго. В Нормальной школе была такая весьма опасная для неуспевающих студентов фигура, как регистратор. Он и запретил Уэллсу всякие отвлекающие от дела занятия. Как легко понять, на того это не подействовало, но формально пришлось передать редакторскую должность одному из друзей, и статьи и рассказы за его подписью из «Журнала научных школ» исчезли. Вместо Уэллса среди авторов журнала появились никому дотолем не известные Состенос Смит, Уокер Глокенхаммер и совсем уже таинственный С. Б.

Этот С. Б. большим трудолюбием, видно, не отличался, и с его подписью вышел всего только один рассказ — о том, как в Лондоне построили новую (кольцевую) линию метрополитена, действующую на основе принципа «перпетуум мобиле», пустили по ней первый поезд с почетными пассажирами, но, как выяснилось, забыли установить на нем тормоза. Поезд все увеличивал скорость, пока не сошел с рельсов и не взорвался. Среди почетных пассажиров были «августейшая особа с телохранителем, премьер-министр, два епископа, несколько популярных актрис, четыре генерала из министерства иностранных дел, различные чужеземцы, лицо, имею-

шее отношение к военно-морскому ведомству, министр просвещения, сто двадцать четыре паразита, состоящих на государственной службе, один идиот, председатель торговой палаты, мужской костюм, финансисты, второй идиот, лавочники, мошенники, театральные декораторы, еще один идиот, директора и тому подобное». К числу «тому подобных» относился и спикер палаты общин. Когда раздался взрыв, от большинства пассажиров ничего не осталось. Августейшая особа как ни в чем не бывало приземлилась в Германии. Дельцы-пройдохи осели вредоносным туманом на соседние страны...

Все это, впрочем, произошло только в фантазии некоего С. Б. Что же касается Герберта Уэллса, то ему предстояло жить все в том же обществе. Проба пера С. Б. называлась «Рассказ о XX веке» и имела подзаголовок «Для умеющих мыслить». Но XX век еще не наступил. Все еще шел XIX век. Утешало только то, что «умеющих мыслить», кажется, прибавлялось. Хотя, с другой стороны, один из них, Герберт Уэллс, был никому не нужен. Кому было дело до студента, не сумевшего окончить курс?

ИНТЕРМЕДИЯ



С очень дурным началом

Надо было искать работу. Примерно такую же, что и прежде, до поступления в Нормальную школу. Но поиски на этот раз заметно облегчались. Уэллс имел уже педагогический стаж, и на руках у него была, сверх того, бумага о прохождении курса наук в Лондонском университете. Правда, из университетского свидетельства явствовало лишь, что за отчисленным студентом сохраняется право сдать заочно недостающие экзамены и даже приобрести открывавшее доступ к ученой карьере звание бакалавра, а педагогический стаж исчислялся одним годом в Мидхерсте, но для агентств, подбиравших учителей для частных провинциальных школ, этого оказалось достаточно, и его завалили предложениями. Конечно, сейчас трудно утверждать, что он выбрал самое из них худшее, но такая именно мысль первой приходит в голову. В пользу «Академии» города Холта в Северном Уэльсе говорило, конечно, то, что занятия там начинались на месяц раньше, чем в других местах, а значит, и голодать придется на месяц меньше. Но Уэллса привлекало не только это. Прочитав умело составленный проспект холтской «Академии», он раз мечтался. Ему виделась хорошо поставленная школа в краю гор и озер со рвущимися к знаниям учениками (а ему теперь было чем с ними поделиться!), с обширной библиотекой и спортивными площадками, где он сможет поправить свое пошатнувшееся здоровье.

Не нарисуй он себе эту радужную картину, его, быть может, не так ужаснуло бы то, что он увидел своими глазами. Холт по-прежнему числился городом, но давно уже успел превратиться в заброшенную деревню. Там не было даже собственного врача. Ни гор, ни озер тоже не обнаружилось. Вокруг расстилался однообразный, унылый ландшафт. Сама по себе «Академия» состояла из «женской школы» — кособокого домика, где жила и чему-то, по-видимому, обучалась дюжина девочек-подростков, и «мужской» — заброшенной часовенки с грязными, а частью и побитыми окнами и каменным полом, которая и была собственно «классной комнатой». Примыкавший к ней домик тоже не казался образцом чистоты и комфорта. Там, в грязной и тесной комнатенке, спали по двое-трое в одной постели «учащиеся на пансионе», набранные из детей окрестных фермеров. В другой, столь же грязной, комнатенке (но зато каждый в отдельной постели) спали два ученика из находившихся на особом положении. Из них готовили кальвинистских проповедников, но, как Уэллс вскоре узнал, оба они метили в папы римские.

К счастью, будущие папы римские не составляли весь круг общения Уэллса. В школе был и второй учитель, француз по фамилии Ро. Недавнему лондонскому студенту он сразу понравился. Ро оказался атеистом, социалистом и отчаянным бабником. Пер-

выми своими двумя отличительными чертами он завоевал горячие симпатии приезжего вольнодумца, а последней — ещё и большое к себе уважение, чуточку приправленное завистью.

К сожалению, разговоры с Ро и переписка с друзьями составляли для Уэллса в первые месяцы единственную отдушину. Все остальное его отталкивало. Начиная с грязной посуды, на которой здесь подавали, предварив каждую трапезу молитвой, неизвестно на чем и из чего приготовленные кушанья. Переварить их стоило большого труда. Как, впрочем, и хозяина этого учебного заведения. Он во всем был ему под стать, и мистер Морли вспоминался рядом с ним как самоотверженный труженик на ниве народного просвещения, а также образец всех мыслимых добродетелей.

Уэллса в день его прибытия в Холт встретил человек, одетый в точности так, как полагалось одеваться тогдашнему педагогу. На нем был черный сюртук, белый галстук и цилиндр. Но даже и в этом отношении мистера Джонса с другими представителями его профессии было не спутать: в лоснящиеся сюртук и цилиндр можно было глядеться как в зеркало, а белый галстук был серым. На круглом небритом лице безумным блеском сверкали глаза, а когда он открывал рот, чтобы произнести с валлийским акцентом какую-нибудь тираду (человек он был образованный, а потому коротко говорить не мог), то обнажались давно, а может и никогда в жизни не чищенные зубы. Объемов он был невероятных. Не сразу даже приходило на ум, на что он больше всего похож. Сравнение явилось потом как-то само собой. К новому хозяину надо было, как выяснилось, не только присматриваться, но и принохиваться. И отнюдь не в переносном смысле слова. Известно, что в дошекспировской Англии деревенские жители на зиму зашивались в белье, а весной спарывали его с себя и отмывались. Толстяк, сразу же обрушивший на Уэллса потоки своего невразумительного красноречия, очевидно, придерживался этого старого доброго обычая. А может быть, и вообще не знал употребления не только зубного порошка, но и мыла. Однако сквозь все запахи пробивался один, самый устойчивый, — и Уэллс довольно скоро определил своего нанимателя как Пивную Бочку.

Вскоре выяснилось еще одно прелюбопытное обстоятельство. В этой школе не было ни программы, ни даже расписания. Занятия то прекращались, то возобновлялись с бешеной энергией. Мистер Пивная Бочка то вдруг исчезал с глаз своих учеников, то начинал врываться в классы во время уроков и произносить длиннейшие речи. Человек он был верующий, во всем полагался на господа бога, и в те дни, когда покидал свои апартаменты, выстраивал всю школу на молитву. Он очень заботился о дисциплине и время от времени начинал распекать какого-нибудь ученика. Правда, ни сам подвернувшийся под руку ученик, ни мистер Джонс, метавший громы и молнии, не знали как следует, в чем тот провинился, но, по крайней мере, было ясно, что школа не безнадзорна.

Впрочем, Уэллс скоро понял, что ему не на что особенно сетовать. К еде, находящейся на самой грани съедобности, его приучила еще мать в Атлас-хаусе, к грязи он, сколько себя помнил, успел притерпеться, но зато был теперь всегда сыт, ему платили сорок фунтов в год, а это, на всем готовом, как-никак были деньги. Совершеннейший же кавардак, царивший в школе Джонса, был ему в известном смысле на руку. Чему кого учить, определял он сам, да и внезапные, пусть неопределенной продолжительности, но зато частые каникулы он знал, как использовать. Он непрерывно писал. И не только письма друзьям. Хотя, надо признать, пока что они получались у него лучше всего.

Возможно, Уэллс задержался бы в школе Джонса подольше, если бы не одно печальное происшествие.

«Спортивные площадки» «Академии» мистера Джонса выглядели в проспекте, конечно, лучше, чем в жизни. И всё же здесь было где погонять мяч, и Уэллс, когда удавалось, с увлечением носился по футбольному полю. Не было у него, разумеется, ни спортивных навыков, ни здоровья, но все заменяла природная живость. Он даже начал понемногу совершенствоваться в этой игре. Как легко понять, Уэллс играл не с мистером и тем более не с миссис Джонс, а с теми самыми деревенскими верзилами, которые в классной комнате находились в полном его подчинении. На футбольном поле дело обстояло иначе, и один из них применил по отношению к нему запрещенный приём. Он приподнял этого замухрышку-учителя, ударил его плечом в поясницу, бросил на землю и весело умчался, радуясь победе. Посрамленный учитель встал и попытался возобновить игру, но почувствовал, что ноги и руки у него ватные, и, шатаясь, поплелся домой, сопровождаемый насмешливыми криками. Как видно, частые молитвы не успели ещё принести должной пользы и не способствовали смягчению нравов в «Академии» города Холта.

В своей комнате он лег в постель и стал ждать, когда кто-нибудь туда войдет. Но на его отсутствие не обратили внимания. Ночью он пытался встать, чтобы напиться, но упал на четвереньки и только так добрался до кружки с водой. На другой день к нему все-таки привезли врача из соседнего города, и тот без труда обнаружил, что у него отбита левая почка. Уэллс испытывал лишь огромную слабость, но, поскольку врач подивился при всех, как стойчески он терпит невероятные боли, сопутствующие этому заболеванию, пострадавший вызвал всеобщее сочувствие. Предполагалось, что через несколько дней он помрет, и мистер Джонс, отправляясь в город, предложил даже привезти ему что-нибудь почитать. Уэллс не читал еще «Ярмарки тщеславия» и попросил достать ему эту книгу. Мистер Джонс решительно отказался. Он тоже этой книги не читал и даже о ней не слышал, но уже из названия понял, что книга эта безнравственная. Способствовать распространению такого чтения было против его принципов. А он никогда не делал того, что противоречило его принципам.

Уэллс, впрочем, не умер, чем осложнил свое положение. Доктор сказал, что его надо хорошо кормить и держать в теплой комнате, а это никак не могло пробудить добрых чувств в мистере Джонсе.

В школе Джонса его, впрочем, держало отнюдь не упрямство и не желание досадить этому почтенному человеку. Ему попросту некуда было деваться. Бывшая подруга, а ныне хозяйка Сары Уэллс уже чуть не плакала от нашествия ее родственников. Каждый из них, лишившись средств к существованию (а это случалось с ними постоянно), немедленно появлялся в Ап-парке и надолго там оседал. Но всему приходит конец, и на гостеприимность этого дома в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Однажды у Уэллса мелькнул, правда, проблеск иной надежды. Его одноклассник Уильям Бертон, сменивший его некогда на посту редактора университетского журнала, удачно женился, нашел хорошую работу в знаменитой фирме Уэджвуд и собирался пригласить Уэллса пожить у него. Они с женой навестили его в Холте, покормили в приличном ресторане и обнадежили в отношении будущего. К сожалению, прежде чем осуществить свое намерение, им самим надо было получше устроиться на новом месте, так что отъезд из Холта откладывался.

Но, как всегда, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Едва в Ап-парке услышали слово «туберкулез» (об этой болезни, правда, тогда не знали, что она заразна), как отношение хозяйки к приезду Берти переменялось. Она читалась романов, героини (а чаще — героини) которых умирали от этой романтической болезни, и не могла не скрасить последних дней обреченного. И, надо сказать, Уэллс в этом смысле не ударил лицом в грязь. Едва он появился в Ап-парке, у него началось такое страшное кровохарканье, что и в самом деле можно было опасаться за его жизнь. К счастью, в Ап-парке гостил в это время молодой доктор Коллинз (впоследствии — сэр Уильям Джоб Коллинз, медицинское светило), который остановил кровохарканье, обложив грудь пациента льдом, а потом, внимательно его осмотрев, поставил диагноз, оказавшийся безошибочным. Никакого туберкулеза у Уэллса не было. Он страдал хронической бронхопневмонией в тяжелой форме.

Прекратить кровохарканье, впрочем, отнюдь не значит окончательно вернуть пациента к жизни. Положение Уэллса ещё некоторое время оставалось опасным. К счастью, когда выяснилось, что ему грозит смерть не от туберкулеза, а от другой болезни, его все равно не прогнали из дому. Он жил теперь в теплой, солнечной комнате и быстро набирался сил. Когда на Рождество к Саре Уэллс нагрянула вся семья, включая бывшего лавочника, устроившего себе разбойничье логово в каких-то трех милях от Ап-парка, больной так отплясывал на балу для слуг, что никакому здоровью было с ним не сравниться.

В Ап-парке Уэллс пробыл на сей раз четыре месяца. И, по обыкновению, не потерял их даром. В Холте он начал писать ро-

ман «Компаньонка леди Франкленд». Теперь он вновь за него принялся, но чем выше становилась стопка исписанной бумаги, тем больше он убеждался, что всё это никуда не годится. «Детская мазня» — иных слов он потом к своей тогдашней литературной продукции подобрать не мог. Продолжать начатый роман не имело смысла: надо было сперва подучиться. И четыре месяца в Ап-парке были прежде всего временем усиленного чтения, причем и читал он теперь не совсем так, как прежде. Он пытался проникнуть в литературную технику каждого автора, чья книга попадала ему в руки. Правда, это были писатели одного толка. Он основательно проработал Шелли, Китса, Гейне, Уитмена, Лэма, Стивенсона, Готорна и в дополнение — еще огромное количество популярных романов. Его вдруг потянуло писать стихи, но, когда он послал их на пробу Элизабет Хили, даже эта всегдашняя его почитательница вынуждена была деликатно ему намекнуть, что в стихах полагается соблюдать размер и подбирать рифму. Он, разумеется, счел это признаком ее ограниченности и в соответствующем духе ей ответил, но от потребности писать стихи отучился. Он в жизни опубликовал их ровно четыре строчки. Впрочем, чтение поэтов-романтиков, прозаиков-романтиков, эссеиста-романтика Чарлза Лэма не прошло для него даром. Эти месяцы литературного ученичества кончились тем, что он собрал почти все, написанное в Холте и Ап-парке, и сжег.

И тут пришло, наконец, долгожданное приглашение от Уильяма Бертона. Комната для гостей, писал тот, ждет его, и он может пробыть у них, сколько захочет. В Ап-парке он прожил уже предостаточно и на предложение Бертона откликнулся немедленно. Сказанное любезным хозяином «сколько захочет» он понял почти буквально и поселился у них на три месяца. Гость он был необременительный. Днем он закрывался у себя в комнате или шел на прогулку, а за ужином развлекал хозяев веселыми рассказами о Холте и Ап-парке, а если и позволял себе посмеяться над ними, то лишь от случая к случаю. Особенно ему нравилось вносить разнообразие в беседы Бертона с гостями. Стоило Бертону избрать какую-то тему, как Уэллс тут же начинал говорить о своем, а если все-таки связывался общий разговор, встречал в него с издевательскими репликами.

Нельзя сказать, что он не пытался поправить свое положение. Он написал доктору Коллинзу и просил того помочь ему устроиться в Лондоне. Коллинз, он знал, был вхож в хороший круг, запросто бывал у Бернарда Шоу и в семействе Томаса Хаксли, и кто, как не он, мог дать своему бывшему пациенту возможность подняться на следующую ступеньку социальной лестницы? Коллинз ответил быстро и любезно, но палец о палец не ударил.

Оставалось утешаться работой. Он задумал написать пространный мелодраму, наподобие «Парижских тайн», только на материале Стаффордшира. Однако летописцем индустриальных «Пяти городов», где он сейчас жил, суждено было стать не ему,

а Арнольду Беннету, скромному клерку, ходившему в эти дни по тем же улицам, что и Уэллс. Воспоминания о Стаффордшире возникли потом в творчестве Уэллса, но от задуманного подражания «Парижским тайнам» в дальнейшем остался лишь небольшой рассказ «Над жерлом домны» — о человеке, которого ревнивый муж сталкивает в доменную печь. Этого обреченного на смерть любителя женщин звали Ро. В те же месяцы Уэллс начал писать повесть «Аргонавты хроноса» и первую ее часть напечатал в журнале, редактором которого когда-то состоял. Уэллс сам потом поражался и тому, какое претенциозное название он придумал для своего творения, и тому, сколь неуклюже оно выглядело. Но он знал и другое — с этой неудавшейся и незавершенной повести началось нечто очень значительное в его литературной биографии.

Впрочем, пока еще рано говорить об «Аргонавтах хроноса» и о том, что за ними последовало. Чтобы осуществилось наметившееся, должно было пройти еще несколько лет. И очень непростых. Тем более, что с Бертонами пора было все-таки расставаться.

В один прекрасный день Уэллс объявил главе этой молодой, но успевшей за последние месяцы кое-что выстрадать семье, что послезавтра отправляется в Лондон.

— Зачем? — спросил его Бертон.

— Искать работу, — ответил Уэллс.

— Да что ты, дружище?! — воскликнул Бертон.

Но в голосе его чувствовалось заметное облегчение.

2

**...с продолжением, которое должно порадовать всех,
кто хоть немного успел привязаться к нашему,
не лишенному недостатков,
но не такому уж плохому герою**

Найти работу в Лондоне оказалось заметно труднее, чем в провинции. Ещё до отъезда из Стаффордшира Уэллс разослал письма во все агентства, адреса которых сумел припомнить, а по прибытии в Лондон старательно их все обошел, но вакансий не было. Так все и шло, пока не наступил день, когда из имевшихся у него пяти фунтов осталось всего полпенса. Правда, тут его ждала маленькая радость. Когда он полез в карман за своим полпенсовиком, обнаружилось, что на самом деле это был почерневший шиллинг. На эти деньги он прекрасно позавтракал. Но пообедать было уже не на что.

Хорошо, что ещё раньше Уэллс догадался обратиться за помощью к Дженнингсу — тому самому товарищу по Нормальной школе, который однажды угостил его запомнившимся на всю жизнь сытным обедом. Сейчас Дженнингс преподавал биологию



в Лондоне и нуждался в серии диаграмм. Изготовить их он поручил Уэллсу. Тот записался в библиотеку Британского музея и, пренебрегая требованиями авторского права, принялся срисовывать их с учебников, по преимуществу немецких. Тут ещё появились случайные уроки, не дававшие умереть с голоду. Ходить в библиотеку Британского музея ему очень нравилось. Там было тепло, светло и уютно, а всего этого ему весьма недоставало на чердаке, который он снимал за четыре шиллинга в неделю. По воскресеньям деваться было некуда, но вскоре он открыл ещё одно замечательное место, где тоже всегда хорошо топили, — собор святого Павла. И перекусить всегда было где. То съест в какой-нибудь лавчонке кусок рыбы, то выпьет чашку кофе, то заглянет в вегетарианскую столовую. У последней, правда, был свой недостаток. Человек, отменно там пообедавший, уже через два-три часа снова бывал голоден как волк. И всякий раз, когда он шел в Британский музей, в собор святого Павла или же совершал очередной обход агентств, которым давно уже пора было предложить ему постоянную работу, он поражался на улицах обилию хорошо одетых и, очевидно, вполне сытых людей.

Всё это время, кроме чувства голода, его не оставляло чувство одиночества. И наконец он решился на поступок, который давно уже следовало совершить. Он заглянул к тете Мэри.

Здесь нам придется вернуться к тем временам, которые Уэллс называл «моя первая атака на Лондон».

В обезьяннике, расположенном в Кэстборн-парке, неподале-

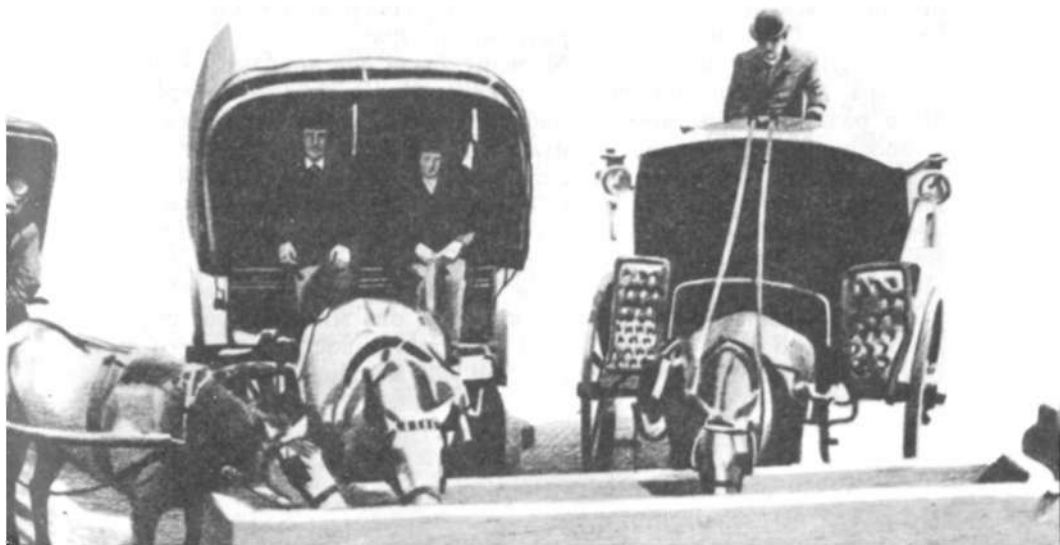




ку от Экзебишн-роуд, он прожил тогда не слишком долго. Отец поручил своей племяннице Дженни Голл, работавшей в отделе женского платья одного из лондонских универмагов, осведомляться иногда о его житье-бытье, и та, узнав, куда он попал, немедленно приняла меры.

В Лондоне, как выяснилось, жила невестка Джозефа, теть Мэри, добрейшей души женщина, о которой Сара предпочитала не упоминать. Ее покойный муж Уильям одолжил у них однажды полсоверена да так и не отдал.

Берти запомнился маленький, чернявый, обтрепанный человек, который, видимо из этих именно меркантильных соображений, как-то посетил Атлас-хаус. Больше он там не появлялся, что, впрочем, было не вполне в его власти: он вскоре умер. Последнее обстоятельство, однако, не смягчило сердце Сары, даже ещё больше ожесточило его, ибо родственник унизил семью, кончив счеты с жизнью в лазарете при работном доме. Был он как и Джозеф, «негоциантом», но в крикет играть не умел, а значит, дорога ему только в работный дом и была. Женился он, впрочем, на женщине трудовой, дочери мелкого фермера, и та после его смерти перебралась вместе с незамужней сестрой в Лондон, чтобы сдавать там мебелированные комнаты. Тётя Мэри приютила и Берти. Узнав от Дженни Голл о том, где и как он живет, она пожалела его и сразу же предложила переехать к ней. Когда постояльцев не было, он жил в лучших комнатах, когда дом бывал заполнен, перемещался в какую-нибудь нетопленную конуру, но и там продолжал работать, обмотав ноги для тепла



бельем и засунув их в выдвижной ящик письменного стола. В этом доме за номером 181 по Истон-роуд он и прожил большую часть времени, пока учился в Южном Кенсингтоне. Тетя Мэри с удовольствием взяла бы его на полное содержание, но сама еле сводила концы с концами. К тому же дочку, его ровесницу, надо было одевать как барышню и ещё платить за обучение хорошей профессии. Изабелла училась на ретушершу у фотографа.

Берти увидел её в первый же день, когда они с Дженни Голл посетили тётю Мэри и её сестру тетю Беллу. В комнату вошла и застенчиво остановилась серьёзная, красивая девушка, одетая в модное тогда «прерафаэлитское» платье. На Герберта она с первого же взгляда произвела большое впечатление. Он на неё (хотя, скорее всего, не сразу) — тоже. Она никогда ещё не встречала человека, который умел бы так увлеченно обо всем рассказывать. Жаль, конечно, что по большей части — о непонятном, но при этом так увлеченно! Сама она ходила в вечерние классы, где обучалась начаткам искусства, немного играла на пианино, но ей не случалось в детстве сломать ногу и потому к чтению её никогда не тянуло...

Из дому они по утрам выходили вместе, вечерами Герберт встречал её на полпути. Иногда они ходили на художественные выставки. Тетя Белла этой близости не одобряла, но тетя Мэри любила Берти как родного, и от неё можно было не прятаться.

Скоро им понравилось обниматься и целоваться в темных подъездах или даже у себя, если никого в доме не было, но о браке, разумеется, речь не шла — ни у него, ни у нее не было ни гроша за душой, а после провала Герберта на последних экзаменах и всякая надежда на скорый успех угасла. Он уехал из Лондона. Правда, когда Уэллс оказывался вдали от друзей, письма, по его собственному выражению, начинали извергаться из него как из вулкана. Но в данном случае этого не произошло. Конечно, Изабелла была не большая охотница до писания писем, чем до чтения, и все же их переписка, если она когда-либо и начиналась, прекратилась не по ее вине. В Холте у Герберта появилось новое увлечение. Притом — почти сразу же по приезде.

Девушку эту звали Энни Мередит, была она дочерью местного пастора, очень хороша собой, а главное — с ней куда интересней было разговаривать, чем с Изабеллой. Она увлекалась Рёскином и вообще была широко начитана. Правда, и тут существовали запретные темы. Она не выносила его шуточек о боге и монархии, но ведь и Изабелла, при всем ее уважении к его знаниям и уму, немедленно начинала возражать ему, едва он об этом заговаривал. Во флирте с Энни Мередит подобные разногласия, впрочем, сыграли на первых порах не слишком большую роль. Он даже написал для нее историю своей жизни, о чем она многие годы спустя сообщила его сыну Джипу, и она до седых волос хранила его любовные письма. Что до Уэллса, то, не удержавшись, он тут же стал

хвастаться этой историей перед друзьями и одному из них отослал в письме полученную от Энни любовную записку.

Обмен посланиями шел, очевидно, достаточно живо: Энни была преподавательницей старших классов в соседнем городе и часто видется им не удавалось. Потом переписка прервалась, да и отношения тоже. В своем письме Джипу старенькая Энни Мередит объясняла это тем, что не могла терпеть рядом с собой атеиста и социалиста, но, судя по приведенным ею отрывкам из писем Уэллса, дело было в другом. Юноша пытался убедить ее, что завоеует еще место под солнцем. Она, видно, в это не поверила. А ей надо было найти хорошую партию.

Легко понять, как это должно было ранить Уэллса.

Также нетрудно понять, что помешало ему по возвращении в Лондон сразу появиться у тети Мэри.

К его удивлению, она встретила его так, словно ничего не изменилось. Изабелла тоже. Они жили теперь в лучшем доме и в лучшем месте, на Фицрой-роуд, 12, неподалеку от Риджент-парка, и, как только денежные дела у Уэллса немного наладились, он переехал к ним.

Заработки, действительно, отыскиались. Он получал все больше уроков, продолжал изготавливать наглядные пособия для Дженнингса и начал работать для нескольких только что основанных дешевых периодических изданий. Он уже был на обочине журналистики. Писал маленькие заметочки от случая к случаю. Но с одним изданием ему повезло. Называлось оно «Тит битс» («Обо всем понемногу»), и там первыми догадались завести скоро ставший популярным и подхваченный другими изданиями раздел «Вопросы, стоящие ответов». За удачный вопрос платили полкроны, за ответ на него — согласно объему. Уэллс задавал вопросы, на которые сам же и отвечал, так что скоро он мог вносить в бюджет прикутившей его семьи до двух фунтов в неделю. А сразу после рождественских каникул он стал учителем в лондонском районе Килборн, в частной школе, где обучались по преимуществу дети живших по соседству интеллигентов. После полутора лет безработицы получить постоянное место, дававшее шестьдесят фунтов в год, при частичном содержании было просто счастьем. Еще большим счастьем оказалось то, что принадлежала эта школа Джону Вайну Милну. Эту фамилию весь мир узнал много позже, когда сын Джона Вайна, пока еще учившийся в отцовской школе, написал для своего сына «Винни Пуха». Однако в лондонских педагогических кругах она и тогда уже была широко известна. Милн был интеллигент и талантливый педагог. Кроме того, Уэллс быстро понял, что он еще и своеобразная, интересная личность. Общение с ним доставляло истинное удовольствие. Труды праведные не принесли ему палат каменных. Школа была довольно бедная: располагалась она в двух зданиях, в одном из которых жил Милн с семьей, а в другом находились классы и учительская. В первый же день Милн, весьма далекий от каких бы то ни было естествен-

ных и точных наук, сунул в руку молодому учителю золотую гинею и предложил ему купить что понадобится для занятий химией или чем другим в этом роде. Уэллс успел уже к тому времени заглянуть в шкаф, где хранилась «научная аппаратура», и обнаружил там химические весы, большая часть гирек к которым была потеряна, и несколько грязных колб. Только и всего. Однако он заявил Милну, что достаточно будет купить цветные мелки. Чем «ставить опыты», сказал он, лучше описывать их, рисуя диаграммы и разъясняя попутно, какие научные принципы применимы в каждом отдельном случае. Милн горячо его одобрил. «Да, — согласился он, — я заметил, что постановка опытов вредит дисциплине». Ему ли было не знать! Ведь предшественник Уэллса потому-то и покинул свой пост, что трижды под общий хохот учеников взорвал колбы в ходе опыта, имевшего целью извлечь кислород из веществ, в которых он не содержится...

Очень скоро Милн открыл, что у его нового учителя не просто много рвения и желания принести пользу, но и подлинный педагогический талант. Уэллс рассказывал обо всем живо, с чувством юмора, добивался при этом точных знаний. Ученики его обожали. Одному из них, Алфреду Хармсуорту, предстояло потом сделать фантастическую карьеру. Когда ему исполнилось двадцать лет, он принялся, не имея ровно никаких средств, выпускать с помощью гелиографа собственную газету, стал за недолгий срок газетным королем, получил титул лорда Нортклифа, а во время первой мировой войны занял пост заместителя министра пропаганды. Уэллс им очень гордился. Правда, до тех лишь пор, пока не поработал с ним в министерстве.

У Милна Уэллс почувствовал твердую почву под ногами, и ему, наконец, стало ясно, какую карьеру он будет делать — педагогическую. Настал час использовать возможности, оставленные ему после отчисления из Нормальной школы. В мае 1889 года, не пробыв у Милна и полгода, он сдал так называемые «промежуточные экзамены» на звание бакалавра наук и на Рождество сдал еще двадцать экзаменов (причем пятнадцать — «с отличием»), завоевав все три положенные денежные награды: десять фунтов за педагогику и по пяти фунтов за математику и биологию. В подобную удачу просто не верилось. Но ему продолжало везти. В начале 1890 года он сдал последние экзамены и получил звание бакалавра, а год спустя прошел еще через одну череду экзаменов и вместе со значительной для той поры наградой в двадцать фунтов получил звание действительного члена Колледжа наставников — того самого, с помощью которого упорно, но тщетно стремился поднять свой культурный уровень его первый учитель, незабываемый мистер Морли.

По истечении первого года Милн повысил ему жалованье и уменьшил нагрузку, что не только позволило ему быстрее подготовиться к заключительным экзаменам на звание бакалавра, но и взять (из чисто материальных соображений) ещё репетиторство.

В том же 1889 году его пригласил на работу Уильям Бриггс, основатель Университетского заочного колледжа. Уэллс согласился и принялся за дело, хотя до конца учебного года Милна не бросил. С момента, когда Уэллс получил степень, Бриггс установил ему жалованье в триста фунтов в год. Теперь он был вполне устроенный человек. Занятиями своими он упивался. И, что не менее важно, студентам он тоже нравился. Работа в заочном колледже заключалась не только в проверке контрольных работ. В колледже были ещё очные классы численностью от шести до тридцати двух человек, причем в больших группах при главном преподавателе был ещё и ассистент. Уэллс имел теперь возможность по-настоящему развернуться как педагог. Ученики запомнили его навсегда. Вот что писал потом один из них:

«Он был прост, непретенциозен, говорил коротко и мысли свои высказывал напрямик, с оттенком цинизма и откровенного презрения к тем, кто занял свое место в жизни благодаря своему происхождению и богатству... Утро начиналось часовой лекцией. За ней следовали два часа лабораторных занятий, причем в лаборатории он переходил от студента к студенту, каждому всё объяснял и исправлял ошибки в анатомировании... Он был удивительно добросовестен и горел желанием всем помочь... Он не уставал повторять, что образованность сводится к умению проводить различие между вещами первостепенными, второстепенными и вообще не имеющими существенного значения... Он был исполнен подлинной доброты и истинного сочувствия к студентам, многие из которых вынуждены были, дабы получить ученую степень, бороться с бедностью и преодолевать житейские трудности».

Все эти успехи помогли семье переехать в лучший дом — на той же Фицрой-роуд за номером 46 — и даже позволить себе короткие каникулы на недорогом курорте. Женитьбу на Изабелле он вынужден был все же хоть ненадолго, но отложить.

В начале года возобновилось кровохарканье, в мае он перенес инфлюэнцу и ему стало совсем плохо. Пришлось нанять человека, который заместил его в классах и лаборатории. В июне 1891 года он написал отцу, что, если бы его не поддерживало сознание достигнутых успехов, он бы умер.

Но он снова выкарабкался, и 31 октября 1891 года они с Изабеллой без большого шума повенчались в приходской церкви. Уэллс считал, что это — большая уступка с его стороны. Могли бы просто зарегистрироваться в мэрии. Но, увидев, как он обрадовал этим окружающих, утешился. Тётя Мэри, любившая его как сына, была счастлива, а брат Фрэнк, приехавший на свадьбу, неожиданно расплакался в ризнице. Изабелла была серьёзна, спокойна и только боялась, что теперь пойдут дети. Ей бы этого не хотелось.

Молодые поселились в пятикомнатном доме на Холдон-роуд, 28. Изабелла предпочитала называть его восьмикомнатным, поскольку в нем были кухня, ванная и чулан, и сделала все возмож-

ное, дабы придать ему респектабельность. Она обставила его громоздкой мебелью, завешала зеркалами, задрапированными материей, а подоконники загромодила горшочками с геранью. Её роскошный буфет был набит граненым стеклом. Посещение вечерних художественных классов не пропало, как видно, даром.

С работы она ушла, но быть обузой мужу не собиралась и начала брать ретуширование на дом, а потом и давать уроки желающим обучиться этой профессии.

Об интеллектуальных интересах мужа она тоже подумала. В дальнем уголке столовой, так, разумеется, чтоб это не слишком бросалось в глаза, она разместила на полках его книги.

На работу Уэллсу было ездить удобно. От Ист-Патни, где находился их дом, шла прямая линия метро до Черринг-Кросс, а от туда было всего несколько минут ходьбы до Ред-Лайон-сквер, куда успело переехать процветающее заведение Уильяма Бриггса. В этих просто обставленных комнатах он приходил в себя. Свой претенциозно-мещанский дом он ненавидел, хотя Изабелле об этом не говорил. А она просто в толк не могла взять: чем он недоволен?

А недоволен он был многим. Позднее он рассказал в «Тоно-Бенге», что тогда чувствовал. «Семейная жизнь стала... казаться мне узкой, глубокой канавой, перерезавшей широкое поле интересов, которыми я жил... Мне казалось, что каждый прочитанный мною любовный роман — насмешка над нашей унылой жизнью; каждая поэма, каждая прекрасная картина только оттеняли скуку и серость длинной вереницы часов, которые мы проводили вместе».

Разговаривать с ней, как он обнаружил, было особенно не о чем. Да и профессора Хиггинса при Элизе Дулиттл из него не вышло. Чуть что не так, он мгновенно раздражался. К тому же Изабелла не была цветочницей с Ковентгарденского рынка. У неё была интеллигентная, близкая к искусству профессия. (Вспомним: всякий вполне грамотный, а тем более прикоснувшийся к живописи и музыке человек считался тогда интеллигентом — и не только в России!) Она, как и он, занималась педагогической работой, а выговор у неё был получше, чем у него. Разве не делал он на каждом шагу ошибки, которых она никогда бы себе не позволила? Словом, Изабелла знала себе цену. Она такая, какая есть. И если он вообразил о ней бог весть что, она, право же, не в ответе!

А он и в самом деле вообразил бог знает что. И нескольких недель брака оказалось достаточно, чтобы туман начал рассеиваться. Он теперь о многом с ней просто не заговаривал, все таил про себя. Из их бесед исчезали одна тема за другой. И все же Изабелла прочно укоренилась в его душе. Он слишком долго её ждал. Однажды — и довольно скоро — он ей изменил с её приятельницей, весьма уже искушенной в любовных делах, но словно бы для того, чтобы убедиться, что по-прежнему её любит. И правда, виновата ли она была в том, что принадлежит к тому самому кругу, из которого он всю жизнь мечтал вырваться? Да и не было ли у неё

перед ним действительных преимуществ — уравновешенности, спокойствия, рассудительности? Нет, всему этому, видно, предстояло тянуться годами...

Хуже всего было то, что и к работе своей он стал относиться прохладнее. Он мечтал сделать из своих студентов развитых людей с трезвым и широким взглядом на мир, иными словами, повторить педагогический подвиг Томаса Хаксли. Но методика университетского образования была нацелена на другое. Студентов «на-таскивали» для экзаменов, и учебное заведение Бриггса, которому так и не удалось добиться включения своего Заочного колледжа в официальную университетскую систему, вынуждено было, дабы «остаться на плаву», особенно об этом заботиться. Подлинного удовлетворения не было теперь ни дома, ни на работе.

Отдушина, впрочем, сыскалась сама собой. Еще перед женой Уэллсу удалось на мгновение проникнуть в область большой журналистики. Когда у него в мае 1891 года после перенесенной инфлюэнцы стало очень плохо со здоровьем, доктор Коллинз, которого, очевидно, немного мучила совесть за прошлое, добился, чтобы его приняли для поправки в Ап-парк, и там Уэллс позволил себе поработать немного не для денег. Так возникла знаменитая (увы, славу свою она по-настоящему приобрела лишь тогда, когда он и без того уже был знаменит) статья «Новое открытие единичного». Уэллс отослал её в солидный и популярный журнал «Фортнайтли ревью», и, к немалому его удивлению, в июле того же года её напечатали. Она всем в этом двухнедельнике понравилась, и когда Уэллс, воодушевленный успехом, прислал Фрэнку Хэррису (редактору) свою новую статью «Жесткая вселенная», тот отдал её в набор, не читая. Получив гранки, он, однако, пришел в смятение. Статья и в самом деле была о предмете, весьма ещё далеко от круга интересов популярных изданий, — о пространстве четырех измерений. Хэррис, впрочем, знал за собой одну слабость. Человек он был начитанный, но не больно-то образованный. Поэтому он всё-таки понадеялся, что придет автор и все ему растолкует. И он вызвал к себе Уэллса.

Уэллс понял это приглашение по-своему. Знаменитый редактор захотел, очевидно, лично познакомиться с автором двух блестящих статей. Надо было не ударить лицом в грязь, и тётя Мэри снарядила его для этого визита наилучшим, по её мнению, образом. Она вручила ему зонтик, производивший в закрытом виде вполне приличное впечатление, и постаралась привести в порядок его цилиндр. Это было непросто, но любящая тётка не пожалела сил. Она почистила его мокрой губкой, чтоб коричневые пятна были не так заметны, потом щеткой и только не успела погладить искореженные поля — времени не хватило. Уэллс появился в редакции минута в минуту, но Хэррис заставил его прождать полчаса (если бы тетя Мэри знала об этом и взяла в руки утюг, всё, может быть, пошло бы по-иному!). Когда Уэллса пригласили в кабинет, он уже чувствовал себя чуточку беспокойно. Едва он

переступил порог, сердце у него так и замерло. За огромным, роскошным столом сидел свирепого вида человек с квадратной физиономией и зачесанной назад, разделенной пробором черной шевелюрой. По обе стороны стола размещались ещё двое, имевшие обескураживающе джентльменский вид. Хэррис кинул мрачный взгляд на Уэллса и, не произнеся ни слова, указал ему рукой на кресло. Многообещающий автор сел, устроив свой цилиндр на столе, прямо под носом у редактора. Конечно, благоразумнее было бы поместить его где-нибудь на полу и по возможности вне поля зрения хозяина кабинета. Рыжие пятна, оправившись от первого испуга перед губкой и щёткой, проступали с каждой минутой всё отчетливей, изломанные поля топорщились. Глядя на него, так и хотелось зажмуриться. Интересно, не эти ли страшные минуты возникали потом перед умственным взором Уэллса, когда в «Человеке-невидимке» он заводил речь о потрепанном шелковом цилиндре бродяги Марвела?

С момента появления на письменном столе злополучный цилиндр и был главным действующим лицом разыгравшейся далее сцены.

С минуту длилось молчание. Оно становилось всё более зловещим. Люди по обе стороны стола разглядывали цилиндр. Хэррис рос на глазах и достиг невероятных размеров. Наконец увенчанная черными торчащими усами губа великана поднялась к его притупленному носу и чудовищной силы голос прорычал с каким-то редкостным акцентом: «Так это вы прислали „Жесткую вселенную“?»

Отрваться от цилиндра и заговорить о деле ему, видимо, стоило некоторого труда. Тем не менее он продолжал: «Боже милостивый! Я не мог понять кряду шести слов. Что вы хотите нам сказать? Бога ради, о чем это? Смысл, смысл-то какой? О чем это написано?» Гранки лежали сбоку от него. Он схватил их, помахал ими в воздухе и бросил на стол прямо перед собой.

В другой обстановке Уэллс без труда бы все объяснил. Он как-никак был неплохим педагогом. Но сейчас против него выступали сразу сказочный великан Хэррис и тоже начавший быстро увеличиваться в размерах и терять реальные очертания цилиндр.

«Нет, вы всё-таки объясните, что мне об этом думать?» — не унимался Хэррис. Люди по обе стороны стола, положив подбородки на руки и ни на что больше не отвлекаясь, разглядывали сидевшего перед ними обтрепанного субъекта. Пора было что-то сказать.

— Видите ли, — начал Уэллс.

— В том-то и дело, что я ничего не вижу! — в совершеннейшем остервенении заорал Хэррис.

— Идея... идея состоит в том...

Хэррис вдруг сделался весь внимание.

— Так, значит, идея, значит, состоит в том, — продолжал покусившийся на журналистику педагог, — в том, значит, идея,

что если время это вроде пространства, то тогда, значит, получается пространство... То есть, я хочу сказать, у пространства получается четвертое измерение, а значит, и пространство получается...

— Боже, в хорошенькую историю я чуть не влип, — прервал его Хэррис. — Так вот, мы рассыпаем набор!

На этом бы отношения Уэллса и Хэрриса и закончились, если бы, по странной случайности, последний не встретил через несколько дней Оскара Уайлда, который так расхваливал ему «Новое открытие единичного», что у грозного редактора закралось сомнение: а не слишком ли сурово он обошелся с этим оборванцем? Во всяком случае, приобретя в собственность «Сатерди ревью», он немедленно написал Уэллсу, и тот потом ещё два с половиной года с ним активно сотрудничал. Но это произошло лишь в 1884 году. До этого надо было ещё дожить. А пока что Уэллс околачивался где-то на обочинах журналистики — сочинял вопросы и сам же писал к ним ответы.

Выйти на дорогу ему помог почти столь же молодой и не многим лучше него устроенный человек по имени Уолтер Лоу. Встретившись, они сразу привязались друг к другу и оставались друзьями вплоть до ранней смерти Лоу, который умер от туберкулеза в 1895 году, так и не узнав, что именно с этого года имя его друга прогремит по англоязычному, а потом и всему остальному миру. Уэллс потом долго поддерживал отношения с его тремя дочерьми, особенно с Айвой Литвиновой. С ней он встречался то в Лондоне, то в Москве.

Колледж наставников издавал собственную газету «Эдьюкейшенл таймс», и Лоу был её редактором. Ему платили за это пятьдесят фунтов в год и ещё давали пятьдесят фунтов на гонорары для всех авторов. Они с Уэллсом и решили, что этими «всеми авторами» будет один Уэллс. Журналистом он, правда, по-настоящему пока не был, но более опытный Лоу без труда передал ему секреты своего ремесла. А тут ещё и Бриггс решил издавать собственную газету под названием «Юниверсити корреспондент» и предложил Уэллсу взять на себя её редактирование. Тот, разумеется, согласился. Так Уэллс, всё ещё оставаясь преподавателем, успел заодно сделаться профессиональным журналистом. Хэррис, послав ему в 1894 году письмо, положившее начало их новым отношениям, встретился уже с другим человеком.

Появились у Уэллса и новые литературные планы. Он задумал написать роман «Мистер Миггс и мировой разум». Речь там должна была идти о Заочном университетском колледже, в котором он сам работал, и, разумеется, о его главе. Остановили его чисто этические соображения. Подобного рода учебное заведение было одно на всю Англию, и люди, описанные в романе, сделались бы легко узнаваемыми. Разговоры пошли бы не столько о самом романе, сколько о том, кто под каким именем выведен. И, может быть, хорошо, что Уэллс оставил мысль об этом романе. Он ещё

не был достаточно опытен, чтобы браться за большую вещь, и новое его творение, скорее всего, ожидала бы участь «Компаньонки леди Франкленд».

Во всяком случае, его вновь тянуло к литературной работе. И не ради одних лишь заработков. Хотя о них тоже приходилось думать. По мере того как его положение улучшалось, положение других членов семьи становилось все хуже. И прежде всего — Сары Уэллс, чей дом, — а точнее — господский дом, которым она управляла, — был уже столько лет неизменным прибежищем этого непутевого, хотя, кажется, начинавшего понемножечку исправляться Берти.

Когда в конце августа 1892 года мисс Фетерстонхау вернулась в Ап-парк после какой-то своей поездки, Сара Уэллс заметила в ней большую перемену. Распаковав её чемоданы, Сара подошла к ней, чтобы помочь переодеться, но та ей не позволила. Отношения и раньше начали портиться (Сара относилась это за счет своей усиливавшейся глухоты), но такого ещё не бывало. Дело явно шло к разрыву. Конечно, старели они обе, но у Сары портился только слух, а у её хозяйки — характер. У неё в самом деле были причины для недовольства, но одна из них к этому времени отпала. Самый бесцеремонный и обременительный из детей Сары, Берти, жил теперь своим домом в Лондоне и если появлялся в Ап-парке, то не на четыре же месяца! Домоуправительницей Сара была, конечно, неважной. Но отнюдь не из нерадения. Ей и в самом деле было не совладать с таким хозяйством. Да и можно ли было от нее этого требовать, если ее не хватало на маленький Атлас-хаус? А здесь все было куда сложнее. Надо было вести счета, чего она не умела. Надо было руководить слугами, а она и этого не умела. Как раз в момент приезда мисс Фетерстонхау у неё шли неприятности с поваром и одной из работниц с молочной фермы. Но она была человеком честным и преданным, и ей было обидно, что этого не ценят. Она на каждом шагу замечала знаки нерасположения своей бывшей приятельницы и, в конце концов, начала называть её в своем дневнике, который вела с юности, не иначе как «эта ужасная женщина». Когда 17 сентября ушел повар, она поняла, что и ей в этом доме долго не продержаться. Развязка наступила в конце ноября. Мисс Фетерстонхау (она к этому времени совершенно забыла, что была когда-то мисс Буллок) выписала на Сару Уэллс счет в сто фунтов и предложила ей искать новое место. Но ни на одно из её объявлений не было отклика. Она пробыла в Ап-парке все Рождество, задержалась там, встречая всё худшее обращение, до 9 февраля, вымолила разрешение остаться ещё ненадолго, но 16 февраля все же села на поезд и направилась в Лондон. Несколько дней она прожила на Холдон-роуд у сына с невесткой, оттуда переехала к мужу. Как они встретились, неизвестно, но на первую же его отлучку она реагировала совершенно так же, как некогда в Атлас-хаусе. За все эти годы, как выяснилось, Джозеф не бросил привычки ходить на крикетные матчи!

Со своей участью она примирилась лишь год спустя. Герберт достал им с Джозефом надомную канцелярскую работу в своем колледже, и, хотя она плохо оплачивалась, а потом и совсем прекратилась, он всегда готов был им помочь, и в деньгах для своего более чем скромного хозяйства они не нуждались.

В начале 1893 года на Холдон-роуд нагрянул брат Фред, которого как раз в это время прогнали с работы. Впрочем, он довольно скоро укатил в Южную Африку.

Уэллс был горд, что превращается в опору семьи, но все же материальные заботы продолжали его обременять. А он так бы хотел от них избавиться!

Весной 1893 года возникли и более сложные проблемы.

В начале 1892/93 учебного года Уэллс, войдя в аудиторию, чтобы познакомиться со студентами нового набора, заметил двух девушек, сидевших за последним столом. Одной из них, с первого взгляда поражавшей своей красотой, а с первых сказанных ею слов и своим умом, предстояло впоследствии сделаться доктором медицины и советником лондонского муниципалитета, хотя и сохранить навсегда свою девичью фамилию. Другая не так выделялась, но именно к ней он сразу же потянулся сердцем. Она была очень худенькая, с тонкими чертами лица, глубокими карими глазами и светлыми волосами. Она носила траур. Как он скоро узнал, эта молоденькая девушка, на шесть лет моложе его, незадолго перед тем потеряла отца, который попал под поезд. В колледж Бриггса она пришла, чтобы добиться степени бакалавра и стать учительницей старших классов, причем ей пришлось для этого преодолеть упорное сопротивление матери. Звали её Эми Кэтрин Робинс. Он начал придумывать свои имена. Сначала она звалась Ефимией, потом Джейн. Это последнее имя за ней и закрепилось.

То, что она сидела за столом не одна, было большим везением. В противном случае Уэллс никогда бы не решился подойти к ней больше чем на минуту. Выделять кого-либо из студентов было не в его правилах. Но с двумя подружками, задающими такие умные вопросы, можно было и посидеть подольше. От сравнительной анатомии, составлявшей предмет занятий, они постепенно перешли к теории эволюции, а от неё к богословским и социальным вопросам. Будущая советница лондонского муниципалитета держалась стойко и упорно отстаивала христианскую веру и установленный порядок; у Джейн оказался более гибкий и податливый ум, да и начитана она была много шире. Скоро им стало не хватать тех четырех-пяти минут, которые удавалось урвать во время занятий, и они взяли в привычку встречаться перед уроками, а потом продолжать разговоры и после них.

«Она подхлестнула мое воображение... — вспоминал потом Уэллс, — и я мог говорить с ней о моих идеях и надеждах свободнее, чем это мне удавалось когда-либо прежде. Я высказывал теперь все, что успело, не находя выхода, накопиться во мне со

студенческих дней. Я изображал перед ней человека с большим будущим и огромной энергией, и чем больше себя таким изображал, тем больше в себя такого верил. Я не могу теперь проследить все фазы, которые мы прошли от простого любопытства к более интимному чувству. Мы давали читать друг другу книги, обменивались записками и два раза решили погулять вместе и зайти в чайную. Мы были друзьями и с безупречной неискренностью убеждали друг друга, что никогда не пойдем дальше. А мы шли все дальше и дальше».

И вот однажды ночью он вдруг почувствовал, что уже не может жить по-прежнему. Ему нужен настоящий друг. Здесь, рядом. На всю жизнь. Но как все изменить? Разве нет у него обязательств перед Изабеллой? Нет, надо постараться себя побороть! И он действительно сделал все, что мог. Работал как вол, стараясь забыть все остальное. И, разумеется, безуспешно. Единственным результатом был новый приступ болезни.

Вечером 17 мая он шел к метро, когда вдруг почувствовал, что сейчас опять начнет харкать кровью. Наутро вызвали врача, обложили ему грудь мешочками со льдом, и снова речь пошла о том, выживет он или нет. Мисс Робинс сочла возможным по этому поводу навестить его. Наверх она не поднялась, с Изабеллой не увиделась, а просто оставила письмо от своей матери с пожеланием скорейшего выздоровления. Уэллс ответил ей в своей обычной эпистолярной манере. «Главный юморист» продолжает над ним подшучивать, но ему, Уэллсу, эти дурного тона шуточки порядком надоели. Впрочем, жалеть надо не его, а окружающих. При легочных болезнях не ощущается никакой боли, а жена его сбивается с ног. Она, кстати, очень хотела бы познакомиться с мисс Робинс. Если та зайдет на следующей неделе, может быть, он сам будет уже в силах спуститься в гостиную. Ему хотелось бы видеть её — ведь с колледжем, скорее всего, придется расстаться...

Письмо кончалось словами: «С наилучшими пожеланиями, всегда верный Вам Герберт Джордж Уэллс».

В этих строчках было нечто большее, нежели простая дань вежливости. Джейн становилась ему все ближе. Она начала посещать его дом, познакомилась кое с кем из его старых друзей. Элизабет Хили ещё тридцать лет спустя вспоминала, как она встретила в доме на Холдон-роуд мисс Робинс в белой муслиновой блузке и та показалась ей одной из самых очаровательных девушек, каких она видела в жизни. Хозяин этого дома думал то же самое.

Как ни странно, его не тянуло к ней как к женщине. Она виделась ему — и тогда, и потом — просто «прелестной статуэткой дрезденского фарфора». Единственной женщиной для него по-прежнему оставалась Изабелла. Трогательно желанной. Но Джейн была его единомышленницей, товарищем, другом, и он все чаще думал, что это — главное. Он понимал теперь, что Джейн — это чудо. В ходе лет он увидел, что несколько тогда не ошибался.

Некоторое время они не виделись и только писали друг другу. Герберт и Изабелла уехали на море — иначе бы ему не поправиться. Взяли с собой и тётю Мэри, чьё здоровье начало пошаливать. Все чаще закрадывалась мысль, что из колледжа и в самом деле придется уйти, но о будущем пока не задумывались. В любом случае оно выглядело надежнее, чем несколько лет назад. В этом году случилось событие, которое он запомнил до конца своих дней: впервые не он у кого-нибудь, а у него попросили взаймы! Будущий сэр Ричард Грегори, оставшись без гроша, взял у него десятку и, что совсем примечательно, очень скоро её отдал. Он и был единственным, кто вернул одну из многочисленных десятков и пятерок, которые Уэллс раздавал всю жизнь, всякий раз «до среды» или «до четверга».

Конечно, его материальное положение оставалось не блестящим, но кто это знал? Он ведь был теперь не только преподавателем приобретавшего всё большую известность колледжа, но и редактором журнала, более того — автором двух учебников.

Первый из них, «Учебник биологии» (1893), возник из пособий для заочников. Будущий автор научно-фантастических романов начинал с учебника биологии! Этот броский факт, неоднократно приводимый авторами статей о великом фантасте, не вызывал, однако, восторга у самого Уэллса. Его смущало, разумеется, не то, что он был автором учебника, а то — каков был этот учебник. Уэллс его стыдился. Дальнейшая судьба этой книги подтвердила дурное мнение автора. До 1913 года вышло в свет шесть её изданий, но уже очень скоро в книге не осталось ничего из написанного Уэллсом. В первом же переиздании 1894 года (переиздан был только первый том) многое пришлось изменить, а таблицы были перерисованы мисс Робинс. В следующем издании, опубликованном под названием «Учебник зоологии» (1898), вся книга была так основательно переписана его университетским товарищем Морли Дэвисом, впоследствии — профессором геологии Имперского колледжа, выросшего из Нормальной школы, что только одна глава сохранила следы своего происхождения. В последнем издании, пересмотренном Грехемом Канинхэмом, она лишилась и этого отличительного признака.

Более удачной оказалась другая книга, написанная Уэллсом в момент безденежья совместно с Ричардом Грегори, — «Физиография на степень с отличием» (1893). Будущий великий писатель и будущий редактор журнала «Нейчур» получили за свой труд двадцать фунтов и по-братски их разделили. Этот учебник, по свидетельству профессора Ритчи Колдера, «верно прослужил многим поколениям студентов». Учиться физиографии по нему перестали лишь когда исчезла физиография.

Ещё Уэллс собирался написать учебник геологии. Его недо-разумения с этой наукой давно кончились, на экзаменах он очень хорошо прошел по этому предмету и о задуманном учебнике договорился очень легко. Но свое обещание не выполнил. Отправляясь

на море с женой и тетей Мэри, он ещё не принял окончательного решения относительно своего пребывания в колледже Бриггса и захватил с собой письменные работы студентов, но и на это выкраивал время не без труда. Каждую минуту хотелось теперь заниматься журналистикой. Статьи, очерки и рецензии извергались из него, словно прежде письма приятелям. Вообще он заметил, что в тот год с ним что-то произошло. Он преодолел какой-то внутренний рубеж. Раньше он, например, всегда проигрывал в шахматы брату Фреду; теперь же, в те месяцы, когда тот жил у него в доме и все ещё надеялся найти работу в Лондоне, он раз за разом начал у него выигрывать. Уверенность в будущих удачах, о которых он не уставал говорить Джейн, явно шла ему на пользу.

Он скучал по Джейн, и Изабелла не стала возражать, когда он предложил ей на несколько дней вернуться в Лондон. Он показал жене письмо, где миссис Робинс приглашала их на субботу и воскресенье. Они были почти соседями — жили в том же районе Патни, — и Изабелле, возможно, захотелось забежать домой посмотреть, все ли там в порядке. Дом они оставили на служанку, а за этими девчонками нужен глаз да глаз...

Но именно эта поездка впервые заставила Изабеллу понять, насколько велика взаимная привязанность мисс Робинс и её мужа. Нет, пока ещё «ничего не произошло», но неизбежно должно было «произойти». И она напрямик заявила Герберту, что лучше уж разойтись.

Впрочем, здесь стоит вернуться к «Тоно-Бенге», вспомнив лишь, что в этом романе Изабеллу зовут Марион.

«Мы разговаривали с Марион в течение трёх или четырех дней... Целый долгий вечер мы провели вместе. Нервы были истерзаны, и мы испытывали мучительную раздвоенность: с одной стороны, сознание совершившегося, непреложного факта, с другой (во всяком случае у меня) — прилив странной, неожиданной нежности. Каким-то непонятным образом это потрясение разрушило взаимную неприязнь и пробудило друг к другу теплое чувство.

Разговор у нас был самый сумбурный, бессвязный, мы не раз противоречили себе, возвращались все к той же теме, но всякий раз обсуждали вопрос с разных точек зрения, приводя все новые соображения. Мы говорили о том, чего никогда раньше не касались, — что мы не любили друг друга. Как это ни странно, но теперь мне ясно, что в те дни мы с Марион были ближе, чем когда-либо раньше, что мы в первый и последний раз пристально и честно заглянули друг другу в душу. В эти дни мы ничего не требовали друг от друга и не делали взаимных уступок; мы ничего не скрывали, ничего не преувеличивали. Мы покончили с притворством и выражали свое мнение откровенно и трезво. Настроение у нас часто менялось, и мы не скрывали, какие чувства владеют нами в данную минуту.

Разумеется, не обходилось и без ссор, тяжелых и мучительных, в такие моменты мы высказывали все, что накопилось на сердце, старались безжалостно уколоть и ранить друг друга. Помню, что

мы пытались сопоставить свои поступки и решить, кто из нас больше виноват. Передо мной всплывает фигура Марион — я вижу её бледной, заплаканной, с выражением печали и обиды на лице, но непримиримой и гордой...

Сейчас, после пятнадцати бурно прожитых лет, я смотрю на эту историю здраво и спокойно. Я смотрю со стороны, как будто речь идет о ком-то постороннем... Я вижу, как неожиданный удар, внезапное жестокое разочарование пробудило разум и душу Марион; как она освободилась от своих закоренелых привычек и робости, от шор, от ходячих понятий и ограниченности желаний и стала живым человеком».

Очевидно, в действительности эти объяснения продолжались дольше трех дней. Роковой визит в Патни начался 15 декабря 1893 года, и уже несколько дней спустя, сразу же после Рождества, Уэллс показал Грегори сундук, в который сложил свои вещи. Но в конце декабря он все ещё оставался в своем доме, откуда писал одному из друзей о предстоящем разводе. Писал с горьким чувством человека, покидающего женщину, которую слишком поздно сумел оценить. Она, заявил он, была такой благородной, любящей и верной, как мало кто, и вся вина — на нем. Но он любит другую...

Тем труднее оказались последние недели, проведенные вместе. «Меня всегда поражала невероятная сложность жизни... Нет ничего простого на этом свете. В любом злодеянии есть элементы справедливости, в любом добром деле — семена зла. Мы были слишком молоды и не могли разобраться в себе. Мы оба были потрясены, оглушены... Порой нас охватывало яростное озлобление, а вслед за тем уносил порыв нежности; мы проявляли бессердечный эгоизм, а через минуту бескорыстную уступчивость»...

И все-таки настал день расставания.

«Я ожесточил свое сердце, потому что иначе не смог бы уйти. Наконец-то Марион поняла, что она растает со мной навсегда. Это заслонило все пережитые страдания и превратило наши последние часы в сплошную муку... Впервые она проявила ко мне настоящее сильное чувство и, вероятно, впервые испытывала его. Я вошел в комнату и застал её в слезах, распростертой на кровати.

— Я не знала! — воскликнула она. — О! Я не понимала! Я была глупа. Моя жизнь кончена... Я остаюсь одна!.. Не покидай меня!.. Я не понимала...

Волей-неволей приходилось мне ожесточиться, ибо в эти последние часы перед нашей разлукой произошло, хотя и слишком поздно, то, чего я всегда так страстно желал: Марион ожила. Я угадал это по её глазам — они призывали меня.

— Не уходи! — кричала она. — Не оставляй меня одну!

Она прижималась ко мне и целовала меня солеными от слез губами.

Но я был связан теперь другими обязательствами и обещаниями и сдерживал себя... И все же, мне кажется, были моменты, когда ещё одно восклицание Марион, одно её слово, и мы соеди-

нились бы с ней на всю жизнь. Но разве это было возможно? Трудно думать, что в нас произошел бы полный моральный перелом: вернее всего, через какую-нибудь неделю мы уже почувствовали бы прежнюю отчужденность и полное несоответствие темпераментов.

Трудно ответить сейчас на эти вопросы. Мы уже слишком далеко зашли. Мы вели себя как любовники, осознавшие неизбежность разлуки, а между тем все приготовления шли своим чередом, и мы пальцем не пошевелили, чтобы их остановить. Мои сундуки и ящики были отправлены на станцию. Когда я упаковывал свой саквояж, Марион стояла рядом со мной. Мы ходили на детей, которые, затеяв глупую ссору, обидели друг друга и теперь не знают, как исправить ошибку. В эти минуты мы полностью, да, полностью принадлежали друг другу.

К маленьким железным воротам подъехал кэб.

— Прощай! — сказал я.

— Прощай!

Мы держали друг друга в объятиях и целовались, как это ни странно, с искренней нежностью. Мы слышали, как маленькая служанка прошла по коридору и отперла дверь. В последний раз мы прижались друг к другу. В эту минуту не было ни возлюбленных, ни врагов, а только два существа, спаянных общей болью.

Я оторвался от Марион.

— Уйди, — сказал я служанке, заметив, что Марион спустилась по лестнице вслед за мной...

Я сел в кэб, твердо решив не оглядываться, но, когда мы тронулись, я вскочил и высунулся в окошко, чтобы бросить взгляд на дверь.

Она оставалась широко раскрытой, но Марион уже не было.

Я решил, что она убежала наверх».

Эти удивительные страницы написаны с той мерой понимания, какая дается только любовью. И действительно, Изабеллу Уэллс любил. В «Постскриптуме к автобиографии», перебирая всех женщин, с которыми был близок, он мог назвать только четырех в самом деле любимых, и первой из них была Изабелла. Когда они разошлись (официально их развод был оформлен лишь год спустя, в январе 1894 года), он в письме спрашивал Элизабет Хили, по-прежнему с ней встречающуюся, что он может сделать для неё. Случившееся он называл трагедией. Он знал, что, чем меньше она сейчас будет думать о нем, чем больше появится у неё новых друзей, привязанностей, интересов, тем лучше будет для неё, и сознательно хотел отойти на второй план, но не мог от этого не страдать.

Чувство, вспыхнувшее в момент расставания, долго не угасало. В этом отношении у него было немало возможностей проверить себя. Переписка между ними никогда, даже в самые трудные первые месяцы, не прекращалась. Он платил ей хорошие алименты — сто фунтов в год, но этого ему казалось мало, и он помогал

ей во всех её начинаниях. А их было немало. Изабелла вообразила себя деловой женщиной и завела птицеферму, не приносящую почему-то настоящего дохода; потом надумала купить прачечную (он дал ей на это тысячу с лишним фунтов), а под конец жизни решила строить собственный дом. Стать владелицей прачечной Изабелле помешала операция аппендицита, которую она плохо перенесла, а строительству дома — скоропостижная смерть. Она страдала диабетом, и какое-то время инсулин её отлично поддерживал, но внезапно она впала в коматозное состояние и сутки спустя, не приходя в сознание, умерла. Телеграмму о её смерти он получил во Франции в сентябре 1931 года. Ему успело к тому времени исполниться шестьдесят четыре года; все, казалось, было в далёком прошлом, но воспоминания о любви к ней не кончались сценой у порога их лондонского дома, которую он описал в «Тонно-Бенге».

Два случая особенно запали ему в память.

В 1898 или 1899 году — он точно не помнил — он навестил её на злополучной птицеферме. Надо было обсудить, не начнет ли ферма приносить настоящий доход, если её расширить. Ферма располагалась между Мейденхедом и Редингом, неподалеку от места, где он тогда жил, и он приехал туда на велосипеде. Изабеллу он застал за кормлением цыплят, и ему бросилось в глаза, как хороша она в этой сельской обстановке. Они провели вместе весь день, и им было удивительно легко и просто. Они были старыми добрыми друзьями. И внезапно его охватило неодолимое чувство утраты. Она снова должна принадлежать ему! Хоть один раз! Хоть один раз! Он уже не просил её — он умолял. Все напрасно! Она отвела его в комнату для гостей и уложила спать. Заснуть он не мог. И вдруг ему стал противен сам этот дом. Что он здесь делает? Зачем он все ещё здесь? Он встал на рассвете и пошел искать свой велосипед. Но она услышала, что он вышел, и тоже спустилась вниз.

— Ты не можешь уйти в такой час без еды, — сказала она, растопила плиту и поставила чайник. Потом услышала, что в своей спальне зашевелилась т е т я . — Все в порядке, тётя, не беспокойся, — сказала она для того лишь, как он понял, чтобы та не появилась в кухне и не увидела, в каком он состоянии.

— Ты же сам знаешь, что сейчас это невозможно, — сказала она ему материнским тоном.

И он вдруг, как ребёнок, которому отказали в чем-то, чего ему очень хотелось, бросился ей на грудь и разрыдался. Потом взял себя в руки, сел на велосипед и выехал на дорогу, освещенную первыми лучами солнца. Он машинально вращал педали и не очень понимал, что с ним творится. Он был совершенно опустошен, и ему казалось, что и вокруг него — пустота...

Ему ничего не нужно было — только эта, такая родная и ставшая вдруг такой недоступной женщина. Но он и тянулся к ней так сильно лишь с момента, когда она сделалась недоступна. Он

любил женщину, которой просто не существовало до дня их расставания.

Второе потрясение он испытал в начале 1904 года. Он получил от Изабеллы письмо, в котором сообщалось, что уже скоро год как она снова замужем и столько времени не говорила ему об этом лишь потому, что боялась его огорчить. Она и теперь касалась этого словно бы походя — письмо было в основном посвящено финансовым проблемам. «Но время залечивает любые раны, и, в конце концов, мы ведь с тобой двоюродные брат и сестра», — писала она.

Его раны время, видно, не залечило. С ним случился безумный приступ ревности. Он принялся в бешенстве рвать её письма, жечь фотографии, он носился по дому, выискивая и уничтожая все, что могло напомнить о ней. Ему пришла в голову мысль, что она так долго не сообщала ему о своем браке из боязни потерять алименты, и это ещё усилило его исступление. Алименты он ей, разумеется, платить продолжал, тем более что в бумаге о разводе не предусматривалось прекращение платежей в случае ее второго замужества. Он и ее время продолжал помогать после ее смерти: тот оказался полным ничтожеством и проваливался в каждом деле, за которое принимался. Впрочем, Уэллс об этом своем вновьявленном вдовом родственничке особенно и не думал. Просто в списке его нахлебников появился еще некий мистер Флауэр-Смит. Человек со смешной фамилией, не более того: «флауэр» по-английски значит цветочек, а «смит» — кузнец.

Он понял, что избавился от этого наваждения, лишь несколько лет спустя после ее замужества. Когда выяснилось, что Изабелла все никак не может оправиться после операции аппендицита, они с Джейн тотчас пригласили ее погостить у них в доме. И тут Герберт не без удивления заметил, что Изабелла для него теперь и в самом деле не более чем родственница. Достаточно близкая, со множеством общих воспоминаний, и все же просто родственница. Обстановка семейного дома, в которой они сейчас встретились, помогла понять это особенно отчетливо. Джейн приняла ее по-простому, без всякой натянутости, и Изабелла была от нее в полном восторге. А впрочем, разве и она не держалась с ней достаточно благородно? И притом, если задуматься, — в какой-то мере с самого начала. Она тогда повела себя по совести. Ее мать, умершая два года спустя, не уставала бранить ее за то, что она потеряла столь милого ее сердцу Берти. Сара Уэллс тоже ни на минуту не задумалась над тем, как вел себя ее сын. Все ее негодование было направлено против невестки, которая «упустила мужа». Притом — вступившего на путь преуспения. Ей это представлялось обыкновенным проявлением глупости. Если Изабелла себя и корила, то лишь за эгоизм и неспособность его понять. Конечно, вплоть до самого разрыва она оставалась просто девочкой из приличной мещанской семьи. Две её фотографии (одна сделана до замужества, другая в 1900 году, через семь лет после развода; их Уэллс раздобыл потом у родных, чтобы поместить в своей автобиографии)

показывают, как она внутренне переменялась за эти годы. Но у неё всегда были возможности духовного роста. И, что главное, она ни тогда, ни после не способна была лгать и хитрить. И первая и вторая жена Уэллса были достойными женщинами. Но Джейн пришлось это доказывать всю жизнь и дорогой ценой.

Соединились они при непростых обстоятельствах. Она любила его, и этого ей казалось достаточно. Другие смотрели на дело иначе. Едва они поселились в доме 7 на Морнингтон-Плейс, где он заранее снял две комнаты, в дверях возникла миссис Робинс, которая начала слезно умолять дочь вернуться домой. Эта близость — она понимала в таких делах лучше их! — не сулила добра. И у него, и у неё склонность к туберкулезу. Денег в обрез. Да и надежды на будущее не очень-то велики. Нет, совсем не об этом мечтала она для дочери! А все неприличие её поступка! Разве этому учили её дома? В их уважаемой, всегда придерживавшейся строгих моральных правил пуританской семье? Какой позор! Она горюет о муже, но счастлива, что он не дожид до этого дня! А как она была права, когда возражала против намеренья дочери пойти учиться на биолога. Она знала, чем там занимаются!

Миссис Робинс так убивалась, что дочери стало жаль её, и она ненадолго переехала к ней. Но через несколько дней, как ей ни мешали, вернулась к возлюбленному.

Потом появилась целая вереница родственников, пытавшихся урезонить коварного соблазнителя. Соблазнитель и его жертва держались стойко. Они боролись за право быть вместе, и это помогло Джейн подавить в себе ощущение того, что он не может забыть Изабеллу. Она с первых же дней училась что-то в себе подавлять. Она верила в него, она жила с ним, она жила ради него.

Они сейчас почти ни с кем не встречались. Хозяйка, у которой они поселились вначале, так им сочувствовала и при этом так лезла в их жизнь, что им пришлось переехать в один из соседних домов, на Морнингтон, 12, где хозяйка тоже их опекала, но не мешала им жить по-своему. Недостаток общества они возмещали интересными прогулками по Лондону. Они бродили по городу, не раз заглядывали в зоопарк, но Уэллс отнюдь не видел в этом пустого времяпрепровождения. Он считал, что они «собирают материал». Как некогда Диккенс для своих лондонских «Очерков Боза». Он и в самом деле внимательнейшим образом изучил эту книгу Диккенса. И непрерывно писал. Джейн тем временем готовилась к последним экзаменам на звание бакалавра, которые так никогда и не собралась сдать.

К середине лета миссис Робинс примирилась с создавшимся положением, и они даже решили провести лето вместе за городом. Это решение и впрямь напрашивалось само собой: чувствовала себя миссис Робинс плохо, свой лондонский дом она сдала, и жить было негде, да и о здоровье молодых стоило подумать. Они сняли дом в Севенуоксе, но пребывание там оказалось не слишком приятным. Хозяйка порылась однажды в его бумагах, нашла там отно-

шение из суда по бракоразводным делам и, обнаружив, что они отнюдь не муж и жена, принялась их травить. Это было, впрочем, лишь первое испытание. Им пришлось привыкать к тому, что люди, еще вчера желавшие им приятной прогулки, назавтра сухо кивали им или вовсе отворачивались; что из-за забора вдруг слышались оскорбления, а прислуга начинала нагличать. Можно было, конечно, делать вид, будто ни на что не обращаешь внимания, но это требовало душевных сил, которые им, право же, было на что тратить. И через некоторое время после того, как был оформлен развод, они поженились. Теперь все стало на место: они вернулись в число членов общества. Произошло это 27 октября 1895 года. И если бы перед нами сейчас лежал роман XVIII века, где приключения героя, а с ними вместе и вся книга завершаются счастливой женитьбой, здесь можно было бы ставить точку. Но приключения Уэллса, в том числе и те, что принято именовать «любковыми», на этом не кончились, хотя брак его и в самом деле можно назвать счастливым — во всяком случае, для него самого. К тому же он был писатель, а значит, даже эту нашу интермедию еще рано завершать счастливым концом. И поэтому читателю придется пока примириться.

3

...с отступлением, которое, впрочем, вправе опустить всякий, кто не любит рассказов Уэллса

Уэллс всегда мечтал стать писателем, но первых успехов добился как журналист. В момент, когда страшный Фрэнк Хэррис вспомнил об этом оборванце в цилиндре, этом — если воспользоваться французским выражением — «денди каторги», тот уже сотрудничал в нескольких периодических изданиях и мог пером зарабатывать себе на жизнь. Такие скромные издания, как «Эдьюкейшенл таймс» и «Юниверсити корреспондент», тут не в счет. Они давали возможность набить руку, но отнюдь не завоевать известность. Но мало-помалу стали появляться и другие заказы. Во время же поездки на море в Истборн, закончившейся разрывом с Изабеллой, произошел перелом.

И до и после этой поездки Уэллс написал немало научно-популярных очерков и рецензий. Он поработал тогда столь усердно, что вся его литературная продукция подобного рода по сей день до конца не собрана. Но в Истборне он поистине напал на золотую жилу. Однажды он взял почитать в местной библиотеке книгу Барри «Когда человек один» (1888), того самого Джеймса Барри (1860—1937), который прославился пьесой и двумя сказочными повестями о Питере Пэне. Библиотека была платная, за прочтение книги брали два пенса, но в случае с Уэллсом ее владельцы явно

продешевили. Роман был из жизни журналистов, и главный его герой, Роррисон, преподнес своему начинающему коллеге совершенно бесценный совет. «Вы, новички, — говорил Роррисон, — только и способны излагать свои взгляды на политику и искусство и рассуждать о смысле жизни, причем вам порой даже кажется, что вы сказали что-то оригинальное. А вот редакторам это все ни к чему, потому что и читателям ни к чему... Видите эту трубку? Так вот Симмс поглядел, как я чиню её с помощью сургуча, и через два дня уже выдал статью об этом».

Уэллс, прочитав эту отповедь, так и ахнул. Да это ведь про него! Сколько он успел уже порассуждать о смысле жизни и как мало запечатлел на бумаге житейских мелочей, которые, по чести говоря, ему и самому казались не столь уж неважными! Разве не кипел он от возмущения, когда Изабелла обставляла на свой вкус их дом!? А о чем он писал в это время? О пространстве четырех измерений. Нет, поделом ему тогда досталось. Молодец Хэррис! Правильно сделал, что забраковал его статью! Как это сказано? «А вот редакторам это все ни к чему, потому что и читателям ни к чему». Неужели он так глуп, что не сумеет понравиться редакторам и читателям?

Первый опыт он предпринял немедленно. На обороте конверта — бумаги в эту минуту под рукой не оказалось — он нацарапал план своего первого очерка, быстренько его написал и отправил в «Пэлл-Мэлл гзетт». Очерк назывался «Об искусстве проводить время на море». Написан он был в легкой полуюмористической манере, и Уэллс очень точно угадал, куда его отослать. Лондонский газетный рынок он представлял себе довольно отчетливо.

Солидный викторианский читатель уходил в прошлое. Новая публика — те, кто получил образование благодаря проведенной в 1871 году школьной реформе, — требовала легкого чтения, и в Лондоне одна за другой стали возникать вечерние газеты, предназначенные как раз для такого читателя. «Пэлл-Мэлл гзетт» тоже была из их числа, хотя несколько от них отличалась. Американский миллионер У. У. Астор, который незадолго перед тем ее приобрел, хотел сделать ее изданием популярным и вместе с тем престижным и готов был ограничиться сравнительно небольшим тиражом в двенадцать тысяч экземпляров. Надо было, чтобы газета окупалась, большего от нее не требовалось. Редактора Астор, как вскоре выяснилось, выбрал очень правильно. На эту должность он назначил Харри Каста — человека в журналистике совершенно неопытного, но широко образованного, очень приятного и состоявшегося в дружбе с несколькими известными писателями и критиками, да и вообще принятого в хорошем кругу, и газета начала процветать.

Уэллс сделал не менее точный выбор. Уже со следующей почтой он получил гранки и просьбу прислать ещё что-нибудь в том же роде. И Уэллс не покладая рук принялся за дело. За короткое время он написал больше тридцати подобных очерков. Темы были

самые непохожие. Один из очерков назывался «Ангелы», другой — «Угльное ведерко», а третий — «Об умении фотографироваться», ещё один — «Общая теория постоянной человеческой дискомфортности». Но как ни разнились темы очерков, их все объединяло ненавязчивое чувство юмора и новоприобретенное внимание к мелочам. Уэллс понял наконец, что без этого нет писателя.

Начали эти очерки печататься ещё при Изабелле, над ними он продолжал трудиться, и соединившись с мисс Робинс, и скоро среди их героинь появилась некая Ефимия (имя «Джейн» не было ещё тогда изобретено). Но бедная Изабелла однажды все-таки возникла на газетных страницах. Уэллс наградил её именем тетушки Шарлотты, отнес к предшествующему поколению, дал в ее распоряжение приличные средства, и она из скромной и немало по его вине выстрадавшей женщины превратилась в некое социальное явление. Назывался этот очерк «Размышления о дешевизне и тетушка Шарлотта». Возмущение против своего бывшего жилища вылилось на бумагу во всей полноте. «Кому не известны эти донельзя скучные добротные вещи, скучные, как верные жены, и столь же исполненные самодовольства?.. Наша жизнь была чересчур буднична для подобной обстановки... Утверждение, будто вещи являются принадлежностью нашей жизни, было пустыми словами. Это мы были их принадлежностью, мы заботились о них какое-то время и уходили со сцены». То ли дело японцы! Они знают цену недолговечным и недорогим вещам. «Японцы — истинные апостолы дешевизны. Греки жили, чтобы научить людей красоте, иудеи — нравственности, но вот явились японцы и принялись вдалбливать нам, что человек может быть честным, его жизнь — приятной, а народ великим без домов из песчаника, мраморных каминов и буфетов красного дерева. Порой мне ужасно хотелось, чтобы тетушка Шарлотта пожила среди японцев...»

Что поделаешь, Уэллс всегда оставался Уэллсом. Взавшись писать о вещах, он немедленно принялся против них бунтовать. И не только против тех, что остались от старых времен. Против тех, что пришли им на смену, — тоже. Моррисовские интерьеры отличаются от классических викторианских характером вещей, но отнюдь не их количеством и даже не их основательностью. Но на смену всему этому шел уже новый стиль, горячим сторонником которого Уэллс себя объявил, — «англо-японский», упорно внедряющийся Эдвардом Уильямом Годвином, возлюбленным поразившей его детское воображение Эллен Терри, отцом ее сына Гордона Крэга. Впрочем, знай о нем тетушка Шарлотта, он не вызвал бы у нее ничего кроме возмущения. Конечно, человек такой сомнительной нравственности только и способен создавать эти тонкогие столики белого цвета!..

То, что на месте Изабеллы появилась тетушка Шарлотта, не было, впрочем, простой данью приличиям. Старушка, преданная вещам, из поколения в поколение переживавшим своих владельцев, и правда оказалась для Уэллса неким олицетворением кос-

ности. Вещи, которые Уэллс так старательно сейчас учился изображать, теперь сами под его пером учились делаться почти что символами. Ведь, учась у Барри, он всего только на время уступал вкусам публики. В 1901 году в Лондоне издавалось девятнадцать утренних и десять вечерних газет и сотни еженедельных и месячных журналов, причем в своем большинстве они возникли именно в 90-е годы. В журналистике создалась небывалая ситуация — не хватало авторов. И Уэллс сделал из этого должные выводы. Он начал потихоньку ставить свои условия — тем более, что его печатала теперь не одна только «Пэлл-Мэлл гзетт». Он переделал и пустил в оборот несколько своих старых работ, где речь, фигурально выражаясь, шла все о том же «смысле жизни». А также начал пробиваться «в писатели». Некоторые из юморесок, опубликованных им в те годы, уже граничат с рассказом, а одна из них даже дала название сборнику рассказов Уэллса, забытых при его жизни и опубликованных в 1984 году в преддверии столетия со дня его рождения. Это была короткая, но прочувствованная исповедь человека, который считал свою жизнь загубленной из-за того, что у него слишком большой нос. «И самое трагичное во всем этом — что это комично», — не без оснований заявляет он. Легко представить себе, какое издевательство учинил бы Уэллс над этим убогим в пору своей зрелости. Ничего подобного в «Человеке с носом» нет. Но во всяком случае в эти годы он понемногу возвращается к рассказу — жанру, который так притягивал его в «Сайенс-скулз-джорнал». И очень скоро заявляет, что для него в литературе неприемлемо.

Рассказ «Непонятый художник», который Уэллс опубликовал в 1894 году в «Пэлл-Мэлл гзетт», — прямой и грубый выпад против сторонников «искусства для искусства». В купе поезда завязывается спор между сторонником Рёскина, утверждающим, что искусство должно приносить пользу и учить морали, и неким тучным мужчиной в черном, смахивающим на провинциального епископа. Тучный мужчина — невероятный наглец и хам, осыпающий оскорблениями всех, кто с ним не согласен, и одновременно — большой эстет. Он — за искусство для избранных. Свои взгляды он не просто отстаивает с большой горячностью — он готов за них пострадать. И уже страдал. Всякий раз, когда он хотел создать шедевр, его прогоняли с работы. Потому что этот художник работает «в самом пластичном жанре» — в кулинарии, и ему чаще, чем кому-либо, приходится сталкиваться с чужими предрассудками. Люди заботятся лишь о своем желудке. Им наплевать на всплески фантазии и на подлинную красоту. Сколько уже его шедевров не оценили! Однажды он, например, замыслил невиданное кушанье из свинины с клубникой под пивным соусом, а ему не позволили подать его на стол, сославшись на причину, неприемлемую для истинного художника: «У нас будет несварение желудка», — заявил ему хозяин. Каково! «Друг мой, — ответил ему художник-кулинар, — я вам не доктор, я вашим желудком не занимаюсь. Перед

вами произведение в японском стиле — причудливое, ни с чем не сравнимое, приводящее в трепет кушанье, и ради него стоит пожертвовать не одним, а десятью желудками». Ну а его ноктюрны в манере Уистлера — разве их кто-нибудь оценил?

И прежде чем сойти на своей остановке, повар-эстет произносит некое подобие творческой декларации:

«Мои обеды навсегда остаются в памяти. Я не в силах подлаживаться под их вкусы: я повинуюсь лишь творческому порыву. И если мне понадобится придать кушанью запах миндаля, а его не окажется под рукой, я положу вместо него синильную кислоту. Поступайте, как вам подсказывает вдохновение, говорю я, и не заботьтесь о последствиях. Наше дело — создавать прекрасные творения гастрономии, а не ублажать обжор или быть жрецами здорovia».

Не следует забывать — это написано в 1894 году, меньше чем через три года после появления сборника Оскара Уайлда «Замыслы» (1891), куда, в частности, вошли «Кисть, перо и отравы», где главной была мысль о несовместимости искусства с моралью.

Натуралисты ему, впрочем, тоже не нравились. Никакой альтернативы эстетам он в них не видел, и, когда в апреле 1895 года ему заказали в «Сатерди ревью» рецензию на роман Джорджа Гиссинга «Искупление Евы», он использовал представившуюся возможность для того, чтобы осудить все это направление. «Унылая школа» — так назвал он свою рецензию.

«Неужели вся эта неприятная глазу серость действительно отражает жизнь, пусть даже речь идет о жизни мелкой буржуазии? — писал Уэллс. — Не этот ли дальтонизм мистера Гиссинга придает его роману все достоинства и недостатки фотографии? Я, со своей стороны, не верю, что жизнь какой-либо социальной прослойки исполнена такой же скуки, как его унылый роман. Способность быть счастливым — это прежде всего вопрос темперамента... и я утверждаю, что истинный реализм видит сразу и счастливую и несчастливую стороны жизни».

Этим вот истинным реалистом, свободным от эстетского пренебрежения к повседневности и от натуралистического упоения ею, Уэллс и хотел быть. Его высказывания об эстетам и натуралистах исполнены такой озлобленности, что ясно: позиция его была к тому времени уже вполне осознана и четко сформулирована. И отсюда же следовало, что очерками в манере, подсказанной Барри, он не ограничится. Конечно, они были ему нужны — и для того, чтобы пробиться в печать, и просто как писательские экзерсисы. Но в целом он притязал на большее. Жесткие рамки учебной программы только что помешали ему как педагогу. Но то, что не удалось педагогу, может быть, удастся писателю?

Первые шаги в этом направлении он как художник сделал в новеллистике.

За пределами Англии — прежде всего в Германии и Америке — новеллистика в XIX веке успела достаточно уже развиться.

Но в Англии новелла еще долго остается понятием не вполне определенным, и, скажем, рассказы Диккенса трудно назвать отдельным жанром. В «Очерках Боза» они тяготеют к очерку, а начиная с «Пиквикского клуба» существуют на правах вставной новеллы или части связанного общим сюжетом цикла. Положение начинает меняться лишь с середины 70-х годов, уже после смерти Диккенса. Здесь немалую роль сыграл Роберт Льюис Стивенсон, которым (не мешаает вспомнить) одно время зачитывался Уэллс. Славу Стивенсону принес «Остров сокровищ» (1883), и то не сразу, но известность он приобрел ещё в середине 70-х очерками и рассказами, частично собранными в циклы. Все большая приверженность роману, а потом и ранняя смерть (он умер сорока четырех лет от роду в 1894 году) помешали ему остаться среди тех, кто в конце века соперничал между собой в области новеллистики.

Во второй половине 80-х годов начинается, однако, быстрый подъём этого жанра. Появляются писатели, для которых главным прозаическим жанром оказывается не роман, а новелла. И какие писатели!

В 1887 году молодой врач Артур Конан Дойл (ему было тогда двадцать восемь лет) опубликовал — не без труда! — свою повесть «Этюд в багровых тонах». Здесь впервые появился Шерлок Холмс. Большого успеха повесть не принесла, но со своим героем Конан Дойл расстаться не пожелал. В 1890 году он напечатал вторую повесть о Шерлоке Холмсе — «Знак четырех». С июля 1891 он уже регулярно публикует новеллы о знаменитом сыщике, обретающем в сознании читателей все признаки реального лица. С 1892 по 1927 год он выпустил в свет пять сборников этих рассказов, которыми и по сей день, как ни разросся и ни усложнился с тех пор детективный жанр, зачитываются миллионы людей по всему миру.

В 1888 году двадцатитрёхлетний журналист из Индии Редьярд Киплинг выпустил один за другим четыре сборника своих рассказов — «Простые рассказы с холмов», «Вилли Винки», «Под деодарами» и «Три солдата». К нему известность пришла сразу. В 1889 году он уже лондонский «литературный лев».

В 1887 году (какая все-таки плотность дат!), в год своего совершеннолетия, неуспевающий лондонский студент Герберт Уэллс опубликовал «Рассказ о XX веке». Рассказ этот мало кто прочитал, а кто прочитал, быстро забыл — в том числе и сам автор. Для того чтобы пробиться к настоящему мастерству, надо было ещё многому научиться. Но вернуться к рассказу Уэллсу было суждено. Он чувствовал себя новатором, а рассказ воспринимался как жанровая новация.

Притом — очень долго. Младший современник Уэллса и его постоянный оппонент Гилберт Кит Честертон (1874—1936), например, еще много лет спустя противопоставлял (надо надеяться, не без какой-то доли самокритики, ибо он и сам был новеллистом) этот новомодный жанр старому добротному развернутому повествованию. «Современное увлечение новеллой — явление не случай-

но е, — писал он. — Оно служит красноречивым доказательством нашего легкомыслия и легковесности. Это увлечение характеризует наш взгляд на жизнь как на мимолётное впечатление или, вернее, как на иллюзию. Нынешняя новелла похожа на сновидение, ибо в ней есть неотразимая прелесть обмана. Перед нами, как в дыму опиума, мелькают серые улицы Лондона или опаленные солнцем долины Индии. Мы видим людей, останавливающих других таких же людей, и их лица выражают гнев или мольбу. Но в определенном месте видение это рассеивается, люди исчезают, и вместе с ними кончается рассказ. У нас не создается впечатления, что персонажи могут продолжать свое существование вне пределов данного эпизода. Короче говоря, современный писатель умудряется дать в коротеньком рассказе полную картину жизни, так как для него жизнь лишь краткий миг, а может, даже вымышленный эпизод. Зато в литературе былых времен и в литературе комической (или, вернее, именно в ней) мы замечаем совершенно обратное явление. Чувствуется, что персонажи её на самом деле существа устойчивые, самодовлеющие».

Вот какую бурную реакцию еще долго вызывало внедрение нового жанра! Но в этой критике было уже признание. Новый жанр можно было любить или не любить — с ним было уже ничего не поделать: его полюбил читатель.

«Опаленные солнцем долины Индии...» — это, конечно, про Киплинга. «Серые улицы Лондона...» — это, скорее всего, про Уэллса. Он все-таки не обманывал Джейн, когда говорил, что не просто гуляет по Лондону, а «собирает материал». Даже посещение лондонского зоопарка не прошло даром, и у Уэллса появился очерк «О криках животных». Он многому научился у автора «Очерков Боза» и тем увереннее потом двинулся дальше. Если мы хотим проследить путь английской новеллы от Диккенса к современности, то на раннем этапе легче всего это сделать через Уэллса. Его интересуют представители тех же общественных групп, что и Диккенса; он в совершенно диккенсовских тонах рассказывает о Лондоне, и даже честертоновский упрек, что каждая новелла у него — произведение обособленное, он вправе принять за похвалу. Да, он, в отличие от Конан Дойла, отказался от цикличности, но такова ведь и была главная тенденция в становлении новеллы как самостоятельного жанра. А неизбежная в новеллистике отрывочность впечатлений искупалась у него единством взгляда на мир. В его новеллах общее достаточно четко прочитывается через частное. Когда новелла удачна, сила впечатления оказывается так велика, что для нас освещается новым светом территория, далеко выходящая за пределы, очерченные границами сюжета. Этот закон жанра Уэллс понял достаточно рано и старался от него не отступать.

И еще один закон новеллистики тех лет он твердо усвоил. Конечно, в его новеллах действуют обыкновенные люди и ходят они по обыкновенным, большей частью лондонским улицам. Но

с этими обыкновенными людьми, живущими в самой обыкновенной обстановке, происходят необыкновенные вещи. Он пишет рассказы о необычном. И не случайно.

Именно через рассказ о необычном и утверждалась английская новелла. Полистайте «Записки Пиквикского клуба» — и вы увидите, что все вставные новеллы — рассказы о необычном. Посмотрите рассказы Диккенса — и вы убедитесь, что наиболее отдаляются от очерка и приближаются к нашему современному представлению о новелле опять же рассказы о необычном. И разве для читателей, впервые открывших для себя Киплинга, его произведения, насыщенные индийской экзотикой, полные оригинальных человеческих типов, пестрящие индийскими словами, не были своеобразными «рассказами о необычном»? Выходя же за пределы индийской тематики, Киплинг не раз обращался к фантастике. И что уж тут говорить обо всем, что написал Конан Дойл о Шерлоке Холмсе — не только об их приключениях с доктором Уотсоном, но и о самом знаменитом сыщике, личности, поражающей своей необычностью!

Необычное, каким оно является английскому читателю восьмидесятых — девяностых годов, а отчасти и последующих десятилетий, — это экзотическое, фантастическое, юмористическое (не мешаает здесь вспомнить и Джерома К. Джерома), гротескное, связанное с непривычным объектом изображения, непривычным взглядом на примелькавшееся или просто с невероятным происшествием.

Рассказ, с которого всерьез начинается карьера Уэллса-новелиста, «Препарат под микроскопом» (1893) не предвещает на первый взгляд ничего подобного. Главный герой рассказа — сам Уэллс и никто иной. Изображенный в нем студент-первокурсник педагогического факультета Лондонского университета — это как раз тот Уэллс, каким он возникает перед нами в воспоминаниях его однокашников и в его собственных: одержимый жаждой знания и успеха, неловкий, голодный, с чудовищным комплексом социальной неполноценности и при том ничуть не забытый, напротив, так и рвущийся в бой. Однако в рассказе тоже есть элемент неожиданного — по крайней мере, для тогдашнего читателя, ибо обстановка научной лаборатории отнюдь не была еще в те времена привычным местом действия для произведений художественной литературы, а острота сюжета роднит его с новеллистикой тех лет в целом.

Уэллс немало потрудился в этой области. С 1893 года он уже регулярно печатает свои рассказы в самых популярных английских периодических изданиях. В 1895 году выходит первый сборник его рассказов «Похищенная бацилла и другие происшествия», за ним следуют «История Платтнера и другие» (1897), «Тридцать странных рассказов» (1897), изданных, правда, лишь в США, «Рассказы о пространстве и времени» (1899), «Двенадцать рассказов и сон» (1903), «Страна слепых и другие рассказы»

(1911). Впрочем, от сборника к сборнику количество новых публикаций все уменьшалось. Последний из этих сборников: «Дверь в стене и другие рассказы» (1911) — уже не содержал ничего нового: это были перепечатки. Впоследствии Уэллс писал рассказы лишь от случая к случаю, да и то не очень удачно. Рассказ «Ответ на молитву», которым, очевидно, завершается путь Уэллса-новеллиста (напечатан в «Нью стейтсмен» в январе 1937 года), вполне мог быть написан любым, притом не самым талантливым, представителем «послеуэллсовской» фантастики. Новеллистика — это начало Уэллса. Потом он потерял к ней интерес.

А новелла времен его юности — это, следует повторить, почти всегда «рассказ о необычном». Интересно, какой из сторон необычного отдал предпочтение молодой писатель? А никакой! Он кинулся разрабатывать все сразу.

И делал это с огромной радостью. В 1911 году, уже основательно отойдя от новеллистики, он вспоминал, какое наслаждение испытывал, принимаясь за каждый новый рассказ. И как его согревала мысль, что эти рассказы не станут на полку какого-нибудь пресыщенного джентльмена, а попадут в руки людей, читающих по дороге на работу, где-нибудь в омнибусах или поездах. Рассказ должен быть прочитан минут за пятнадцать. Других ограничений он себе не ставил.

В нашем сознании так укоренилось представление об Уэллсе — научном фантасте, что мы и рассказы его склонны трактовать как научную фантастику. А это не совсем так. Порою — совсем не так.

Конечно, у Уэллса есть та дисциплинированность мышления, которую вырабатывают занятия наукой. У него всегда строго соразмерны части, очень точны детали, он экономен в средствах и больше всего боится чего-либо в данном контексте необязательного. Но вот что любопытно: как раз в период самых интенсивных занятий наукой Уэллс писал хуже всего, причем недостатки его рассказов проистекали как раз из отсутствия перечисленных выше качеств. Разумеется, наука ему помогла, но лишь после того как он прошел основательную выучку у классиков прозы и поэзии. В самом почти начале своей профессиональной литературной деятельности, в 1894 году, он опубликовал в журнале «Нейчур» статью «Популяризация науки», где не ученых ставил в пример писателям, а, напротив, писателей — ученым. «Популяризатор науки должен руководствоваться теми же принципами, что лежат в основе «Убийства на улице Морг» Эдгара По и серии рассказов о Шерлоке Холмсе Конан Дойла, — писал о н . — Сначала ставится проблема, потом шаг за шагом мы вместе с читателем движемся к ее решению». Писать Уэллс учился у писателей. Наука только сделала его восприимчивей к их урокам. И, само собой, дала возможность разобраться, чему учиться, а от чего отталкиваться.

Уэллс был очень начитан в романтиках, особенно в американских романтиках-новеллистах, и у него есть несколько новелл,

созданные под их явным влиянием. Или под влиянием английских неоромантиков. Но он сам их, особенно те, что были сдобрены экзотикой, не очень жаловал, а свою новеллу «Колдун из племени Порро» (1895) просто не любил. И не за то, что она не удалась. Напротив, она — из самых удачных. Просто она написана словно бы не Уэллсом. Правда, один из своих романтических рассказов он для себя выделял — «Красную комнату» (1896). Там речь шла о мнимой «комнате с привидениями», где, как выясняется, нет никакого привидения, но зато во всех углах «гнездится страх». Это было явное подражание Эдгару По, но подражание столь артистичное, что Уэллс мог им гордиться. Он, надо думать, видел в этом доказательство широты своего писательского диапазона. Поэтому прямым антиподом Эдгара По его не назовешь. И все же он предпочитал иную обстановку. Даже страшному его тянет придать какой-то бытовой оттенок. В 1902 году он, например, опубликовал в «Стрэнд мэгэзин» «Историю неопытного привидения» (потом он изменил название на «Неопытное привидение»). Она кончается смертью рассказчика, что и подтверждает подлинность всего, о чем он поведал друзьям. Но рассказ этот вышел из-под пера Уэллса, а потому не стоит ждать в нем ужасов в духе Эдгара По или той затаенной иронии и всепроникающей поэтичности, которая возвышает и делает одним из шедевров мировой новеллистики «Кентервильское привидение» Оскара Уайлда. Привидение повстречалось герою уэллсовского рассказа в закрытом клубе, и, когда тот строго указал непрошенному гостю, что ему здесь не место, дух признался, что с удовольствием вернулся бы в свое потугостороннее обиталище, но, на беду, забыл подходящие случаю заклинания и пассы. В нем нет ничего не только зловещего, но и сколько-нибудь интересного. Это никак не сэр Симон де Кентервиль, убивший жену и погибший от голода в потайной комнате замка, куда его заточили родственники. Уэллсовское привидение — существо в высшей степени заурядное. При жизни он от спорта уваливал, от работы отлынивал, на экзаменах проваливался. Да и погиб по глупости: отправился в подвал с зажженной свечой проверить, отчего там происходит утечка газа...

Кстати, если уж мы заговорили о научной фантастике, имеет ли этот рассказ Уэллса хоть какое-то к ней отношение?

Или, скажем, рассказ «Красный гриб» (1896). Жалкий лавочник, которого травит жена, отведал нечаянно какого-то гриба, обладающего возбуждающим действием, приободрился и такой страх нагнал на жену, что теперь у них уже все пойдет по-иному. Ну, а «Потерянное наследство» (1897)? Человек много лет обхаживал своего дядюшку-графомана, а тот, в уверенности, что племянник читает его книги от корки до корки, вложил в последнюю из них завещание. Так оно для племянника и пропало. Где здесь фантастика?

Очень часто сюжетную основу рассказов Уэллса составляет тот или иной научный факт. Но обычно он дает лишь первый

толчок развитию действия. Да и сам по себе он чаще всего не столь уж нов и интересен. Возьмем, к примеру, рассказ «Торжество чучельника» (1894). Легко ли сыскать здесь что-нибудь необычное с точки зрения науки? Подделкой чучел занимаются много веков и притом так искусно, что европейские музеи с большой осторожностью относятся к каждой покупке. Известно, например, что, когда из Австралии впервые привезли чучело утконоса, его сочли подделкой. Зоологи заявили, что подобного животного быть не может.

Еще меньше нового, причем не только с научной, но и с литературной точки зрения, в рассказах «Человек, который делал алмазы» (1892) и «Страусы с молотка» (1894). Об искусственном получении алмазов говорится в романе Жюль Верна «Южная звезда» (1884), и там же появляется страус, проглотивший алмаз, причем Жюль Верн не был первым, кто нашел этот сюжет. Его роман представляет собой переработку чужой рукописи, проданной издателю Этцелю. Если даже Уэллс не знал этого малоизвестного романа Жюль Верна, на мысль написать «Страусов с молотка» его мог навеять рассказ Конан Дойла «Голубой карбункул» — о том, как вор спрятал похищенный драгоценный камень в зоб рождественского гуся. И в самом деле, зачем силком запикивать камень в зоб гуся, когда существуют страусы, глотающие камни для собственного удовольствия? Словом, в большинстве случаев Уэллс не ищет научной сенсации: ему достаточно занятой выдумки.

Конечно, Уэллс-новеллист не чурается научной фантастики, но это для него лишь одна из форм необычного. И все же кое-что из написанного им в этой области было настоящим открытием. «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» (1895) и «История Платтнера» (1896) предвещают целый пласт научной фантастики, исходящей из представления о «пересекающихся» или «параллельных» вселенных. Литературной новацией оказалась и «История покойного мистера Элвешема» (1896). После этого рассказа Уэллса было написано множество романов (порою они имели очень определенный социально-критический смысл) о попытках настолько внедриться в чужое сознание, что некогда это назвали бы «переселением душ». Сам Уэллс — притом раньше других — понял, какие возможности таил в себе его ранний рассказ. За десять лет до смерти, в 1936 году, он написал на его основе киносценарий «Новый Фауст», где заговорил о том, как прошлое пытается подчинить себе будущее, — иными словами, о том же самом, о чем шла речь в его антифашистской повести «Игрок в крокет».

Вообще-то говоря, Уэллсу-новеллисту чаще удается нас рас смешить, чем напугать, но фантастика и юмористика Уэллса — из одного источника, из способности резко перейти границы привычного, создать непредвиденную ситуацию, подтолкнуть героев на неожиданные поступки. Потому Уэллс так любит писать смешную фантастику.

Рассказ «Новейший ускоритель» (1901) — из самых у него знаменитых. И по праву. Необычное найдено на сей раз при помощи научно-фантастического допущения: профессор Гибберн изобрел препарат, необыкновенно ускоряющий наше существование во времени, а значит, и сообщающий нам новые, невиданные возможности. И для чего же он использовал свой препарат? Для хулиганской выходки! Ему очень надоела вечно твякающая соседская болонка, и, заметив ее, он хватает несчастное животное за загривок, во мгновение ока переносит поближе к музыкальной раковине и, промелькнув как метеор, швыряет ее на толпу джентльменов и дам, собравшихся послушать музыку в парке. Что тут началось! «Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким твяканьем почтенной разжиревшей болонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины и вдруг угодила на зонтик дамы, сидевшей совсем в другой стороне, да еще подпала себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на всяких суевериях, психологических опытах и прочей ерунде! Все повскакивали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен»...

Или вот рассказ «Похищенная бацилла» (1894). Анархист украл у эпидемиолога пробирку с бациллами холеры, чтобы отравить весь Лондон. Правда, когда он спасается бегством от преследующего его эпидемиолога, пробирка у него разбивается. Но ничего, он сам примет этот ужасный препарат и станет источником заразы... Увы, эта пугающая завязка тут же обернется совершеннейшей комедией. Ученый просто похвастался перед анархистом: никаких бактерий холеры у него не было, и он показал своему посетителю другую бактерию, им самим выведенную. От нее все живое приобретает новую окраску. Одни становятся синими, другие голубыми, а некоторые идут пятнами. В ближайшие дни часть населения великой столицы, очевидно, посинеет... И это — не говоря уже о комичнейших сценах погони, достойных лучших образцов немного кино. Впереди несется кэб с анархистом, за ним — с бактериологом, успевшим уже потерять одну из ночных туфель, в которых он выскочил, за ним, в третьем — его жена с башмаками, пальто и шляпой, а толпа кэбменов, собравшаяся на стоянке, громкими криками приветствует эти необыкновенные тонки...

Даже детектив, за немногими исключениями, привлекает Уэллса лишь с момента, когда можно придать ему комическое звучание. Что такое уэллсовское «Ограбление в Хэммерпонт-парке» (1894) — детектив или юмористика? Судя по тому, как хитро задумано преступление, — детектив. Судя по тому, как все разработано автором, — чистой воды юмористика. Кончается рассказ тем, что неудачливого грабителя принимают за человека,

спасшего поместье от ограбления, и привечают в доме. В результате ему, несмотря на всю его профессиональную беспомощность, и в самом деле удается украсть бриллианты, на которые он с самого начала позарился.

«Каникулы мистера Ледбеттера» — еще один комический детектив. Приходский священник, бывший школьный учитель, мистер Ледбеттер в поисках острых ощущений забрался в чужой дом — и попал в руки настоящих преступников, на которых произвело большое впечатление, что этот вор вырядился священником. Они сделали его своим соучастником, а потом высадили на необитаемом острове как Робинзона Крузо. Словом, каникулы мистера Ледбеттера удались на славу! Но тягу к приключениям он с тех пор потерял...

Вообще Уэллс — автор детективов не похож на других. У него, например, нет сыщика. Вместо того чтобы расследовать преступление, как тому учили Эдгар По и Конан Дойл, он с самого начала описывает его шаг за шагом. Таинственное исчезает, зато открывается огромное поле для бытописательства и юмористики.

Порою Уэллс пишет и откровенную юмористику, слегка лишь прикрытую каким-нибудь квазинаучным допущением. Обжора Пайкрафт («Правда о Пайкрафте», 1903) мечтает, как он выражается, «потерять вес» и без конца пристаёт с этим к своему знакомому, прабабушка которого, по слухам, вывезла некогда из Индии нужный рецепт. Действие таинственного снадобья и правда оказывается безотказным. Приняв его, Пайкрафт немедленно взлетает под потолок: он «потерял вес». Что поделаешь, похудеть — это одно, а «потерять вес» — другое...

Но наибольших успехов Уэллс добивается, когда ему удастся в пределах небольшого рассказа реализовать все свои возможности. Его привлекает самый широкий спектр человеческих чувств и представлений, понятых в их взаимосвязи и сложности. И порою он ухитряется придать смешному оттенок жути, наивному — умудренности, обыденному — трансцендентального. Это — моменты его торжества как художника. Здесь — то же стремление к широчайшему охвату действительности и постижению мира в его многообразии и цельности, которое отличало и Уэллса-мыслителя.

Уэллс отнюдь не стремится писать рассказы специально «смешные» или, скажем, «страшные». Он добивается эстетического эффекта куда более сложного. Разве в «Похищенной бацилле» он так уж хотел нас посмешить? Нет, конечно. Фигура анархиста из этого рассказа (первый набросок образа Гриффина, героя «Человека-невидимки») выглядит и смешно и немного трагично. Перед нами человек, вознамерившийся отомстить обществу способом диким и безобразным, но не само ли общество так его ожесточило? Он одержим манией величия, но не оттого ли, что его всю жизнь унижали? Рассказы Уэллса объемны. За простым прочитывается сложное.

Самый, быть может, интересный в этом отношении — рассказ Уэллса «Волшебная лавка» (1903). Он относится к тому повествовательному жанру, который в англосаксонских странах принято в отличие от научной фантастики называть «фэнтази» — «фантазия». Владелец лавки с этим вполне обычным для английских детей названием (так называют игрушечные магазины) — волшебник всамделишный и бесспорный, к тому же из самых изобретательных, наделенных жутковатым чувством юмора и немалым знанием людской психологии. Но игра, которую он затевает со своими посетителями, достаточно назидательна. Добрый (а может быть, злой?) волшебник желает показать, насколько дети превосходят взрослых ощущением чудесного, а значит, насколько они более открыты всему новому и необычному, насколько более готовы встретить возможные перемены. Люди, приверженные привычному, устоявшемуся, данному раз и навсегда, были Уэллсу ненавистны. Он потому и писал свои «рассказы о необычном», что хотел разрушить эту невосприимчивость к новому.

Подобная новеллистика показывает жизнь в ее многогранности, во множестве не сразу угадываемых возможностей. Рассказы, в которых Уэллс-художник достигает своих вершин, оказываются шире первоначальной идеи. Так появляются его шедевры «Бог Динамо» (1894), «Человек, который мог творить чудеса» (1898), та же «Волшебная лавка», «Мистер Скелмерсдейл в стране фей» (1901), «Дверь в стене» (1906) и еще одна новелла, перерастающая уже в небольшую повесть, — «Страна слепых» (1904).

Иные критики испытывали, читая такие его рассказы, полное недоумение, хотя, конечно, в этом не признавались. Так, рецензент из английского журнала «Критик» определил рассказ «Бог Динамо» как нечто «достойное пера Кипплинга». Уэллса это могло лишь обидеть: он считал себя лучшим новеллистом, чем Кипплинг (что время и подтвердило). К тому же некоторое стилистическое сходство этого рассказа с Кипплингом объяснялось желанием написать нечто вроде пародии на него. Азума-зи, главный герой рассказа, словно бы выхвачен из кипплинговского мира восточной экзотики и перенесен в английский город Кемберуэлл, где он состоит истопником в машинном зале, дающем электроэнергию железной дороге. Начальником при нем Джеймс Холройд — один из тех, кто несет «бремя белого человека», «прививая цивилизацию» отсталым народам, — рыжий тупой битюг с кривыми зубами, опытный электрик, но горький пьяница и садист, находящий наслаждение в издевательствах над «этим дикарем». Веру в Верховное существо ему заменило знание цикла Карно (рабочий цикл паровой машины), а почитав Шекспира, он установил, что тот плохо разбирался в химии, и потерял к нему интерес. Бездуховность этого человекоподобного существа поразительна. Приобщение к миру техники несколько не подняло его над животными. Иначе обстоит дело с Азума-зи. Он куда более одухо-

творен, чем его начальник и истязатель, но под влиянием новой обстановки в его мозгу происходят странные процессы. Присматриваясь к большой динамо-машине, вслушиваясь в ее гул, он начинает и в самом деле верить издевательским репликам Холройда про то, что машина эта — нечто вроде бога. Посильнее всяких там языческих богов! Может сразу убить сто человек. И вот Азума-зи, не вынеся побоев Холройда, решает принести его в жертву динамо-машине.

О чем этот рассказ? И так ли просто определить его тему? Исчерпывается ли она спором с Киплингем, которого Уэллс, при всем уважении к его таланту, считал писателем небрежным, а в политическом отношении не принимал настолько, что тот казался ему какой-то инфернацией? Или, может быть, в этом рассказе речь идет о зарождении новой человеческой особи, которую потом окрестят «технарем»? Или же о странных формах адаптации человеческого мозга к непривычному и потому непонятному?

Зная последующие высказывания и творчество Уэллса, мы вправе согласиться и с первым истолкованием, и со вторым, и с третьим, а возможно, и со многими другими. Но важнее понять вот что: Уэллс создал рассказ, в художественной структуре которого слиты и неразделимы все возможные его интерпретации.

Так же и с остальными упомянутыми рассказами. В «Человеке, который мог творить чудеса» и в «Мистере Скелмерсдейле в стране фей» легко увидеть насмешку над маленьким человеком, не сумевшим оценить открывшееся ему волшебство. Но как многозначно оказывается само понятие волшебства! И разве Уэллс только смеется над этим человеком? Разве он его не жалеет?

Столь же легко оценить в рациональных терминах «Дверь в стене» — одно из лучших в мировой литературе произведений о повседневности, уводящей от вечного. Но сколько утрачивается при этом от художественного обаяния самого рассказа! Через его настроение прочитывается ничуть не меньше, чем через прямо истолкованный смысл. При всей выявленности идеи этих произведений они, по сути дела, не поддаются пересказу. В них есть свое, музыкальное звучание.

Уэллс сам видел возможности различного истолкования своих рассказов и дважды (о переделке «Истории покойного мистера Элвешема» в киносценарий уже шла и еще пойдет речь) вносил в них коррективы применительно ко времени. В 1939 году в Лондоне вышло крошечным тиражом (280 экземпляров) новое издание «Страны слепых». Оно включало как старый текст, так и новый, переделанный примерно с середины. Герой не просто уходит один из Страны слепых, чтобы умереть в горах, созерцая звездное небо. Напротив, он совершает последнюю попытку спасти народ, к которому принадлежит Медина — его любимая. Он видит, что на долину с гор надвигается лавина, спешит предупре-

дить людей, но его избивают и изгоняют, осудив тем самым на голодную смерть. Медина прибегает к нему, и лишь таким образом эти двое любящих и спасаются от гибели. Они покидают старые места, ему удается преуспеть в торговле, у них четверо детей, но она отказывается от операции и остается слепой. Она не желает потерять веру в Высшую мудрость, ту самую веру, что погубила ее народ. Видеть, говорит о н а , — это ужасно...

В предисловии к книжке Уэллс объяснил, почему он пошел на эту переделку. «В этой повести, как и в предыдущей, зрячий попадает в Страну слепых и убеждается, насколько неверна по-ловица, будто в стране слепых и кривой — король, так что основная идея остается прежней, но вопрос о ценности зрения освещается по-новому, поскольку изменилась атмосфера, в которой мы живем, — писал о н . — В 1904 году я хотел подчеркнуть духовную изоляцию и трагедию тех, кто видит больше других, но не способен передать им свой взгляд на жизнь. Зрячий умирает никому не нужным отщепенцем, он не может избавиться от дара зрения иначе чем через смерть, а самодовольное общество слепых не меняется и продолжает идти своим путем. Но в новом рассказе способность видеть оказывается чем-то еще более трагическим, ибо речь идет уже не только о потерянной любви и спасении: зрячий видит, что на мир слепых надвигается гибель — на тот самый мир, к которому он привык и который даже успел полюбить; он ясно это видит и не может спасти его от предначертаний судьбы. Обе версии рассказа открываются практически одним и тем же событием — здесь я не хотел ничего менять, — и они движутся к финалу параллельно друг другу, пока горный обвал не погребает все под собой». Так Уэллс прочитал свою повесть перед второй мировой войной...

Но и это — лишь два из множества возможных истолкований «Страны слепых», ибо перед нами — явление искусства. Интересно, что даже такой изощренный мастер новеллы, как Сомерсет Моэм (кстати, совершенно не принимавший романов Уэллса), говорил, что среди его рассказов есть несколько шедевров. Уэллс — очень «сознательный» художник. Но он — художник, и рассказы помогли ему раскрыться в этом качестве раньше всего.

Масштабное теоретическое мышление, которым он обладал, не помешало ему стать художником. Оно лишь помогло ему оказаться первым в Англии художником XX века, вышедшим из XIX века. Он стал им еще до того, как новый век вступил в свои права. Ждать было уже недолго — и нового века, и славы, которая придет к нему на его пороге. Что и позволяет нам назвать эту часть книги интермедией не только с очень дурным началом, но

...и со счастливым концом

В июне 1895 года вышла первая книга Уэллса «Избранные разговоры с покойным дядей и два других воспоминания». «Избранные разговоры» представляли собой переиздание части очерков, опубликованных до этого у Каста в «Пэлл-Мэлл гзетт», а «два других воспоминания» были рассказами «Человек с носом» и «Непонятый художник», тоже, как нетрудно заметить, не впервые увидевшими свет.

Свои очерки Уэллс, впрочем, постарался свести в некое, пусть и непрочное, целое, и «разговоры» стали напоминать образцы журналистики XVIII века, которые тоже устаивались переиздания в виде отдельных книг. Порою начинает казаться, что вернулись к жизни Стил и Аддисон со своим «Зрителем» (1711—1712). Перед нами снова непритязательные юмористические картинки нравов, связанные между собой неким подобием сюжета и несколькими общими героями. Главный герой, разумеется, дядя. С тем реальным дядей Уильямсом, который послужил его прототипом, он, впрочем, имеет очень мало общего. Став литературным героем, соммерсетширский мошенник на первых порах (не забудем — он еще появится в своем действительном облике в романе «Любовь и мистер Льюишем») заметно облагородился. Этот дядя тоже провел много лет в Южной Африке, но, видимо, на лучших ролях, приобрел там некоторый вес и при первой возможности вернулся в Лондон, чтобы завоевать светский успех. Однако племянник, в доме которого он остановился (от его имени и ведется рассказ), посоветовал ему, прежде чем начать покорение общества, сшить себе новый костюм. Старый, деликатно намекнул племянник, чуточку вышел из моды. Дядя не стал спорить. Он заказал новый костюм и неделю, пока ему шили фрак, провел у племянника, развлекая Джорджа и его жену Ефимию своими беседами. Лучшие свои изречения он тут же заносил в записную книжку, откуда им предстояло со временем перейти в его мемуары.

Приобщение к свету принесло, однако, дяде немало разочарований. Знакомые племянника, молодые журналисты, показались ему на редкость скучными собеседниками. Все лучшие плоды своего остроумия они, как выяснилось, сообщают бумаге, и после утра, проведенного за письменным столом, им уже нечем поделиться с друзьями. Не больше радости доставило дяде и общение со светскими львами. Они показались ему существами плоскими, если не пошлыми.

Не спасло дядю и обращение к спорту. Он купил себе трехколесный велосипед, но другие велосипедисты, ездившие на двухколесных, над ним изрядно потешались, и это ужасно его обижало.

Настоящее удовольствие доставило дядюшке лишь знакомство с некоей молодой особой, с которой он скоро обручился. Правда, он говорил, что обручение — еще не женитьба. Он нашел идеальную невесту, но ведь из одних женщин получаются идеальные невесты, а из других — идеальные жены. У кого как. Но в конце концов он все-таки женился, на чем книга и кончается.

Как нетрудно заметить, дядюшка Джорджа, при всем своем отличии от реального прототипа, отнюдь не условная фигура. Он действительно присутствует в каждом рассказе со своей неторопливой рассудительностью, детским интересом к жизни и привычкой стряхивать пепел в чернильницу (дабы не нанести ущерб хозяйскому коврау). Это — образ. Автор не просто говорит от его лица, а применяется к его умеренно-консервативным взглядам и его духовному облику. К тому же дядюшка не глуп, и многие его суждения совпадают с авторскими. Конечно, Уэллс еще слишком зависит от Барри, но далеко не всегда. С поистине свифтовским ядом написан очерк «Об употреблении идеалов». «Идеалы — вещь совершенно необходимая, — рассуждает дядюшка. — Они — плоть на скелете реальности и, подобно одеждам, помогают прикрыть наготу правды. Впрочем, обладать идеалами непросто, особенно после Рёскина и Карлайла, ибо в наши дни предложение на идеалы заметно превышает спрос. Человек может стать рабом своих идеалов. Поэтому главное — не допускать их в свою повседневную жизнь. Ваш идеальный мир должен напоминать хорошо обставленную гостиную, куда вы иногда заходите отдохнуть...»

Почти по всем очеркам разбросаны блестящие узоры ума и остроумия Уэллса. «Абсолютной красоты не существует, и это — Великая хартия вольностей мира искусства», — заявляет он в одном из них. «То, что слово «буржуазный» введено сейчас в английский язык как обличительный эпитет буржуазными писателями, работающими для буржуазной публики, запомнится навечно и всегда будет доставлять большую радость филологу-юмористу», — хитро замечает в другом.

И все же людям, взявшим в руки эту книгу Уэллса, трудно было представить себе, чем он скоро станет. В США, правда, «Избранные разговоры с дядей» были встречены с восторгом, но отзывы английской печати были весьма разноречивы. Кое-кто похваливал их за тонкий юмор, но критик влиятельного журнала «Атенеум» нашел их глупыми, высказанные там мысли банальными, а язык — напыщенным. Самому Уэллсу книга эта и потом продолжала нравиться, но тем не менее переиздавать ее он не советовал.

К счастью, людей, начавших свое знакомство с творчеством Уэллса именно с этой книги, было, что называется, по пальцам перечесть. И потому, что она была издана тиражом в 650 экземпляров, и потому еще, что всего день спустя Уильям Хейнеман — издатель, тоже начавший в 90-е годы, — выпустил десяти-

тысячным тиражом «Машину времени». Еще до выхода ее отдельным изданием многие успели с ней познакомиться по журналу «Нью ревью», где «Машину времени» под названием «Путешественник во времени» месяц назад кончили публиковать как «роман с продолжением». Успех был мгновенным. «Машина времени» печаталась в «Нью ревью» между январем и маем 1895 года, но уже после выхода январского номера (кстати говоря, первого для этого нового журнала) известный критик У. Т. Стед обратил на нее внимание публики в чрезвычайно влиятельном «Ревью ов ревьюс». В марте он вновь вернулся к этому, немногим более чем наполовину напечатанному роману, назвав его автора человеком огромного таланта, а когда журнальная публикация была доведена до конца, писал о том, какой захватывающий интерес вызвал у него этот роман.

Книга произвела еще более сильное впечатление, чем журнальная публикация. Её читали в захлеб, автора называли гением. Книга вышла сразу в Англии и Америке, и американцы не отставали в своих восторгах от англичан. Смелость и нежелание угождать устоявшимся вкусам публики, выразительный, энергичный стиль, необычность манеры, живое воображение — вот неполный список достоинств, открытых в Уэллсе критиками по обе стороны океана.

«Машина времени» очень постепенно вызревала в сознании Уэллса. Основой для нее послужили «Аргонавты хроноса», но в процессе многочисленных переделок от этой повести мало что уцелело. Забыть свою неудавшуюся и незаконченную раннюю повесть Уэллс никак не мог. Он без конца ее переделывал, оставаясь недоволен каждым новым вариантом, и тем не менее «Аргонавтов» не постигла судьба «Компаньонки леди Франкленд». Уэллс каким-то инстинктом чувствовал, что когда-нибудь реализует заложенные в «Аргонавтах» возможности. Но решительный шаг сделать все не решался. Его подтолкнул к нему Уильям Эрнст Хенли (1849—1903) — человек в английском литературном мире знаменитый.

Хенли считал себя поэтом, но известность приобрел отнюдь не своими патриотическими виршами. Способности к самооценке у него не было никакой, но зато чужой талант он улавливал на лету, талантливых людей привечал, пестовал, помогал им. Возможности для этого у него были немалые. Он редактировал «Нэшнл обсервер», который многие считали лучшим тогдашним журналом, а с января 1895 года начал издавать «Нью ревью». Человеком он был грубым, вспылчивым, хвастливым, упрямым и своевольным, но любовь к литературе побеждала все его недостатки. Был он убежденным консерватором, но, когда видел талантливого человека, готов был забыть даже о различии политических мнений.

Может быть, именно политическая репутация Хенли помешала Уэллсу искать с ним встречи, может быть, слухи, ходившие

о его грубых выходках; во всяком случае, он у Хенли долго не появлялся. Но судьба распорядилась по-своему.

Однажды в кабинет Каста заглянул редактор журнала «Пэлл-Мэлл баджет» Льюис Хинд. В кресле перед столом своего приятеля он увидел маленькую скрюченную фигурку, производившую жалкое впечатление. Но, когда он заглянул в лицо этому человеку, мнение его тотчас переменялось. Лицо было необыкновенное. В нем читался постоянный и острый интерес ко всему окружающему, и было оно, как потом заметил Хинд, «какое-то наэлектризованное». Ему захотелось сотрудничать с этим человеком, тем более что Каст представил его ему как очень плодовитого автора. И действительно, стоило Хинду, по его словам, «нажать кнопку», как из Уэллса начали изливаться потоки знаний. И, разумеется, материалов. Именно у Хинда Уэллс напечатал «Похищенную бациллу», которая сразу привела редактора в восторг. Однако скоро Хинд заметил, что, если он будет печатать все, что предлагает Уэллс, ему придется расстаться со всеми остальными авторами. Тогда он и решил познакомить его с Хенли.

Когда Уэллс вошел в кабинет Хенли, его глазам предстала невероятно внушительная и импозантная фигура. Плечи у Хенли были широченные, грудь колесом, и он всем напоминал одного из тех «строителей империи», которых прославлял его друг Киплинг. Вернее, напоминал бы, если бы не маленькие, уродливые ножки, не достававшие до пола. Но это не сразу бросалось в глаза...

Хенли встретил Уэллса куда приветливее, чем некогда Хэрис. Он спокойно поговорил с ним, выяснил круг его интересов и, прочитав два предварительных наброска, заказал ему десять статей на тему путешествия по времени. Семь из них появились в «Нэшнл обзервер» между мартом и июнем 1894 года в отделе «Всякая всячина» без подписи автора, и мало кто обратил на них внимание. Последние три статьи Уэллсу написать не удалось. Владельцы «Нэшнл обзервер» решили, что журнал не приносит достаточного дохода, и продали его, не известив даже Хенли, а новый владелец, ни на минуту не задумавшись, уволил его. Редактор, пришедший на его место, начал свой «режим экономии» именно с Уэллса: ему было сообщено, что о путешествии по времени он может больше не писать. Хенли, к счастью, думал иначе. Когда Уэллс с Джейн и миссис Робинс жили в Севеноуксе, от него приходило письмо, где он сообщал, что с января следующего года затевает издание нового журнала и хочет открыть его романом с продолжением «Путешественник по времени». Тут же предлагался гонорар, непривычно для Уэллса высокий, — сто фунтов. За рассказы он до сих пор брал по пятерке.

Уже в то время, когда Уэллс писал свои анонимные статьи о путешествии по времени для «Всякой всячины», он догадался, в чем была главная причина всегдашних его неудач с этой темой. Раньше он думал, что чем необычнее повествование, тем необыч-

нее должна быть обстановка, в которой все происходит. Но упорные занятия новеллистикой, видно, успели его уже многому научить, и, по его словам, принимаясь за роман, заказанный Хенли, «я понял, что чем более невероятные вещи собираюсь рассказывать, тем привычнее должна быть обстановка, и я постарался поселить Путешественника по времени в таком устроенном и комфортабельном буржуазном доме, какой только сумел придумать». С этого момента, можно считать, и заканчивается формирование уэллсовского метода. Он теперь всегда будет стремиться к наивозможнейшей простоте, причем не только обстановки, но и способа выражения. Так он и обрел своего читателя. Севенуокс был, конечно, не лучшим местом на свете, где можно было создать литературный шедевр. Уэллс вспоминал, как однажды писал своего «Путешественника по времени» «поздним летним вечером у открытого окна и докучливая хозяйка ворчала, стоя во тьме снаружи, что он без конца жжет свет. Хозяйка уверяла спящий мир, что не уйдет к себе, пока лампа не погаснет; так он и писал под аккомпанемент ее ворчания».

Уэллс приводил обращенный к нему монолог и в более полной форме. Она сетовала, что по своей доверчивости сдала комнаты таким людям. Приличные постояльцы днем гуляют, а ночью спят. А эти! Нет, в другой раз она будет осмотрительней! Что ей теперь, всю ночь не спать? Она же не может уйти к себе и запереть дверь, пока открыто окно! Уэллс ее не слушал, и тогда она обратила свои жалобы к соседям. Те ей явно сочувствовали. Они-то уже знали, что за бесстыжие люди живут в ее доме!

Скорее всего, это был не единственный ее способ досаждать поселившимся у нее прелюбодеям. И тем не менее книга часть за частью аккуратно поступала в редакцию. Иногда Хенли делал какие-то замечания, но при этом не забывал всякий раз ободрить автора. И он же договорился о публикации «Машины времени» отдельным изданием, причем на условиях, о каких Уэллс не мог и мечтать. Впрочем, Хейнеман и сам понимал, какая рыба плывет в его сети, и, думается, не сквалыжничал.

Чем известнее становился Уэллс, тем больше прибавлялось работы. Он давно уже просил Каста о постоянной рубрике, и тот вдруг в самый для него неподходящий момент ее нашел. Первый номер «Нью ревью» с началом «Путешественника по времени» должен был уже со дня на день появиться на книжных прилавках, когда принесли телеграмму, в которой говорилось, что Каст назначает Уэллса постоянным театральным критиком. Принесли бы ее на год раньше! Да и место было из тех, что можно было предложить ему разве что в насмешку. Дети прислуги и мелких лавочников не принадлежали в те дни к числу заядлых театралов, и Уэллс пока что успел побывать в театре ровно два раза — если, конечно, не считать рождественских пантомим, которые давались в Хрустальном дворце — обширном выставочном павильоне, приспособ-

ленном для представлений. Все это он честно изложил Касту, но тот неожиданно обрадовался: «Значит, у вас будет свежий взгляд! Да к тому же вы наверняка не принадлежите к какой-либо из театральных камариллий». У него был уже заготовлен для Уэллса билет на премьеру уайлдовского «Идеального мужа», и, потратив двадцать четыре часа на то, чтобы приобрести вид, подобавший завсегдатаю премьер (заказанная по этому случаю «визитка» произвела на самого Уэллса такое впечатление, что он немедленно в ней сфотографировался), наш герой появился в Хеймаркетском театре на третьем в своей жизни спектакле. На другой день, 4 января 1895 года, в газете Каста была напечатана его рецензия, где пересказывалось содержание пьесы и делались замечания об игре актеров. Уэллс не был человеком театра, но пьесы читал и имел возможность сравнить «Идеального мужа» с «Веером леди Уиндермир» и «Женщиной, не стоящей внимания», сочтя его самым слабым из всей драматургии Уайлда. Почти вековая театральная практика доказала с тех пор обратное, но на второй день после премьеры она еще не успела сказать свое слово, и оспорить Уэллса тогда было некому. Впрочем, 14 февраля он побывал в Сент-Джеймском театре на премьере другой комедии Уайлда — «Как важно быть серьезным» — и оценил ее очень высоко, хотя и по причине достаточно оригинальной: он увидел в ней пародию на викторианскую пьесу. Это мнение тоже было совершенно новым, необычным, более того — никем впоследствии не повторенным, так что требованиям Каста Уэллс вполне удовлетворял: свежесть взгляда не подлежала сомнению.

Впрочем, уже в первые дни своего служения театру Уэллс оказался свидетелем события, которое можно было бы назвать одним из «провалов века». 6 января 1895 года в Сент-Джеймском театре давали первую и последнюю пьесу Генри Джеймса «Гай Домвил» — плохо построенную и еще хуже сыгранную мелодраму. Генри Джеймс, в делах театра совершенно не сведущий, не понял, что публика не приняла ни пьесу, ни спектакль, и, зная, что после премьеры автору полагается выйти кланяться, позволил вывести себя на сцену. Какая тут разразилась буря! Публика выла, свистела, только что не бросала в него апельсинами, как это делалось в XVIII веке. Уэллс писал потом, что именно это событие побудило его всегда с опаской относиться к театру. Стоя среди бушевавшей публики, он отнюдь не злорадствовал по поводу тяжелых минут, выпавших на долю собрата по перу. Его рецензия, появившаяся на другой день, исполнена подлинного благородства. Генри Джеймс, заявил он, слишком тонкий писатель для театра. Сцена требует острых поворотов, резких тонов...

Но все-таки он не считал этот вечер потерянным. Он увидел неподалеку от себя высокого, рыжего, худого ирландца лет тридцати пяти и сразу узнал в нем Бернарда Шоу. И как было его не узнать! Он выделялся не только своей внешностью, но и кос-

твом. При том, что в театре нельзя было появиться иначе как в смокинге, он взял в привычку ходить на спектакли в простой коричневой куртке. И никто не смел сказать ему ни слова! Да, это был тот самый Шоу, к которому он даже не решался приблизиться на собраниях у Уильяма Морриса. Но теперь они были коллегами — и он и Шоу сотрудничали в «Сатерди ревью», где он рецензировал книги, а Шоу вел театральный отдел, более того, он стал театральным критиком. Он подошел к Шоу, представился, и они вместе вышли из театра, рассуждая о неочтенных достоинствах стиля Генри Джеймса. «Он разговаривал со мной на своем дублинском английском как старший брат, и я полюбил его на всю жизнь», — сказал потом об их встрече Уэллс. Слова эти тем весомее, что произнесены после множества недоразумений, ссор, а то и настоящих баталий, разгоравшихся между ними. Но что бы ни стояло потом между Уэллсом и Шоу, в чем-то они все равно оставались близки. В период, когда судьба забросила Уэллса в театр, это тоже чувствовалось.

Не следует слишком упирать на критические просчеты Уэллса. Откуда, скажем, было ему знать, что Уайлд — последователь комедии нравов, развившейся в Англии в XVII веке, если он просто никогда слыхом не слыхивал о комедии нравов? И вообще, легко ли ждать интереса к истории театра от человека, лишенного интереса к театру? Да к тому же от «естественника», не получившего гуманитарного образования?

Какие бы удивительные слова Уэллс о театре порою ни говорил, литератором он был, если употребить выражение, в те годы еще не принятое, «социально ангажированным» — как и Шоу, — и поэтому их мнения о тех или иных театральных событиях не раз совпадали. Так, они оба выступили против пьес модного французского драматурга Викторьена Сарду (1831—1908), начавших проникать на английскую сцену. Шоу, разумеется, имел возможность оценить их в исторической перспективе. Он видел в них французскую «хорошо сделанную пьесу», доведенную до абсурда. Но и Уэллс не преминул отметить искусственность сюжета и психологическую одноплановость пьес Сарду. В них, сказал он, действие происходит не в жизни, а в некоей выдуманной «театральной стране», и он вдоволь поиздевался и над Сарду, и над его подражателями, и над этой «театральной страной». Про Сарду потом говорили, что в персонажах его пьес «есть все, кроме жизни». Уэллс сказал нечто подобное среди первых.

В апреле 1895 года в лондонском Театре комедии была поставлена под именем некоего Карра пьеса Сарду «Молчание женщины». Сарду был автором двуязычным, свою пьесу написал по-английски, и вклад Карра был невелик, хотя и сразу бросался в глаза: он изменил название на «Делия Хардинг». Еще он кое-где «приблизил пьесу к английским нравам», что, впрочем, было в обычае у тогдашних театральных хлопотунов. Пьеса сошла со

сцены уже через месяц, но театральные рецензии в те далекие времена появлялись быстро — на другой день после спектакля либо в конце недели, — и Уэллс успел написать одну из самых своих ядовитых заметок:

«У нового спектакля Театра комедии есть, с точки зрения критики, одно бесспорное достоинство... — спектакль и пьеса ни в чем между собой не расходятся. Актеры и актрисы играют, как положено играть актерам и актрисам, а пьеса держит зеркало перед жизнью: перед жизнью Театральной страны. Люди, в ней изображенные, невозможны, события — невозможны, и даже театральные эффекты — невозможны. И вся эта невероятица, ко всему прочему, не оказывает на публику никакого эмоционального воздействия, не затрагивает чувство прекрасного, лишена остроумия и сатиры и не представляет литературного интереса, не говоря уже об интересе интеллектуальном. Избави бог, мы не утверждаем, что пьеса должна держаться в рамках серой житейской обыденности и сделаться некоей Гиссинговой страной. Но единственными оправданиями для отхода от жизни могут быть лишь Красота, Смех или пучок света, брошенный на какую-то определенную житейскую ситуацию, может быть, даже в ущерб другим сторонам жизни. Однако эту пьесу не извиняет ни первое, ни второе, ни третье. Она отдает дань всем условностям и ничего не возвращает взамен... Это театральные эквивалент оправленной в золотую рамку олеографии».

Этой журналистской филиппики Уэллсу, впрочем, показалось мало, и вскоре он напечатал в «Нью баджет» от 15 августа 1895 года рассказ «Печальная история театрального критика», где устроил новое издевательство над театральными условностями. Герой этого рассказа, как и его автор, — человек, в театре не искушенный, а потому от него и психологически не защищенный: «Большинство людей, благодаря раннему посещению театров, перестает учитывать феноменальную неестественность сценического действия. Люди привыкают к фантастическим жестам, выпреним чувствам, мелодичным взрывам смеха, предсмертным воплям, кусанию губ, сверканию очей и прочей эмоциональной символике сцены». Но на новичка это производит неизгладимое впечатление. Ему начинает казаться, будто только так и подобает себя вести. И герой перестает быть самим собой. Он начинает говорить и жестикулировать, как на сцене. Его покидает любимая девушка. Никто не верит, что он сохраняет рассудок. Но вернуться к нормальному состоянию он уже не способен...

Нечто подобное вполне мог бы написать и Бернард Шоу.

Столь же близки оказались Уэллс и Шоу в оценке творчества Артура Пинеро (1855—1934). В те годы английская интеллигенция была увлечена Ибсенем и боролась за проникновение этого драматурга на английскую сцену, причем во главе «ибсенистов» стоял знаменитый театральные критик Бернард Шоу, о котором никто пока не знал, что он еще и драматург. Когда в 1891 году

удалось поставить в качестве своего рода «экспериментального спектакля» «Привидения» Ибсена, это был праздник. Ибсен позволял себе смелее кого бы то ни было говорить о теневой стороне жизни, поднимать серьезные социальные проблемы, и для «ибсенистов» он противостоял склонному к мелодраме викторианскому театру. Пинеро был среди первых, кто усвоил урок, преподанный Ибсеном. В 1893 году он поставил свою пьесу «Вторая миссис Танкверей», где выступал против викторианских взглядов на брак. Спектакль произвел в Лондоне фурор. Пинеро окрестили

создателем жанра «проблемной пьесы». Такая оценка, конечно, была возможна лишь до выхода на театральную арену Шоу-драматурга. «Проблемная пьеса» Пинеро была компромиссом между социальной драматургией Ибсена и традиционной мелодрамой. Свой бой Пинеро Уэллс и Шоу дали, когда 13 марта 1895 года театр Гаррика поставил его пьесу «Та самая миссис Эббсмит».

В современной театральной критике существует выражение «драматургия первых актов»: в первом акте ставится серьезная проблема, во втором она сходит на нет. Уэллс мог бы назвать «Ту самую миссис Эббсмит», написанную в четырех действиях, образцом «драмы трех актов». Он очень высоко оценивает первые три акта, но словно лишь для того, чтобы тем решительнее показать, какую трусость проявил Пинеро в последнем действии. «Ту самую миссис Эббсмит», считает он, не следует называть «проблемной пьесой», поскольку существует неразрешимый конфликт между проблемой и пьесой. Сказать правду лишь для того, чтобы от нее увести, — в этом ли задача искусства?

Короче говоря, работа Уэллса театральным критиком была не такой уж бессмысленной. Конечно, он не был искушен в театральных делах, а тем более в театральной истории, но у него была потребность и способность уловить идею, руководившую театром и драматургом, и прочесть пьесу и спектакль в контексте сегодняшних потребностей общественной мысли. В этом они с Шоу были единомышленниками и соратниками.

Впрочем, работали они рядом не слишком долго. Уже в апреле Уэллс отказался от обязанностей театрального критика, причем не в последнюю очередь из-за здоровья, снова ухудшившегося. Он не испытал на сей раз обычного для него в подобных случаях приступа депрессии — очень уж хорошо шли литературные дела! — но тем не менее о себе, да и о Джейн с ее предрасположенностью к туберкулезу надо было подумать. Молодые супруги принялись искать пристанище в какой-нибудь здоровой местности, подальше от задымленного Лондона. Летом они сняли

маленький домик в Уокинге, заплатили сто фунтов за ремонт и туда переехали. Вообще денежные дела настолько поправились, что можно было наконец позаботиться и о родителях. Он мог теперь посылать им не сорок фунтов в год, как они просили, а шестьдесят и вызволить



их из трущобы, несколько лет назад столь непочтительно названной им «разбойничьим логовом». Он снял для отца и матери приличный дом неподалеку от маленького городка Лисс, где они и дожили свой век. Его письма к ним исполнены год от года все большей нежности. Былые недовольства забылись, вспоминалось лишь, когда и в чем они ему помогали...

1895 год был для Уэллса особенным. Он начал пожинать плоды своих прежних трудов. В июне вышли «Избранные разговоры с дядей», день спустя, как уже говорилось, — «Машина времени», в начале сентября «Чудесное посещение», в ноябре «Похищенная бактерия и другие происшествия». «Чудесное посещение» тоже было написано в Севеноуксе и, судя по всему, за очень короткий срок. На мысль об этой сатирической повести Уэллса натолкнули слова Рёскина, что, появившись на земле ангел, его непременно бы подстрелили. «Чудесное посещение» приняли почти как «Машину времени». Хенли написал Уэллсу, как он смеялся, читая книгу, и называл его человеком уникального таланта и работоспособности. А ведь Хенли знал далеко не всё! Когда завершилась публикация написанных раньше вещей, были уже готовы наброски нескольких новых произведений. О том, где их напечатать, думать не приходилось: четыре издательства уже предложили ему немедленно печатать все, что выйдет из-под его пера.

Это был успех — такой безусловный, что Уэллс, кажется, даже перестал бояться новых «шуточек провидения». Успех художественный, материальный, светский: он получал теперь столько приглашений, что у него с трудом оставались свободными один-два вечера в неделю. «Приятно все-таки почувствовать себя чем-то стоящим после стольких лет непрерывных усилий и разочарований», — писал он матери.

А ведь в ближайшие годы предстояло еще появиться нескольким сборникам рассказов, второму сборнику ранее опубликованных очерков, самых в общем-то серьезных, «О некоторых личных

делах» (1897, на титуле ошибочно обозначен 1898 год), романам «Остров доктора Моро» (1896), «Колеса фортуны» (1896), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» (1897), «Когда спящий проснется» (1899), «Любовь и мистер Льюишем» (1900) и «Первые люди на Луне» (1901). Этот человек со слабым здоровьем выказал себя каким-то чудом работоспособности. В среднем у него каждые полгода печаталось по книге и еще по три десятка рассказов и статей. Он за это время написал более миллиона слов!

«Первыми людьми на Луне» заканчивается ранний период творчества Уэллса. От «Машины времени» до этого романа прошло всего шесть лет. Но их оказалось достаточно для того, чтобы Уэллс завоевал себе славу великого фантаста и вдобавок занял видное место в нефантастической литературе. Он теперь мог смело смотреть в будущее. Как нетрудно заметить, наша интермедия и в самом деле завершается счастливым концом.

СЕРЕДИНА



О чем же он все-таки писал

Уэллс пришел в научной фантастике не на пустое место. До него был Жюль Верн (1828—1905).

Правда, не было самого этого термина. Его придумал в 20-е годы нашего века американский почитатель Жюля Верна, инженер, издатель научно-популярного журнала и чрезвычайно плохой писатель Хьюго Гернсбек (1884—1967). В буквальном переводе оно означает «научная беллетристика». У нас эти слова перевели не очень точно, зато гораздо ближе к смыслу выражаемого ими понятия. А оно за минувшие годы стало чрезвычайно важным — вместе с ростом научно-фантастической литературы. Все лавры, однако, достались Гернсбеку. Его именуют «отцом американской научной фантастики», и немалое число крупных писателей удостоилось ежегодной премии, носящей его имя. Что показывает, как важно сделать первый шаг или, по крайней мере, найти удачное слово.

Естественно, Жюль Верн никак не мог знать, что он — научный фантаст. Шестьдесят три романа, им написанных, входят в серию «Необыкновенные путешествия». Своей первоначальной целью они имели популяризацию географических знаний. Но для необыкновенных путешествий и транспортные средства нужны были необыкновенные, такие, скажем, как воздушный шар, подводная лодка, а потом и всевозможные разновидности летательных аппаратов тяжелее воздуха. Оснащались эти экспедиции невиданными новинками техники, так что научные открытия начали постепенно теснить открытия географические. Роман путешествий всегда был романом авантюрным, и Жюль Верн, ученик и любимый писатель Александра Дюма-отца, всю жизнь пытался найти некое равновесие между романом приключенческим и романом, если можно так выразиться, «техничко-географическим». Это ему не всегда удавалось. У него есть романы, где весь сюжет не более чем своеобразная рамка, скрепляющая великое обилие естественнонаучных и технических сведений; есть романы, где техника и естествознание (реже всего — география) отходят на задний план, а иногда и просто исчезают, уступая место детективу и приключениям. Приключенческим писателем Жюль Верн был превосходным, и его романы не раз заметно выигрывали, лишившись очень полезного для развития юношества, но отнюдь не обязательного для сюжета груза научных сведений.

Чувствовали ли это его современники? Трудно сказать. Те «скучнейшие описания», на которые жаловался Чехов, читая Жюль Верна, были в духе века, воспитавшего французского фантаста, и очень в духе его страны: ведь Франция была родиной позитивизма, а для правоверного позитивиста именно технический прогресс является двигателем прогресса морального и следовательно социального. Жюль Верн не был правоверным позитивистом. Он был

писателем, а значит, в меру отпущенного ему таланта и художником, откликающимся на непосредственные впечатления жизни. Но он все же оставался позитивистом, иными словами, человеком, преданным прежде всего научным фактам и отдающим предпочтение тем из них, которые воплотились в реальности, выдержали экспериментальную проверку и скоро послужат делу материального прогресса, от десятилетия к десятилетию все щедрее одаряющего людей своими чудесными плодами. Могут ли возникнуть препятствия на пути прогресса? Бесспорно. Какой-нибудь маньяк способен завладеть мощнейшим оружием и угрожать существованию соседнего города, где прогресс принес уже свои плоды, приведя людей ко всеобщему братству и благополучию («Пятьсот миллионов бегумы»). Но с ним удастся справиться.

Жюль Верн любил Англию, не раз бывал в этой стране, Вальтер Скотт и Диккенс принадлежали к числу писателей, которыми он увлекся в детстве, всю жизнь перечитывал, и жюльверновские чудачки-ученые, конечно же, ведут свое происхождение от «Посмертных записок Пиквикского клуба», причем они тоже иногда объединяются в клубы — в «Пушечный клуб» («Из пушки на Луну» и «Вверх дном») или в клуб рыболовов («Дунайский лоцман»). Жюль Верн очень ценил «английское воображение», но сам был писателем вполне французским — легким, шутливым и при этом рациональным. Все заимствованное у англичан перерабатывалось почти до неузнаваемости. Ему нужна была большая упорядоченность и выверенность. Во Франции еще от Вольтера шла традиция восприятия англичан как народа, приверженного в обыденной жизни «линейке и циркулю», но в то же время поражающему неорганизованностью художественного мышления. Пугающим примером этого литературного сумбура для Вольтера был, как известно, Шекспир — гениальный, по его мнению, человек, погубленный своей страной и эпохой. Жюль Верн, воспитанный на влюбленных в Шекспира романтиках, почитатель Гюго, единственной встречей с которым всю жизнь гордился, ученик и друг Александра Дюма, никогда бы не стал повторять вольтеровских инвектив против английской литературы. И все же что-то в ней оставалось для него глубоко чуждым. На его отношении к Уэллсу это тоже не могло не сказаться.

Уэллса, судя по всему, он впервые прочел лет через пять после того, как появились первые его переводы на французский язык. Книги английского писателя были специально ему присланы — сейчас уже трудно установить, кем именно, — и он не остался к ним равнодушным. Но вот что любопытно: в творчестве Уэллса он обратил внимание прежде всего на недостаточный интерес к выверенной технической детали, или, если совсем быть точным, — к хвату таких деталей. В этом Уэллс и правда Жюль Верну заметно уступал, да и сам подход его к таким вопросам был совершенно иной. Последнее старику Верну уж никак не могло понравиться.

Жюль Верн не любил встречаться с прессой, но за два года до смерти, в 1903 году, принял известного английского журналиста Роберта Хорборо Шерарда, чтобы поговорить с ним об Уэллсе.

«Я очень доволен, что вы пришли спросить меня про него, — заявил французский фантаст. — Книги его очень занятны, и они очень английские. Но я не вижу никакой возможности сравнить его работу с моей. Мы идем разными путями. В его произведениях, по-моему, нет настоящей научной основы. Нет, нет, наши произведения никак между собой не соотносятся. Он выдумывает, я пользуюсь данными физики. Я отправляюсь на Луну в снаряде, которым выстрелили из пушки... Он летит на Марс на воздушном корабле, сделанном из металла, неподвластного закону притяжения. "Занятно у него получается! — воскликнул мосье Жюль Верн, развеселившись. — Пусть покажет мне этот металл! Пусть его изготовит!"»

Это интервью Жюля Верна не отличалось излишней точностью. Говоря об Уэллсе, он перепутал «Войну миров» и «Первые люди на Луне», а говоря о себе, забыл упомянуть, что именно в романе «Из пушки на Луну» пренебрег прекрасно ему знакомым законом физики, согласно которому ни одно, даже самое мощное, орудие не способно придать выпущенному из него снаряду вторую космическую скорость, необходимую для преодоления земного притяжения. И тем не менее общий смысл сказанного совершенно ясен: Уэллс — это, во всяком случае, никак не Жюль Верн. Он просто выдумщик.

Из второго интервью, которое Жюль Верн дал год спустя другому английскому корреспонденту, Чарлзу Даубарну, выясняется, что выдумщиком он считал Уэллса все же очень хорошим. «На меня произвел сильное впечатление ваш новый писатель Уэллс, — сказал на сей раз знаменитый фантаст. — У него совершенно особая манера, и книги его очень любопытны. Но путь, по которому он идет, в корне противоположен моему. Если я стараюсь отталкиваться от правдоподобного и в принципе возможно, то Уэллс придумывает для осуществления подвигов своих героев самые невероятные способы. Например, если он хочет выбросить своего героя в пространство, то придумывает металл, не имеющий веса... Уэллс больше, чем кто-либо другой, является представителем английского воображения».

В известном смысле Жюль Верн оказал этими интервью большую услугу Уэллсу. Того непрерывно сравнивали со знаменитым французским фантастом, и его это изрядно раздражало. Конечно, газетчики не хотели сказать ничего дурного. Жюль Верн пользовался в Англии в те годы куда большим уважением, чем во Франции. Но Уэллс никак не хотел быть «вторым Жюлем Верном». Он хотел быть «первым Уэллсом». Его раздражение было так велико и так крепко в нем угнездилось, что он готов был, дабы защититься от этого почетного титула, повторять аргументы

Жюль Верна еще через много лет после того, как они были высказаны.

В 1934 году вышли под заглавием «Семь знаменитых романов» «Машина времени», «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», «Война миров», «Первые люди на Луне», «Пища богов» и «В дни кометы». В предисловии к этому сборнику Уэллс писал: «Эти повести сравнивали с произведениями Жюль Верна; литературные обозреватели склонны были даже когда-то называть меня английским Жюлем Верном. На самом деле нет решительно никакого сходства между предсказаниями будущего у великого француза и этими фантазиями. В его произведениях речь почти всегда идет о вполне осуществимых изобретениях и открытиях, и в некоторых случаях он замечательно предвосхитил действительность. Его романы вызывали практический интерес: он верил, что описанное им будет создано. Он помогал своему читателю освоиться с будущим изобретением и понять, какие оно будет иметь последствия — забавные, волнующие или вредные. Многие из его предсказаний осуществились. Но мои повести, собранные здесь, не претендуют на достоверность; это фантазии совсем другого рода. Они принадлежат к тому же литературному роду, что и «Золотой осел» Апулея, «Правдивая история» Лукиана, «Петер Шлемиль» и «Франкенштейн». Сюда же относятся некоторые восхитительные выдумки Дэвида Гарнета, например «Леди, ставшая лисицей». Все это фантазии, их авторы не ставят себе целью говорить о том, что на деле может случиться: эти книги ровно настолько же убедительны, насколько убедителен хороший, захватывающий сон. Они завладевают нами благодаря художественной иллюзии, а не доказательной аргументации, и стоит закрыть книгу и основательно поразмыслить, как понимаешь, что все это никогда не случится».

Но вот что интересно: в период, когда писались эти романы, Уэллс говорил нечто совершенно противоположное: «Я ограничиваю себя исключительно тем, что считаю возможным. Я не хватаюсь за любую смелую идею, какая мне придет в голову, и не ищу сенсаций. Я рисую будущее таким, каким, насколько я могу судить, оно и будет. Я отлично сознаю слабость своего воображения и готов допустить, что, говоря о будущем, могу ошибаться, но утверждаю, что перемены, мною предсказанные, — ничто по сравнению с тем, что действительно произойдет в течение ближайших двух столетий».

А много лет спустя, в 1920 году, вспоминая о «Войне миров», Уэллс назвал достоинством этого романа то, что «от начала до конца в нем нет ничего невозможного».

Более того, в 1931 году, всего за три года до предисловия к «Семи знаменитым романам», в предисловии к новому изданию «Машины времени» Уэллс не как условное допущение, а совершенно всерьез обсуждал с научной точки зрения несколько положений своего первого романа. Да и в предисловии к «Семи знаменитым

романам» он, словно забыв, что только что объявил эти произведения не более чем обыкновенными фантазиями, с удовольствием вспоминал об одном своем литературном открытии, сделанном в те годы: «Мне пришло в голову, что вместо того, чтобы, как принято, сводить читателя с дьяволом или волшебником, можно, если ты не лишен выдумки, двинуться по пути, пролагаемому наукой».

«Двинуться по пути, пролагаемому наукой». Роман, в котором «от начала до конца нет ничего невозможного». Разве это совпадает с только что сказанным о «захватывающем сне», рассеивающем ся по трезвом размышлении?

А что если Уэллс и в самом деле был сказочником, который «шел по пути, пролагаемому наукой»?

Это — очень заманчивое предположение. Разве Уэллс не писал сказок? Что иное, например, «Волшебная лавка» или «Мистер Скелмердейл в стране фей»? Да вот в чем беда: в сказках Уэллс никак не шел по пути, проложенному наукой, а его научно-фантастические романы — нисколько не сказки. Они и правда завладевают нами благодаря художественной иллюзии, но в этом не отличаются от любого хорошего литературного произведения.

Нет, Уэллс был все-таки научным фантастом. И притом — в гораздо более точном смысле слова, чем Жюль Верн. Французского писателя, разумеется с должными оговорками, можно называть «техническим фантастом». Он не искал новых научных принципов, а говорил о техническом воплощении старых. Он был представителем той эпохи, когда ньютоновская механика и ряд других созданных в XVIII — начале XIX века отраслей знания дали свои наиболее ощутимые плоды. Уэллс, напротив, двигался в сторону новой науки.

Нельзя сказать, что у Жюль Верна порой не мелькала мысль о близящемся конце «старой науки». Становилось все яснее, что старые научные принципы уже почти исчерпали возможности своего технического воплощения. Жюль Верн писал о подводной лодке, когда подводная лодка уже существовала. Он только увеличил ее размеры и придал ей новое энергетическое оснащение. Он писал о воздушном шаре, тоже давно существовавшем, но заметно усовершенствовал его. Он даже предсказал самолетостроение, но и здесь ни в чем не отступил от понятий, науке давно известных и даже в какой-то мере обжитых техникой, ибо игрушечные вертолеты (первые летающие аппараты тяжелее воздуха) существовали не первый год.

По мере того как приближался XX век, Жюль Верн все чаще задумывался о необходимости новых научных или хотя бы технических принципов. В романе «Пятьсот миллионов бегумы» (1879) герой говорит пушечному фабриканту Шульце: «Вы вот все строите пушки все больших размеров. А теперь назрела потребность в принципиально новых средствах войны». И честолюбивый заводчик посвящает его в свою тайну. Его «секретным

оружием» оказывается... гигантская пушка — некое предвосхищение «Большой Берты», построенной во время первой мировой войны и доказавшей свою ненужность. Она стоила огромных денег, а каждый ее выстрел убивал в среднем одного человека. При всей своей потребности в принципиально новых открытиях Жюль Верн пока не мог их сделать.

В дальнейшем ему стало больше везти. В романе «В погоне за метеором» он нащупал нечто действительно новое — аппарат, способный управлять полем тяготения. В «Необыкновенной экспедиции Барсака» он вводит в действие недавно изобретенный беспроводный телеграф и предсказывает дистанционное управление машинами и приспособлениями — словом, заметно уходит от элементарной механики, преобладавшей в его ранних произведениях.

Да и вера в неизбежные благотельные последствия технического прогресса у него в конце жизни заметно поколебалась, и он уже не мог с прежней уверенностью следовать своей старой, завоевавшей ему стольких читателей, наивно-веселой манере. Он с ней не расстался, но все чаще от нее отступал.

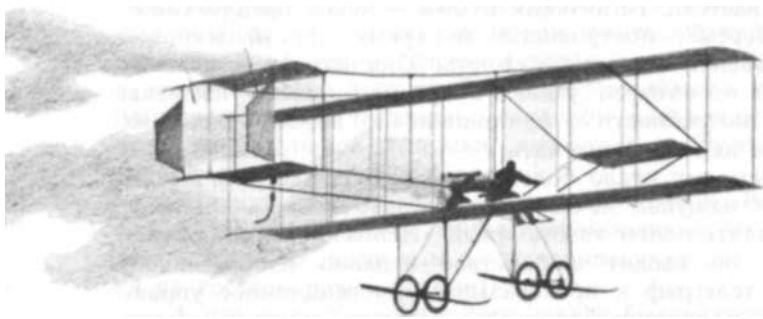
Последние романы Жюля Верна свидетельствуют о том, что литература ждала прихода Уэллса задолго до того, как он выпустил свой первый роман, иными словами — о том, что он создал жанр, отвечающий потребностям времени.

И дело тут не только в ином отношении к науке и технике. Жюль Верн был позитивистом, пусть с годами кое с какими своими старыми представлениями и расставшимся. Уэллс был с первых своих шагов ненавистником позитивизма, искавшим себе прибежище в социализме и новой науке, представленной для него сперва дарвинизмом, а потом новой физикой. Поэтому он не просто начал с того, на чем Жюль Верн кончил. Он начал с того, к чему его предшественник сделал несколько робких шагов. И его первый роман оказался сразу открытием, завоеванием, потрясением основ.

* * *

Ничто не далось Уэллсу так трудно, как «Машина времени» (1895).

«Играть с этой темой» (собственное его выражение) он начал еще в Южном Кенсингтоне. Мысль о новых возможностях восприятия мира впервые появилась у него в том самом подвальном помещении Горной школы, где проходили заседания Дискуссионного общества. 14 января 1887 года студент Е. А. Хамилтон-Гордон, слезы которого в дальнейшем теряются, прочитал не очень вразумительный реферат о возможностях неевклидовых геометрий. В апреле того же года этот реферат был напечатан в «Сайенс-скулз джорнал», однако прямого ответа на то, что такое четвертое измерение, в нем не было. Автор предлагал на выбор четыре варианта: время, жизнь, божество, скорость, но свою точку зрения



не высказывал. От Уэллса подобной скромности ожидать не приходилось. Он сразу решил, что четвертое измерение — это время.

Незаметный студент Хамилтон-Гордон не был, разумеется, первооткрывателем проблемы. Он опирался на книгу Чарлза Хинтона «Что такое четвертое измерение» (1884), привлечшую к себе внимание и за пределами Нормальной школы. Именно эта книга дала повод шутке Оскара Уайлда, у которого призрак в «Кентервилском привидении», желая скрыться, «уходит в четвертое измерение». Уэллса реферат однокашника и книга, на которую тот опирался, натолкнули на более длительные размышления, причем и здесь не обошлось без влияния Хаксли. Выступая против вульгарного материализма Людвиг Бюхнера, тот как-то заметил, что кроме материи и энергии существует еще подчиненное собственным законам сознание, и Уэллс извлек отсюда доказательство возможности путешествия по времени. «Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, движется с равномерной быстротой от колыбели к могиле по Четвертому Измерению Пространства—Времени». Но это будет сказано уже в «Машине времени», до которой пока далеко. К исследованию волновавшего его вопроса Уэллс обратился сперва в статье «Жесткая вселенная» — той самой, что вызвала взрыв негодования у Фрэнка Хэрриса. Она представляла собой, как свидетельствовал потом Уэллс, «описание четырехмерного пространства — времени». Уэллс в дальнейшем по памяти ее восстановил, но в первоначальном своем виде она куда-то запропастилась, и позволительно сделать догадку, что по возвращении из редакции Уэллс в припадке ярости, столь для него обычном, сам ее уничтожил.

Идею путешествия по времени он, впрочем, не оставлял. Впервые он последовательно изложил ее в заключении опубликованной части «Аргонавтов хроноса», потом еще раз к ней вернулся в статьях, написанных для «Всякой всячины», и окончательно оформил во вступительной главе «Машины времени». Растворено

там все настолько убедительно, что у читателя не остается ни малейших сомнений в возможности подобного путешествия. Догадка Уэллса и в самом деле не бесосновательна. В начале нового века Эйнштейн заявит о связи пространства и времени и сделает отсюда вывод о том, что с изменением скорости изменяется и ход времени. Но реально это становится ощутимо лишь при скоростях, приближающихся к скорости света. Уэллс этого, естественно, не знает, но уже сама мысль о существовании пространственно-временных связей и относительности времени была огромным прозрением. И хотя для самого Уэллса многое в этом вопросе было неясным, для читателя он сделал все как можно понятнее.

Интересно, впрочем, как сам Уэллс относился впоследствии к этим предназначенным для чужого глаза доказательствам?

В начале англо-бурской войны к Уэллсу пришел молодой человек, по фамилии Данн, и оставил ему на хранение пачку чертежей и расчетов: он конструировал первый английский самолет и боялся, что если он не вернется с войны, работа его пропадет. В нее, сказал он, никто не верит. Уэллс тоже не верил, но он от него это скрыл. Два года спустя Данн снова пришел к нему, целый и невредимый, и забрал у него свои бумаги. Ну а в 1915 году капитан Данн катал Уэллса на своем самолете.

Данн был не только инженером и одним из первых английских авиаторов. Он работал еще в области математики и казался Уэллсу очень интересным человеком. Правда, несколько неожиданным. Он был еще немного мистиком.

Так вот, час проверки отношения Уэллса к его собственным, предназначенным для публики доказательствам настал в 1927 году, когда его давний друг Данн опубликовал свою книгу «Эксперимент со временем». Она принесла ему новое признание, хотя на этот раз не в научных, а в литературных кругах. Джон Бойнтон Пристли даже назвал работу Данна «одной из, по всей вероятности, самых важных книг нашего столетия», и чтение этой книги



подвигло его на создание целого цикла «пьес о времени». Первой книгой, которую сам Данн некогда прочитал по этому вопросу, был все тот же труд Хинтона «Что такое четвертое измерение». Однако, как он пишет, человеком, по-настоящему прояснившим для него эту проблему, оказался Герберт Уэллс. Он, по словам Данна, изложил ее с такой ясностью и краткостью, что вряд ли кому-либо удалось его превзойти.

Отклик Уэллса на эти слова был совершенно обескураживающим. Он объяснил Данну, что тот понял его слишком буквально: он ведь популярности ради сильно упростил проблему, скрыв от читателя главные трудности, возникающие при ее решении. И сделано это было, по словам Уэллса, «в интересах литературы». Для того, чтобы его спор с Данном не забылся, он еще запечатлел его в книге «Покорение времени», появившейся много лет спустя, в 1944 году.

Данн всерьез на Уэллса обиделся и обвинил его в приверженности к «викторианскому материализму». Ради того, чтобы высказать свою обиду, он даже прибавил абзац к третьему изданию своей книги, вышедшему в марте 1934 года.

Поэтому не следует подозревать Уэллса в том, что он так вот, напрямик, верил в возможность создать экипаж, подобный изображенному в «Машине времени».

При этом и чисто научная и общемировоззренческая заслуга Уэллса исключительно велика. И в том и в другом отношении он в известном смысле предвосхитил Эйнштейна. Вспомним: частная теория относительности создана в 1905 году — через 10 лет после «Машины времени», а общая — в 1907—1916 гг.

Путешествие по времени, каким Уэллс представил его читателям, основано на возможностях, которые открывает геометрия четырех измерений, получившая признание уже в конце 60-х годов XIX века. Однако, пишет Уэллс в «Покорении времени», представители неевклидовой геометрии «были безразличны к революционным возможностям материала, которым они располагали. Мир в целом сохранял ньютоновские очертания; в нем были три пространственных измерения плюс время, плюс гравитация, и большинство образованных людей на всем свете было вполне удовлетворено этой картиной мира. Они не могли представить себе какую-либо альтернативу ей». Уэллс накрепко связал пространственные и временные понятия в «Жесткой вселенной», в статьях для «Всякой всячины» и, наконец, во вступительной главе «Машины времени» и тем совершил грандиозный прорыв к физике XX века, воплотившейся прежде всего в теории Эйнштейна. Конечно, следует повторить, непосредственная связь времени с пространством вскрывается лишь при скоростях, сопоставимых со скоростью света, но, не осязаемая в повседневности, она все же существует. И Уэллс первым объявил об этом.

Именно в этом несовпадении обыденного и научного, видимости и правды, «здравого смысла», в котором всего лишь закреп-

ляется наш повседневный опыт, и действительного положения дел Уэллс и увидел революционные возможности своего открытия. Ему надо было перевернуть привычные представления и тем самым избавить людей от предрассудков, приучить их самостоятельно мыслить, воспринимать мир во всем его грандиозном масштабе. В Южном Кенсингтоне на примере дарвинизма он увидел, какую освобождающую роль может сыграть новая научная теория. Теперь он хотел самостоятельно сделать это, обратившись к физике.

И надо повторить: он сделал это в интересах литературы. Конечно, литературы, какой он ее себе представлял. Литературы, несущей огромное мировоззренческое содержание, способной растормошить умы, сдернуть пелену с людских глаз. В этом он видел свою жизненную задачу. Но для того, чтобы ее осуществить, надо было еще подняться на ее уровень — стать писателем глубоким, доступным, хорошим.

К сожалению, «Аргонавты хроноса», сколько он над ними ни бился, очень долго еще оставались плохой литературой. Подражательной, претенциозной, безвкусной. Во всем, начиная с названия. У позднего Уэллса оно вызывало чувство стыда.

В первоначальном своем виде «Аргонавты хроноса» — произведение романтическое, написанное под преобладающим влиянием Готорна. Действие разворачивается в валлийской деревушке. Ее жители полны предрассудков и уже за его непохожесть ненавидят недавно поселившегося в этих краях доктора Небогипфеля. Они собираются напасть на него и с успехом сделали бы это, если б не местный священник Илия Кук. Ему удается предупредить великого ученого и помочь ему спастись. Когда мистер Кук приходит к Небогипфелю, он видит «Арго времени» и выслушивает рассказ изобретателя о том, как ему удалось построить этот корабль.

Когда-то, рассказывает Небогипфель, он прочитал сказку Андерсена о гадком утенке, и она определила всю его жизнь. «Эта сказка, если вы ее хорошо поняли, расскажет вам почти все, что вы хотите узнать обо мне; она поможет вам понять, как мысль о такой вот машине возникла в голове смертного. Даже тогда, когда я читал эту сказку в первый раз, я уже почувствовал: это и обо мне рассказ, это и моя судьба... Уже в то далекое время тысячи обид и несправедливостей начали отдалять меня от всего человечества, от людей, родных мне по крови... Гадкий утенок, доказавший, что он может быть прекрасным лебедем; гадкий утенок, прошедший через презрение и горечь к вершине величия, — вот кто такой я!..

— Короче говоря, мистер Кук, — продолжает Небогипфель, — я открыл, что я — один из тех, кого у нас зовут гениями. Это люди, родившиеся раньше своего времени, их мысли — мысли более мудрого века. Людям их века не дано понять ни их поступков, ни их мыслей. Я понял, что судьба гениев — это и моя

судьба и что для меня предназначена в моем веке худшая из человеческих мук — одиночество. Десятки лет молчания и душевных страданий — много не мог дать мне мой мир. И я понял — я из тех, чье время не пришло, но придет... Тридцать лет опытов и глубочайших раздумий о секретах материи, о ее формах, о жизни, а затем появился он, «Арго времени», корабль, который плавает по времени. Теперь я соединюсь со своим поколением... Я проплыву на своем корабле через века, пока не найду свое время!..»

Конечно, сказка о гадком утенке — это сказка не об одном Небогипфеле, а еще и об Уэллсе. Он говорит о себе. Но пока что — чужими словами. В сюжете это чувствуется не менее отчетливо, чем в монологе героя.

В первоначальном своем виде «Аргонавты хроноса» состояли из трех частей. В первой рассказывалось о появлении в валлийской деревушке таинственного уродливого незнакомца, о его странном образе жизни и всеобщей к нему враждебности. Эта часть завершалась сценой, в которой перед жителями деревни впервые предстает корабль времени. Ворвавшись к Небогипфелю, они видят его в ярком свете электрических лампочек стоящего вместе с пастором Куком на высоком сооружении из бронзы, красного дерева и слоновой кости. Мгновение — и доктор Небогипфель со своим спутником исчезают с их глаз.

Во второй части на авансцену выходит сам автор. Он рассказывает, как отдыхал однажды на острове и вдруг перед ним возник и минуту спустя исчез «корабль времени». Один из двух людей, находившихся на нем, остался на острове. Автор перевез его на берег, выходил и услышал от него то, что и составляет третью часть рассказа. В ней сообщается, что Небогипфель знает подробности нескольких преступлений и удивительных происшествий, случившихся в разные века и тысячелетия. В тот момент, когда в дом ворвалась толпа, Небогипфель собирался лететь в Золотой век, и пастору ради своего спасения пришлось последовать за ним. «Аргонавты хроноса» кончались обещанием при случае рассказать об этом путешествии и объяснить, «почему Кук рыдал от радости, когда снова вернулся в девятнадцатый век».

Случай рассказать в «Сайенс скулз джорнал» о путешествии в Золотой век, а также объяснить, почему пастора Кука охватил такой восторг, когда он вернулся в свои времена, не представился. Не были рассказаны и обещанные детективные истории: даже такому неопытному автору, как тогдашний Уэллс, должно было стать ясно, что, окажись он верным своему слову, задуманный роман обернется всего-навсего циклом рассказов, обрамленных сюжетной рамкой.

Но цельное произведение давалось с трудом. Будущая «Машина времени» претерпевала от варианта к варианту такие же превращения, как ребенок во чреве матери, и при этом еще обрастала эпизодами, от которых раз от раза приходилось отказываться.

ваться. Этот «внутриутробный период» затянулся на несколько лет, что, разумеется, подтверждало естественный ход развития. Впрочем, как потом выяснилось, Уэллс выращивал в себе не одну лишь «Машину времени», а весь первый цикл своих фантастических романов. Минет недолгий срок — и все пойдет в дело. Изменится тональность, но каждый из отброшенных эпизодов вырастет в отдельный роман или, во всяком случае, послужит основой для каких-нибудь образов, событий, элементов сюжета.

Что касается «Машины времени» как таковой, то художественная цельность придет только с идейной цельностью. Преодолевая романтические напластования, Уэллс заодно пробивался к социальному смыслу книги.

С Золотым веком было что-то не так — об этом читатель мог догадаться уже по тому, как радовался Илия Кук своему спасению из этой земли обетованной. Но ужасы Золотого века и происшествия, случившиеся там с героями (точнее — с героем, ибо в окончательном варианте Путешественник по времени обошелся без спутника), надо было еще придумать. Равно как и найти должный тон повествования. Последнее, как мы знаем, Уэллсу удалось лишь с момента, когда он догадался поместить своего Путешественника в устроенный буржуазный дом. Да и вынесенная вперед научная часть романа уже очень многое определяла в его тональности. Впоследствии Уэллса охватило сомнение: а не сделал ли он ошибку? Не оттолкнут ли читателя первые страницы, написанные в стиле научного трактата — пусть и общедоступного? В «Острове доктора Моро» и «Человеке-невидимке» он постарался, сколько возможно, отодвинуть подобные объяснения подальше от начала, видя в этом гарантию, что читатель не закроет книгу, едва только ее открыв. Уэллса легко понять: он еще не считал себя классиком, которого всякий обязан читать хотя бы и против воли. И все же насчет «Машины времени» он был не прав. Ее композиция оказалась безупречной. Эта книга была настолько новаторской по теме, что не грех было в ней следовать совету, который он некогда дал авторам научно-популярных произведений: сначала заявить тезис, а затем вместе с читателем исследовать создавшиеся обстоятельства. Для художественной литературы определенного толка подобное правило тоже оставалось в силе. Вспомним, что этот композиционный прием он нашел у Эдгара По и Конан Дойла. Научное и художественное у Уэллса как-то сами собой стали сливаться. Это и помогло ему уйти от романтиков. Но вовсе не для того, чтобы окончательно с ними порвать. Скорее для того, чтобы преобразовать романтическую традицию. В самых ее глубинах.

Семнадцатый и восемнадцатый века накрепко утвердили в науке и в человеческом сознании так называемую линейную концепцию времени. Время равномерно течет из прошлого в будущее, причем настоящее — это лишь произвольно определяемый пункт перехода прошлого в будущее. За настоящее можно при-

нять одну секунду (и все, что было за секунду до этого, окажется прошлым, а через секунду — будущим), день, год, век («наш просвещенный век» или «наш жестокий век») — словом, любой временной отрезок. И, само собой разумеется, линейное время необратимо — «минувшего не вернуть».

Так, впрочем, думали не всегда. В средние века время воспринималось совершенно иначе. Прежде всего, оно не было абстрактным понятием. Оно было неотделимо от события, и для средневекового хрониста год без войны или мора попросту не существует — он в летописи опускается. К тому же неотделимость времени от события лишала его всеобщности: единого потока времени даже и быть не могло. Таких потоков было несколько, смотря по тому, какие события принимались в расчет и с какой интенсивностью они происходили. А христианская концепция истории, подразумевавшая не только сотворение Земли и всех тварей земных, но и конец света, делала время цикличным.

Подобное представление о времени, сколь ни трудно нам его сейчас принять, было необычайно притягательным для романтиков. И не из одной лишь тяги к средним векам. Время, неотделимое от события, обретает художественную полноценность, в нем нет сегодняшней всеобщности, а тем самым и отвлеченности от конкретного и субъективного. Если время течет разными не совпадающими по интенсивности потоками, иными словами, если существует время «медленное», «быстрое» и даже «стоячее» («божественное время», «вечность»), то легко представить себе и одномоментное существование настоящего и прошлого. То, что в одном потоке времени — настоящее, в другом — прошлое, и, сумев проникнуть из одного потока в другой, можно в результате попасть из настоящего в прошлое, а то даже и в будущее. Какой-либо «машины времени» средневековые люди, разумеется, изобрести не пытались. Они обходились и без нее. В прошлое и будущее легко проникали «внутренним взором». Не все, разумеется, а лишь провидцы. Для них прошлое, настоящее и будущее были одинаково прочны и реальны, как прочны и реальны в пространстве близкое и далекое. Время воспринималось по аналогии с пространством. Пространственно-временной континуум, открытый современной физикой, уже существовал в сознании средневекового человека, не требуя каких-либо опытных проверок и математических доказательств.

Совершая прорыв в будущее науки, Уэллс одновременно совершал прорыв в прошлое художественного сознания. В «Машине времени» он пытается совместить циклическую и линейную концепции времени. При том, сколь явственно различимы для читателя прошлое, настоящее и будущее, они в этом романе в некотором смысле и одномоментны. Машина времени, перенося путешественника из эпохи в эпоху, лишает время той необратимости, которую оно приобрело с развитием точного знания. Сама результат этого знания, машина времени возмещает потери, прине-

сенные прогрессом. Время вновь становится реально ощутимым, художественно зримым.

Уэллс называл свой первый роман «хилым деревцем, выросшим от могучего корня». В «Машине времени» действительно есть некоторая «пунктирность» изображения. Но от этого «хилого деревца» пошла мощная поросль. Та «игра со временем», которую затеяла потом литература и драматургия XX века, восходит к «Машине времени». И это касается не одной лишь научной фантастики. Роман XIX века был полностью подчинен линейной концепции времени. События развивались последовательно, причинно-следственные ряды выявлялись с наивозможной четкостью. В романе XX века переброска событий из одного времени в другое, усложнение причинно-следственных связей не вызывает более удивления. Из эксперимента это сделалось практикой. Еще послушнее восприняло урок, некогда преподанный Уэллсом, кино со своим от года к году и от десятилетия к десятилетию все более изощренным методом монтажа разнородных и разновременных событий. По тому же пути пошла театральная режиссура, а потом и драматургия. Человек, привыкший к современному искусству, не отрешился, разумеется, от линейной концепции времени, но ему приходится, включившись в художественный процесс, самому ее воссоздавать и заново выстраивать причинно-следственные ряды, преднамеренно нарушенные писателем, драматургом, режиссером театра или кино. В ходе этой совместной с творцом работы он имеет возможность увидеть происходящее со многих сторон, избежать прямолинейных оценок, обогатить свое художественное сознание и свое восприятие мира¹.

Можно ли назвать создателя «Машины времени» учителем современной литературы? В каких-то случаях, да. Современник Уэллса Джозеф Конрад, например, прямо старался усвоить его уроки, а влияние Конрада на последующих английских писателей очень велико. Потом в ученичество к Уэллсу поступил Джон Бойнтон Пристли. На книгу Данна, о которой он так высоко отзывался, его натолкнуло чтение «Машины времени». Но в других случаях Уэллс лишь предугадал и первым выразил определенные тенденции словесного и пространственных искусств XX века.

Совмещая разные временные пласты, Уэллс не только дал первые образцы открытого, прямо нацеленного на выполнение определенных художественных задач монтажа (С. Эйзенштейн считал, что «несознательный» монтаж всегда был присущ искусству и является одним из его главных признаков). Он предугадал и мифотворческие тенденции в искусстве XX века. Вряд ли стоит утверждать, что «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Иосиф и его братья» Томаса Манна или «Кентавр» Апдайка не появились бы

¹ Читатели, которых заинтересует этот вопрос, могут обратиться к нашей книге «Театр на века» (М., 1987). В главе «Судьба единств» все это изложено более подробно.

без «Машины времени». Но опять следует повторить — Уэллс был первым. При этом мифологичность «Машины времени» была мифологичностью особого рода, присущей именно XX веку. Это был способ увеличить «емкость» романа, придать изображаемому всеобщее значение, обратить факт в символ, не утерев его вещной природы. Последнее для Уэллса было особенно важно. «Легковесность» книг, ему не нравившихся, он усматривал не в одной лишь поверхностности взгляда на жизнь, но и в недостаточной конкретности изображения. Писать надо так, считал он, чтобы все, о чем говорится, прямо вставало перед глазами. Этот создатель мифологической литературы был реалистом до мозга костей. У романтиков в конечном счете он научился лишь тому, чему мог научиться у них реалист.

Реализм этот проявлялся, разумеется, не в одной только любви к детали. Гораздо важнее заинтересованность Уэллса в социальных процессах, происходящих в мире. По существу, именно эта сторона дела и определила содержание «Машины времени».

Ужасы, столь напугавшие преподобного Илию Кука в Золотом веке, обрели зримую форму уже во втором варианте «Аргонавтов хроноса», значительно по сравнению с первым расширенным. В Золотом веке, как выяснилось, были «верхний» и «нижний» мир. На земле жили утерявшие всякий интерес к жизни и даже привычку к чтению потомки сегодняшних правящих классов. Под землю — доведенные до отчаянья и одичания потомки сегодняшних тружеников.

В то время, когда создавались разные варианты «Машины времени», шел неухающий спор о том, прекратилась ли эволюция человека. Томас Хаксли считал, что прекратилась, и Уэллс даже написал две статьи, поддерживающие точку зрения учителя. Но одновременно в нем вызревала и все больше прорывалась на поверхность иная мысль: эволюция человека не прекратилась. Просто она определяется ныне не природными, а социальными факторами. В «Машине времени» эта мысль оказалась доведена до логического предела. К 802701 году, куда переместился Путешественник по времени, человечество как биологическое целое просто перестало существовать. Социальные факторы заставили процесс эволюции разветвиться, и бывшие представители правящих классов выродились в беспомощных «элоев», утеревших психологическую жизнестойкость и неспособных не только к труду, но и к логическому мышлению. А труженики, веками отрезанные от культуры, одичав, сделались звероподобными «морлоками». Социальная разобщенность закрепилась в разобщенности биологической. Человечество заместили злои и морлоки. Человек, замечательный именно своей многофункциональностью и многосторонностью, за восемьсот с лишним тысяч лет исчез с лица земли. Такого биологического вида более не существует.

Как нетрудно заметить, все здесь изложено во вполне отчетливых социологических терминах, но если бы «Машина времени»

этим исчерпывалась, она никогда бы не заняла столь прочного места в истории литературы. Это произведение обладает еще и огромной образной силой.

Подземный мир не раз оказывался местом действия фантастических произведений. Туда совершили путешествие герои одного из романов Жюль Верна, а за четырнадцать с лишним лет до Уэллса его попытался обжить в «Грядущей расе» один из самых видных писателей викторианской эпохи Булвер-Литтон. Но на подземный мир Уэллса натолкнули прежде всего личные впечатления. «Службы» Ап-парка соединялись с главным зданием подземными коридорами, и это был истинный мир «тех, кто под лестницей». Это и был первый толчок, направивший его на путь так называемой «экстраполяторской фантастики» — иными словами, фантастики, которая продолжает в будущее те или иные явления современности, увеличивая их в масштабе. Он задумался о том, что в современном городе появляется все больше подземных сооружений. Не наступит ли момент, когда вся промышленность сосредоточится под землей? Но этими немногими и притом достаточно робкими шагами он и ограничился. Прогностикой он займется лишь через несколько лет, и притом как отдельной отраслью знания. А пока что для него все заслонил поэтический образ подземного мира.

Существует выражение «индустриальный ад». Почему бы ему не материализоваться в романе? И Путешественнику в ходе его приключений удается заглянуть в этот «индустриальный ад» — подземные галереи и залы, где серые красноглазые существа обслуживают гигантские машины и совершают свои кровавые трапезы. В стране Золотого века нет кладбищ — каждому ее обитателю рано или поздно предстоит быть съеденным подземными жителями. Но эloi так привыкли не думать ни о чем неприятном, что даже самое упоминание о морлоках считается у них верхом неприличия. Они, правда, избегают коридоров, ведущих под землю, но скорее инстинктивно, нежели сознательно. Элоев кормят, одевают, они ничего не делают — этого им довольно. Они даже не задумываются над тем, откуда все это берется и какая их ждет расплата...

То, что «Машина времени» вызвала при своем появлении всеобщее одобрение и что у ее колыбели стоял реакционер Хенли, а первым ее расхвалил консервативный критик Стед, можно счесть одним из самых занятных парадоксов литературной истории. Но проникнуть в глубину замысла Уэллса можно было, лишь обладая его уровнем знаний и таланта, а этим кто-либо из тогдашних критиков и издателей не мог похвастаться. «Машина времени» в известном смысле вполне отвечала «духу времени» — она была, как и вся литература «конца века», крайне пессимистична. Правда, пессимизм этот был «преднамеренный», но эту свою тайну Уэллс выдал лишь одиннадцать лет спустя в беседе с президентом США Теодором Рузвельтом, о которой рассказал

в книге «Будущее Америки» (1906). До этого можно было считать, что он такой же, «как все», лишь своеобразнее и талантливее

Пессимизм молодого Уэллса родился из органического неприятия оптимизма позитивистов. А теперь это философское направление не принимал решительно никто.

Сомерсет Моэм в книге «Подводя итоги» рассказывает, как будучи студентом медицинской школы (т. е. в то самое время, когда вышла «Машина времени»), он прочитал «Основные начала» Спенсера. «В общем книга эта мне понравилась. Но я презирал Спенсера за его сентиментальную веру в прогресс: мир, который я знал, катился в пропасть, и я с восторгом представлял себе, как мои отдаленные потомки, давно позабывшие искусство, науку и ремесла, будут сидеть в пещерах, кутаясь в звериные шкуры и ожидая прихода холодной вечной ночи. Я был воинствующим пессимистом». Такое отношение к Спенсеру не было случайностью, Свою роль в борьбе за свободное знание позитивизм успел уже сыграть, что же касается безусловной позитивистской веры в общественный прогресс, который должен идти в ногу с прогрессом техники, то ее поставила под сомнение сама жизнь.

Она струнулась с места. Чем больше приближался конец века, тем становилось яснее, что положение Англии было не таким блестящим, как думалось. Можно было, конечно, радоваться, что «голодные сороковые» далеко позади. И еще тому, что в Англии после поражения чартистов и нескольких дополнительных парламентских реформ (последняя, проведенная в 1867 году, предоставила избирательные права рабочему классу) установилось некое подобие «классового мира». Но и экономическое положение страны начало ухудшаться, и жизненный уровень населения, как выяснилось при обследованиях, оказался ниже предполагаемого, и «классовый мир» был явлением временным.

Начиная с семидесятых годов крупные оптовые фирмы постепенно вытесняют мелкую буржуазию из экономической сферы. Джозеф Уэллс мог не читать об этом в книгах — он, как и множество других людей его положения, чувствовал это на своей шкуре. И Герберт Уэллс не раз потом объяснял свой политический радикализм тем, что он — сын разорившегося лавочника, К тому же эта «новая экономика» отнюдь не принесла стабильности. В 1873 году разразился один экономический кризис, в 1878—1879 г г . — другой. Энгельс в статье «Англия в 1845 и 1885 годах» говорил, что, хотя в сравнении с описанным в книге «Положение рабочего класса в Англии» уровень жизни повысился, общая картина остается весьма неприглядной. «Лондонский Ист-Энд, — писал о н , — представляет собой все расширяющуюся трясину безвыходной нищеты и отчаянья, голода в период безработицы, физической и моральной деградации при наличии работы»¹.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 202.

В конце 80 — начале 90-х годов крупный коммерсант и судовладелец Чарлз Бут решил за свой счет обследовать положение рабочего класса в Англии. Бут ставил себе целью опровергнуть с фактами в руках пропаганду социалистов, утверждавших, что около четверти английских рабочих живет в хронической нищете. Однако обследование принесло обратный результат — выяснилось, что пауперов не 25, а 30%. Эти данные были опубликованы в 1901—1903 годах в семнадцати томах и произвели огромное впечатление на общественное мнение. «Белые рабы Англии» (1897) назвал сборник своих статей о положении рабочих разных отраслей промышленности журналист Роберт Хорборо Шерард (тот самый Шерард, который шесть лет спустя будет беседовать с Жюлем Верном об Уэллсе). Его книга получила мировой резонанс.

Люди жили в нищете и грязи, кишели паразитами. Во время англо-бурской войны призывные комиссии вынуждены были отклонить заявления половины добровольцев. Они не подходили для военной службы по разным причинам, но источник их физической непригодности был один: хроническое недоедание с детства.

При этом Англия сохраняла фасад процветающего общества. Лондон оставался самым богатым городом мира. Да и в том, что касалось рабочего класса, можно было показать товар лицом. От пятнадцати до семнадцати процентов рабочего класса составляла «рабочая аристократия», жившая куда лучше, чем обитатели Атлас-хауса. Еще четверть рабочего класса была близка по жизненному уровню «рабочей аристократии», другая четверть хоть и жила в скудности, но кое-как сводила концы с концами. Семьдесят процентов рабочих, которые не мрут с голоду, а некоторые даже живут лучше мелкой буржуазии! Какая еще страна могла похвастаться чем-либо подобным?

Только вот вопрос: долго ли еще предстояло хвастаться?

После франко-прусской войны Англия начала терять свою промышленную монополию, а это не могло не сказаться на положении всех, кто жил плодами собственного труда. Беспокойство проринило даже в среду, близкую рабочей аристократии, а отчасти и в нее. Понемногу стали выходить на политическую арену и те, чьих голосов давно уже не было слышно. В 1886 и 1887 годах начались митинги безработных и рабочие волнения. А в 1888 году произошло событие, казалось бы, в масштабах страны не очень важное, но ставшее одной из крупнейших вех в истории английского рабочего движения. Забастовали семьсот работниц спичечной фабрики. Это была «дикая» забастовка. Профсоюза в спичечной промышленности не было, оплачивать адвокатов — не на что, бросить работу значило от полуголодного состояния перейти к голоду. Но забастовка привлекла внимание общественного мнения, в пользу отчаявшихся девушек была объявлена подписка, и они выиграли. Когда же в следующем году за три дня победила забастовка лондонских докеров, в которой кроме тридцати тысяч членов

профсоюзов приняли участие тридцать тысяч рабочих подсобных профессий, в профсоюзы не входивших, создались условия для возникновения новых профсоюзов, организованных не по профессиональному, а по отраслевому принципу, а значит, и гораздо более действенных. Рабочее движение явно набирало силу.

Противостояние пролетариата и буржуазии вновь сделалось настолько явным, что Уэллс никого, вероятно, не удивил своей метафорой «верхнего» и «нижнего» мира.

Как было спасти положение? Выход был найден в новых колониальных захватах. С 60-х по 80-е годы Англия увеличила площадь своих колоний в три раза. В своей книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» В. И. Ленин приводит слова одного из инициаторов империалистической политики Сесила Родса, сказанные им своему другу У. Стеду (да, да, тому самому Стеду, который пришел в восторг от «Машины времени»): «Я был вчера в лондонском Ист-Энде (рабочий квартал) и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: «Хлеба! Хлеба!» — я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма... Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»¹.

И многие ими стали. Империалистов ведь нельзя было в старом понимании слова назвать ретроgrадами. Они не звали к возврату былых времен. Они, напротив, требовали духовного обновления, модернизации промышленности, выступали против декадентов и буржуа-потребителя, не желавшего отдавать свои силы строительству империи. Они были «коллективисты». Нация должна объединиться ради собственного спасения, с буржуазным индивидуализмом пора свести счеты! Все для общего дела!

«Коллективизм» все больше становился знаменем времени. На место одиночки-предпринимателя шел «коллективистский» трест, на месте разрозненных методистских сект возникла «коллективистская» Армия спасения, созданная ради «неимущих» и «обездоленных».

Время снова предоставляло возможность выбора. И далеко не все делали его наилучшим образом. Это доказали выборы 1901 года, прошедшие в обстановке такого разгула шовинизма, что их называли «выборы хаки».

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 376.

В людях что-то пробудилось. Это не оставляло сомнения. Но всегда ли можно было быть уверенным, что пробудилось в них человеческое?

С этими мыслями, следует думать, Уэллс и приступил ко второму своему роману «Остров доктора Моро» (1896).

Джозеф Конрад однажды назвал Уэллса «историком будущих веков». «Машина времени» подсказала именно это определение. Даже более широкое. Уэллса можно было назвать историком будущих тысячелетий. В «Острове доктора Моро» он вновь выступает как историк тысячелетий, но не будущих, а минувших. Правда, спрессованных до предела. Вся история цивилизации проходит за полтора месяца на глазах Эдуарда Прендика. Этот молодой человек, прослушавший курс профессора Хаксли (не иначе — однокашник Уэллса), потерпел кораблекрушение, был подобран в море шхуной «Ипекуана» и таким образом нечаянно оказался свидетелем необычайных событий.

«Остров доктора Моро» не восходит к ранним опытам Уэллса и не имеет такой долгой предыстории, как «Машина времени». Первый его набросок Уэллс сделал в Севеноуксе, когда жил там с Джейн и миссис Робинс, а в январе 1896 года (всего через год после начала журнальной публикации «Машины времени») роман уже должен был выйти в свет, хотя по техническим причинам попал в руки читателей только в апреле. По словам Уэллса, писался он в большой спешке, и это не могло ему не повредить. Действительно, отсутствие тщательной отделки кое в чем сказывается. Были здесь и заимствования из чужих произведений. Экзотический остров еще до Уэллса был основательно обжит неоромантиками — Стивенсоном, Кипплингом, Конрадом, и какие-то элементы прочитанных книг, запавшие в его память, словно бы сами собой выхлестывались на страницы, вылетающие из-под его пера. Еще, как нетрудно заметить, он хорошо помнил Дефо, Свифта, Эдгара По. Да и общая тональность книги возвращает нас к тому периоду, когда Уэллс не освободился еще от романтических влияний. И все же, сколько бы грехов за Уэллсом ни числилось, остается непреложной истиной, что кроме него этот роман написать было некому. «Остров доктора Моро» поразительно целен по мысли, по форме и в основе своей абсолютно своеобразен. Пусть действие — в который уже раз после романа Дефо и других робинзонад — происходило на необитаемом острове. То, чему оказался свидетелем Эдуард Прендик, до него не увидел никто.

Уже в шхуне, его подобравшей, Прендику начинает чудиться что-то странное. Один из двух пассажиров, врач Монтгомери, явно о чем-то умалчивает. Прошлое у него подозрительное. Почему он вынужден был навсегда покинуть Англию? И что случилось в те «какие-то десять минут», которые заставили его принять это решение? Впрочем, разве дело в одном только прошлом? Монтгомери плывет на некий безымянный остров, где непонятно чем

занимается. Он везет с собой собак, пуму и множество кроликов, но сперва делает вид, будто груз этот принадлежит не ему. И что за странный у него слуга! Завидев его, собаки начинают рваться с поводков; он их страшно боится, а когда он в темноте поворачивается к Прендику, тот замечает у него в глазах зеленые огоньки. Потом, уже на острове, Прендик обнаруживает, что у этого непонятого существа — острые, обросшие короткой шерстью звериные уши. Другие обитатели острова, живущие в пещере и нескольких хижинах, еще меньше похожи на людей. В каждом из них есть что-то от какого-то животного, а иногда и от нескольких. Когда же Прендик узнает фамилию встретившего их на берегу сурового старика, им овладевает страх. Так вот кто распоряжается на острове! Это ведь тот самый профессор Моро, которого выжили из Англии борцы против вивисекции! Из-за дверей операционной, где скрылся Моро, доносятся сперва дикие крики недавно привезенной пумы, а потом страдальческий человеческий голос. Теперь ясно, чем занимается Моро! Он превращает людей в животных. И он, Прендик, очевидно, будет следующей его жертвой!

Попытка Прендика скрыться заставляет Моро выступить в роли его спасителя от опасностей, действительно угрожающих ему на острове. Дабы пресечь в дальнейшем подобные самоубийственные выходы, ему приходится объяснить суть своих опытов. Нет, он не превращает людей в животных. Он пытается очеловечить зверей.

С этого момента в «Острове доктора Моро», как и в «Машине времени», научное приходит в сложные отношения с мифологическим. Звери, ставшие людьми, одинаково являются предметом интереса дарвинистов и старинных сказителей. Как мы узнаем из книги М. И. Шахновича «Первобытная мифология и философия», «в австралийских мифах вместе с отождествлением людей и животных имеются поверия, что люди некогда были зверьми. Возможно, что в мифах различных племен об их предках — полулюдях и полувзвях скрываются какие-то догадки о том, что человек вышел из животного мира. У индейцев северо-западного побережья Северной Америки распространено представление об общем происхождении людей и животных. В одном из мифов говорится, что когда-то земля была населена людьми-животными, которые впоследствии приняли форму людей и различных видов животных». И доктор Моро предстает перед нами сразу в двух ролях. Он ученый, взявшийся переделывать природу. Но, приняв на себя ее функции, он становится еще и Творцом — в самом общем, отнюдь не научном, смысле слова.

На первых порах мы, впрочем, видим в нем лишь ученого.

Своеобразные «тезисы» главы «Объяснения доктора Моро» были без подписи опубликованы 19 января 1895 года в «Сатерди ревью» — за год до предполагавшегося выхода романа — в форме

научно-популярного очерка о неиспользованных возможностях пластических операций. Поэтому и соответствующую главу романа не следует воспринимать лишь как набор нужных автору фантастических допущений. Все, что Уэллс в ней пишет, он пишет совершенно всерьез. И так именно его поняли многие ученые, пока предел их фантазии не был поставлен открытием биологической несовместимости, приводящей к отторжению пересаженных органов. Вернее было бы даже сказать, не «предел их фантазии был поставлен», а «полет их фантазии на время заторможен», ибо, едва был осознан барьер несовместимости, начали предприниматься попытки его преодолеть, и в ряде случаев, как известно, они увенчались успехом. Тем более достоверными (хотя невозможность межвидовой пересадки органов была уже открыта) казались выкладки Уэллса некоторым ученым, оценивавшим их в ближайшие десятилетия после выхода романа.

Собрание сочинений Уэллса, выпущенное у нас в 1930 году издательством «Земля и фабрика», отличалось одной важной особенностью: каждый научно-фантастический роман был снабжен предисловием ученого. «Острову доктора Моро» предшествовало предисловие известного биолога, в недалеком будущем (1935) академика ВАСХНИЛ, Михаила Михайловича Завадовского (1891—1957), который еще раньше успел обсудить идеи Уэллса в своей научной монографии «Пол и развитие его признаков».

Так вот что рассказывает и какими мыслями делится М. Завадовский в своем предисловии.

«В 1919 году, весной, я был командирован Наркомпросом во главе группы молодых сотрудников для научной работы в известный зоопарк «Аскания-Нова», где занялся изучением причин развития различных органов у животных... Мне пришлось наблюдать, как при хирургической пересадке желез от одного животного к другому, от курицы к петуху и от петуха к курице, у бывшего петуха развивались признаки курицы, и обратно: у бывшей курицы под влиянием пересаженных ей семенников развивались признаки петуха.

В зимний сезон не без труда разыскал я в Симферополе нужных мне для опыта бурых-куропатчатых итальянцев (кур) у разбитной сторожихи какой-то заброшенной дачи, большой любительницы всякой птицы. Ранней весной следующего года я пригласил свою птицеводку, добывающую себе средства к жизни еще прачечным делом, к себе в лабораторию взглянуть на то, что стало с ее питомцами. Когда она увидела мое довольно многочисленное стадо кур, фазанов и уток, бывших своих питомцев, в котором бывшие петухи имели оперение кур и за ними ухаживали нормальные петухи, бывшие же куры моей поставщицы с гордой посадкой несли петушьи гребни и петушье оперение и залихватно пели петухами, а бывшие утки щеголяли в перьях селезня, моя птицеводка-прачка опешила, а затем экзальтированно

заявила: „Вот это профессор! Настоящий доктор Моро из романа Уэллса". Так я впервые узнал о существовании фантастического романа „Остров доктора Моро"».

Последнее заставило профессора, узнавшего о романе Уэллса от «птицеводки-прачки», не только прочитать этот роман, но и сделать по его поводу несколько замечаний. Он отметил, что пересадка органов уже практикуется; более того, некоторые из них удаются какое-то время сохранить вне организма, хотя эти пересадки возможны лишь в пределах одного вида. Впрочем, четверть века спустя после Уэллса М. Завадовский заговорил и о возможностях, которые тот не предвидел. Он усмотрел их в пересадке эндокринных желез. Потом выяснилось, что этот путь — тупиковый, но тем временем речь пошла о генной инженерии. Поэтому легко согласиться с автором статьи, по мнению которого «роман Уэллса остается фантастическим в смысле деталей, но основная концепция, что человек сумеет переработать и перекраивать животных, уже не кажется нам только уделом фантазии: она находится в пределах трезвых расчетов ученого».

Сказать, что энтузиазм Завадовского разделяли все его коллеги, значило бы погрешить против истины. Самую осторожную позицию занял Виталий Михайлович Исаев (1888—1924). В своей книге «Пересадки и сращивания» (1927) он доказывал, что изменение внешних примет петухов и кур у Завадовского еще не означает изменения самой структуры их организмов. Как легко понять, Исаев не отнесся с большим доверием и к уэллсовскому «Острову доктора Моро». Свою книгу он открывал главой «Фантазия и действительность», где излагал содержание этого романа, а затем оспаривал его, хотя и в своем несогласии тоже проявлял известную осторожность. «...Есть ли какие-нибудь реальные основания для создания тех смелых построений, перед которыми не остановился полет фантазии Уэллса? — спрашивал автор. — К сожалению и ю, — продолжал он, — мы должны сразу же разочаровать читателей отрицательным ответом. Но *подходы* к аналогичным вопросам, правда, еще очень далекие от опытов доктора Моро, у нас уже имеются». В заключение В. Исаев снова возвращался к роману Уэллса и снова вступал с ним в полемику. Главным аргументом на этот раз была мысль о том, что даже переливание крови опасно для организма и может привести к смертельному исходу. В те годы для подобного утверждения сохранялись еще известные основания. При том, что существование четырех групп крови было открыто уже в 1907 году и основных (хотя и не всех) опасностей, вытекавших из несовместимости подобного рода, можно было отныне избежать, еще один элемент несовместимости, так называемый резус-фактор, был обнаружен только в 1940 году...

Эта критика не заставила, однако, М. Завадовского как-либо пересмотреть свои позиции — ведь та исполненная надежд статья, которую он предпослал «Острову доктора Моро» в издании 1930 года, написана уже после книги В. Исаева.

Как бы обрадовался Уэллс этой статье! Он и сам прекрасно знал, что пишет *фантастические* романы, но при этом буквально свирепел, когда кто-нибудь в очередной раз снисходительно называл их квазинаучными. Была, впрочем, в «Острове доктора Моро» и еще одна сторона, тоже связанная с наукой, но с другой ее, более идеологически значимой, стороной.

К Моро можно отнести по-разному, но не приходится отрицать, что его опыты и в самом деле отличаются невероятной жестокостью. Каждая его операция — это еще и истязание, отчасти сознательное: Моро верит в цивилизующую роль страдания. Дикие многочасовые крики оперируемых животных, а потом столь же страдальческие человеческие вопли, заставляющие стынуть кровь в жилах Прендика, на самого Моро не производят ни малейшего впечатления. Он абсолютно бесстрастен и нечувствителен к чужому страданию. «Изучение природы делает человека в конце концов таким же безжалостным, как и сама природа», — мимоходом бросает Моро в разговоре с Прендиком, и это сказано отнюдь не случайно. Напротив, это одна из ключевых фраз книги, причем объяснение ей надо искать не только в словах Уэллса о том, что в последние два года в Южном Кенсингтоне у него «возник какой-то подсознательный антагонизм по отношению к науке или, по крайней мере, к людям науки». Истинная причина таится глубже.

Философскую основу «Острова доктора Моро» во многом составляет учение Томаса Хаксли о двух идущих в мире процессах — «космическом» и «этическом». Они противостоят друг другу. Космический процесс протекает без вмешательства человеческого ума и воли, он лишен каких-либо признаков этики или любых начал, привнесенных в мир человеком. Слово «космос» по-гречески означает «порядок», но оно давно уже утратило этот смысл. В конечном счете космический процесс разрушителен. Порожденный слепой природой, он толкает мир к самоуничтожению. Согласно законам термодинамики, он ведет к выравниванию температур, энтропии, означающей конец всего живого. И напротив, этический процесс, порожденный страстью человечества к выживанию, не только требует укрепления гуманизма и коллективизма (по теории Хаксли, человек лишь потому выстоял перед лицом природы, что нашел коллективные формы существования, невозможные без этического начала), но и послужит спасению мира: покоряя природу, человек непрерывно создает в ней все расширяющиеся «зоны порядка», противостоящие энтропии. Уродливое подобие человеческого общества, сложившееся на острове, заранее обречено на гибель. Ведь оно своим возникновением обязано не этическому, а космическому процессу. Моро, ведущий свои опыты без какой-либо общей цели, ради удовлетворения некоей, им самим не осознанной, внутренней потребности, олицетворяет собой космический процесс не только в его жестокости, но и в его бессмысленности. «Исходным материалом» для Моро служат звери, но «ко-

нечным продуктом» его лаборатории отнюдь не оказываются люди в полном значении слова. Приданные им вчерне человеческие черты не избавляют их от глубоко укоренившихся животных инстинктов. И эти инстинкты побеждают. Нужен только небольшой внешний толчок. Случайно отведав крови, услышав какие-то слова, несогласные с внушением Монтгомери, в распоряжение которого после операций поступают люди-звери, они возвращаются к своей животной природе. Уродливое подобие человеческого общества, созданное для этих уродливых человеческих подобию, немедленно рушится.

Робинзонада — жанр популярный, и в ходе литературной истории она не раз превращалась в обыкновенный приключенческий роман. Теперь же она возвращается к своей философской первооснове. «Робинзон Крузо» был романом о ходе человеческой цивилизации, как ее понимал Дефо. «Остров доктора Моро», вобравший в себя многие черты приключенческого романа, в конечном счете тоже является романом о человеческой цивилизации. Первый роман был написан апологетом, второй — сатириком, прошедшим школу главного ненавистника Дефо — Джонатана Свифта. Ибо «Остров доктора Моро» — это все-таки роман не о противоестественном обществе, случайно сложившемся на отдаленном острове, а об обществе обычном, существующем на широких земных просторах. Роман лишь выявляет его внутреннюю, глубоко запрятанную противоестественность. Цивилизация шла кровавыми, страшными путями, и нет никакой уверенности в том, что она примет иное направление. Человеку и человечеству, наверно, не раз еще придется возвращаться в «Дом страдания» — операционную Моро. И может быть, — совершенно зазря.

Но этот социальный роман еще и роман богоборческий. Иначе не все было бы сказано. Утерялась бы какая-то доля его всеобщности.

Спасаясь от мнимой опасности и бежав из дома доктора Моро, герой во время своих скитаний по острову попадает в пещеру, где обитает один из людей-зверей, именуемый глашатаем Закона. Прендик, о котором зверюлюди думают, что он пришел с ними жить, тоже должен узнать Закон.

«Сидевший в темном углу сказал:

— Говори слова.

Я не понял.

— Не ходить на четвереньках — это Закон, — проговорил он нараспев.

Я растерялся.

— Говори слова, — сказал, повторив эту фразу, обезьяночеловек, и стоявшие у входа в пещеру эхом вторили ему каким-то угрожающим тоном.

Я понял, что должен повторить эту дикую фразу. И тут началось настоящее безумие. Голос в темноте затянул какую-то дикую литанию, а я и все остальные хором вторили ему. В то же

время все, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопали себя по коленям, и я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В темной пещере ужасные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые блики света, одновременно раскачивались и распевали:

— Не ходить на четвереньках — это Закон. Разве мы не люди?

— Не лакать воду языком — это Закон. Разве мы не люди?

— Не есть ни мяса ни рыбы — это Закон. Разве мы не люди?

— Не обдирать когтями кору с деревьев — это Закон. Разве мы не люди?

— Не охотиться за другими людьми — это Закон. Разве мы не люди?»

Можно было, конечно, и не без основания, принять это за пародию на только что вышедшую первую «Книгу джунглей» Киплинга, где звери следуют «закону джунглей», создающему из них некое подобие общества. Можно было, осмелев, заподозрить некий намек на христианское богослужение. Но Уэллс метил дальше, или, если угодно, выше. Здесь была сразу и насмешка над социальным гипнозом, именуемым Верой, и над самим Творцом, создавшим эти несовершенные существа и сумевшим их убедить, будто они — и впрямь люди. О том, что они ошибаются, свидетельствует конец романа. Истинное человеческое общество должно было бы сохранять устойчивость в силу своих внутренних законов. Оно было бы обществом человеческим, поскольку выражало бы человечность своих составляющих. Но после гибели Моро и Монтгомери («Другого с бичом», как называют его люди-звери) своеобразное «население» острова возвращается к животному состоянию. Буржуазный индивид — венец творения, согласно Дефо, — оказывается существом, в котором преобладают и в любую минуту могут победить звериные инстинкты, а социальное устройство, им принятое, — некоей подделкой под цивилизованное общество. Какие страдания и какие малые результаты!

Сколько бы дефектов ни обнаружил потом в «Острове доктора Моро» сам Уэллс, его роман был глубок и многопланов.

Этого в момент выхода книги не понял почти никто. Уэллс только что прогремел своей «Машиной времени», и новый роман, так на нее не похожий, у некоторых критиков вызвал просто недоумение. Особую растерянность испытал Чалмерс Митчел. Он был коллегой Уэллса и как зоолог, со временем занявший заметное место в своей профессии (с 1903 по 1935 год он был секретарем Лондонского зоологического общества), и как постоянный автор «Сатерди ревью», где 11 апреля 1896 года и была помещена его рецензия. Кроме того, Уэллс и Митчел были почитателями Томаса Хаксли, и Митчел в 1900 году опубликовал его биографию. Между Уэллсом и Митчелом была, впрочем, известная разница. Уэллс был глубже и талантливее. И понять Уэллса его единомышленник оказался решительно не в состоянии. Похвалив в начале

статьи «Машину времени», он затем начинал сокрушаться по поводу нового романа Уэллса, который на него и как на ученого и как на простого читателя произвел весьма тягостное впечатление. Задумано все было неплохо, но, во-первых, опыты межвидовой пересадки тканей кончились провалом, а, во-вторых, Уэллс все испортил какими-то дешевыми ужасами. Впечатление такое, словно автор, как и существа, им изображенные, отдал крову...

В тот же день в «Спектейторе» была напечатана статья Р. Х. Хаттона — давнего противника научных идей, которые исповедовали Хаксли, Уэллс, да и все, кто склонялся к материализму и свободному научному знанию. У Хаттона, как это ни парадоксально, «Остров доктора Моро» вызвал полнейшее одобрение, и он куда лучше Митчела понял художественные достоинства книги. Сцену чтения Закона он объявил более сильной, чем последняя часть «Путешествий Гулливера», где, как известно, тоже появляются обладающие человеческими качествами животные и деградировавшие люди; и хотя предостерегал против «Острова доктора Моро» читателей со слабыми нервами, видел в этой книге произведение цельное, сильное, ставящее Уэллса вровень со Свифтом. Отсюда, правда, следовал довольно занятный вывод. Ему никогда не приходилось читать лучшего произведения, направленного против вивисекции, заявлял Хаттон...

Не меньше похвал содержала и не менее странным образом кончалась появившаяся три дня спустя анонимная заметка в «Манчестер Гардиан». Автор говорил о мастерстве детали у мистера Уэллса, о чувстве меры, которое он обнаруживает в своем занимательном рассказе, его способности соединять страшное с забавным. Словом, заключал автор, Уэллс — очень сильный и оригинальный писатель, так что пора ему отказаться от фантастики...

Все эти рецензии были выдержаны в уважительных тонах и могли огорчить Уэллса разве что неспособностью проникнуть в его замысел, но ему не пришлось долго ждать и прямого поношения. 18 апреля в «Спикере» была напечатана небольшая и предвзвешенно никем не подписанная заметка, где говорилось, что Уэллсу удалось ранее написать несколько рассказиков, обнаруживших его способность изображать повседневное, но этого ему показалось мало и он решил угостить публику чем-нибудь пооригинальнее. Так появился «Остров доктора Моро» — произведение, поражающее своей мерзопакостностью. Стоило бы напомнить мистеру Уэллсу, что даже у романиста талант должен сочетаться с чувством ответственности.

За рецензией в «Спикере» последовало множество других, весьма на нее похожих. Приличные люди негодовали и возмущались. В большинстве своем заметки эти были анонимные, но автора одной из них удалось со временем выявить. Это был молодой журналист, сделавшийся потом профессором истории

в Единбурге. Будущий профессор — так и кажется с первых строк заметки — готов уже обратиться к властям: «Ужасы, описанные мистером Уэллсом в его последнем романе, делают уместным следующий вопрос: насколько вправе автор произведения искусства порождать в публике чувство отвращения?» Вопрос, разумеется, был чисто риторическим, ибо автор тут же объяснял, что нет, не вправе. Даже такой почитатель Уэллса, как У. Т. Стед, в статье, где он в 1898 году подводит итог всему созданному его любимым автором, начиная с «Машины времени», говорит об «Острове доктора Моро», что лучше б этой книги вообще никогда не было.

Единственная заметка, достойная того, чтобы немного подробнее на ней остановиться, появилась 3 июня 1896 года в еженедельнике «Гардиан». Ее неизвестный автор, охарактеризовав «Остров доктора Моро» как «исключительно неприятную книгу, идею которой непросто выявить», все же затем эту идею отчетливо выявлял. «Временами читатель склоняется к мысли, что автор хотел высмеять претензии науки и поставить ее на место; в других случаях начинает казаться, что его задачей было в сатирическом свете обрисовать акт творения и облить презрением Творца за то, как он обходится со своими созданиями. На эту мысль наводят на редкость умные и реалистичные сцены, в которых обращенные в людей животные затверживают Закон, преподанный им их творцом-хирургом, и заодно убеждают нас, что неспособны соблюдать этот закон». По мнению безымянного журналиста, «Остров доктора Моро» — «это, бесспорно, умное, оригинальное и очень сильное порождение фантазии», хотя его нельзя назвать чтением полезным.

Подобная заметка вряд ли могла польстить сколько-нибудь самолюбивому автору, но Уэллс к тому времени был уже так не избалован газетчиками, что пришел от нее в восторг: наконец-то нашелся человек, способный его понять! 7 ноября 1896 года он опубликовал в «Сатерди ревью» «Письмо редактору», где особо выделил эту статью. Об остальных рецензентах, воспринявших его книгу просто как «роман ужасов», он лишь сказал, что им следовало бы лучше понимать в своем деле. Что касается инвектив полюбившегося ему безымянного критика, то Уэллс просто не обратил на них внимания. И в самом деле, чему тут было удивляться? «Гардиан» был органом церковных кругов, и ему не пристало хвалить, а тем более рекомендовать для чтения богохульную книгу.

К «Человеку-невидимке», появившемуся в сентябре 1897 года, критика отнеслась заметно снисходительней. Конечно, все помнили и о шапке-невидимке и о плаще-невидимке («Песнь о Нибелунгах»), но научное объяснение, которое Уэллс дал невидимости своего героя, показалось убедительным, и все отметили поразительную верность деталей, характерную для этого романа. Однако и криков восторга, которыми была встречена «Машина времени»,

не раздавалось. Ничто не свидетельствовало о том, что появилось произведение, которому предстояло сделаться всемирной классикой. Это понял, может быть, и то год с лишним спустя (раньше он романа не прочел), лишь Джозеф Конрад. Уэллс, написавший в «Сатерди ревью» от 15 июня 1895 года полную восхищения рецензию на первый роман Конрада «Каприз Олмейера» и тем самым «открывший» этого писателя, навсегда заслужил его благодарность, и тот сразу же поспешил поделиться с ним радостью, которую испытал при чтении «Человека-невидимки». 4 декабря 1898 года он отправил ему письмо, где называл его «реалистом фантастики», говорил о «втором плане», всегда присутствующем в его книгах, и особенно подчеркивал умение Уэллса во всем и всегда, даже при описании невероятных событий, быть до конца человеческим. Высоко оценил «Невидимку» и Арнольд Беннет в рецензии, опубликованной в журнале «Вумен». И тем не менее настоящую славу «Человеку-невидимке» создали не критики и даже не писатели, его прочитавшие, а читатели. Это они сделали роман знаменитым, читая его от поколения к поколению с неубывающим интересом. Свидетельство тому — огромное число переизданий.

К сожалению, свои впечатления о романе оставили только те читатели, которые были или которым предстояло стать писателями, но, думается, они говорили от имени многих.

В дневнике друга Блока Евгения Иванова за февраль 1905 года записано, как сначала он один, а потом они вместе с Блоком принялись фантазировать по поводу прочтенного романа Уэллса: «Пустышка-невидимка... ходит по городу в «человечьем платье». Звонится в квартиры. Отворят, о ужас! стоит сюртук, брюки и пальто, в шляпе, все одето, а на кого — не видно, на пустышку! Лицо шарфом закрыл как маской... Манекен, маска, тот же автомат. Мертвец — кукла, притворяющаяся живым, чтобы обмануть пустой смертью. У Блоков о пустышке говорил Саше — Ал. Блоку очень это знакомо. Он даже на стуле изобразил, согнувшись в бок, как пустышка, за столом сидя, вдруг скривится набок, свесив руки».

Более непосредственной, чем у двух петербургских интеллигентов, была, разумеется, реакция двух сибирских беспризорников, ютившихся в заброшенной парикмахерской и сделавшихся обладателями огромных, как им тогда казалось, книжных богатств, с самыми интригующими названиями вроде «Мать, благополучно окончившая свои бедствия, или Опыт терпения и мужества, торжествующего над коварством, ненавистью и злобою. Повесть, редкими приключениями наполненная». Один из этих двух голодных мальчишек, став потом писателем Виктором Астафьевым, рассказал, как они с другом открыли для себя этот роман Уэллса.

«Я долго боролся с собою, пытаюсь определить, что же все-таки читать в первую очередь. «В когтях у шантажистов», «Джентльмены предпочитают блондинок» или «Человека-невидим-

ку)? «Невидимка» переборол всех. Я читал эту книжку почти всю ночь, затем день и вечер, пока не выгорел до дна керосин в фонаре.

Книга о человеке-невидимке потрясла Кандыбу.

— Вот это да-а! — Кандыба скакал по парикмахерской, и тень его, высвеченная полыхающей печкой, мятежно металась по стенам. Кабы друг мой сердечный в забывчивости не рухнул в подпол да не принялся бы крушить все кряду и рвать на себе рубаху — в такое он неистовство в п а л . — Эт-то да-а-а! — повторял о н . — В магазине че тырнул, в харю кому дал — и ничего не видно! Ни-че-го!»

Что и говорить: диапазон читателей и вынесенных из книги впечатлений достаточно велик!

«Человек-невидимка» — по крайней мере, если говорить о его начале, — снова восходит к «Аргонавтам хроноса». Мы опять встречаемся с изобретателем, живущим среди людей, неспособных его понять и пугающихся его наружности. Но за «Аргонавтов хроноса» Конрад никогда не назвал бы Уэллса «реалистом фантастики», а, говоря о «Человеке-невидимке», был уже вправе употребить эти слова. На смену «кельтской» романтической атмосфере валлийской деревушки, где обосновался доктор Небогипфель, или готорновской атмосфере Новой Англии, которой Уэллс отдал предпочтение во втором варианте этого неоконченного романа, приходит нечто совершенно иное. Действие на сей раз развертывается в местах, для рядового англичанина куда более привычных, много раз виденных, а потому и нарисованных с такой точностью деталей, что никто не мог усомниться в реальности обстановки или не поверить в людей, возникающих на страницах романа. Такими именно, и никакими другими, должны были быть и хозяева трактира «Кучер и кони», и его завсегдатаи, и пастор Бантинг, и полицейский — словом, все, кто хоть ненадолго промелькнет перед читателем.

Социальное выступает здесь в более непосредственной форме, чем в «Острове доктора Моро». На первых страницах «Человека-невидимки» перед нами разворачивается своеобразная комедия провинциальных нравов, где кое-чему можно удивиться и кое над чем посмеяться. Разве одно лишь сочувствие вызывает доктор Касс, когда непохожий на других постоялец супругов Холл хватает его за нос невидимой рукой? А мебель, взбунтовавшаяся против людей, которые давно уже за нее расплатились и тем самым приобрели в полную собственность! Особенно этот стул, без посторонней помощи выталкивающий миссис Холл из комнаты Гриффина. Нет, здесь не без волшебства! А сам постоялец? Он то возникает, то исчезает. Не проходит ли он через стены? И какого он цвета? Когда собака порвала ему брюки, показалось, что ноги у него черные. А так с виду вроде бы белый. Может, он пегий? Лошади такие бывают. Но, впрочем, не люди же! Нет ли у него и в самом деле рогов и копыт?

Как удачно заметил один английский критик, начиная с «Человека-невидимки» герои Уэллса перестают ездить за необычным, оно является к ним прямо на дом. И притом, следует добавить, это необычное вполне вписывается в домашнюю обстановку. По словам того же остроумного критика, «у Герберта Уэллса увидеть — значит поверить, но здесь мы верим даже в невидимое». Невидимка-Гриффин по-своему не менее убедителен, чем люди, среди которых он очутился.

Это не сказка, а добротное реалистическое повествование. Фантастическая посылка разработана совершенно реалистическими средствами. Здесь показано все, что нужно, доказано все, что возможно.

И потом, разве сказочным героям приходилось когда-нибудь так туго? Шапка-невидимка из русских сказок или плащ-невидимка из германского эпоса сразу избавляли своего обладателя от всеми хлопот и давали ему необыкновенное преимущество перед всеми. Гриффин живет в ином мире — реальном. Ему все время что-то мешает, планы его срываются. Он не успевает подготовить себе невидимую одежду и дрожит от холода, шлепая босиком по грязным лондонским улицам и оставляя за собой следы, которые сразу же привлекают внимание мальчишек; он простужен и ежеминутно выдает себя громким чиханием. Осуществить свое превращение ему пришлось раньше времени, и теперь он не знает, как снова стать видимым...

Невидимость — отнюдь не единственное отличительное качество этого героя. Чем больше мы вглядываемся в него, тем больше убеждаемся, что перед нами — очень своеобразная личность. Да и разоблачение Гриффина происходит не только в силу обстоятельств, но и потому, что человек он неуравновешенный и эксцентричный. Он не привык соотносить свои поступки с обстановкой и думать об их далеких последствиях. Всякое его действие — это непосредственная на что-то реакция. И несообразность его поведения не меньше удивляет окружающих, нежели его странное обличье. Высшим проявлением этой несообразности оказывается своего рода спектакль, который он разыгрывает перед людьми, ворвавшимися в его комнату. Он обретает невидимость у них на глазах не только для того, чтобы незаметно уйти от них. Он еще наслаждается производимым эффектом. Но так или иначе, а он разоблачен. И тут комедию нравов, в которую по-своему вписывался и сам Гриффин, сменяет нечто другое — куда более важное и опасное.

На первых страницах романа Гриффин не более нам понятен, чем жителям суссекской деревушки Айпинг, куда он прибыл. Но чем дальше разворачиваются события, тем больше раскрывается он для нас не в одних лишь внешних своих проявлениях. Обыденная обстановка, в которой происходит действие, не помешала Уэллсу выявить и «второй план» происходящего.

Гриффин, каким он открывается нам из его рассказа о собственном прошлом, был всегда занят исключительно своими исследованиями, а значит, и достаточно самососредоточен: «Изучение природы делает человека в конце концов таким же безжалостным, как и сама природа». К тому же и жизнь шаг за шагом все больше ожесточала его. Заканчивать начатую работу приходилось в ужасных условиях. И перед ним рушились одна моральная преграда за другой. Но все же Гриффин не остается неизменным на протяжении даже того короткого периода, когда мы можем воочию проследить его историю. В айпингский трактир «Кучер и кони» приходит человек, у которого за спиной немало недобрых дел, но пока что он мечтает лишь об одном: найти способ вернуться в видимое состояние. Беды, которые влечет за собой невидимость, он уже испытал. Да и обличье пришлось приобрести самое отталкивающее — маскарадный картонный нос, забинтованное лицо, темные очки, перчатки, которые ни при каких обстоятельствах нельзя снять... Но с момента, когда он разоблачил себя перед хозяевами и посетителями трактира и, вызвав всеобщую панику, бежал из него, перед нами уже не тот человек. Потребуется совсем малый срок, чтобы Гриффин превратился в маниакального убийцу, одержимого жаждой власти. Если нельзя уйти от окружающих, надо их себе подчинить. Теперь им движет лишь стремление встать над людьми.

А впрочем, не гнездило ли в нем нечто подобное и прежде? Пусть в другой форме.

Презрение к обывателям проистекает у Гриффина из прекрасного их понимания. Он знает их по себе. И его ненависть к ним — из того же источника. Ему стоило такого труда вырваться из этой среды, а теперь она снова оказалась властна над ним. Но он опять над ними поднимется! Теперь у него есть для этого средство — невидимость. И он их всех подомнет под себя! Нет, не поднимет до себя, а именно под себя подомнет.

Разве кто-нибудь из них поступил бы иначе?

И почему иначе должен поступить мещанин, овладевший, пусть даже ценой собственных трудов, великой научной тайной? Ведь не занятия же наукой могли человечески его обогатить!

Гриффин мечтает покорить человечество, установив царство террора. Но история этого завоевания не переносится в романе на широкие земные просторы. Она как началась, так и кончилась в пределах нескольких суссекских деревушек.

«Человек-невидимка» — один из эпизодов той «человеческой комедии», которую Уэллс писал всю жизнь. В несовпадении масштабов заурядной человеческой личности с грандиозностью задач, стоящих перед человечеством в целом, Уэллс видел трагедию. Но каждый из эпизодов этой трагедии тяготел к комическому. В истории Гриффина — даже в самые мрачные моменты — упор делается не на слове «человеческая», а на слове «комедия», пусть даже это будет «мрачная комедия», как принято называть некоторые

пьесы Шекспира. Какая дикая мысль: начать покорение человечества с разгона деревенского праздника, а царство террора с убийства ни в чем не повинного, безобиднейшего мистера Уикстида, сорокапятилетнего управляющего соседним поместьем!

И все же человеческое то и дело пробивается сквозь это «условно комическое». Вид первой жертвы потрясает Гриффина. С ним случается истерический припадок. Правда, он снова просыпается сильным, деятельным, хитрым и злобным. Ему кажется, что игра только еще началась. Но это — последний день его жизни. Пытаясь убить предавшего его университетского товарища Кемпа, он гибнет сам. Что он намеревался сделать в этот день — начать «царство террора» или просто удовлетворить свою жажду мести?

Мы можем сколько угодно негодовать против Гриффина, но мы невольно если не сочувствуем ему, то, во всяком случае, его понимаем. Как ни бесчеловечны его намеренья и поступки, он с начала и до конца остается человечески ощутимым, а потому и пробуждает в нас человеческое к себе отношение. И кончается история Гриффина никак не криками торжества, а нотой глубокого сожаления:

«Тело накрыли простыней, взятой в кабачке «Веселые крикетисты», и перенесли в дом. Там, на жалкой постели, в убогой, полутемной комнате, среди невежественной, возбужденной толпы, избитый и израненный, преданный и безжалостно затравленный, окончил свой странный и страшный жизненный путь Гриффин — первый из людей, сумевший стать невидимым. Гриффин — даровитый физик, равного которому еще не видел свет». Погиб опасный безумец. Но еще погиб человек и великий ученый.

Этим заканчивается история Гриффина, но не роман. Последнее слово принадлежит совсем другому лицу.

Когда Гриффин лишился своего маскарадного наряда, он вынужден был искать кого-нибудь, кто носил бы за ним записи его опытов и все, что он ему поручит. Какое-то время ему приходилось пользоваться услугами мистера Марвела. Он скоро понял, что сделал неправильный выбор, но другого выхода у него не было.

Викторианский обычай прибавлять к каждому имени слово «мистер» не должен нас обманывать. Мистер Марвел, видимо, не очень любил тот способ, каким он добывал свое скудное пропитание, свою драную одежду и всегда недостававшую ему выпивку, но другие способы он любил еще меньше, ибо к труду приспособлен не был и внутренней потребности в оном не испытывал. Был он профессиональным бродягой, что-то у кого-то выклянчивал и в услужение к Гриффину поступил не по доброй воле — тот его принудил. А потому он и счел себя вправе, едва лишь представилась возможность, сбежать, присвоив заодно все, что при нем было, включая изрядную сумму денег. Вот с этим-то мистером Марвелом мы и сталкиваемся на последних страницах романа,

причем иначе как «мистером» его теперь и не назовешь. Он более не бродяга какой-то, а почтенный человек, хозяин трактира. Особой предприимчивостью он не отличается, но весьма заботится о респектабельности своего заведения и, разумеется, своей собственной. Свой мохнатый цилиндр он, следует думать, давно заменил на что-нибудь поновей, одежду свою теперь застегивает на пуговицы, а не завязывает веревочками, слывет человеком умным и бережливым, а уж о дорогах Южной Англии сообщит вам столько подробностей, что не сыщешь ни в каком путеводителе. Но у этого новоявленного буржуа тоже, оказывается, есть своя мечта. Такая же, как у Гриффина. Знаний, жаль, не хватает, иначе прочел бы, что тот записал в своих дневниках, и тоже стал невидимкой. И уж поверьте, лучше бы распорядился своей невидимостью, чем этот безумный Гриффин. Ну да ничего, со временем он во всем разберется! И каждый вечер, убедившись сперва в полном своем одиночестве, мистер Марвел достает из тайника три книги в коричневых кожаных переплетах и, подбадривая себя джином, начинает переворачивать страницы от начала к концу и от конца к началу. «Шесть, маленькое, два сверху, крестик и закорючка», — читает он, шевеля губами. В эти минуты он исполнен великого почтения к Гриффину. Он всегда уважал все непонятное. Но ничего, ничего, он во всем разберется! И тогда посмотрим!

Так наследником Гриффина оказывается мистер Марвел. И разве уж совсем не по праву?

* * *

«Машина времени», «Остров доктора Моро» и «Человек-невидимка» были вещами очень значительными, и все же вершины своей Уэллс еще не достиг. Его звездный час настал в 1897 году, сразу же после выхода «Невидимки».

В Уокинге, как ни скромно было это жилище, была и обязательная по тогдашним английским понятиям «комната для гостей». В свое время Генри Филдинг, апологет так называемого «среднего состояния», когда человек не развращен богатством и не скован бедностью, указывал среди прочих условий достойного существования и на «возможность оказывать гостеприимство». Теперь Уэллс этой возможностью располагал и очень ей радовался. Но еще больше ей радовался его брат Фрэнк, который после переезда матери в «разбойничье логово», а потом обоих родителей в коттедж под Лиссом остался без собственного угла. По природе он был бродяга, из-за отсутствия постоянного пристанища страдал не очень и все же перед соблазном пожить при Берти не устоял. На сколько-то он у него и осел. И, как скоро выяснилось, не без большой для своего брата пользы.

Однажды они гуляли в окрестностях Уокинга. Вдруг в каком-то особенно мирном уголке Фрэнк произнес: «А представь себе, что неожиданно-негаданно какие-то обитатели другой планеты сва-

лились здесь с неба и начали крушить всех направо и налево». Большого Уэллсу было не надо. У него мгновенно возникла идея нового романа. Тем более что он давно был к нему готов.

19 октября 1888 года Уэллс прочел в Дискуссионном обществе своего родного Королевского колледжа науки доклад на тему «Обитаемы ли планеты». В нем он допускал возможность жизни на Марсе. Однако от этой своей юношеской фантазии он скоро отрекся. В статье «Новое открытие единичного», написанной и опубликованной в 1891 году, он напрямик заявил, что нет никаких оснований считать, будто жизнь есть где-то вне пределов Земли. Он утверждал на сей раз, что чудо жизни уникально. Сделав первый шаг по пути к будущей «Войне миров», он тут же пошел на попятный. Объяснить это в общем-то не слишком трудно.

Как уже говорилось, Уэллсу случалось иногда приходиться в противоречие с Томасом Хаксли. Но на первых порах он все-таки больше доверял своему учителю, чем себе, и всякий раз, когда его посещала какая-нибудь «антихакслианская» мысль, очень ее пугался. Так, заявив, вопреки мнению Хаксли, что эволюция человека не прекратилась, а просто начала подчиняться не природным факторам, а социальным, он тут же от своей идеи отрекся, написав две правоверно-хакслианские статьи на эту тему. Правда, Уэллс потом все равно вернулся к собственной точке зрения, но это стоило ему, видимо, некоторой душевной борьбы. А в шестой уже доброе десятилетие дискуссии об обитаемости планет он вступал в прямое противоречие с Хаксли, причем по вопросу отнюдь не частному. Ибо именно здесь Хаксли и дал свой бой научной фантастике, в которой видел если не разновидность поповщины, то, во всяком случае, — путь к ней.

Свою точку зрения Хаксли изложил в статье «Спорные вопросы», опубликованной в 1892 году, иными словами, за три года до того, как Уэллс окончательно определился как научный фантаст, хотя учителю, наверно, надо было (позаботься он об Уэллсе) еще больше поспешить: «Аргонавты хроноса» написаны за добрых четыре года до его статьи.

Рассуждения Хаксли развиваются по такой схеме: вселенная бесконечна; отсюда логически следует, что среди обитателей других планет могут оказаться существа, многократно нас во всем превосходящие. А поскольку предел здесь не поставлен, мы вправе наделять этих инопланетян такими качествами, как всемогущество, всеприсутствие и всеведение, то есть атрибутами божества, и тем самым вступить на путь своеобразной «научной демонологии». Но человек, выработавший в себе навыки научного мышления, никогда на такие допущения не пойдет. Для него признание того, что тот или иной предмет может существовать, не является еще доказательством того, что он действительно существует. По мнению Хаксли, наука может оставаться наукой, лишь оградив себя от фантастики, и Уэллсу не надо было дожидаться статьи «Спор-

ные вопросы», чтобы усвоить точку зрения своего учителя. Наука требует полноты знания, фантастика находит себе пищу в его неполноте, и Хаксли был в достаточной степени позитивистом, чтобы принять вытекающую отсюда позицию: научная фантастика и наука — антагонисты. Уэллс пришел к противоположным выводам. В «Опыте автобиографии» он писал, что именно занятия биологией с Хаксли сделали его фантастом, поскольку в этой науке оставалось еще множество неисследованных проблем, чего Хаксли никак не скрывал. Неполнота знания не препятствовала научности. Да и разве подлинная наука когда-либо притязала на полноту знания?

Впрочем, это сказано почти сорок лет спустя. Вряд ли Уэллс так же думал в период написания «Войны миров». Просто тогда ему могло показаться, что он исходит уже не из пустой фантазии, а именно из науки. Из самых последних ее данных.

В 1877 году директор миланской обсерватории Джованни Скиапарелли, составляя карту Марса, наметил на его поверхности длинные темные линии, которым дал название «каналы», хотя тут же сделал две оговорки. Во-первых, заявил он, слово «каналы» употребляется им условно, поскольку «мы еще не знаем, что это такое», во-вторых, «преждевременно высказывать догадки о природе каналов». Люди, заинтересовавшиеся наблюдениями Скиапарелли, не проявили, впрочем, его осторожности и сделали гипотезу итальянского ученого одним из основных доказательств существования разумной жизни на Марсе. В 1882 году во Франции вышла сенсационная книга знаменитого популяризатора астрономии Камиля Фламариона «Планета Марс», сразу же переведенная на многие языки. Еще три года спустя была опубликована книга американского астронома Персивала Ловелла «Марс». В ней Ловелл высказывал твердое убеждение, что на Марсе есть жизнь и каналы созданы разумными существами. Свое мнение он проповедовал в книге, статьях и публичных лекциях с неиссякаемым энтузиазмом. Уэллс стал на его точку зрения. 4 апреля 1896 года он напечатал в «Сатерди ревью» статью, в которой писал, что на Марсе есть жизнь и что интеллект марсиан должен сильно отличаться от нашего.

Другие данные, найденные им в этих книгах, должны были подтолкнуть его к мысли о возможности полета с Марса на Землю и о необходимости для марсиан такого полета. Марсианское притяжение настолько меньше земного, что килограммовая гиря, перенесенная на Марс, весила бы по земному счету лишь 381 грамм. Значит, приобрести вторую космическую скорость на Марсе гораздо легче, чем на Земле. Для этого вполне может подойти и отлитая в специально вырытой яме пушка — вроде той, какую использовали герои романа Жюль Верна «С Земли на Луну» (в русском переводе «Из пушки на Луну»). К тому же Марс — угасающая планета, утерявшая значительную часть своей атмосферы; условия существования для живых организмов там много

труднее, чем на Земле. Почему бы в таком случае марсианам не замыслить колонизацию Земли?

Подобная мысль пришла в голову не одному Уэллсу. Вторжение с Марса — чем не лакомый кусок для писателей? И они буквально набросились на него. За короткий срок появились романы американцев Густавуса Попа, Джеймса Ковена и Гаррета Путнама Сервиса, англичан Мэри Корелли, Тремлета Картера и Джорджа Дюморье. Большинство этих имен ничего нам сейчас не говорит, но тогда эти романы относились к числу «сенсационных», их широко читали. Особый успех имел роман немецкого писателя Курда Лассвитца «На двух планетах», где марсиане, внешне неотличимые от людей, вторгаются на Землю, чтобы ее колонизовать. В 1889 году написал рассказ «Марсианин» Ги де Мопассан. Отстоять свое первенство среди такого множества популярных авторов было непросто. И если Уэллсу это удалось, то отчасти благодаря своеобразной «актуальности» своего романа. Уэллсовские марсиане должны были появиться вот-вот.

Правда, исходя из астрономических данных, время для подобного нашествия либо уже миновало, либо еще не наступило. Полет с Марса на Землю легче всего осуществить, как нетрудно догадаться, в период великого противостояния этих планет, когда расстояние между ними сокращается до минимального — 55 миллионов километров, а такие противостояния бывают раз в пятнадцать лет. Последнее к моменту написания книги было в 1884 году, нового следовало ожидать лишь в 1909-м. Однако Уэллс обошел эти трудности. Выстрелы на Марсе, сообщает он, были замечены в 1894 году, но ведь марсианам понадобится несколько лет, чтобы долететь до Земли. Вот они и появятся у нас в 1898 году, всего год спустя после того, как писатель Уэллс предупредил об этом человечество.

И конечно, те, кто решился вторгнуться на Землю, должны быть сильнее нас. Здесь Уэллс мог бы исходить из той самой статьи Томаса Хаксли, которая, казалось, преграждала ему дорогу к этому роману. Не сказал ли Хаксли в своих «Спорных вопросах», что считает «безосновательным и попросту наглым» «утверждение, будто в мириадах миров, разбросанных в бесконечном пространстве, не существует интеллект, во столько же раз превосходящий интеллект человека, во сколько человеческий интеллект превосходит интеллект черного таракана, и во столько же раз эффективней способный воздействовать на природу, во сколько раз эффективней воздействует на нее человек, сравнительно с улиткой»? И если Хаксли боялся развивать эти положения из нежелания создать нечто подобное «научной демонологии», так ли уж трудно было Уэллсу обойти это препятствие? На первой же странице «Войны миров» мы находим такие слова: «Никто не поверил бы в последние годы девятнадцатого столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек, хотя такие же смертные,

как он». Это «такие же смертные, как он» специально было вставлено, дабы избежать обвинения в «научной демонологии». Что же касается самой по себе гневной тирады Хаксли, направленной против религиозной доктрины об уникальности и богоподобности человека, то она зазвучала у Уэллса с новой силой. Разве марсиане не превосходят во всем человека?

Облик марсианина тоже давно был Уэллсу известен. Он уже много лет назад описал это существо, хотя и назвал его тогда другим именем.

В 1885 году Уэллс прочитал в Дискуссионном обществе доклад «Прошлое и будущее человеческой расы». Два года спустя он на его основании написал очерк «Человек миллионного года». В 1893-м его удалось опубликовать в «Пэлл-Мэлл бюджет», а в 1897 году Уэллс включил его под названием «Об одной не-написанной книге» в сборник «О некоторых личных делах». Он и потом не раз вспоминал его. И это неудивительно. Человек миллионного года послужил прототипом для нескольких образов, созданных Уэллсом. И притом в двух случаях — из числа самых важных.

Человек миллионного года (вернее, существо, которое придет на смену человеку) не покажется нам красавцем, но что поделается, «в эволюции не заключена механическая тенденция к совершенному воплощению ходячих идеалов года от Рождества Христова 1887; она представляет собой всего-навсего непрерывное приспособление органической жизни к окружающим условиям». Этот процесс, замечает Уэллс, ощутим уже сейчас. Вступив на путь цивилизации, человек потерял многие черты своего животного предка. Ему стали не нужны сильно развитые челюсти — и они исчезли. Он изобрел одежду — и у него исчез волосяной покров. Он занялся ремеслом — и у него изменились руки. В дальнейшем этот процесс будет продолжаться, и человек миллионного года окажется еще более непохож на нас, чем мы — на обезьяну.

Эволюция по-разному повлияет на разные части тела. Рука, поскольку она является «учителем и толмачом мозга», разовьется. Она делается сильнее и гибче, приспособленней к тонким работам. Остальные мускулы тела, напротив, ослабнут и будут почти неразличимы. Зато необычайно увеличится голова — вместилище разросшегося мозга. При этом она не сохранит прежних пропорций. Черты лица сгладятся, уши, нос, надбровные дуги не будут более выступать вперед, подбородок и рот станут крошечными.

Изменится и многое другое. В настоящее время человек тратит слишком много энергии на пищеварение. Правда, его животные предки пожирали сырую пищу, а он ее готовит, но в дальнейшем он будет получать ее не только приготовленной, но, если угодно, еще и «прожеванной и переваренной». Химия даст ему наиболее легко усваиваемые вещества в наиболее законченном виде. Нужда в пищеварении отпадет, пищеварительный аппарат исчезнет. Вслед за тем человек научится усваивать пищу непосредственно

из окружающей среды, и «столовые» миллионного года будут представлять собой огромные, заполненные питательными растворами бассейны, где люди (с виду они, правда, будут к тому времени походить скорее на спрутов) будут плавать и тем самым подкармливаться.

Поскольку в результате человек еще больше, чем теперь, отдалятся от животного царства, угаснут его эмоции и возрастет способность к логическому безэмоциональному мышлению.

Эта страшная картина не должна пугать читателя. Уэллс и тогда, когда писал свой очерк, и много позже, что уже менее извинительно, понятия не имел о генетике. В 1929 году внук его учителя, Джулиан Хаксли, начав работать с ним над популярным очерком биологии «Наука жизни», просто ахнул: великий писатель и знаток науки оставался на том же уровне представлений, что и в пору своего ученичества в Южном Кенсингтоне. Современному биологу картина, нарисованная Уэллсом, покажется дикой, но, когда она создавалась, применительно к ней нельзя было употребить даже выражение «научно несостоятельная». И, что важнее всего, «Человек миллионного года» сослужил неплохую службу Уэллсу-писателю.

Свой первый отблеск он отбросил все на того же Небогипфеля из «Аргонавтов хроноса». Небогипфель, как известно, принадлежал к будущим тысячелетиям, и его черты, казавшиеся обывателям уродством, в действительности обнаруживали в нем существо, находящееся на пути к Человеку миллионного года. Окажись он в своем времени, никого бы не удивили ни его тщедушное тельце, ни крошечные губы, рот и подбородок, ни огромной высоты лоб и пульсирующие артерии на висках, отчетливо проступавшие сквозь желтоватую кожу.

Марсианин из «Войны миров» — это уже человек миллионного года во плоти. Уэллс не удержался от того, чтобы на страницах романа не вспомнить о статье в «Пэлл-Мэлл баджет», автор которой еще в конце 1893 года предсказал появление существа, очень похожего на марсианина. Тогда никто этому не поверил, а в «Панче» даже появилась по этому поводу карикатура. Ну а теперь все на собственном горьком опыте убедились в его правоте. Что до автора «Войны миров», то ему тоже кажется, что марсиане произошли от существ, в общем похожих на нас. Впрочем, если сравнить существо, описанное некогда «умозрительным писателем» в «Пэлл-Мэлл баджет», с тем, что увидел рассказчик из «Войны миров», то можно заметить и некоторые различия. Главное из них состоит в том, что марсианин усовершенствовал систему питания. Ему больше не нужны бассейны с питательными веществами. Он впрыскивает себе в жилы людскую кровь. Эволюция на Марсе, как и в «Машине времени», пошла, очевидно, двойным путем, и та часть населения, которая сохранила людское обличье, превратилась в убойный скот. Колонизовать Землю марсианам нужно не только потому, что природные условия на Марсе все ухудшаются,

но и потому, что там, вероятно, становится трудно с пищей. А на Земле ее неиссякаемые запасы. Сколько миллионов жителей в одном только Лондоне!

Марсианин не только превратился в каннибала, он, в каком-то смысле, уже не до конца принадлежит органическим формам жизни. Марсианин — это для Уэллса не просто разумный спрут. Словом «марсианин» он называет и тот своеобразный симбиоз живого мозга и машины, который представляют собой марсианские треножки, двинувшиеся на Лондон. Марсианин, лишенный каких-либо эмоций, напоминает машину, а треножки обладают некоторыми признаками живого существа: когда пушечным выстрелом удается уничтожить марсианина, сидящего на треножке, тот еще какое-то время продолжает действовать. Да и другие машины, привезенные марсианами, работают так, словно наделены сознанием.

Короче говоря, Уэллс еще до своего разговора с Фрэнком уже отлично знал, с какой планеты могут прилететь неведомые существа, и явственно их себе представлял. Оставалось лишь обследовать место действия и понять, как они «начнут крушить всех направо и налево». Разъезжая на велосипеде по окрестностям Уокинга, он принялся выискивать место, где лучше всего упасть первым «цилиндрам с Марса». В конце концов он остановился на Хорсельской пустоши и оттуда проследил путь марсиан на Лондон. В том, что они изберут правильные маршруты, сомневаться не приходилось — они ведь, прежде чем отправиться на Землю, долго изучали ее, а средства наблюдения у них надежнее наших. Землю пришлось завоевывать представители гораздо более развитой цивилизации.

Надо было еще придумать, как они будут технически оснащены. С «тепловым лучом» — главным оружием марсиан — Уэллс никаких трудностей не испытал. Эту идею можно было заимствовать, на выбор, из повести Рони-старшего (Жозефа Анри Бекса) «Ксинехузы» или из романа Э. Булвера-Литтона «Грядущая раса», никак не нарушив их авторских прав, ибо и они, скорее всего, откуда-то ее позаимствовали: впервые о чем-то подобном заговорил в XIII веке Роджер Бэкон, собиравшийся создать систему зеркал, которая «стоила бы целого войска против татар и сарацин». Если проследить судьбу идеи «теплого луча» в будущем научной фантастики, то положение каждого следующего его изобретателя облегчалось тем, что он уже был описан у Герберта Уэллса. Автору «Гиперболоида инженера Гарина» не пришлось, надо полагать, обращаться ни к Роджеру Бэкону, ни к Рони-старшему, ни к Булверу-Литтону — «Войну миров» прочли к тому времени в России, наверное, все, кто знал грамоте. А вот боевые треножки были уже собственным изобретением Уэллса: о бесколесных движущихся механизмах в те дни никто еще не размышлял. Но Уэллс не был «вторым Жюлем Верном», он был «первым Уэллсом». Ему и в голову не могло прийти написать роман для того, чтобы продемонстрировать свою техническую изобретательность или знание

топографии окрестностей Уокинга. У него не сюжет служил демонстрации технических новинок, а, напротив, — технические новинки изобретались ради сюжета. И тут же философски осмысливались. Придумав свой боевой тренажер и поместив марсианина на его вершине, Уэллс развил свою юношескую фантазию о Человеке миллионного года: бездушное существо отныне не просто управляло бездушной техникой — они настолько соответствовали друг другу, что словно бы сливались в единое целое.

Земное происхождение марсианина, не так давно приобщенного к литературе под именем Человека миллионного года, и то, что жизнь на Марсе могла начаться задолго до окончательного формирования нашей планеты, а значит, и цивилизация там должна была обогнать земную, придали мысли Уэллса новое направление. Его роман об инопланетном вторжении превратился в один из тех романов, которые потом назовут «романами катастрофы». В каком-то смысле «Человек-невидимка» уже был, хотя, разумеется, и в гораздо меньшем масштабе, «романом катастрофы». Выдержат ли современное общество и современный человек серьезную проверку? Достаточно ли они для этого подготовлены? Не выявит ли глобальная катастрофа несостоятельность гуманоида, именующего себя человеком, и общества, притязающего на гуманность, цивилизованность и эффективность? Эти вопросы неизменно вставали перед Уэллсом, когда он принимался за очередную подобный роман или рассказ. Но «Война миров» выделяется в их ряду не только тем, что это первый уэллсовский «роман глобальной катастрофы». Опасности, угрожающие человечеству, на сей раз, если взглядеться, отнюдь не пришли извне. По существу, вторжение марсиан драматизирует процесс, который идет из года в год и даже изо дня в день, — наступление будущего на прошлое. Линейное время, как уже говорилось, не знает четко выраженного понятия настоящего. Это термин условный. В конечном счете настоящее — не более, чем черта, через которую прошлое переливается в будущее. Но именно поэтому в каждый отрезок времени, который мы решили для себя считать настоящим, будущее оказывается в столкновении с прошлым. Будущее наступает — с убыстрением хода истории все более агрессивно — на прошлое, а прошлое не желает отступать. За некогда им захваченное и освоенное оно держится цепко. Ему кажется, что все, чем оно владеет, — его по праву. Прошлое укоренено в прошлом — в человеческом сознании, в социальных институтах, в политических установлениях. Оно привычно, к нему приспособились. Будущее же гипотетично. Со временем выяснится, что это будущее тоже пришло из прошлого, но пока что оно видится лишь как грядущие перемены, как угроза привычному, как нежелательная необходимость заново проделывать какие-то уже пройденные участки жизненного пути.

Самое грандиозное для Уэллса столкновение прошлого с будущим произошло на страницах «Войны миров». Путешественник по времени проникал в будущее и исчезал из него. Будущее, кото-

рое он видел, служило страшным предостережением настоящему, но настоящее и будущее оставались недвижны. Они были словно закреплены в пространстве. В «Войне миров» будущее само явилось в настоящее в одном из самых пугающих своих обликов. Будущее, выросшее из настоящего, и по отношению к нему разрушительное.

Итак, рано поутру на Хорсельской пустоши, неподалеку от железнодорожного узла Уокинг, упал первый цилиндр с Марса, за ним второй, третий, четвертый... Десять вспышек на поверхности Марса, которые астрономы наблюдали в 1894 году с интервалом в сутки, означали десять выстрелов из гигантского орудия, и все снаряды достигли цели. Они доставили пятьдесят марсиан, которым и предстояло завоевать Землю. Малое их число не снижало опасности: они ведь были практически неуязвимы на своих огромных треножниках, двигавшихся со скоростью курьерского поезда, вооруженные генераторами теплового луча и ядовитыми газами и овладевшие тайной летательных аппаратов тяжелее воздуха. Никакие контакты с ними были невозможны — они пришли завоевывать и больше ни за чем.

Людям они преподнесли весьма ценный урок. Они излечили их от самоуверенности. Политическое и гражданское общество перестали существовать. Остались лишь дикие орды, мечтавшие о спасении любой ценой. Общество не выстояло, человек не выстоял. Страшные картины разворачиваются при «исходе из Лондона», напоминающем страницы «Хроники чумного года» (1722) Дефо. Матросы топят баграми желающих попасть на переполненные корабли...

История (нет, не история литературы, а именно реальная история) по-своему распорядилась ситуацией, описанной в «Войне миров». Речь идет даже не о том, что во время первой мировой войны были применены отравляющие вещества и уже действовала, хоть и в скромных масштабах, авиация, а в наши дни испытывается лазерное оружие. Одно событие, более локальное, оказалось в известном смысле не менее показательным.

Американские газетчики, едва лишь «Война миров» начала публиковаться в 1897 году в виде «романа с продолжением» в лондонском «Пирсонс мэгэзин», принялись ее перепечатывать, перенося действие в родные места. Уэллс протестовал против этого, но не мог еще знать, во что это со временем выльется. А произошло вот что.

В 1938 году двадцатитрехлетний актер, в будущем — знаменитый кинорежиссер, Орсон Уэллс (почти однофамилец писателя — их фамилии хоть и произносятся сходно, пишутся по-разному) решил впервые попробовать свои силы в режиссуре. Для своего режиссерского дебюта он выбрал «Войну миров», которую и приспособил для радиоспектакля.

Передача начиналась небольшим прологом Орсона Уэллса. Он говорил от лица человека будущего, вспоминающего 1938 год, ко-

да марсиане напали на Землю. Он рассказывал о том, какой выглядела жизнь в конце октября, о росте деловой активности и торговли, о том, сколько людей слушало в тот день, 30 октября, радио...

Затем его выступление было прервано, началась трансляция концерта. Через минуту-другую концерт тоже был прерван, и по радио передали «экстренный бюллетень Межконтинентального бюро радиоинформации», где сообщалось, что профессор Форрел из чикагской обсерватории Маунт-Джаннигс «наблюдал несколько взрывов раскаленного газа на планете Марс, которые происходили через равные промежутки времени. Данные спектрального анализа свидетельствуют о том, что это водород и что он движется с огромной скоростью к Земле». Концерт возобновился и снова был прерван. Диктор сказал, что радиоккомпания организовала интервью с профессором Пирсоном, знаменитым принстонским астрономом (его роль исполнял Орсон Уэллс). Интервью открывалось рассказом комментатора об обсерватории, затем «профессор Пирсон» рассказывал о планете Марс. Этим интервью и несколькими сообщениями канадских астрономических станций, подтвердивших наблюдения американских астрономов, кончалась вступительная часть передачи. Вслед за нею сразу же шло сообщение о падении первого цилиндра. Орсон Уэллс, в отличие от Герберта Уэллса, даже не дал марсианам времени, чтобы преодолеть десятки миллионов километров мирового пространства. Они оказались на Земле, что называется, во мгновение ока. Но этого решительно никто не заметил.

Дальше шла прямая инсценировка ключевых эпизодов романа, сделанная применительно к иному времени и топографии другой страны. Ничего принципиально нового по сравнению с романом Уэллса там не содержалось. Но и этого оказалось более чем достаточно.

Бертран Рассел как-то заметил, что в «Войне миров» Уэллс показал свою способность «представить себе массовые реакции на необычные ситуации». Невольный эксперимент Орсона Уэллса подтвердил это достовернейшим образом.

В Соединенных Штатах в те годы насчитывалось шесть миллионов человек, регулярно слушавших радио. Возможно, не все читали перед этим программу передач, кто-то включил приемник уже после того, как диктор объявил, какая передача начинается, а кто-то вообще никогда не слышал про Герберта Уэллса и про его роман. Что сыграло какую роль — трудно сказать. Во всяком случае, около миллиона человек приняло инсценировку за действительный репортаж. И в стране вспыхнула паника.

«Тысячи перепуганных людей готовились к эвакуации или горячо молились о спасении, — рассказывает американский профессор астрофизики Доналд Мензел в своей книге «О "летающих тарелках"». — Некоторые считали, что на страну напали немцы или японцы. Сотни призывали к себе родных и друзей, чтобы сказать

им последнее прости. Многие просто бегали как угорелые, сея панику, пока наконец не узнали, в чем дело. В полицию непрерывно звонили люди, взывая о помощи: «Мы уже слышим стрельбу, мне нужен противогаз! — кричал в трубку какой-то житель Бруклина. — Я аккуратно плачу налоги»... Дороги и телефонные линии в течение нескольких часов были забиты до отказа.

От страха люди часто теряют здравый смысл. С крыши одного нью-йоркского здания кто-то видел в бинокль вспышки разрывов на поле битвы. Другой слышал свист марсианских снарядов. Многие слышали оружейную стрельбу. А некоторые даже ощущали запах газа или дыма.

Скоро все узнали истину. Хотя паника и улеглась, страсти кипели еще много недель. Возмущенная пресса обвиняла мистера Уэллса в том, что он недостойно сыграл на легковереии публики... Федеральная комиссия связи поставила вопрос о цензуре радиопередач...»

Конечно, Орсон Уэллс и его сотрудники не ожидали такого эффекта и, как говорится, недооценили своих талантов, но они, очевидно, недооценили и талант Герберта Уэллса. Сам он немедленно присоединился к «возмущенной прессе». «Глубоко огорчен последствиями радиопередачи, — телеграфировал он. — Я снимаю с себя всякую ответственность за столь вольное обращение с моей книгой». Но ведь даже в тех случаях, когда Орсон Уэллс вводил что-то от себя, он неизменно опирался на автора и подхватывал его намеки! Ответственность Герберта Уэллса была очень велика: он написал на редкость убедительный роман. Радиопаника в США, как ее принято с тех пор называть, произошла через сорок лет после выхода «Войны миров» отдельным изданием, причем между 1898 и 1938 годом лежала первая мировая война. Инсценировка Орсона Уэллса отстоит от нас еще на пятьдесят лет, а от романа Уэллса нас отделяют уже две мировые войны, и сегодня человечеству есть чего бояться помимо боевых треножников марсиан, да и не прилетят к нам марсиане — все теперь знают, что Марс — мертвая планета. А «Война миров» по-прежнему захватывающе интересна. Она живет своей жизнью, как и полагается крупному произведению искусства. И, надо думать, останется живой и тогда, когда отпадет опасность глобальной катастрофы, которая может случиться без всякого вмешательства марсиан.

«Война миров» писалась почти одновременно с «Человеком-невидимкой», отчасти даже вперемежку с ним. И все же для Уэллса это был уже следующий шаг. «Остров доктора Моро» поражает масштабом мышления автора, но на каждом шагу выдает свою романтическую природу. В конечном счете это — огромная, детально развернутая художественная метафора. «Второй план» «Человека-невидимки» нисколько не мешает узнаваемости обстановки и людских проявлений. Однако для того, чтобы от случившегося в нескольких суссекских деревушках перекинуть мост к трактуемому в романе широким социальным проблемам, требуется некото-

рое умственное усилие. «Война миров» совмещает достоинства обоих романов. Она соперничает с «Островом доктора Моро» уже не только широтой художественного мышления, но и непосредственным масштабом происходящих на наших глазах событий, нигде не утрачивая доказательности, психологической достоверности, напряженности действия, отработанности каждого эпизода. Это роман с большими взлетами, но при этом и без провалов.

Именно «Война миров» помогла Уэллсу завоевать признание за пределами англоязычного мира. В год выхода «Войны миров» появились две первые статьи об Уэллсе в России, и этот роман был первым его произведением, переведенным в тот же год на русский язык. Интересно, что, когда петербургское издательство Пантелева предприняло в 1901 году попытку выпустить Собрание сочинений Уэллса, первый его том открывался все той же «Войной миров». В год выхода «Войны миров» начали (правда, в хронологическом порядке) переводить Уэллса и во Франции. А Бернард Шоу, критик невероятно придирчивый, сказал про «Войну миров», что это «превосходнейшая вещь, ее невозможно отложить, пока не прочитаешь до последней строчки». Сам Уэллс тоже, видимо, высоко оценивал этот роман. Во всяком случае, из всей своей фантастики он только его отправил в ноябре 1906 года Льву Толстому, когда тот захотел познакомиться с его творчеством.

Если окинуть единым взглядом первые четыре романа Уэллса, особенно задержавшись взором на «Машине времени» и «Войне миров», возникает ощущение какого-то философски-художественного чуда. Уэллсу все больше удается закреплять в реальности и драматизировать то, что на каждом шагу грозит обратиться в систему отвлеченных понятий. Ведь «Война миров» в не меньшей степени «роман о времени», чем «Машина времени», но этот роман уже не требует никаких отсылок к Хинтону и не дает никакого материала в руки мистика Данну. Философские выкладки Уэллса, следует вспомнить, родились не из одних только занятий биологией и новой физикой. С их помощью он хотел осмыслить самую жизнь. И теперь они на каждом шагу возвращались к жизни, нисколько ее не абстрагируя, а лишь помогая увидеть ее во всей широте. Уэллс нигде не забывает обыденность, но обязательно сталкивает ее с мертвой точки и так убыстряет ход событий, что сегодня нам почти незаметное начинает вдруг надвигаться на нас, увеличиваться в объеме, становится не просто хорошо различимым, но обнаруживает множество деталей, о которых мы наперед не могли догадаться. А потом нам представляется возможность вернуться назад и, кинув новый взгляд на минувшее, понять наконец, что из будущего коренилось в сегодняшнем дне.

Одна из задач будущего в романах Уэллса — снять покров с настоящего. «Война миров» не составляет исключения. Две недели герою романа приходится провести в полужасыпанном доме в обществе теряющего рассудок священника, который непрерывно твердит, будто нашествие марсиан — наказание божье за людские

грехи. Что ж, в известном смысле он прав. Победа не далась марсианам совсем уж просто. Три их треножника погибли, армия и флот землян показали несколько примеров подлинного героизма, и все же их поражение — расплата за робость мысли, ограниченность, предрассудки, мелкость чувствований. В известном смысле Уэллс не щадит даже главного героя, от лица которого ведется рассказ. В начале романа тот сочиняет типично позитивистскую статью о прогрессе морали вместе с прогрессом цивилизации. Как легко догадаться, статья эта никогда не будет дописана. Нашествие марсиан заставит его думать по-другому. Ну, а что сказать о всех этих бесчисленных клерках, живущих в окрестностях и пригородах Лондона?! «У них нет мужества, силы, гордости. А без этого человек труслив. Они вечно торопятся на работу... С завтраком в руке они бегут как сумасшедшие, думая только о том, как бы попасть на поезд, на который у них есть сезонный билет, боясь, что их уволят, если они опоздают. Работают они, не вникая в дело; потом торопятся назад, боясь опоздать к обеду; сидят вечером дома, опасаясь проходить по глухим улицам; спят с женами, на которых женились не по любви, а потому, что у них есть деньги. Жизнь их застрахована и обеспечена от несчастных случаев. По воскресеньям они думают о Страшном суде. Как будто ад создан для кроликов. Для таких людей марсиане прямо благодетели: чистые, просторные клетки, отборная пища, порядок, полное спокойствие. Пробежав на пустой желудок с недельку по полям и лугам, они сами придут и станут ручными. Даже еще будут рады. Они будут удивляться, как это они раньше жили без марсиан. Представляю себе всех этих завсегдатаев баров, сутенеров и святош... Среди них появятся разные секты. Многое я видел раньше, но понял только теперь. Найдется множество откормленных глупцов, которые примирятся с новым положением; другие же будут мучиться тем, что это несправедливо и что они должны сделать что-нибудь. При таком положении, когда нужно на что-нибудь решиться, слабые и те, которые сами делают себя слабыми бесполезными рассуждениями, подпадут под влияние религии, бездеятельной и проповедующей смирение перед волей божией... В этих клетках будут громко распевать псалмы, гимны и молитвы. А другие, не такие простаки, займутся — как это называется? — эротикой».

Эти слова вложены в уста случайно спасшегося ездового артиллерийской батареи, в мгновение ока уничтоженной марсианами. Рассказчик уже встречался с ним раньше и теперь сидит с ним в одном из немногих уцелевших домов, слушая его рассуждения.

«Может быть, эти марсиане сделают из некоторых своих любимичков, обучат их разным фокусам; кто знает, может быть, вдруг им станет жалко какого-нибудь мальчика, который вырос у них на глазах и которого надо зарезать?.. Некоторых они, может быть, обучат охотиться за нами...

— Нет, — воскликнула, — это невозможно. Ни один человек...

— Зачем обольщаться? — перебил артиллерист. — Найдутся люди, которые с радостью будут делать это. Глупо думать, что не найдется таких.

Я невольно согласился с ним».

Здесь, впрочем, мы сталкиваемся с единственным, пожалуй, немного неловким местом в романе. И дело не только в том, что все эти рассуждения принадлежат простому солдату, а не самому рассказчику, которого нам рекомендовали как автора философских работ. Уэллс, видимо, отнюдь не случайно вложил эти рассуждения в уста человека из народа. Так они приобретали гораздо большую всеобщность, а тем самым и убедительность. Но дальше отношение рассказчика к словам артиллериста начинает раздваиваться.

У артиллериста есть свой план спасения человечества. Люди, избежавшие марсианского плена, должны организовать на военный лад и переселиться под землю. Им надо культивировать свою животную природу, чтобы выдержать суровые условия жизни и выращивать здоровое потомство. Неприспособленных и слабых будут выбрасывать (куда — на съедение марсианам?). В результате человечество распадется на две «породы». «Те, которых приручат, станут похожи на обыкновенных домашних животных; через несколько поколений это будут большие, красивые, откормленные, глупые животные. Мы же, решившие остаться дикими, рискуем совсем одичать, превратиться в больших диких крыс». (Если бы артиллерист читал «Машину времени», он мог бы сослаться на эту книгу.) Впрочем, может быть, этого удастся избежать. Надо постепенно овладевать знаниями, принесенными марсианами, потом захватить их треножки и отвоевать Землю...

В этом рассказе то и дело проскальзывают нотки, которые мы сегодня назвали бы фашистскими, но рассказчик на первых порах совершенно заворочен планом артиллериста и лишь с трудом избавляется от этого наваждения, да и то ему помогает сам его нечаянный сотоварищ, — при ближайшем рассмотрении он оказывается отнюдь не тем сверхчеловеком, каким себя рисовал, а болтуном, лентяем и обжорой. Но этот способ дезавуировать его, право же, не самый удачный. А что если бы артиллерист и в самом деле оказался сильной личностью?

Так от разоблачения действительного положения дел в настоящем (неэффективное общество, слабые люди) прокладывается путь к антиутопии того же примерно вида, что и в «Машине времени». Отличие между ними, впрочем, достаточно очевидно. На сей раз уход под землю оказывается вынужденным, и то, что он совершается под давлением обстоятельств, позволяет этой антиутопии выдавать себя за утопию. Ведь артиллерист не просто призывает для спасения человечества организовать бесчеловечное общество, он еще готов дать любые обещания на будущее.

Все это, к счастью, пусть и важный, но только лишь разговор, завязавшийся между двумя людьми, уверенными, что Земля уже

целиком подпала под власть марсиан. Уэллс не берется подробно прорабатывать все эти предположения и придавать им какую-то наглядность. Он находит более счастливый конец. Марсиане погибли от микробов, к которым у них не было иммунитета. Человек в конечном счете составляет некое единое целое со своей планетой. Он отвоевал свое право жить на ней, заплатив за это миллиардами жизней — начиная еще с доисторических времен, «и это право принадлежит ему вопреки всем пришельцам. Оно осталось бы за ним, будь марсиане даже в десять раз более могущественны. Люди не живут и не умирают напрасно». Эти мудрые слова, сказанные за несколько страниц до конца романа, принадлежат не только Уэллсу-биологу. Они имеют и более широкий смысл.

Будущее, которое Уэллс изображает в «Машине времени», «Острове доктора Моро», «Войне миров» и которым грозит в «Невидимке», — это так называемое «экстраполярное будущее», иными словами, будущее, непосредственно, без вмешательства преобразующих жизнь воли и разума, вытекающее из настоящего. Это будущее, которое надо предотвратить. Уэллс не зря назвал свой ранний пессимизм «преднамеренным», а все, им написанное, — призывом к переменам. Чтобы не пришло такое будущее, надо изменить настоящее. Уэллс в своих ранних романах никогда не сталкивает настоящее с тем будущим, о котором мечтает. Он сталкивает его с нежелательным будущим. Настоящее и это нежелательное будущее не узнают друг друга потому, что разделены сотнями тысяч, если не миллионами, лет, но они в чем-то существенно очень сродни. Нежелательное будущее — это повзрослевшее и состарившееся настоящее. То настоящее, которое в ходе лет оказалось уже на краю могилы. И надо позаботиться, чтобы оно не увлекло за собой все и всех, кому еще жить и жить. А для этого придется без устали говорить самое неприятное, разрушать самодовольство обывателя, ставить его на место, пугать его, если простые уговоры не действуют. Может быть, хоть испуг пробьет его защитную броню?

Человек миллионного года, как выясняется, не меньше отталивает своего создателя, чем тех, кто в момент его появления отшатывался от него или рисовал на него карикатуры. Он ведь уже не человек, а Уэллс не меньше других (порою даже кажется — как никто) ценит тепло человеческого общения, способность человека громко смеяться над окружающим и, пусть капельку тише, над самим собой, любить женщин и радоваться ответной любви, вдыхать аромат цветов и погружаться в интересное чтение, смотреть и видеть, слушать и слышать, или, в двух словах, — быть человеком. Он немного презирает тех, кому это не удается, но и жалует их. Ведь чаще всего им просто помешали. Как мешали ему. Он пробился. Он вышел из этих испытаний весь в рубцах — с неправильной речью, неумением держаться в обществе, со множеством комплексов и исковерканной психикой, — но он пробился. И будет дальше пробиваться. Для него дорога теперь открыта. А осталь-

ные? Как быть им? И как объяснить им, что быть человеком — это самое главное?

* * *

Уже с самого начала Уэллс писал не только о морлоках и элоях, марсианах и невидимках — он писал просто о людях. Это определило главную тональность его рассказов и нескольких ранних книг.

«Чудесное посещение», появившееся всего три месяца спустя после «Машины времени», уже сильно от нее отличалось. Это еще не был бытовой роман в прямом смысле слова, но фантастическое в нем и вправду «никак не претендовало на достоверность». Ангел, нечаянно раненный сиддермортонским пастором, увлекавшимся орнитологией, — это, как сообщает нам автор в специальном «Примечании об ангелах», «ангел Искусства, а не Ангел, притронуться к которому — кошунство, не Ангел религиозного чувства и не Ангел народных поверий». Самые святые свои чувства он передает через музыку, и скрипка в его руках — инструмент поистине волшебный. Он появляется над Сиддермортонем в ярком сиянии, подобном блеску драгоценных камней, его крылья переливаются потоками невиданных красок, он молод, прекрасен и чист во всех поступках своих и побуждениях. Мир, из которого он нечаянно залетел, во всем непохож на наш. Тамошние реальные звери — это грифы, драконы, сфинксы, единороги, гиппогрифы, а звери сказочные, о которых читают в книжках, это — лошади, коровы, орлы и множество других неправдоподобных существ, включая людей. В его мире не знают потребности в сне и пище, не рождаются и не умирают, там нет боли и горестей.

Ангела из «Чудесного посещения» написал словно бы не тот Уэллс, который предстал перед нами после «Машины времени», «Человека-невидимки», «Войны миров». Эти три вещи мог бы проиллюстрировать только художник-график; Ангел же из «Чудесного посещения» доступен лишь кисти хорошего живописца. Уэллс это написал или кто-то из представителей «эстетического направления»?

Для последних, впрочем, здесь тоже было нечто неожиданное. Пастор, подстреливший Ангела, не склонен считать его небожителем и немедленно начинает излагать известные ему (не иначе как из Уэллса) теории о четвертом измерении и параллельных вселенных, с чем Ангел, получи он научную подготовку, тоже, судя по всему, согласился бы. Да и люди, которые все знают об ангелах по картинкам, за настоящего ангела его принять никак не согласны.

А может быть, он и вправду не ангел?

На земле он быстро теряет свое переливчатое оперение, его крылья начинают сморщиваться, усыхать и теряют прежнюю силу. Облаченный в костюм от души полюбившего и приютившего его пастора, он теперь всего лишь неловкий горбун, поражающий всех своей неприспособленностью к жизни. Он и есть-то как следует не

умеет, не говоря уж о знании светских приличий, которым усердно, но не слишком успешно учит его пастор. Ему, например, объяснили, что, если женщина держит что-то, надо немедленно помочь ей и взять это у нее из рук. И вот, будучи приглашен как музыкант-виртуоз к местной аристократке, он начинает с того, что за столом пытается вырвать из рук соседки чайную чашку, а кончает тем, что, ко всеобщему возмущению, отбирает у горничной поднос с грязной посудой и уносит его на кухню. Одни у пастора из-за него неприятности. И так уж викарий попрекает его странным гостем, который по ночам спать не дает, все на скрипке играет, и от епископа пришло суровое письмо, а теперь ангел еще опозорил его перед важными господами!

Нет, это все-таки не ангел. Это вольтеровский Простак, принявший на сей раз обличье ангела. И роль ему отведена точно такая же, как иным героям Вольтера и других просветителей. Обычай мест, куда он попал, ему вчуже, а потому он смотрит на все свежими глазами; ум его не затемнен предрассудками, и многое вызывает не только его удивление, но и негодование. На вопросы, которые он задает пастору, непросто ответить. Почему, скажем, вот тот старый крестьянин пашет поле, когда они с пастором сидят и пьют чай? Ах, пастор для него тоже что-то делает? А что именно? Почему соседний помещик огородил часть земли колючей проволокой? Право собственности? Но что такое собственность? Словесные различия тоже повергают его в полнейшее недоумение. Почему дам ставят выше служанок, если служанка пастора, маленькая Делия, и красивее их, и душевнее?

Постепенно сидермортонское общество убеждается в том, что он социалист, и притом — из опаснейших: ведь свои вопросы он задает не только простаку-пастору, но и представителям «низших классов», сея тем самым смуту. Когда же он в ответ на наглую выходку того самого помещика, который протянул вдоль леса колючую проволоку, до полусмерти его избивает, дела его становятся совсем плохи. Но его не успевают ни арестовать, ни даже изгнать из села — они с Делией гибнут во время пожара. Впрочем, возможно, они не погибли, а вознеслись на небеса...

«Чудесное посещение» в значительной своей части — очерк нравов. Не столько клерикальных (Уэллс — не Треллоп, он плохо знает эту среду), сколько деревенских и не столько даже деревенских, сколько вообще «человеческих». Просветители приводили в Европу в этих целях кто перса, кто китайца, кто гурона. Ангел исполнил подобную роль ничуть не хуже. Хотя и не лучше. Уэллс еще только вступал на путь бытового романа. Но следующий свой шаг в этом направлении он сделает очень скоро.

Тот же взрыв творческой активности, что породил первые научно-фантастические романы Уэллса, принес и его первый бытовой роман. «Колеса фортуны» (1896), словно бы по контрасту с мрачной экзотикой «Острова доктора Моро», появились сразу после него — вещь веселая, легкая, нисколько от читателя не ото-

двинутая ни во времени, ни в пространстве. Действие начинается 14 августа 1895 года и происходит на дорогах Южной Англии, по которым совершает свое велосипедное путешествие приказчик из мануфактурного магазина мистер Хупдрайвер (буквально: катящий колесо). Продолжаться оно долго не может, потому что отпуск у бедняги Хупдрайвера совсем короткий, но приключений с ним случается множество. А ведь все потому, что он догадался купить велосипед пусть и совсем не «престижный», подержанный, а все-таки велосипед, средство передвижения по тем временам романтическое. И в самом деле, как его иначе назвать? Во-первых, колеса у тогдашних велосипедов свободно не прокручивались и научиться ездить на них значило подвергнуться стольким телесным повреждениям, что всякий, овладевший этим искусством, мог по праву именовать себя спортсменом. И если сегодняшний читатель весело смеется, читая, как Марк Твен пытался обуздать свой велосипед, то у тогдашнего читателя смех, надо думать, получался сквозь слезы. Во-вторых, купить велосипед в 90-е годы значило в Англии сразу же выйти за пределы своего узкого круга. Страной овладело какое-то велосипедное помешательство. В 1897 году появился даже сборник «Юмористика велосипедной езды», в котором кроме Уэллса участвовали Джером К. Джером и несколько других авторов. Писать и в самом деле было о чем. Те, кто совсем недавно счел бы ниже своего достоинства проехать по большой дороге иначе чем в карете (лучше — собственной), колесили теперь по ней на этих новомодных железных рамах с седлом и колесами, а прислуга в придорожных трактирах обтирала пыль с велосипедов совершенно так же, как перед этим чистила лошадей. А вольность нравов? Молоденькие девушки позволяли себе, сидя на велосипедном седле, появляться на людях в таких костюмах, в каких прежде постыдились бы выйти из дому! На проезжих дорогах происходило какое-то удивительное уравнивание словесий, и всякий, выехавший на них, мог потом повторить фразу Горация «видел обычаи многих людей» — ту самую, которую поставил эпиграфом к своей «Истории Тома Джонса» Генри Филдинг.

Правда, какая-то разница между Томом Джонсом и мистером Хупдрайвером все же была. Том Джонс принадлежал к лучшему кругу, так что ни произношения, ни привычек своих мог не стыдиться. Да и пообразованнее он был. Но это бы все еще ничего. Главное, ему не надо было так скоро возвращаться на работу — он вообще не служил! — и у него было побольше времени, чтобы «увидеть обычаи многих людей». И уж совсем хорошо было, конечно, мистеру Пиквику: тому и о деньгах беспокоиться не приходилось.

Но времена меняются. Новым героем «романа большой дороги» оказался приказчик, а транспортным средством — велосипед. Что, впрочем, не сделало роман менее интересным, а героя менее привлекательным, потому что случилось с ним множество приключений и вел он себя как истинный странствующий рыцарь, при-

званный защищать всех обиженных и вызволять девиц, похищенных драконом.

Такая девица встречается Хупдрайверу чуть ли не за первым поворотом дороги, тоже на велосипеде, хотя и получше того, на котором сидит Хупдрайвер, и она сама мчится прямо в лапы к дракону, ведать не ведая, разумеется, что это дракон, и вообще о том, что у драконов в обычае, когда им встречается привлекательная девица. А Джессика Милтон и в самом деле привлекательна. Так привлекательна, что бедняга Хупдрайвер влюбляется в нее с первого взгляда, после чего никакие опасности ему уже не страшны. Ради нее он даже принимает участие в поединке, точнее — в кулачной драке, или, чтоб совсем уж быть точным, чуть не принимает в ней участие, ибо противник оказался еще трусливее его и после первой же стычки попросту убежал.

Приказчик наш — существо слабосильное, заморенное, но разве Дон Кихот тоже не был слабосильным и заморенным, хотя и не по причине многочасового стояния за прилавком?

Новый Дон Кихот, он же Том Джонс, он же — все четыре пиквикиста в одном лице, вышел на дороги Англии, чтобы преодолеть все трудности, победить все опасности, помочь Джессике скрыться от средних лет «дракона», опрометчиво обнаружившего гнусность своих намерений, а потом еще помочь ей скрывать-ся какое-то время от преследующей ее мачехи...

Собственно говоря, в эскападе Джессики мачеха и повинна, но, в конце концов, как могла она предвидеть, что падчерица примет всерьез ее писания относительно Новой женщины, самостоятельно прокладывающей себе дорогу в жизни? Не обязательно же родные писателей ведут себя, как их герои! А теперь вот приходится гнаться за глупой девчонкой через пол-Англии! Правда, и для нее это путешествие оказывается совсем нескучным, поскольку ее сопровождают несколько поклонников ее красоты и таланта.

Кончается все, как и положено для подобной повести, совсем неплохо. Герои возвращаются по домам. Правда, Джессике ждет устроенный буржуазный дом, а Хупдрайвера — господи Энтробус и К⁰, ненавистное дело и не слишком любимое общежитие для приказчиков, но в том ли беда? Роль молодого человека с независимыми средствами, который только что прибыл из колонии,



а потому и говорит и ведет себя несколько странно, непохоже на тех, кого знает Джессика, выдержать не удалось, да и может ли странствующий рыцарь обманывать свою даму? Он сам ей во всем признается. И она советует ему учиться. Значит, какая-то надежда все-таки есть?

Уэллс не хочет лишать своего героя этой надежды. Пусть тщетной. Хупдрайверу ли повторить путь Уэллса? Но неужели отнимать у него и эту радость? Ведь человек он хороший! И за других готов постоять!

Как нетрудно заметить, покойный дядя, некогда выехавший на английские дороги на своем трехколесном велосипеде, проторил путь для героев куда более действенных и интересных. Уэллс будет еще писать (по-своему, конечно, не как мачеха Джессики) и о Новой женщине, и о приказчиках. О последних он напишет особенно много. Он только что, почти не вступая в борьбу, спасовал перед Троллопом, когда речь зашла о сиддермортонском клире, но самому ему скоро предстояло стать своего рода Троллопом мануфактурной лавки. А любимыми его героями на немалый срок сделаются молодые люди, пытающиеся вырваться из своей среды. Уэллс снова и снова словно бы прорабатывал разные варианты собственной биографии. Он прекрасно понимал, что его судьба исключительна. Тот же Хупдрайвер, скорее всего, зря понадеялся когда-либо уйти из-за прилавка. И талантами он не блещет, и не больно-то он умен. Да и тем из героев Уэллса, кто больше походил на своего создателя, не обязательно должно было повезти. Но он не переставал их любить. А тем более — жалеть.

Первый из подобных героев появился уже в 1900 году, звали его мистер Льюишем, и имя его даже вошло в заглавие. Книга называлась «Любовь и мистер Льюишем».

Читателю, который уже одолел предшествующую часть лежащей сейчас перед ним книги, нет нужды выслушивать содержание этого романа: оно во многом соответствует биографии автора. Особенно точно описан период, когда Уэллс делал первые шаги на педагогическом поприще у Хореса Байата в Мидхерсте. Но Льюишесу не суждено стать ни ученым, ни писателем. Женившись, он вынужден теперь всю жизнь трудиться просто ради куска хлеба...

И все же не следует думать, что Уэллс покусился на лавры Гиссинга. В романе, как нам обещает его название, кроме мистера Льюишеса с его печальной судьбой, есть еще и любовь во всей ее прелести, и жизнь во всей ее красоте, и люди во всей их неожиданности. Один из рецензентов, оценивавший первые бытовые романы Уэллса, удачно заметил, что, когда тот прилагает к человеку свою наблюдательность, выработанную занятиями наукой, это приносит совсем неплохие плоды. Но Уэллсу, обратившемуся к бытовым романам, приходилось упражнять не только и, может быть, даже не столько наблюдательность, сколько память. На сей раз то, о чем он писал, он знал. И не просто видел со стороны, а, что называется, испытал на собственной шкуре.

Потом будет создано еще несколько книг, которые можно назвать «романами-воспоминаниями», причем Уэллс не обязательно вспоминает о самом себе. Но память о днях, когда все его окружение составляли люди, ему, тогдашнему, под стать, не пожелает уйти от него и будет снова и снова выплывать на его страницы.

Впрочем, после этого короткого отступления (оно же — вступление к дальнейшему разговору об Уэллсе как авторе бытовых романов) нам самое время вернуться к его фантастике. Он, как легко догадаться, еще не перестал ее писать. Ведь и ранний цикл его фантастических романов пока не закончен.

* * *

Кстати, не пора ли перестать говорить об одних лишь успехах Уэллса и упомянуть об одной его неудаче?

Речь идет о романе «Когда спящий проснется», тоже отпочковавшемся от «Аргонавтов хроноса». Разница между ним и другими потомками «Аргонавтов», впрочем, весьма заметна. Каждый из остальных членов этой литературной родни, явившись на свет, обрел собственное лицо и собственную жизнь. У романа «Когда спящий проснется» тоже есть собственное лицо, но совершенно невыразительное. Критики, оценивающие его достаточно высоко, хоть изредка, но встречаются. С читателями дело гораздо хуже. Критиков радует «правильное» содержание книги. Читателям же не хватает, очевидно, теоретической подготовки, а может быть, они по старинному и, разумеется, достойному всяческого осуждения, но, увы, непреложному читательскому обыкновению гонятся лишь за собственным удовольствием и в данном случае получить его оказываются не в силах.

Причин здесь немало.

«Когда спящий проснется» не просто порожден «Аргонавтами хроноса». Он, что называется, отторгнут от них как инородное тело. В одном из вариантов «Аргонавтов», начинавших понемногу перерождаться в «Машину времени», были эпизоды революции, написанные под явным влиянием известной книги Томаса Карлайла (1795—1881) «Французская революция» (1837), одно время увлекавшей молодого Уэллса. Но Карлайл рассказывал о революции, случившейся в XVIII веке, а это не подходило к условиям описанного в романе высокоразвитого индустриального общества. Подобный «вставной эпизод» никак не мог прижиться в «Машине времени». Он не подходил к ней и по смыслу своему, и по эстетике.

Эта инородность по отношению к ранним фантастическим романам Уэллса сохранилась в книге и тогда, когда она приобрела самостоятельную жизнь. Сам Уэллс тоже не связывал «Когда спящий проснется» со своими ранними вещами и протягивал от этого романа нить к другим произведениям, где его художественная манера уже заметно изменилась. В «Машине времени», «Острове доктора Моро», «Человеке-невидимке», «Войне миров» и написан-

ных потом, уже в начале XX века, «Первых людях на Луне» фантастическое подчиняло себе даже самое достоверное. Можно выразить это и по-другому: конкретное убеждало нас в правде фантастического. В центре произведения обычно стоял фантастический образ. С некоторых пор это принято называть «фантастикой единой посылки». В подобном романе делается лишь одно фантастическое допущение, но оно так убедительно обосновано, что мы ему верим, и так многозначно, что через него раскрывается весь смысл книги.

«Когда спящий проснется» имеет иную эстетику. Уэллс впоследствии предлагал называть это произведение не научно-фантастическим и даже не «романом о будущем», а одной из его «фантазий о возможном». «Автор, — писал он, — обращается к тому, что уже намечилось в реальности, и показывает, как велики могут быть последствия этих явлений, когда они разовьются». «Когда спящий проснется» не был единственным произведением в этом роде. Потом, исходя из подобных же установок, Уэллс написал еще «Войну в воздухе» (1908) и «Освобожденный мир» (1913), но там он усложнил и обогатил эту новую для себя манеру. Что же касается первого из всех притязующих на обобщающую образность «фантазий о возможном» — романа «Когда спящий проснется», — то это был как раз тот блин, который выходит комом.

В «Когда спящий проснется» Уэллс вступил на путь Жюль Верна и тут-то, во всяком случае на первых порах, превратился в того самого «второго Жюль Верна», каким его несколько лет назад несправедливо окрестила английская критика. Теперь тогдашняя ошибка выглядела как предсказание. И выяснилось, что «первый Жюль Верн» был лучше. Натуральнее. Легче. Веселее.

Уэллс словно бы вступил не в страну Жюль Верна, а в мрачную Гиссингову страну, которая ему самому так не нравилась. То, что действие происходило в двадцать первом веке, дела не меняло. Это могло касаться прогностической стороны романа, но не его художественных достоинств, точнее же — недостатков. В романе нет ни одного живого лица, ни одного подробно и со вкусом выписанного эпизода, ни малейшего проблеска юмора, ни одного интересного сюжетного поворота. Даже в будущее герой попадает способом, давно фантастами опробованным: он заснул летаргическим сном и пробудился два столетия спустя.

И все же книга эта написана не Жюлем Верном, а Уэллсом. При заметно усилившемся интересе к технической прогностике автора больше всего интересуют социальные перемены. И здесь он снова вступает в спор с позитивистами.

Прогресс техники в XXI веке привел к невиданным результатам. Лондон вобрал в себя население всей страны и представляет собой огромное здание, крыша которого уставлена ветряными двигателями, дающими дешевую электроэнергию, а по бокам разместились аэродромы. Потоки транспорта заменили на улицах движущиеся платформы. Вся промышленность перенесена под

землю, автоматизирована, и место прежних рабочих заступили операторы. Но уже и в самом по себе безудержном развитии техники заключена определенная опасность. Исчез уют домашнего очага, люди превратились в стадных животных, хотя и очень неплохо обслуживаемых. В колоссальных столовых по рельсам движутся блюда с невиданными яствами, и каждый сам себе накладывает, что пожелает, а потом моет свою посуду при помощи какой-то летучей жидкости. Книги исчезли. Их заменили говорящие и записывающие аппараты. В жилых помещениях стоят телевизоры. Платье шьет за несколько минут портяжная машина. Все подобные усовершенствования, однако, отнюдь не привели к «человечиванию» человека. Эти хорошо ухоженные существа, по сути, мало чем отличаются от дикарей. Их духовный уровень крайне низок, их развлечения вульгарны — это то, что в XX веке называют «массовой культурой». И они находятся в положении рабов. Они — вечные должники управления рабочей силой, выросшего из Армии спасения и, словно бы в насмешку, продолжающего носить то же название. Права распоряжаться собственной судьбой они не имеют. В руках Белого совета — своего рода транснациональной корпорации, завладевшей всей собственностью в мире, — огромная власть. И все же такое положение дел не вечно. «Спящий» — Грехем, пробудившись от двухвекового сна и обнаружив, что за минувшие два столетия он оказался владыкой мира, привносит в новое общество забытые идеалы демократии и социализма. Две революции кладут конец власти Белого совета, а потом и диктатуре инженера Острога, занявшего его место. Народ восторженствовал, но Грехем, приняв участие в воздушном бою, погибает.

Обычно при таком беглом изложении содержания теряется очень многое от художественной фактуры книги. В данном случае, думается, потери минимальны. Но, к счастью, в этом романе есть и сатирическая струя. Общество XXI века по-своему традиционно. Англия остается монархией, хотя король спился и выступает на сцене второразрядного мюзик-холла. Церковь тоже не исчезла, она только превратилась в коммерческое предприятие, не брезгающее самой низкопробной рекламой: «Здесь самое скорое в Лондоне обращение грешников! Опытные мастера — не зевайте!»; «На кафедре сегодня все знаменитые епископы. Цены обыкновенные», «Копите денежки и не забывайте творца...»

Сам Уэллс назвал «Когда спящий проснется» «одной из самых притязательных и наименее удовлетворительных» своих книг. В 1910 году он внес в роман некоторые изменения и выпустил его под названием «Спящий просыпается», но и этот вариант успеха не имел.

В романе «Первые люди на Луне», печатавшемся в «Стрэнд мэгэзин» с декабря 1900-го по август 1901 года, Уэллс вернулся к своей прежней манере, и это вновь была его большая удача.

Если говорить о фантастике в целом, то в XIX веке до Уэллса был только Жюль Верн. Если говорить о путешествиях на Луну,

то здесь до Уэллса были, по сути дела, чуть ли не все, кто писал фантастику, — начиная еще с античности. И в те и в более поздние времена фантасту, казалось бы, куда проще было перенести своих героев в какие-нибудь неизвестные земли, благо, поверхность нашей планеты лишь совсем недавно лишилась белых пятен; но нет, им во что бы то ни стало требовалось попасть на ночное светило или, по крайней мере, полетать вокруг него. Так поступили, правда, лишь герои романа Жюль Верна «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» (1865), люди, бесспорно, весьма легкомысленные, ибо, вылетая на Луну, они почему-то не подумали о том, как им вернуться обратно. Да и сам автор стал размышлять об этом много позже, когда в 1870 году ему представилась возможность написать новый роман о космическом путешествии. Герои, продолжавшие, очевидно, все эти годы крутиться вокруг Луны, были люди очень милые, их стоило пожалеть, и Жюль Верн позволил им вернуться на Землю.

Чем приманивала фантастов Луна? Трудно сказать. Скорее всего тем, что этот неведомый мир всякую ночь у нас на глазах, сам все время о себе напоминает, добраться же до него представлялось немногим сложнее, а может быть даже и легче, чем достичь далеких стран на земной поверхности. Да, наверное, и безопаснее: по дороге никто не убьет, не ограбит. И на Луну летали с помощью птиц, воздушного шара, пушки, а то и просто переносились туда каким-либо волшебным способом. Конечно, непознанность этого мира служила главной приманкой для почти всех путешественников, исключая, быть может, одного Жюль Верна. На лунной поверхности легко было разместить человекоподобные существа, дававшие нам пример, как следует или как не следует жить. Всякое путешествие на Луну было либо утопией, либо антиутопией.

Уэллс, как всегда, повел себя не по правилам. Прежде всего, его герои (за что его осудил Жюль Верн) попадали на Луну совершенно необычным способом, и Уэллс мог бы сказать себе в оправдание лишь то, что он этот способ не сам придумал. Когда Ричард Грегори узнал о намереньях Уэллса написать роман о путешествии на Луну, он прислал ему опубликованную в «Нейчур» в августе 1900 года статью профессора Пойнтинга, где рассказывалось об экспериментах по получению вещества, способного экранировать земное притяжение. Но главное было не в этом. Конечно, Уэллса тоже заманила на Луну возможность показать неведомый мир, но поместился этот мир не на поверхности нашего спутника, а в его недрах, и описывая его, Уэллс не стал делать выбор между утопией и антиутопией, а предпочел по-свифтиански, причудливо, перемешать то и другое. Здесь Уэллс доказал правоту Жюль Верна, который, назвав его «представителем английского воображения», сослался в первую очередь на его роман о путешествии на Луну.

Впрочем, Уэллс показал себя в этом романе «представителем английского воображения» задолго до того, как его герои отправи-

лись в путешествие. Рассказчик — зовут его Бедфорд — встречает первое странное существо вовсе не на Луне, а в обычной английской деревне. Прогорев на финансовых операциях (правильнее их назвать махинациями), он решил поправить свои дела литературой и, поскольку ему сказали, что в театре можно хорошо заработать, решил написать пьесу. Он снял домик в деревне и принялся за дело. К его удивлению, пьеса все как-то не получалась, и он довольно скоро понял, чья тут вина. Каждый вечер у него под окном появляется какой-то странный человечек. Постоит, пожужжит, а потом, глянув на часы, совсем как Белый Кролик у Кэрролла, стремительно бросается обратно. Только что не кричит: «Я опоздал, я опоздал!» Вот почему с пьесой не ладится! И так — две недели подряд! Пьеса не сдвигается с места, и на четырнадцатый вечер Бедфорд решает положить этому конец. Он вступает в разговор с незнакомцем и приводит того в большое смущение, объяснив ему, как со стороны выглядят его ежевечерние прогулки. Он выходит полюбоваться закатом, но ни разу не поглядел на закат, ни разу не пришел, куда собирался, и — совершенная уже для того неожиданность! — все время жужжит. Так начинается их знакомство, и скоро мистер Бедфорд уже помогает мистеру Кейвору (так, оказывается, зовут этого чудака) работать над «кейворитом» — веществом, которое служит экраном, непроницаемым для земного притяжения. Энтузиазм мистера Бедфорда день ото дня растет: ему приходят в голову все новые области применения кейворита, а значит, и новые способы обогащения. Кейвор — человек непрактичный, и, следовательно, заправлять всем будет он, Бедфорд. Но случается так, что Бедфорд сперва оказывается спутником Кейвора, когда тот из научной любознательности решает полететь на Луну. Если соорудить стеклянный шар с закрывающимися шторами из кейворита, предпринять подобное путешествие совсем нетрудно. И вот они уже на Луне.

На первый взгляд это тот самый необитаемый мир, который уже давно описали астрономы. Но для Уэллса в подобном случае роман не стоил бы бумаги, на которой написан. Ему нужно было лунное население. И оно появилось.

Луна возникла одновременно с Землей, но обладает меньшей массой, раньше должна была остыть, а следовательно, и органическая жизнь могла возникнуть на ней раньше. Конечно, притяжение Луны слишком мало, чтобы удержать атмосферу, но что если она — пористое тело? Не мог ли воздух скопиться в ее недрах? К тому же температура поверхности Луны в ночное время приближается к абсолютному нулю, а значит, любой газ неизбежно приходит в жидкое состояние и благодаря этому обретает, пусть на время, плотность, мешающую ему улечься в мировое пространство. Все эти соображения и помогают Уэллсу создать лунную флору, фауну и заселить Луну разумными существами. Конечно, человеческому восприятию целый мир, расположенный внутри планеты, покажется странным, но столь же странными должны

казаться селенитам земные города и даже дома. Все зависит исключительно от того, кто к чему пригляделся и притерпелся, а Уэллс никогда не баловал читателя привычным. Он, напротив, ставил целью разрушать умственные стереотипы.

Лунный мир живет по своим законам, и Уэллс потому-то так легко балансирует на грани утопии и антиутопии, что, с одной стороны, показывает читателю, насколько его удивление и неприятие увиденного сродни его ограниченности, а с другой, не мешает тому проводить аналогии между земным и лунным. Лунный мир оказывается при этом карикатурой земного. В некоторых, во всяком случае, отношениях. Селениты — существа в высшей степени специализированные. Разделение труда достигло там такого высокого уровня, что привычное для нас многофункциональное существо, именуемое человеком, попросту исчезло. Это высоко-развитый мир. В нем есть и искусство, и наука. Но художник только рисует. Он ни о чем больше не думает, ни к чему больше не стремится, ничего не умеет. Он только рисует — и ненавидит всех, кто занят чем-то другим. Математик только выводит формулы и способен улыбнуться, лишь открыв какой-либо математический парадокс. Есть ученые, обладающие способностью создавать новые идеи. Есть другие, способные только хранить в себе знания, и единственное, что психологически объединяет тех и других, — это крайнее тщеславие. Но подобная проблема при селенитском уровне специализации разрешается простейшим образом. При каждом ученом кроме дюжих носильщиков, таскающих эти тщедушные существа по лунным галереям, состоят еще и глашатаи с трубовидными головами. Они идут перед носилками и что есть мочи орут о заслугах ученого. На Луне нет книг — все знания хранятся в мозгах, которые мы теперь вправе были бы сравнить с соответствующими частями компьютеров; нет многих механизмов и механических приспособлений, поскольку их заменяют живые существа, специально приспособленные в силу своего строения для производства нужных работ. Разделение труда биологически закрепилось в великом многообразии не очень уже одно на другое похожих существ. Но этого мало. И, совсем как доктор Моро своим скальпелем создавал новые формы жизни на Земле, так их создают и на Луне. Это «инструменты» чуть ли не в буквальном смысле слова. Они лишены признаков личности, и, когда в них нет нужды, их каким-то образом «выключают» (что, замечает Уэллс, все-таки лучше безработицы) и сваливают в своеобразных «складах рабочей силы». На Луне возникло «Царство науки» в самых рациональных и одновременно гротескных формах. Это общество можно назвать как угодно, но только не человеческим обществом.

На что, впрочем, оно и не претендует. Некоторое время спустя, после того как Бедфорду удастся с изрядным запасом золота сбежать на Землю, а Кейвор оказывается в руках селенитов, Великий Лунарий изъявляет желание увидеть его и как можно больше узнать про Землю. И мистер Кейвор — человек наивный — рас-

сказывает все как есть. И о существовании на Земле многих государств, и о войнах между ними, и о страшных орудиях уничтожения, которыми они располагают. Правитель Луны выслушивает все это так же, как выслушивал Гулливера король великанов. Здесь все права антиутопии берет на себя земное общество.

Великий Лунарий с первого же взгляда представляется нам чем-то давно знакомым. Да, нет сомнения, это все тот же Человек миллионного года, только воссевший (стоять он не может) на трон этого на феодальный лад организованного, высоко рационального и овладевшего всеми науками общества. Мы имеем возможность в последний раз взглянуть на этот живой компьютер и припомнить все воплощения, в которых он нам являлся. Небогипфель — не в счет. Существо это межеумочное, он от одних ушел, к другим не пришел, да и к тому же литературной реальностью стать не сумел: у автора не хватило тогда умения. Марсиане страшны и отвратительны. Ну а их прародитель — Человек миллионного года? Как к нему относился автор? Если вчитаться в этот ранний очерк Уэллса и оценить не только непосредственный смысл рассказанного, но и его издевательски-напористый стиль, становится сразу понятна свифтианская природа этого надолго завладевшего сознанием Уэллса образа. «Человек миллионного года» в чем-то сродни свифтовскому «Скромному предложению об употреблении в пищу детей бедняков». В основе своей это, конечно же, экстраполяция. Но у молодого Уэллса экстраполяция (если исключить «Когда спящий проснется») носит весьма скромный характер. Она дает толчок мысли автора, а потом уступает место чему-то другому. В «Машине времени» сказано несколько слов о том, что люди все больше обживают подземелье, но не стоит, думается, исходя из этого, утверждать, что индустриальный ад, населенный морлоками, ведет свое происхождение от лондонского метрополитена. В «Острове доктора Моро» главное действующее лицо — гениальный хирург, опирающийся на то, что уже делалось во времена Уэллса, но и Моро, в конце концов, — никакой не хирург, а Творец (понимай это слово, как пожелаешь), и роман этот — отнюдь не о возможностях пластических операций. Экстраполярный зародыш очень быстро перерастает у Уэллса в многозначный, обобщающий фантастический образ. Великий Лунарий — тоже из их числа. И отношение к нему, в общем, примерно такое же, какое с самого начала вызывал Человек миллионного года, разве что объект насмешки несколько переместился. В «Человеке миллионного года» Уэллс устраивал издевательство над читателем. В «Первых людях на Луне» что-то от этого остается. Умиление, в какое приходит Кейвор от феодальных церемоний, которыми обставлено его появление пред очи (крохотные глазки на желеобразной массе) Великого Лунария, выглядело бы достаточно комично, если бы не имело для него самого роковых последствий (судя по контексту, его на всякий случай решают убить). Но и сам Великий Лунарий на сей раз, хотя целые сонмы насекомообразных

придворных преисполнены к нему благоговения, вызывает обратное чувство. Этому властителю Луны так же трудно представить себе что-либо, не подкрепленное его предшествующим опытом, как и тому читателю, против которого были направлены стрелы иронии автора «Человека миллионного года». В его мыслительном процессе все время происходят какие-то сбои, он «перегревается», и его начинают опрыскивать водой. Он страшен как пример ничем не ограниченной и никем не ставящейся под сомнение власти, но он жалок и комичен в конкретном своем воплощении. Носителем власти, как выясняется, может быть нечто, определяемое как «отвлеченное понятие». Слова «человечески безличное» здесь не подходят, поскольку на человеческое Великий Лунарий не притягивает, а лица у него попросту нет — оно ему и не полагается.

Для Уэллса же, чем больше он чувствует себя писателем, человеческое делается все важнее. И не обязательно что-то человечески крупное. Напротив, такие образы ему решительно не даются. Нет, ему нужно обыденное, согретое теплом повседневности; он любит отмечать простейшие человеческие реакции, и в фантастических романах речь просто идет о реакциях на необычное. Лунный пейзаж открывается глазам Бедфорда — о нем рассказывает именно он, вполне конкретный человек, а не какой-то отвлеченный рассказчик; это они с Кейвором объедаются опьяняющим марсианским грибом и соответственно, себе на беду, начинают себя вести. Юрий Олеша справедливо восхитился одним местом из «Первых людей на Луне». Взятых в плен Кейвора и Бедфорда заставляют перейти по узкой доске через глубокую пропасть. Они неспособны это сделать, а селениты видят в этом только непослушание: чувство головокружения им незнакомо. И пленникам, чтобы не погибнуть, приходится в самом деле взбунтоваться и начать силой прокладывать себе путь на лунную поверхность, где они надеются отыскать свой шар и вернуться на Землю.

Но как бы ни были обыденны герои Уэллса, он все-таки пишет в своих фантастических романах о Человечестве. Под его пером этому понятию не дано воплотиться в каком-то грандиозном образе. Гаргантюа и Пантагрюэль жили давно, и, пока речь идет о современности, Уэллс отнюдь не склонен населять Землю их потомками. Но чем дальше, тем больше человечество начинает у него просвечивать через человека. Даже такого, как Бедфорд. На обратном пути на Землю он вдруг теряет ненадолго ощущение своей личности: он уже не Бедфорд в изготовленном Кейвором стеклянном шаре, а Человек в Космосе. Минет совсем недолгий срок, и он снова станет таким же Бедфордом, каким был прежде, — оборотистым, самоуверенным, неглубоким, но все-таки эти мгновения были. Были! И значит, Человечество существует!

«Первыми людьми на Луне» замкнулся круг ранних романов Уэллса. Впрочем, слова «ранние романы» звучат в данном случае слишком слабо — это ведь и были те романы, благодаря которым он завоевал положение классика. Конечно, сказать: «ранние рома-

ны Уэллса» не совсем то же самое, что сказать: «ранние пьесы Шеридана». Шеридан написал своих «Соперников» в двадцать четыре года, «Школу злословия» — в двадцать шесть и, потрудившись вполсилы для сцены еще годика два, не возвращался больше к прославившей его профессии. Когда он умер шестидесяти пяти лет от роду, ему были устроены государственные похороны, но право на эту честь он завоевал чуть ли не за сорок лет до того и так в это свое право верил, что подтверждать его новыми литературными успехами не собирался. С Уэллсом все обстояло иначе. Так называемые «ранние романы» — только малая часть им написанного. Он ведь на протяжении жизни опубликовал сто десять книг. Среди них были вещи, которые принесли бы известность любому другому писателю, но все же не сделали бы его классиком. Уэллс последующих лет — это все тот же автор «Машины времени», «Острова доктора Моро», «Человека-невидимки», «Войны миров» и «Первых людей на Луне», не оставивший литературную деятельность. Слава его нарастала не столько от одной книги к другой, сколько от одного поколения читателей ранних романов к другому, и новые романы лишь подтверждали ту истину, что он не просто классик, но «живой классик», способный и сегодня сказать вдруг что-то очень нужное людям.

Утверждалась слава Уэллса какими-то странными путями. Такого приема, как «Машина времени», не удостоился в Англии ни один из его следующих романов. Но на континенте Уэллса узнали после «Войны миров». И здесь слова «нет пророка в своем отечестве» оправдались сразу в двояком смысле: Уэллса теперь ценили во Франции больше, чем Жюль Верна. Жюль Верна же, сохранявшего свой авторитет в Англии, почитали на его родине год от года все меньше. Никак не было случайностью, что два английских журналиста заинтересовались мнением Жюль Верна об Уэллсе, но ни один французский корреспондент не задал своему соотечественнику подобного вопроса. Это выглядело бы ужасной бестактностью. Регулярно, как и несколько предшествующих десятилетий, продолжали, по два в год, выходить романы Жюль Верна, но публика уже зачитывалась Уэллсом. В то время, когда Жюль Верн снисходительно высказывал Роберту Шерарду и Чарльзу Даубарну свое мнение ветерана о новичке, вступившем в его владения, публика и критика уже сказали веское слово. И отнюдь не в пользу Жюль Верна.

В декабре 1901 года, почти за два года до интервью Жюль Верна Роберту Шерарду и за три года до его интервью Чарльзу Даубарну, в журнале «Эрмитаж» появилась статья двадцатилетнего критика и драматурга Анри Геона, в которой тот, оценивая только что вышедший во Франции перевод «Первых людей на Луне», обратился заодно и к становившейся уже навязчивой теме «Уэллс и Жюль Верн». Уэллса, говорит Анри Геон, сравнивали с Эдгаром По и с Жюлем Верном, но в первом случае его достоинства преувеличивали, а во втором приуменьшали. В раннем

детстве, продолжает Геон, я упивался Жюлем Верном, сейчас он мне совершенно не нужен. Он ведь всего лишь детский писатель, хотя ему, конечно, хотелось бы быть чем-то большим. Это одинаково касается его научных познаний и его воображения. И в том и в другом отношении его просто не приходится ставить в один ряд с Уэллсом. Тот намного значительней. Это писатель для взрослых, философ и психолог. Перемещает ли он своих героев во время, забрасывает на Луну, или даже заставляет спуститься в ее недра, он всегда позволяет нам ощутить их телесный облик, узнать их душу и проникнуть в их мысли. Он прикидывает, каким становится человек в тех или иных вымышленных обстоятельствах, и позволяет нам порою увидеть это с полной отчетливостью. Наш интерес неизменно перемещается от внешнего к внутреннему, главному, и здесь мы находим источники драматического напряжения и иронии, отличающие его романы. В них много свифтианского, преднамеренно необычного и расчетливо абсурдного. И, что тоже достаточно важно, романы эти очень занимательны, их интересно читать.

Три месяца спустя во влиятельном «Журналь де Деба» появилась статья еще одного критика, Огюстена Филона, где автор именовал Уэллса «великим реалистом несуществующего мира», раздумывающим о судьбах человечества и науки, а Жюль Верн отодвигался куда-то далеко, на второй план. Таково было общее мнение. Уэллс выиграл сражение с Жюлем Верном решительно и бесповоротно, и позиции свои закрепил на долгие времена.

Когда в 1936 году в Англии праздновалось семидесятилетие Уэллса и Андре Моруа пригласили выступить на торжественном банкете от имени французских литераторов, он сделал такую запись: «Я охотно дал согласие, потому что считаю Уэллса непревзойденным фантастом, принадлежащим к тому же к редкому числу писателей, которые обладают подлинной научной культурой». В Англии в этот год никто таких возвышенных слов не произнес. Очень многим Уэллс казался писателем, пережившим свою славу, и, хотя мы теперь знаем, что, напротив, до высшего ее взлета он тогда еще не дожил, этого не понимал никто из его современников-англичан. Французы же думали иначе.

Поистине «нет пророка в своем отечестве»!

2

Пророк в своем отечестве

И все-таки первые десятилетия после выхода «Машины времени» словно бы служили опровержением этой пословицы. Тем более что, завершив первый цикл романов, Уэллс выступил с книгой «Предвиденья о влиянии технического и научного прогресса на человеческую жизнь и мысль» (1901). Сейчас, когда пророческий

пыл Уэллса приобрел адекватную форму и прогностика, в отличие от романа «Когда спящий проснется», перестала рядиться в чужие одежды, снова пришел успех. В начале века недостатка в предсказаниях на следующие сто лет не наблюдалось, но все равно книга Уэллса сразу же выделилась из числа остальных. Одного места в ней он стыдился всю жизнь: за два года до полета братьев Райт он заявил, что летающий аппарат тяжелее воздуха будет создан только к 1950 году. Но это особого значения не имело: Уэллс ведь писал не столько о самом научном и техническом прогрессе, сколько «о его влиянии на человеческую жизнь и мысль». В области материального прогресса как такового он более или менее подробно разрабатывал только вопрос о средствах транспорта и путях сообщения, да и то потому лишь, что это оказалось отправным пунктом всей его концепции. Уэллс решил поговорить о мире, в котором практически «исчезнут расстояния». Тем самым народы сблизятся и возникнут предпосылки для мирового государства. Именно эта идея начинает проглядывать, пока еще робко, в первом политическом трактате Уэллса. Со временем она целиком завоюет его мысль. «Человечество в процессе самосозидания» (1903) назовет он свой следующий трактат. И хотя книга получилась крайне неудачная, заглавие ее определило ход мысли Уэллса на всю оставшуюся жизнь. Человечеству предстоит еще долгий путь развития, в том числе и духовного. А духовно объединившееся человечество потребует и новых, более широких, ломающих национальные границы форм государственной организации. Человеческая мысль становится все сильнее — почему бы и миру не объединиться на рациональной основе?

Правда, в «Предвиденьях» требования рациональности настолько подчиняют себе требования гуманности, что порой этот трактат начинает напоминать рассуждения солдата-артиллериста из «Войны миров», и если говорить об общественных тенденциях XX века, которые действительно предугадал Уэллс, то вернее всего он предсказал ту из них, которая в реальном своем воплощении его ужаснет и оттолкнет, — фашизм. Но тогдашний читатель видел это будущее не яснее автора, а мыслил Уэллс смело, логически, доказательно. О том, какой сильный ум скрывается за фантастическими образами и сюжетами ранних романов, можно было бы догадаться и раньше, но теперь Уэллс разговаривал с читателями, стоя перед ними с открытым лицом, и впечатление производил огромное.

К тому же и о сделанном им в области фантастики, наконец-то, пошел серьезный разговор. И не только во Франции, где к мнению критики присоединился сам Анатоль Франс, сказавший, что Уэллс — это «философ-естествоиспытатель, не склонный пугаться собственной мысли» («На белом камне», 1904). В ноябре 1902 года в американском журнале «Космополитен мэгэзин», распространявшемся также и в Англии, появилась давно ожидаемая Уэллсом и в известной степени им инспирированная статья

Арнольда Беннета, где тот давал бой критикам, смотревшим на этого писателя свысока. Он увидел в романах Уэллса психологическую правду, своеобразие манеры и прочную философскую основу. Покончил Беннет и с разговорами об Уэллсе как подражателе Жюль Верна. Научность его фантастики, заявил он, определяется прежде всего научным типом мышления, чего нельзя сказать о Жюле Верне, писателе легком, занимательном, одаренном чувством юмора, но не более того. «Прежде чем приняться за романы, Жюль Верн писал либретто для оперетт. Уэллс, пока не писал романы, был учеником Хаксли в Королевском колледже науки». Конечно, Беннет, дабы восславить Уэллса, не слишком мягко обошелся с Жюлем Верном. Значительную часть статьи он посвятил разоблачению действительных и мнимых технических ошибок французского писателя. Из его статьи можно было сделать и такой вывод, что Уэллс — гораздо больше Жюль Верн, чем сам Жюль Верн. Но в тот момент подобные утверждения не могли принести Уэллсу ничего кроме пользы. Свой дружеский долг перед Уэллсом Беннет выполнил сполна.

С Беннетом они были дружны уже пять лет и с каждым годом сближались все больше. Еще в сентябре 1897 года Уэллс получил от этого своего будущего «друга-соперника» письмо, где тот спрашивал, откуда у него знание стаффордширских «Пяти городов» — он встретил упоминание о них в «Машине времени» и в рассказе «Над жерлом домны». В тот же конверт Беннет вложил вырезку из журнала «Вумен», который он редактировал, с рецензией на «Человека-невидимку». Так завязалась переписка. Очень скоро Беннет навестил их с Джейн. Они жили тогда на берегу моря, и Беннет возбудил у Уэллса приступ зависти при виде того, как он замечательно плавает и ныряет. Он и потом не раз вызывал у Уэллса зависть и восхищение. Как превосходно он говорит по-французски! Как знает эту страну! И какой широкой культурой обладает! А ведь он тоже почти всем обязан себе самому: среда, из которой он вышел (отец его был адвокат), была, конечно, лучше той, к какой по рождению принадлежал Уэллс, но хорошего образования Беннет с детства не получил. И друг он удивительно верный. С остальными своими друзьями Уэллс то сходил, то расходился, но к числу достоинств Беннета принадлежал и хороший характер, и, когда Уэллс проявлялся не лучшим образом, он умел не обращать на это внимания. И если Уэллс замечал порой в Беннете каплю иронии по отношению к себе, он на него не обижался — тот ведь и к себе самому относился с изрядным чувством юмора, а недостатки свои не столько старался скрыть, сколько исправить. В любом другом стремление быть «образцовым джентльменом» вызвало бы у Уэллса откровенное раздражение. С годами они с Джейн высоко поднялись по общественной лестнице, но он всегда говорил, что они не вскарабкались наверх, а туда забрели. И про Беннета он никогда не сказал бы, что тот «карабкается наверх». Беннет не забывал

о социальных условностях, но при этом в нем не было ни капли снобизма.

Как ощущал себя в это время Уэллс, легко понять по его предисловию к первому русскому Собранию сочинений, начатому в 1909 году петербургским издательством «Шиповник».

«Писательство — это одна из нынешних форм авантюризма, — доверительно сообщал он новообретенному читателю. — Искатели приключений прошлых веков ныне сделались бы писателями. Пускай хоть немного посчастливится твоей книге, — ну хоть так немного, как посчастливилось моим, — и в Англии ты тотчас же превращаешься в человека достаточного, вдруг получаешь возможность ехать куда хочешь, встречаться с кем хочешь. Все открыто и доступно тебе. Вырываешься из тесного круга, в котором вертелся до сих пор, и вдруг начинаешь сходитья и общаться с огромным количеством людей. Ты, что называется, видишь свет. Философы и ученые, солдаты и политические деятели, художники и всякого рода специалисты, богатые и знатные люди — к ним ко всем у тебя дорога, и ты пользуешься ими, как вздумает. Вдруг оказывается, что тебе уже незачем читать обо всем в газетах и в книгах, ты все начинаешь узнавать из первых рук, подходишь к самым истокам человеческих дел и событий. Не забудьте, что Лондон не только столица королевства; он также центр мировой империи и огромных мировых начинаний.

Быть художником — не значит ли это искать выражения для окружающих нас вещей? Жизнь всегда была мне страшно любопытна, увлекала меня безумно, наполняла меня образами и идеями, которые, я чувствовал, нужно было возвращать ей назад. Я любил жизнь и теперь люблю ее все больше и больше. То время, когда я был приказчиком или сидел в людской, тяжелая борьба моей ранней юности — все это живо стоит у меня в памяти и по-своему освещает мне мой дальнейший путь. Теперь у меня есть друзья и среди пэров и среди нищих, и ко всем я протягиваю свое жадное любопытство и свои симпатии и ими, как нитями паутины, связываю верхи и низы человечества. Эту широкость моего общественного положения я почитаю едва ли не самой счастливой моей особенностью...»

В «Опыте автобиографии» он, вспоминая этот период своей жизни, заметил еще, что полюбил спорт и с наслаждением тратил деньги. Бедность миновала, и он сейчас мог вознаградить себя за былые лишения.

Уокинг они покинули уже в конце 1897 года. Дом был тесноват. Уэллсу приходилось писать на обеденном столе, и, когда миссис Робинс выразила желание поселиться с дочкой и зятем, они решили перебраться в новое место. Сейчас им было по средствам найти что-то получше домика с крошечным садиком вблизи уокинского железнодорожного узла. Незадолго перед тем Уэллс обзавелся литературным агентом (профессия эта только еще зарождалась), помог тому приобрести клиентуру, и Джеймс Бренд

Пинкер считал, видимо, себя ему обязанным. Он и подыскал для Уэллсов «Хитерли» — старый викторианский дом на берегу моря в Уорчестер-парке. Дом был просторный, живописный, с участком в пол-акра, и вызывал в памяти давно минувшие времена. Ничего новомодного в нем не было, и он внушал уважение уже полувековой грязью, ввевшейся во все его щели. Прожили они в этом доме не слишком долго, но и с ним оказались связаны многие воспоминания, не всегда, к сожалению, приятные. В Уорчестер-парке что-то не ладилось между Уэллсом и Джейн. Это отсюда он совершил свою велосипедную поездку на птицеферму своей первой жены. Будущая писательница Дороти Ричардсон (1873—1957), школьная подруга Джейн, гостившая у них два дня, посвятила потом своему короткому визиту целую главу в романе «Туннель». Ее поразили тогда тщательно скрываемые от посторонних, но все равно заметные трения между ее гостеприимными хозяевами. В этом, возможно, и следует искать объяснение тому, что ее пребывание в «Хитерли» оказалось таким кратким. Хотя, как выяснится впоследствии, отнюдь не безрезультатным.

Уэллс всегда считал, что, переменяв жилище, он тем самым переменит что-то в своей жизни, и, чем больше появлялось у него материальных возможностей, тем неуклоннее следовал этому правилу. А в «Хитерли» он день ото дня чувствовал себя все хуже. Миллион слов давал себя знать. Он был чудовищно переутомлен, не мог спать, с ним несколько раз случались нервные припадки, и он без всякой причины начинал вдруг громко рыдать. Попытка рассеяться привела к катастрофическим последствиям. 29 июля 1898 года они с Джейн отправились в велосипедное путешествие вдоль южного берега, но по дороге с ним случился такой приступ почечной болезни, какого он еще не помнил. Джейн с трудом довезла его, не на велосипеде, конечно, а на поезде, до знакомого врача. Дальше двинуться уже было невозможно, и Уэллс надолго застрял у доктора Хика. После этого случая и пришли окончательное решение расстаться с Уорчестер-парком.

Но если дурное в этом доме перевесило, было за что вспомнить его и добром. Когда они жили в Уорчестер-парке, у Уэллса завязалась крепкая дружба с человеком, близости с которым меньше всего можно было ожидать, — с Джорджем Гиссингом. Да, да — с тем самым Гиссингом, который вот уже несколько лет был для Уэллса чуть ли не воплощением всего самого дурного, что он видел в современной литературе. Правда, он успел уже прочитать роман Гиссинга «Новая Граб-стрит», и эта книга ему понравилась. В ней он нашел много памятного с тех дней, когда он обивал пороги газетных и журнальных редакций. Но главное было не в этом. Узнав Гиссинга-человека, Уэллс пришел от него в совершенный восторг. Правитель «Гиссинговой страны», не знавшей ни солнечного света, ни улыбок, оказался существом доверчивым, добрым, самоотверженным и беззащитным. Этот разночинный интеллигент с наружностью викинга успел отсидеть в тюрьме

за кражу — надо было «спасти проститутку», а денег не было, — пережить разочарование в этой женщине, которая, став его женой, через шесть лет все-таки вернулась на панель и умерла от пьянства (год спустя после того, как они расстались, его вызвали в полицию опознать ее труп), написать семнадцать книг, ни одна из которых не принесла ему подлинного успеха, снова жениться — на сей раз на служанке — и опять неудачно. Малограмотность, смущавшая его в избраннице, была, как выяснилось, наименьшим из ее недостатков. Она оказалась еще глупа, строптива, большая любительница устраивать скандалы, а позже — еще и прикладываться к бутылке. Это настолько переходило все границы, что Гиссинг начинал порою задумываться, — а в своем ли она уме. Он-то думал, что, найдя девушку из бедной семьи, обретет истинного друга жизни! Ведь он сам был человек небогатый — Уэллс в ту пору имел тысячу в год, он же с трудом наскребал четырехста — и никогда в полном довольстве не жил. Его отец, аптекарь, умер, когда ему было тринадцать лет, и он, как и Уэллс, «выбивался в люди» своими силами, но, в отличие от Уэллса, так и не выбился. Он был на девять лет старше Уэллса, но не мог даже вообразить себе ту меру успеха, которого добился его младший брат по перу. А когда они встретились впервые на обеде в клубе Омара Хайяма, он сразу же исполнился горячей симпатии к этому человеку, поносившему его в печати и, возможно, отнявшему у него какую-то долю литературной славы. Ему нравились книги Уэллса, ему понравился сам Уэллс, он пришел в восторг, когда этот вечный его критик похвалил ему «Новую Граб-стрит» — разве этого мало для дружбы?

Именно Гиссингу Уэллс и Джейн оказались обязаны своей первой поездкой за границу. Гиссинг тогда жил в Италии — так ему посоветовали врачи, — и он мечтал познакомиться с этой страной, давно им любимой, своих новых друзей. Он сыскал для них в Риме комнату с полным пансионом по какой-то фантастически низкой цене и теперь только ждал, когда они к нему выберутся. Они же деятельно готовились к поездке: достали в библиотеке старый путеводитель по Риму и старательно его изучали, начали по самоучителю заниматься итальянским языком. Наконец 7 марта 1898 года они двинулись в путь и к ночи следующего дня были на месте. Вокруг Гиссинга собралась уже компания англичан и американцев (среди них — Конан Дойл), и теперь они все вместе весело проводили время. Правда, на пасху в Рим нахлынули такие толпы англичан, американцев и других любителей поразвлечься, что Уэллсам стало как-то не по себе и они уехали на юг. Они побывали на Капри, в Неаполе, в Помпее и оттуда через Флоренцию, Болонью и Милан двинулись в обратную сторону. 11 мая они были дома.

Это была та самая перемена обстановки, которую английские врачи прошлого века рекомендовали как панацею от всех болезней, но Уэллсу она не помогла — ведь именно за этой поездкой

последовали и нервные срывы, и воспаление поврежденной почки, сильно встревожившее его друзей. Ричард Грегори даже отправился в единственную лондонскую больницу, где имелся рентгеновский аппарат, узнать, нельзя ли с помощью этих новооткрытых лучей как-то помочь страдальцу. Выяснилось, что нет, нельзя.

Тогда-то Уэллс и прибег к испытанному способу разрешить все трудности и противоречия — сменил дом. В сентябре Уэллсы уже обосновались в Сендгейте, приморской деревушке в трех милях от Фолкстона, где, впрочем, тоже не намеревались застрять надолго. Они задумали купить собственный дом. Средства на это теперь как будто хватало. Уэллс запросил Пинкера о состоянии своих денежных дел, и тот без промедления сообщил, что в ближайшие месяцы они будут располагать больше чем двумя тысячами. Но поиски дома затянулись. Чем больше они осматривали традиционные викторианские дома, тем большее раздражение закипало в Уэллсе. Службы и помещение для прислуги неизменно оказывались в подвале, а с него довольно было подвалов. Он все детство и юность провел в подвале и теперь не только сам не хотел там жить (что, впрочем, ему давно не грозило), но и не желал обречь на нечто подобное кого-либо из домочадцев. Он уже не сомневался, что скоро у него появится прислуга, и, может быть, многочисленная, — так пусть они живут по-людски!

Оставалось только самим строить дом. Но Уэллс оказался совершенно неспособен вести переговоры с юристами, подрядчиками и архитекторами. Чуть что — он впадал в иступление. В конце концов он послал Пинкеру письмо, которое определил как «крик отчаянья», и с декабря безотказный Пинкер взял, что мог, на себя.

А пока они оставались в Сендгейте. Домик, в котором они поначалу поселились, оказался не слишком удачным: он находился на самом берегу моря и в плохую погоду волны порой перехлестывали через крышу. Потом они нашли себе в той же деревне дом получше, сняли его на три года, выписали мебель из Уорчестер-парка и устроились со всеми удобствами. Способ лечения, избранный Уэллсом, очевидно, имел какое-то рациональное зерно: с каждой переменной места или дома он и в самом деле чувствовал себя все лучше. Да и люди вокруг подобались интересные.

В получасе езды на велосипеде находился дом Форда Медокса Форда (1873—1939), писателя в ту пору известного. Он пригласил пожить у себя Джозефа Конрада с женой и маленьким сынишкой (визит затянулся на девять лет, что, собственно, Конрада и выручило — деваться ему было некуда). Так вот, Конрад, узнав, что рядом поселился Уэллс, немедленно решил его навестить. Правда, дома он его не застал, причем два раза подряд. Не больше повезло и Уэллсу, когда он надумал «отдать визит». Но он оставил свою визитную карточку, что произвело на Конрада немалое впечатление: у него самого визитных карточек не было. В Лондоне они уже виделись, но Конраду не терпелось познакомиться

с Уэллсом поближе. Он в свое время потратил немало усилий, чтобы разыскать автора анонимных рецензий на «Каприз Олмейера» и, год спустя, на «Изгнанника с островов», пришел в восторг, узнав, что это «сам Уэллс», и излился в потоке благодарностей. Знакомство состоялось в 1896 году, когда все кому не лень поносили автора «Доктора Моро», но Конрад заявил, что считает Уэллса «дуайеном писательской братии» и гордится его похвалой. И в самом деле, ему было чем гордиться. В рецензии на «Изгнанника» Уэллс назвал эту книгу «лучшим литературным произведением последнего года» и, хотя попрекал автора за многословие и нежелание оставлять что-то недосказанным, видел в этом лишь препятствие, мешающее автору выявить все свое внутреннее величие.

Личное знакомство с Конрадом произвело на него, впрочем, впечатление обратное тому, какое сложилось при встрече с Гиссингом. Уэллс воспринял Конрада так, как можно было ждать от сына бромлейского лавочника. Подобное случалось с ним уже не однажды. В «Тонго-Бенге» он рассказывает, как его еще в первый приезд в Лондон раздражали в Уайтчепл (районе поселения еврейской бедноты) чужая речь и выставленные в витринах книги, набранные непонятым шрифтом. Он очень любил Уолтера Лоу, посвятил ему одну из своих книг, но главным его достоинством считал, что тот «совсем непохож на еврея», а единственным недостатком то, что он почему-то все равно считает себя евреем. А Конрад? Все знают — он из польской шляхетской семьи, но откуда у него эта чернявость, эта суетливость, эти «восточные» жесты?! Хотя, конечно, с другой стороны, сынишка у него белокурый и голубоглазый. Ну хорошо, пусть он и в самом деле поляк, но уж, во всяком случае, слишком не англичанин! Уэллс добрых тридцать с лишним лет спустя с каким-то внутренним содроганием припоминал первый приезд Конрада в Сендгейт. Он с гиканьем подкатил всей семьей к дому на тележке, которую, судя по тому, как он махал хлыстом и покрикивал на бедного английского пони, вероятно, принял за дрожки. Уэллс глядел на все это, и в голове его вертелась одна только мысль: «Что подумают соседи?» Ну а сам он, показалось ему, произвел тогда на Конрада впечатление ужасного мешанина. И все же, пока Уэллс оставался в Сендгейте, они с Конрадом виделись часто. Правда, новые рецензии Уэллса на книги Конрада не появлялись, а в «Опыте автобиографии» он назвал его писателем, сильно переоцененным, но еще в «Истории мистера Полли» (1910) заставил своего не слишком, конечно, культурного, но чистого душой героя зачитываться рассказами Конрада. «Конрадовская проза имела для него особую, непостижимую прелесть; мистера Полли восхищали густые краски его описаний».

В Сендгейте они немало спорили друг с другом. Уэллса отталкивало от Конрада уже то, как сосредоточен он был на вопросах языка и стиля. Ему при этом почему-то не приходило

в голову, что иначе и быть не могло с человеком, который писал свои романы не по-русски, не по-украински, не по-польски и даже не по-французски, иначе говоря, ни на одном из языков своего детства и юности. Английского Конрад ни в Житомире, ни в Вологде, ни в Кракове, ни даже в Марселе не знал, сделаться английским писателем было для него проявлением героизма, и все равно — как раздражало Уэллса, что он говорит с акцентом!

Была и другая причина их расхождений. Форд Медокс Форд, писатель, и в самом деле очень переоцененный современниками, принадлежал к числу поздних прерафаэлитов, а к ним Уэллс в эту пору испытывал что-то, подобное ненависти. Он сдерживался как мог, но большим притворщиком никогда не был, и Форд прекрасно чувствовал, как относится к нему его сосед. Воспоминания об Уэллсе, которые он оставил, звучат ничуть не лучше, чем отзывы Уэллса о Форде — весьма нелицеприятные. Влияние Форда, считал он, окончательно сгубило Конрада. Зачем Конрад пожелал работать с этим проклятым снобом? Тот открывал ему тонкости английской стилистики? А кому вообще нужны эти тонкости?!

Как-то они лежали с Конрадом на пляже, и этот малюсенький человечек — еще ниже ростом, чем он сам! — принялся рассуждать о том, сколькими способами можно описать эту вот пляшущую на волнах в отдалении лодку. «Как бы вы это сделали?» — спросил он Уэллса. «А никак! — отрезал Уэллс. — Я бы просто сказал, что по морю плыла лодка. И то лишь в одном случае: если бы она мне понадобилась для сюжета». Это было началом того долгого спора, который потом завязался у Уэллса с людьми, попрекавшими его за невнимание к слову. Пока же это была реакция сиюминутная, непосредственная. За всеми этими рассуждениями о стиле ему так и чудился Форд. Да, он, Уэллс, не больно-то интересуется вопросами языка. А они интересуются социальными и научными вопросами, которые его занимают? То-то!

Зато какую радость доставляли приезды Гиссинга! Им было о чем поговорить, что вспомнить, и, когда этот изъеденный туберкулезом мощный красавец начинал перечислять свои очередные беды и неудачи, Уэллс и Джейн сочувствовали ему от души. К этому времени Гиссинг разошелся со второй женой и собирался уехать во Францию. Как бы его развлечь и подбодрить? Решено было, что Уэллс научит его ездить на велосипеде, но предприятие это оказалось не из легких. Атлет, которому словно бы самой судьбой предназначено было украшать дороги Англии, не мог проехать и несколько ярдов, не свалившись с седла. Покорить велосипед ему так и не удалось, но развлекся он действительно на славу. Падая на землю, он всякий раз начинал от души хохотать, а вслед за ним и все остальные. Этот мрачный писатель и вечный неудачник оказался очень легким, а порой и очень веселым человеком, и Уэллсу не потребовалось много времени, чтобы по-

нять: его мрачность — от беззащитности. Гиссинг получил превосходное классическое образование, обладал широчайшими познаниями в искусстве и не скрывал от Уэллса, что считает его человеком попросту темным. И над республиканством Уэллса он смеялся. Если англичанам нравится называть своего президента королем, какой от этого вред? К тому же он был католик, и слепая ненависть Уэллса к католицизму казалась ему смешной. Сам он считал, что никакая другая вера не принесла в мир столько культурных ценностей. Но от Гиссинга Уэллс готов был выслушать что угодно. Он знал, что, как бы Гиссинг им ни возмущался, он им восхищается. Да и он уже достаточно разбирался в людях и знал, что человека такой чистой души ему больше не встретить.

Во Францию Гиссинга тянула, конечно же, новая сердечная привязанность. В один прекрасный день он получил письмо, где некая мадемуазель Габриэлла Флери просила у него разрешения на перевод его книги. Гиссинга до этого не переводили ни на один иностранный язык, и предложение это вызвало у него прилив энтузиазма и веры в себя. Скоро появилась и переводчица. Она оказалась молодой женщиной привлекательной наружности, очень начитанной, без предрассудков, с удивительно приятным, мелодичным голосом и превосходно отработанной английской речью. Ей было двадцать девять лет, она была в разводе. Перебравшись через Канал, она сразу же возникла в доме Уэллса. Гиссинг жил один и считал неприличным принять в своем доме молодую особу. Вскоре она все-таки появилась в его доме; в разговорах с Уэллсами он именовал ее теперь просто Габриэлкой, но они его ни о чем не расспрашивали. Потом он совершил с нею и ее матерью поездку в Швейцарию, а затем переселился в Париж, куда и сами Флери только что переехали из Руана. С женой он не был разведен, но Габриэлла с матерью разрешили эту трудность простейшим образом — они заказали визитные карточки, где Габриэлла именовалась «мадам Гиссинг». Гиссинг был от нее без ума. Впервые в жизни рядом с ним оказалась интеллигентная женщина. Конечно, и первых своих двух жен он, как полагалось интеллигенту прошлого века, старался «развивать», но первую не сумел даже приучить к размеренной жизни, вторая же так травила его, что ему только и оставалось сбежать от нее и спрятаться. Теперь же он попал в устроенный буржуазный дом, где велись такие интеллигентные разговоры!..

Пример Гиссинга подстрекнул Уэллсов тоже совершить путешествие в Швейцарию. На обратном пути они заглянули к Джорджу и «мадам Гиссинг» и испугались за своего друга. В устроенном буржуазном доме обнаружили свои недостатки. Обставлен дом был с тончайшим вкусом, вокруг все блестело, мать Габриэллы взяла на себя заботы о хозяйстве и от молодых ничего не требовала.

Одна беда — Гиссинг дошел до полнейшей дистрофии и больше не мог работать. Его практически не кормили. Потому что

в число заветов французского буржуазного дома входил и такой: экономить на питании. Уэллсы оставили его с тяжелым сердцем. Но, к счастью, расстались они ненадолго. Голодной смерти Гиссинг предпочел бегство в Англию, где под наблюдением врача, все того же Генри Хика, своего школьного товарища, долго восстанавливал здоровье. Пожив несколько недель у Уэллсов, он поехал в санаторий, а потом вновь вернулся к Уэллсам. И тут пошли длинные, умные, полные самых трогательных эмоций письма от Габриэллы. Не к Гиссингу: она боялась, что он ей просто не ответит, а к Уэллсам. Им предоставлялась возможность наладить их отношения. Воспользовались они ею не до конца. Скоро Уэллсу наскучила вся эта утонченная корреспонденция, и он стал отдавать письма Гиссингу, у которого, как сразу же выяснилось, сердце было не камень. Между Габриэлой и Гиссингом завязалась переписка. Он склонялся к тому, чтобы вернуться к ней, но лучше без риска для жизни. В конце концов было договорено, что отныне ведение хозяйства возьмет на себя Габриэлла и кормить его будут досыта. Он вернулся. Теперь все как будто наладилось. Флери ради него оставили Париж и переехали в горы, где он засел за роман об Италии при готах. О возможности написать этот роман он мечтал полжизни. Но к концу 1903 года к ним нахлынули французские родственники, он стал водить их по окрестностям, простудился и слег. И снова он понял, что не надо было возвращаться во Францию. В доме гостили родственники, и Габриэлла, не говоря уже о ее матери, было не до него. Да и вообще они были не из тех женщин, которые любят ухаживать за больными. Простуда перешла в двустороннее воспаление легких, а это в ту пору для человека «со слабыми легкими», как тогда говорили, был верный конец. На сочельник Уэллсы получили от Габриэллы телеграмму: «Джордж умирает. Умоляю, приезжайте. Как можно скорее». Прочитав телеграмму, Уэллс как был, в домашнем платье, кинулся на фолкстонский пирс, откуда в полдень уходили пароходы во Францию, сумел не опоздать и скоро очутился в доме, где старшая из женщин заперлась в своих комнатах, а младшая находилась в полной растерянности. К счастью, рядом жил английский пастор с женой, милейшие люди, и они помогли Уэллсу сыскать сиделку, не настоящую, разумеется, а просто «добрую религиозную женщину».

С Гиссингом он поговорить так и не сумел. Все последние дни тот бредил. На улице стоял туман, по ночам выли собаки, во всех углах затаились тоска и страх, совсем как в написанной за семь лет до того «Красной комнате», а Гиссинг бормотал какие-то бессвязные фразы по-латыни, временами начинал петь что-то торжественное, словно сам себя отпевал, и, переходя на английский, говорил о том, какой восторг охватывает его при виде приближающихся к нему прекрасных существ. А рядом стояла Габриэлла, с неохотой протягивавшая Уэллсу каждый новый носовой платок, которым тот вытирал ему рот, и все повторявшая,

как она страдает. В конце концов Уэллс не выдержал и отослал ее страдать к ней в комнату. «Вы очень устали. Вам надо поспать. Мы с сиделкой справимся», — сказал он, но совсем не таким тоном, каким говорят с женой умирающего. Это и был один из последних разговоров Уэллса с Габриэлой. Никаких отношений он с ней больше не поддерживал и, когда писал свою автобиографию, даже позабыл, как ее зовут. Он упорно именовал ее в этой книге Терезой. Правда, он там не то что позабыл, а просто умолчал об одном обстоятельстве: в последнюю минуту у него самого сдали нервы и он сбежал в Англию.

В ту же ночь Гиссинг умер.

Ни одного настолько близкого человека из писательской братии у Уэллса не было.

И все же он теперь очень крепко вошел в эту среду. В числе людей, которые думали о нем и хотели ему помочь, был Генри Джеймс, сумевший наконец завоевать признание и не желавший, чтобы другие писатели шли такой же трудной дорогой. Приезжал к нему Джеймс Барри — тот самый Барри, чья книга о журналистах так ему помогла. Будущий сэра Джеймса, а скоро и баронета, рассказывал ему, каких усилий стоило ему, сыну простого ткача, пробиться в люди и как, начав получать долгожданные крупные гонорары, он долго не мог понять, что такое банковский чек. Он их складывал в ящик стола и ждал, когда же ему, наконец, пришлют деньги...

Впрочем, все эти знаки внимания мало ему теперь льстили. Порою даже казались капельку унижительными. Генри Джеймс хочет учить его писательскому мастерству. А он спросил его, желает ли он у него учиться? Конечно, он превосходно чувствует слово, но не о нем ли было сказано, что он старается писать ни о чем, но зато как можно непонятнее? Джеймс Барри принял с ним дружеский тон. Приятно, конечно. Да и вообще, говорят, он — милейший человек. Но неужто Барри не понимает, что теперь уже не Уэллс должен гордиться знакомством с Барри, а Барри — с Уэллсом? Джозеф Конрад назвал его «дуйайеном писательской братии». Неплохо сказано. Но лучше было бы услышать это не от человека со столь отталкивающей восточной наружностью. Да и к чему эта похвала? Неужели кто-то лучше него самого знает, какой он большой писатель?

К чести Уэллса надо сказать, что подобную самоуверенность он культивировал в себе лишь постольку, поскольку это помогало в работе. В своей моральной самооценке он сделался даже строже к себе, чем прежде. И собственного мнения о себе не скрывал. В 1908 году в очередном своем исповедании веры «Начало и конец всех вещей» он писал: «Люди привыкли думать, что тот, кто рассуждает о моральных проблемах, и сам должен обладать исключительными душевными достоинствами. Я хотел бы оспорить это наивное предположение... В целом я склонен относить себя скорее к плохим, чем к хорошим людям.

Конечно, я не кажусь себе романтическим злодеем или образцом безнравственности, но я часто бываю раздражительным, неблагодарным, забывчивым и время от времени, пусть и в чем-то небольшом, просто до конца плохим человеком. На одном я настаиваю: я извлек свои верования и теории из собственного жизненного опыта, а не придумал их, применительно к обстоятельствам. И в половине случаев я научался добру, исходя из противоположного, отталкиваясь от дурного». В отношениях с окружающими он оставался непосредствен, прост, и, если забыть о Джейн, перед которой, впрочем, ему тоже не раз становилось стыдно, — достаточно покладист. Единственное исключение делалось для издателей. После успеха «Машины времени» перед ними был уже не тот начинающий писатель, что продавал свои рассказы по пятерке за штуку. В «Опыте автобиографии» Уэллс потом вспоминал себя, тогдашнего, не без некоторого смущения. Жадность, говорил он, отнюдь не принадлежит к числу моих природных качеств. Таким меня сделала долгая борьба за место под солнцем — за себя и за Джейн. Но долгое время у него буквально с языка не сходили слова «рыночный успех» и «цена за тысячу», и мысли его все больше занимал вопрос о годовом доходе за выдаваемую им литературную продукцию.

Уэллс, впрочем, был не из тех людей, что способны отказать себе в удовольствии всякий раз объяснять свою линию поведения высокими побуждениями. И сейчас было точно так же. Он считал, что не писатели существуют для издателей, а издатели для писателей. Это он и доказывал весьма наглядным способом. Прежде чем заключить договор с Уэллсом, главе той или иной издательской фирмы приходилось крепко подумать, не окажется ли она в результате на грани банкротства. Уэллс же, напротив, полагал, что, чем более немислимую цифру он назовет, тем большую услугу окажет издательству. С момента, когда подписан договор, издателю придется начать отчаянную борьбу за существование, а это не может не пойти на пользу делу. И, само собой, на пользу литературе. Заплатив Уэллсу маленький гонорар, издатель о настоящем тираже и не задумается. А вот если ободрать его как липку, то он весь книжный рынок завалит книгами Уэллса — иными словами, той самой литературой, которая принесет наибольшую пользу читателю. Сказать, что он совсем был в этом не прав, было бы неверно. При том, что его теперь переводили уже не только во Франции и России, но и в Италии и Германии, английские тиражи его книг еще несколько лет не поднимались выше десяти тысяч, что не шло ни в какое сравнение не только с тиражами Киплинга (при всей ненависти к нему, Уэллс не мог не признать его крупным писателем), но и с тиражами давно забытой с тех пор Мэри Корелли.

В 1896 году американский филиал известного издательства Макмиллан опубликовал «Колеса фортуны». Уэллс воспользовался этим для того, чтобы завязать отношения и с лондонской фирмой.

В 1903 году он предложил сэру Фредерику Макмиллану, стоявшему тогда во главе издательства, выкупить права у всех его предыдущих издателей и приобрести на будущее исключительное право публикации его книг. Это оказалось совсем нетрудно. Уэллс из всех своих коммерческих партнеров успел-таки попить кровушки, и те расставались с ним вполне охотно. Хотя Уэллс действовал через литературного агента, человек он был слишком деятельный, чтобы выпустить любую деловую операцию из-под своего контроля. И чуть ли не каждый издатель, если б он понимал, что имеет дело с классиком, поступил бы своим самолюбием и обязательно бы сохранил для потомства хоть одно оскорбительное письмо, полученное от Уэллса. Исключений Уэллс ни для кого не делал и свой темперамент не сдерживал. Форд Медокс Форд, оценивая отношения Уэллса с издателями, написал в 1910 году одному своему приятелю, что некогда видел для Уэллса две возможности: с годами он должен был стать либо помещиком и баллотироваться в парламент от консерваторов, либо попасть в сумасшедший дом. Теперь же, присмотревшись получше, он думает, что перед Уэллсом открыта лишь вторая дорога — в Бедлам.

Как легко догадаться, Макмиллану Уэллс тоже предъявил условия достаточно жесткие. Только для того, чтобы окупить аванс, Макмиллан должен был напечатать семь с половиной тысяч экземпляров, а в дальнейшем, взяв на себя все расходы, выплачивать ему четверть продажной стоимости каждого экземпляра. Сэр Фредерик на это пошел. Он мечтал, чтобы именно у него печатались писатели, которых уже называли или скоро назовут классиками, но пока в списке его постоянных современных авторов числились только Редьярд Киплинг и Томас Харди, и ему хотелось как можно скорее прибавить к этим двум именам имена Сомерсета Моэма и Герберта Уэллса. Да и как деловой человек он надеялся не прогадать. Фирма с хорошей репутацией — это фирма с обеспеченным доходом, а классик — это писатель, которого издают и переиздают, и чем дальше — тем с большей выгодой. Впрочем, он тогда еще не знал, что его ждет. Конечно, он с первой же встречи заметил, какие у его нового клиента дурные манеры и некультурная речь, но сделал из этого только тот вывод, что не надо его звать на приемы, которые он устраивает для людей из высшего света и авторов. Он явно не понимал, что такой человек, как Уэллс, способен причинить достаточно неприятностей и на расстоянии.

Уэллс твердо знал, что ни один из издателей, с которыми он был связан, не умеет вести дела. О Макмиллане он был чуть лучшего, но тоже не очень высокого мнения, а потому считал своим долгом растолковывать ему все, чего тот не понимал в своей профессии. Макмиллан же думал иначе. Ему казалось, что он разбирается в издании книг, а Уэллс не разбирается. Видимо, он был недостаточно хороший психолог и не сразу догадался, что люди, слепленные из такого теста, как Герберт Уэллс, разбираются решительно во всем, не исключая того, о чем не имеют ни малейшего

понятия. Сэр Фредерик был председателем корпорации английских издателей, владельцем прославленного издательства, перешедшего к нему от отца и дяди, вырос в мире книги, помнил, что именно Макмилланы начали издавать знаменитый журнал «Нейчур», а научным консультантом издательства был сам Томас Хаксли. Дубовый стол, за которым собирались гости в его особняке, был украшен автографами Теннисона, Гладстона, Мэтью Арнольда, Марка Твена и других знаменитостей прошлого поколения. Но для Уэллса все это отнюдь не говорило в пользу сэра Фредерика. Издательство с большими традициями? А не значит ли это, что оно закоснело в предрассудках? Старая культурная семья? Ну вот они и будут со своей хваленой культурой указывать ему как писать! Только пусть не надеются — такое с ним не пройдет! И не прошло. Всякий раз, когда сэр Фредерик делал свои редакторские замечания, разражался скандал. Уэллс не просто отвергал любые поправки, а еще и писал такие оскорбительные письма, что потом даже сам догадывался, каким неподобающим образом себя вел, и готов был извиниться. И он все время чего-нибудь от Макмиллана требовал. По выражению Ловата Диксона, который в начале XX века работал редактором у Макмиллана, а шестьдесят лет спустя написал книгу об Уэллсе, в значительной своей части посвященную отношениям Уэллса и Макмиллана, Уэллс выказывал при этом «непосредственность и обаяние ребенка, хотя и всегда знающего, что он хочет». Французская «Нувель ревью» обругала его английский язык, но ему, Уэллсу, неохота вмешиваться в это дело. Может быть, Макмиллан найдет способ одернуть рецензента? Ведь другой французский журнал только что его похвалил! Он заканчивает работу над новой книгой, которая будет из лучших, созданных не только им, но и вообще в современной Англии. Напечатать ее надо побыстрее, в наибольшем количестве экземпляров и продать тираж за несколько дней. Как это сделать? Он с удовольствием объяснит...

Все эти его подсказки Макмиллан неизменно отвергал, причем позиции сторон выглядели несколько необычно. Интеллигент Уэллс (разве же писатель — это, по определению, не законченный образец интеллигента?) требовал рекламы на самый грубый американский манер, а коммерсант Макмиллан (ибо издатель как раз и соотносится с писателем как коммерсант с интеллигентом) доказывал ему, что так себя вести неприлично и что книга должна побеждать читателя своими внутренними достоинствами. Особенно несправедливым такой подход показался Уэллсу, когда в 1905 году он написал самый свой престижный «приказучий» роман «Киппс» и, объяснив Макмиллану, какую выдающуюся книгу ему передает, потребовал, чтобы тот нанял сендвичменов и поставил их около книжных магазинов, обклеил одну из станций метро плакатами: «Киппс работал в этих местах», напечатал рекламу на театральных программках, дал в газетах объявления, которые начинались бы словами: «А ты уже прочитал «Киппса» — самый

занимательный и человечный роман года?», да еще выпустил рекламные листовки и всюду их разбросал. Ретроград Макмиллан не выполнил ни одного из этих требований. Чем так позориться, он предпочел потерять в доходах. А почему, собственно, позориться? Неужели он не верит, что книгу Уэллс написал удивительную, достойную того, чтобы ее прочли все и каждый? И потом, разве он один теряет из-за своего неумения торговать? Об авторе он подумал? Вот он, Уэллс, думает не только о себе...

Макмиллан, впрочем, проявил душевную черствость, и чем больше Уэллс о нем думал, тем больше тот его не любил. Но терпел. Он был интеллигентом, и при всех трудностях, которые отсюда вытекали, была в этом и положительная сторона: он понимал в литературе и знал, что Уэллс в самом деле классик.

С приходом нового века в жизни Уэллса все переменялось. Он, наконец, впервые за много лет почувствовал себя здоровым человеком, и энергия бурно из него изливалась. Писал он по-прежнему много, но уже не в таком бешеном темпе. Деньги шли за переводы и переиздания. В доме все чаще и во все большем количестве появлялись гости. Уэллс принимал их со всей широтой, на какую был способен. На своем примере он раз и навсегда доказал, что жадность и скупость — совсем разные качества. С какой настойчивостью, забывая порой об элементарных приличиях, он вымогал деньги из издателей, с такой же легкостью их тратил. А возможности для этого представлялись немалые.

К концу 1900 года сбылась наконец мечта о собственном доме. В январе было найдено место — на холме, метрах в пятистах от дома, где сейчас жил Уэллс, — и начаты переговоры со строительными фирмами. С одной из них удалось договориться. Земля была куплена, и приступили к работам. Архитектора нашли как раз такого, о котором мечтали. Это был Чарлз Войслей, начинавший приобретать репутацию новатора. Они с доктором Хиком были женаты на родных сестрах, с помощью Хика Уэллс его и обнаружил. И хотя Войслей как-то заметил, что лучше, конечно, работать на заказчика, который находится от тебя за тридевять земель, с настоящими трудностями столкнулся все же не он, а каменщики. Перед ними то и дело возникал Уэллс и объяснял им, что они не так работают. С Войслеем же у него было совсем немного неприятностей. Однажды, например, Уэллс поднял страшный крик из-за дверных ручек. «Какого черта вы приляпали их так высоко, — орал он. — Как дети до них дотянутся?» Детей у Уэллса не было, и Войслей, естественно, об этом заранее не подумал. Он поставил ручки ниже, но Уэллс опять остался недоволен. Тут пришла пора возмутиться Войслею. «А что, мне их прямо над полом приделывать?!» — закричал он. Но все это, конечно, были мелочи, и единственное крупное недоразумение произошло из-за совершенной ерунды. Войслей привык помещать на своих домах как своеобразную авторскую подпись кованое сердце. Уэллс заявил, что не желает выставлять свое сердце напоказ, и настоял на том, чтобы

заменить этот символ другим — лопатой. Так этот дом и был назван — Спейд-хаус (от английского spade — лопата). Конечно, он Уэллса удовлетворял не во всем. В нем не было кондиционеров, электрического центрального отопления, пылесосов, убирающихся в стену постелей, горячего водоснабжения и многих других примет жилища XX века, незадолго до этого описанного Уэллсом в «Стрэнд мэгэзин», но утешением могло послужить то, что они тогда, иначе как на страницах этого журнала, вообще нигде не существовали. В остальном Войслей построил как раз такой дом, о котором мечтал Уэллс, — обширный, рационально спланированный, лишенный ненужных украшений и удобный для обслуживания. Местность была неровная, и часть окон первого этажа оказалась совсем невысоко над землей, но, во всяком случае, всех этих ненавистных подвалов или полуподвалов для кухни и «людской» в доме не было. Перед прислугой было не стыдно. Гордостью Уэллса был кабинет — просторный, полный света и воздуха, со слегка выступающими из стены, невысокими, всего в три ряда, книжными полками, выкрашенными в белый цвет, и над ними длинным рядом окантованных фотографий на темном фоне. Письменный стол с высокой лампой, покрытой остроконечным абажуром, несколько глубоких кресел по углам — вот и вся обстановка. На выступе, образуемом книжными полками, — часы, свеча, вазочка и больше ничего. Никаких затейливых фигурок, «предметов старины» и вообще чего-либо, составлявшего викторианское представление об уюте. А заодно и никакой стилизации, близкой сердцу прерафаэлитов. Посетив дом Форда Медокса Форда, Уэллс испытал приступ отвращения и ничего, хоть отдаленно напоминавшего его обстановку, к себе в жилище не допустил. Здесь все должно было служить своему назначению, быть аккуратным и чистым. Никаких других источников красоты он не признавал.

В XIX веке построить дом, отличный от общепринятого стандарта, значило заявить о своей личности. Так поступил некогда Уильям Моррис, построив свой знаменитый «Ред-хаус». Сейчас Уэллс последовал его примеру. С Моррисом он познакомился, когда тот уже переехал в другой дом, и прежнего его обиталища, скорее всего, никогда не видел — разве что на картинке, — но, воздвигая Спейд-хаус, следовал провозглашенному им принципу функциональности, причем более последовательно. Средними веками он никогда не увлекался и строил один из тех домов, какие, казалось ему, и будут строить в XX веке. Он лишь хотел быть первым. Простор, чистота, удобства — ничего больше не нужно. Главное — простота во всем! Конечно, построить дом, который отвечал бы требованиям наивозможной простоты, стоило очень дорого, особенно если учесть его огромные размеры. По смете предполагалось затратить 1760 фунтов, в действительности строительство обошлось в три тысячи, но на такие траты Уэллс шел с легким сердцем. Правда, по мере того как строительство приближалось к концу, ему становилось все более неловко перед родителями, ко-

торые по-прежнему жили в своем скромном домике, но брат отсоветовал куда-либо их переселять. С большим помещением, сказал он, мать не управится, а другой женщины рядом с собой не потерпит. Поэтому все, что Уэллс мог сделать для матери, это привезти ее в Спейд-хаус и дать ей возможность порадоваться за сына. Нельзя сказать, что последнее ему вполне удалось. Сара очень одряхлела и новое воспринимала с трудом. На фотографии, которую Джейн сделала в день ее приезда в Спейд-хаус, она сидит с сыном на скамеечке перед домом, «с прямой спиной», как ее учили в детстве, глядя прямо в аппарат (этому ее, должно быть, учили в молодости), но на лице ее не отражается никаких эмоций. Не старается ли она скрыть от сына, что слишком уж высоко он занесся? Люди живут и поскромнее! А такой дом — прямая дорога к разорению. Она-то кое-что повидала в жизни! Сначала человек так вот хорохорится, а потом, глядишь, у него уже имущество описали!..

Двенадцатого июня того же 1905 года Сара Уэллс умерла.

Джозеф Уэллс Спейд-хауса так и не увидел. Он находился в такой депрессии, что не мог заставить себя сдвинуться с места. Желу Джозеф пережил на те самые пять лет, что был ее моложе. Домик в Лиссе, который Герберт снимал для родителей, он потом для них купил, а после смерти матери нанял отцу домоправительницу. Однажды утром 1910 года Джозеф Уэллс, проснувшись, призвал к себе миссис Смит, дал ей подробнейшие инструкции, как приготовить ему рубленые почки, просмотрел принесенный ею номер «Дейли кроникл», спустил ноги с кровати и упал на пол мертвым...

За время, что ушли из жизни одни Уэллсы, явились на свет другие.

В Спейд-хаусе были, среди прочего, запланированы детская, комнаты для няни и гувернантки. И действительно, к моменту переезда Джейн была уже беременна. 17 июля 1901 года у них родился сын Джордж Филипп (умер в 1985 году). Для простоты его сперва стали называть по заглавным буквам имен (George Philip) Джи Пи, а немного спустя — Джип. С 1903 года, когда Уэллс сделал его героем своей «Волшебной лавки», имя это так на всю жизнь и пристало к нему. Он был уже академиком, а близкие его иначе не называли.

Новый дом, в три раза больше обычного коттеджа, несколько человек прислуги, большой участок земли, где можно заняться цветами — об этом мечталось с детства! — первый ребенок, полная свобода распоряжаться хозяйством и возможность вести его на широкую ногу, не пересчитывая жалкие шиллинги, — какие, казалось, наступили счастливые времена для Джейн! Но в тот год она чувствовала себя особенно несчастной. Роды были трудные, ее долго потом выхаживали два врача и сиделка, но если бы только это! С Берти, пробивавшимся к успеху, было куда как проще, чем с Гербертом Джорджем Уэллсом, который успеха достиг. Ни он, ни она не забыли тех дней, когда она так безрассудно бро-

силась в его объятия, и годы доказали, сколько значила она для него, а он для нее. Но любил ли он ее когда-нибудь? Чем больше прибавлялось в ней женского опыта, тем больше она начинала сомневаться, что само это слово в своем обычном значении (впрочем, разве у этого слова одно лишь значение?) подходит к их отношениям. Скорее, он ее ценил. Очень высоко и очень за многое. За ту внутреннюю интеллигентность, которая ему не далась и уже никогда не дастся, за поразительный такт, позволявший ей закрывать глаза на его недостатки, за веру в него, пришедшую тогда, когда в него не так-то просто было поверить, за то, как она возилась с ним, больным, неустроенным, несчастным, за ее трезвый ум и деловые качества, не слишком обычные в женщине такой доброты. Он очень, очень ее ценил. Но принять это за любовь можно было лишь тогда, когда она была для него якорем спасения. Чем больше он укреплялся в жизни, чем больше избавлялся от страха провала и смерти, тем яснее становилась для нее эта ее ошибка. После рождения Джипа она осознала ее особенно остро.

Времена, совсем недавние, когда Уэллс писал свою «Машину времени» под ворчание стоявшей за окном хозяйки, а другие прославившие его романы — на обеденном столе в Уокинге под лязганье буферов, гул поездов и гудки паровозов, словно бы стерлись из его памяти. В доме, где был маленький ребенок и больная жена, требовавшая внимания и сердечного тепла, он никак не хотел оставаться. К тому же Джейн, услышав, что он собирается предпринять экскурсию по южному берегу, позволила себе его попрекнуть, и он покинул дом, дрожа от негодования. Три недели о нем не было ни слуху, ни духу. Она знала, что он собирался навестить родителей в Лиссе, и отправила туда письмо, прося у него прощения. Оно было нацарапано кое-как, неверной рукой. Она все еще была слаба, и писать это письмо было ей вдвойне трудно. Он позвонил, осведомился о ее здоровье, но слышимость была плохая, поговорить как следует не удалось, и он еще послал ей письмо. Обрадованная Джейн снова ему написала, на сей раз в шутовском тоне. Было решено, что она встретит его на обратном пути в Лондоне и они пообедают в хорошем ресторане. Не выдвинулись они к тому времени довольно долго. Шло уже к середине сентября. Где он пропадал два месяца, так и осталось невыясненным.

31 октября 1903 года у них родился второй сын, Фрэнк Ричард (умер в 1984 году). Уэллс был очень доволен. Он решил, что это будет хороший товарищ для Джипа. Отцом он оказался превосходным. Дети должны были вырасти по-настоящему культурными людьми. Их учили языкам (включая русский), и он старался передать им все, что знал. Педагогический талант Уэллса вновь нашел себе выход. Раньше он с такими маленькими не занимался и теперь присматривался к ним и придумывал для них игры. В 1911 году он описал эти игры в совсем не детской книге «Новый Макиавелли» и сразу же получил предложение выпустить отдельную брошюру. «Игры на полу» с фотографиями, сделанными

самим Уэллсом, вышли в том же году. Два года спустя появилась еще одна такая книжка, тоже с фотографиями, правда, сделанными на сей раз не Уэллсом, а Джейн. Называлась она «Маленькие войны. Игра для мальчиков в возрасте от двенадцати до ста пятидесяти лет, а также для умных девочек, которые любят играть в те же игры, что мальчишки». Думал он при этом, очевидно, не только о собственных детях, поскольку исправленное издание этой книги вышло в 1931 году, когда Джип и Фрэнк, судя по всему, в подобные игры уже не играли.

Комната для гувернантки тоже недолго оставалась свободной. Осенью 1908 года в «Морнинг пост» появилось объявление о том, что миссис Уэллс ищет швейцарскую гувернантку со знанием английского языка и совершенным владением французским и немецким. Отвергнув шесть кандидатур, Джейн остановила в конце концов свой выбор на двадцатитрехлетней Матильде Мейер, которая, в дополнение к сказанному в объявлении, удовлетворяла и другим ее требованиям: была достаточно спортивна, любила долгие прогулки и, по ее словам, не боялась мышей и грозы. Матильда Мейер провела с Уэллсами четыре года и девять месяцев, осталась навсегда другом семьи и в 1956 году, за два года до смерти, опубликовала занятные мемуары под названием «Герберт Уэллс и его семья». Она рассказала, как, придя в клуб, где Джейн назначила ей встречу, увидела, к своему удивлению, не увешанную бриллиантами гранд-даму, какой ей представлялась будущая хозяйка, а миниатюрную скромную женщину в коричневом костюме, очень милую и вполне деловую. Тогда она еще не знала, что ее приглашают в дом Герберта Уэллса, но, поняв, кто такая эта миссис Уэллс, не желавшая, чтоб гувернантка ее детей боялась мышей и грозы, легко примирилась с тем, что жалованье ей положили весьма скромное.

В доме, куда она попала, жить оказалось даже интереснее, чем она думала. Здесь все было по-своему. Нанимая ее, миссис Уэллс не спросила о ее вероисповедании: эта проблема явно занимала ее меньше вопроса о мышах и грозе, а попав в дом, фрейлейн Мейер была неприятно удивлена тем, что перед едой здесь не читают молитву. Немного напугала ее Джесси, няня, терявшая с ее появлением исключительную власть над детьми. Женщина эта была решительная, суровая, не терпящая никакого противоречия, и ее властность миссис Уэллс явно устраивала. Она считала, что детей надо держать в строгости. Для обоих мальчиков Джесси была большим авторитетом и доверенным лицом, и они не преминули сразу же сообщить ей, какое вынесли мнение о новой гувернантке: «глупая, но незлая». Джесси на следующее утро с большим удовольствием передала это своей заместительнице. По ее словам, отсюда следовало, что дети ее приняли. Она вообще постаралась сразу же ввести фрейлейн Мейер в курс дела, точнее — всех домашних обстоятельств. Миссис Уэллс она одобряла от начала и до конца. Никого никогда не обижая, та умела сразу же

заметить и мгновенно пресечь любое проявление лени и безалаберности. При том, что с утра до вечера она была занята, исполняя секретарские обязанности при Уэллсе, перепечатывая с удивительной быстротой его рукописи, прорабатывая для него нужные книги и выписывая оттуда цитаты, а также занимаясь садом, который она не доверяла другим, дом велся на славу. Порядок во всем царил образцовый, расписание дня соблюдалось минута в минуту. Что же касается мистера Уэллса, то Джесси предоставила фрейлейн самой вынести о нем суждение. Посоветовала только по возможности его избегать: никогда ведь не знаешь, в каком он сейчас настроении. Иногда ходит голубок голубком, а иной раз ни с того ни с сего так вдруг начнет безобразничать! Да и чему удивляться — писатель! Она еще увидит, что в доме начинает твориться, как понаедут на праздник все эти писатели!

При первой встрече Уэллс, впрочем, произвел на молодую швейцарку самое хорошее впечатление. Она увидела его лишь за завтраком, приехал он накануне поздно, совсем к ночи, но вышел к столу прилично одетый, не босиком (Джесси предупредила ее, что случается и такое), был очень со всеми обходителен и, хотя тут же заявил ей, что она неверно произносит некоторые английские звуки и с этим надо поскорее справиться, явно не хотел ее обидеть, да и миссис Уэллс объяснила ему, что причиной этому — некоторые фонетические особенности ее родных языков.

В тот же день он не только удивил ее, но и умилил. «Дневная детская» представляла собой большую комнату, половину которой была покрыта линолеумом. В этой части Джип и Фрэд вели свои «маленькие войны». Каждый вечер объявлялось перемирие, игрушечные солдатики, пушки и укрепления складывались в коробки, пол протирался, но наутро детская вновь превращалась в поле ожесточенных сражений. И вот, заглянув среди дня в детскую, Матильда увидела, что Уэллс, забросив все дела, лежит на линолеуме и с не меньшим увлечением, чем Джип и Фрэд, ведет бой. Дети его обожали, он их. Стоило ему с ними заговорить, в глазах его загорался какой-то озорной огонек и он в чем-то становился от них неотличим. Баловать их он при этом не желал. Как-то он встретил Матильду с ними на прогулке. Было жарко, и она несла на руке их пальто. Он немедленно приказал, чтобы дети сами их взяли. Он не собирался воспитывать из них барчуков.

До того, как она попала в дом к Уэллсам, Матильда Мейер, очевидно, не прочла ни одной его книжки. Ей достаточно было знать, что существует такой великий писатель. Теперь она принялась старательно прорабатывать все, что он написал. Это оказалось непросто: не хватало знания языка. Но Уэллс всегда с охотой ей помогал. Впечатление обычного человека он на нее, конечно, не производил. Спал он, когда только удавалось, на воздухе, чаще всего на лоджии, но иногда вставал среди ночи, шел в кабинет и начинал писать, а утром, перечитывая написанное жене, время от времени осторожно поглядывая на нее: понравилось ей или нет?

Поработав днем часа два, он делал перерыв и шел слушать музыку. В доме стояла пианола, и были валики с произведениями Бетховена, Вагнера, Баха, Чайковского, Листа. Порой Джейн сама садилась за пианино или начинала играть на спинете. А когда он совсем уставал, они с женой совершали пешую прогулку, которую скорее можно было назвать «броском»: обычная дистанция составляла от шестнадцати до двадцати пяти километров.

Спортивность входила в число непрременных условий для обитателей этого дома. Здесь играли во все игры, хотя предпочтение отдавалось теннису. При этом все переодевались в спортивные костюмы, кроме, разумеется, Уэллса. Тот считал, что для участия в любой игре достаточно скинуть пиджак, а лучше и рубашку.

О любви к мышам миссис Уэллс, оказывается, тоже спрашивала ее не из пустого любопытства. У детей под шкафом была мышиная нора, и Джип приручил одного мышонка, который выходил на его зов. В первый же день он дал фрейлейн Мейер подержать мышонка на ладони. Она не взвизгнула, не убежала и очень потом собою гордилась.

Словом, она без особого труда прижилась в этом доме.

Что от Уэллса лучше все же держаться подальше, она, правда, поняла довольно скоро. Сперва на чужом примере. Несколько раз она наблюдала у него вспышки раздражения, не всегда легко объяснимого. Потом и на своем. Однажды, когда Уэллс был болен, он попросил ее принести ему из кабинета несколько книг. Она с радостью выполнила его просьбу, тем более что он всегда старался никого не обременять своими поручениями (конечно, за исключением Джейн). Она отдала ему книги, и он поблагодарил ее с тем обаянием, какое буквально изливалось из него в добрые минуты. Но когда она уже подходила к двери, она вдруг услышала бешеный крик и только-только успела увернуться от летевших в нее книг: она принесла не те, что он просил. Обычно после таких выходов Джейн посылала его извиняться, он ходил с ощущением ужасной неловкости, старался оттянуть, сколько можно, это неприятное дело, и нередко в конце концов жена извинялась вместо него. О том, что начинало твориться в доме, когда «понаедут все эти писатели», Матильда Мейер не рассказала. Она как-никак была другом семьи. Но в доме бывали многие, и кое-какие воспоминания все-таки сохранились. Известно, например, что в завершение одного вечера Уэллс предложил всем присутствующим скакать на метлах и сам подал пример.

Не рассказала Матильда Мейер и о многом другом.

После Фрэнка у Джейн детей не было, да и быть не могло — это противоречило бы законам природы. Любовь к переменам, всегда владевшая Уэллсом, теперь, когда здоровье у него окрепло и будущее не занимало больше всех его мыслей, сосредоточилась на женщинах, причем и в этом случае исключение делалось все для той же Джейн. Она как женщина его больше уже не интересовала.

Жизнь в некотором отдалении от Лондона нисколько не мешала его любовным приключениям, напротив, помогала им. Уезжая в город, он распоряжался своим временем как хотел. И в его жизни начали одна за другой мелькать женщины. Сначала это была Вайолет Хант, молодая писательница, племянница художника-прерафаэлиты Холмана Ханта, несколько раз изобразившего ее на своих полотнах. Девочкой она удостоилась даже чести послужить моделью «юной попрошайки» на одной из известнейших картин «самого» Берн-Джонса. Она прекрасно знала Сохо и Пимлико, с их дешевыми кабачками, обязательной принадлежностью которых была еще комната наверху, и Уэллс с восторгом окунулся в эту доселе неизвестную жизнь. Эта связь закончилась, впрочем, достаточно неприятным образом. Уэллсу нравилась не только сама Вайолет Хант, но и ее рассказы. Поскольку он незадолго перед тем помог Форду Медоксу Форду организовать новый журнал «Инглиш ревью», он туда ее и направил, и, едва Вайолет переступила порог редакции, располагавшейся над рыбной лавкой на Холланд-стрит, судьба их отношений с Уэллсом была решена. Форду Вайолет понравилась еще до того, как он сумел оценить ее литературное дарование. Он сделал ее постоянным внутренним рецензентом своего журнала, а заодно и своей любовницей.

Уэллс, впрочем, не страдал. Место Вайолет Хант заняла все та же школьная подруга Джейн Дороти Ричардсон. Заметив некогда, что у ее приятельницы что-то не ладится с мужем, она не пожелала оставаться равнодушной наблюдательницей этого супружеского несогласия и, не имея возможности утешить подругу, решила помочь мужу. Верная себе, Дороти об этой связи тоже рассказала в одном из своих романов — «Левая рука восхода», и Уэллс, прочитав эту книгу, узнал, как он разочаровал свою возлюбленную. Она мечтала о глубокой духовной близости, о возможности постоянного интеллектуального общения между ними, а Уэллс меньше всего нуждался в утехах столь возвышенных. Ему нравилось, что она такая цветущая блондинка. Не более того. Что была она, что ее не было. И вспоминал он о ней потом лишь постольку, поскольку она не желала уходить из его поля зрения. Как писательница она не преуспела, и длинный цикл ее романов, написанных между 1925. и 1936 годами под общим заглавием «Паломничество», не принес ей материальной обеспеченности, так что большую часть жизни она прожила на деньги, которые ей платил Уэллс за чтение его корректур. Умерла она в 1937 году исполненной важности дамой. Она была убеждена в том, что именно ей принадлежит честь открытия метода «потока сознания». Правда, Марсель Пруст опубликовал «В сторону Свана» за два года до того, как она занялась литературной деятельностью, но ее это нисколько не смущало...

Та или иная женщина, впрочем, далеко не всегда оказывалась безразлична Уэллсу как личность, и место в его памяти, на которое тщетно притязала писательница Ричардсон, заняла безымянная вашингтонская проститутка. В 1906 году Уэллс посетил США

и был принят президентом Теодором Рузвельтом («Рузвельтом Первым», как его иногда называют). Выйдя из Белого дома, он сел на извозчика и сказал: «К девочкам». «К белым или цветным?» — только и спросил извозчик. «Конечно, к цветным», — ответил Уэллс. Ему хотелось, сколько возможно, проникнуться местным колоритом. В гостиной публичного дома его внимание привлекла тоненькая смуглая женщина с глубокими умными глазами. Они разговорились, и тут выяснилось, что она очень начитанна, пишет стихи и изучает итальянский язык, правда, отнюдь не бескорыстно. В ее планы входило уехать на время в Италию и, вернувшись оттуда, выдать себя за итальянку. Ей хотелось перестать быть «цветной». При расставании Уэллс заплатил ей больше, чем полагалось, и она вдруг искренне огорчилась: она поняла, что он больше к ней не придет. Да и Уэллс с трудом удержался от того, чтобы не договориться с ней о совместной поездке в Италию. Именно после этой встречи он сформулировал для себя мысль, что близость с женщиной, даже случайная, должна удовлетворять потребности не только физические, но также интеллектуальные и эстетические.

Число женщин с годами все множилось, и Уэллс постепенно начинал приобретать славу главного лондонского Дон Жуана. Для подобной роли он имел, правда, несколько необычную внешность: маленький, толстый, с визгливым голосом. Кто-то из общих знакомых спросил даже одну женщину, что привлекает ее в этом пузатом коротышке. «А у него тело пахнет медом», — ответила она с лукавой улыбкой. Возможно, она могла назвать и другие причины, но воздержалась. И, конечно, среди этих других причин были его всемирная слава и, пускай более локальная, донжуанская репутация. Она женщин не отталкивала, напротив.

Но, как известно, человеку рано или поздно за все воздается. И воздаяние пришло, пусть поздно, но зато в самый неподходящий момент. Карающий меч возник в руке Бернарда Шоу, когда праздновалось семидесятилетие Уэллса.

Вот что рассказал об этом Андре Моруа, который, как уже говорилось, должен был выступить на торжественном банкете с приветственной речью от имени французских литераторов.

«Когда я вошел в банкетный зал, секретарь объявил мне, что выступать я буду вторым, а первым выступит наш всеобщий старейшина Бернард Шоу. Я струхнул. Я уже знал красноречие Шоу, неотразимое, ироническое, всесокрушающее. В своих речах он использовал политику выжженной земли, не оставляя за собой буквально ничего. Какой же невыразительной покажется моя чисто профессорская речь после этого адского пламени! Я сел за стол рядом с Шоу и признался ему в своем беспокойстве.

— Вы совершенно правы, — сказал он мне со своей обычной свирепой непринужденностью. — После меня любой оратор покажется бесцветным.

За кофе он поднялся. Распорядитель в красном фраке и с огромным молотком в руке призвал присутствующих к молчанию, и Шоу, воинственно выставив бороду, начал:

— Бедный старина Уэллс! Вот и вам перевалило за седьмой десяток. А мне скоро перевалит за восьмой... Почему все хохочут? Потому что радуются, что скоро отделаются и от меня и от вас...

Потом он рассказал о том, что сегодня утром встретился со своими австралийскими друзьями, которые спросили, почему это в честь такого юбилея король не пожаловал Уэллса званием лорда.

— Я им ответил: «А на что этому старому бедняге Уэллсу звание лорда? Он ведь даже писать толком не умеет... Впрочем, король не прочел ни строчки Уэллса. Поэтому-то он и хороший король...» Тем не менее мои австралийские друзья наседали на меня: «Нет, н е т, — твердили о н и, — если Уэллса не сделали лордом, значит, что-нибудь говорит не в его пользу». Тут я бросился на его защиту... Я сказал: «Да нет ровно ничего, что говорило бы не в пользу нашего дорогого бедняги Уэллса. Он прекрасный сын... прекрасный отец... прекрасный брат, прекрасный дядя... прекрасный кузен... прекрасный друг...»

И это чудовище Шоу продолжал перечислять все человеческие связи, которым Уэллс был верен, но так и не сказал «прекрасный муж». А ведь все присутствующие знали, что Уэллс был весьма легкомысленным супругом, так что, чем больше родственных связей перечислял Шоу, тем громче становился смех...

Несколько месяцев спустя, встретившись с Уэллсом в Америке, я напомнил ему о том знаменательном вечере:

— В последний раз мы встретились с вами на праздновании вашего семидесятилетия.

— Ах, д а, — ответил Уэллс и даже вздрогнул, так сказать, задним числом, — в тот вечер Шоу произнес воистину непристойную речь. Как это я его тогда не убил!» («Голые факты»).

Но в год, когда Уэллс въехал в Спейд-хаус, да и в последующие несколько лет, он еще не заслужил такого публичного поношения. Для этого должно было пройти три с половиной десятилетия, накопиться десятки фактов и случиться несколько грандиозных скандалов. Пока что любовные приключения Уэллса были всего только эскападами. Главным в его жизни оставалась работа. А значит, и Джейн. Он ценил ее за многие качества, но за одно просто боготворил: она внесла в его жизнь устойчивость, порядок. На ней держался дом. Без нее он не мог теперь быть не только хозяином Спейд-хауса, но и писателем Гербертом Уэллсом.

Правда, постепенно перед публикой возник уже иной Герберт Уэллс.

Кое-что, конечно, заставляло вспоминать сделавшегося уже привычным писателя-фантаста. Больше всего напоминал его автор романа «Пища богов», вышедшего в 1904 году. Название романа первым пришло в голову отнюдь не Уэллсу, а неизвестному автору

рекламы, появившейся в одной из английских газет. «Пищей богов» именовалось там какао определенной фирмы. Да и обнаружил эту рекламу не Уэллс, а Фредерик Макмиллан, но Уэллс после недолгих колебаний предложенное название принял. Оно превосходно подходило к написанной им истории о том, как двое ученых изобрели порошок «гераклеофорбия», невероятно ускоряющий рост живых существ. На беду, фермой, где проводились опыты, заправляли не слишком аккуратные и не слишком честные старик и старуха, с выразительной фамилией Скилетт, которые разворовывали «пищу богов» для своего внучонка и еще ее всюду рассыпали. В результате начали плодиться гигантские осы и крысы, так что еще немного — и люди оказались бы в том же положении, что Гулливер в стране великанов. Борьба против крыс стала напоминать военные операции. Но потом появились и люди-великаны. Они не только физически, но и духовно переросли современных людей, и теперь забрезжила надежда, что они сумеют уничтожить границы и превратить человечество в одну братскую семью...

Эта новая сказка про великанов была в своей первооснове очень традиционна. По крайней мере, для Англии. Конечно, в семье не без уroda, и среди английских великанов тоже попадались людоеды, но в целом это была публика добродушная, готовая помочь людям. Один из них, например, был большим любителем рыбной ловли и делился своим уловом с рыбаками, а как-то даже спас рыбачью лодку, попавшую в беду. Другой сражался с дьяволом и одержал победу. Иногда, правда, английские великаны на что-нибудь обижались и становились опасны для окружающих. Но народ они были простоватый, и перехитрить их ничего не стоило. Однажды такой обидчивый великан поссорился с мэром Шрюсбери и, набрав лопату земли, отправился туда, чтобы завалить город — и дело с концом! Но по дороге он встретил сапожника, который нес на спине мешок обуви, собранной для починки.

— До Шрюсбери далеко? — спросил великан.

Сапожник заподозрил недоброе и ответил, что до Шрюсбери идти и идти. Он сам оттуда, и вот погляди, сколько обуви сносил по дороге.

— Ну и черт с ним, с этим Шрюсбери, — сказал великан. — Буду я еще в такую жару туда тащиться!

Он скинул землю с лопаты и был таков.

Занятно, что в английском фольклоре трудно найти существо более современное, нежели великан. Эти не совсем все-таки обычные существа обитают не в сказочные времена, а сейчас, сегодня, и дружат или вступают в распри с мэрами, рыбаками, сапожниками, лудильщиками, каменщиками, лавочниками, ни в чем не отличимыми от тех, что встречаются на каждом шагу. Этим качеством Уэллс наделяет и своих великанов. Однако их близость с людьми оказывается опасна прежде всего для самих великанов. И дело даже не в том, что «гигантизм», распространившийся по земле,

нарушает привычный ход жизни. Первое сражение с крысами выигрывают те самые люди, что породили «чудо-детей», да и потом выросшие великаны всегда готовы помочь окружающим. Но к иным жизненным масштабам надо заново приспособливаться, они грозят нарушить привычный порядок вещей, и против великанов восстает все, что воплощает в себе людскую косность. Под флагом борьбы с гигантизмом в Англии приходит к власти политик фашистского толка, и начинается своеобразная «война пигмеев с гигантами». Конец «Пищи богов» — это уже не реалистически заземленная сказка, где Уэллс вновь радуется нас верностью жизни и чувством юмора, а некое иносказание и пророчество. Великанов мало, борьба им предстоит нелегкая, но их становится все больше, они полны решимости победить, и будущее — за ними.

Как тут не согласиться с Честертоном, который сказал, что «Пища богов» — это «Джек, потрошитель великанов», написанный с точки зрения великана.

Появившийся два года спустя роман «В дни кометы», если судить по названию, мог показаться «произведением на случай». В 1907 году ожидалось появление кометы Энке, а в 1910 году — кометы Галлея. Незадолго перед тем была освоена техника спектрального анализа, и все ждали, что скажут химики о составе газового хвоста той и другой кометы. Это привлекало тем больший интерес, что выяснилось: когда комета проходит достаточно близко от более крупного небесного тела, часть ее газового шлейфа может оторваться и смешаться с его атмосферой. А поскольку в каждое свое возвращение комета оказывается ближе к Земле, в какой-то раз можно ожидать, что так и случится...

Впрочем, рассказ о всех этих научных соображениях читатель в романе не найдет. В отличие, скажем, от «Войны миров», автор не склонен обыгрывать научную сторону романа. Ни об одной из сближающихся с Землей комет в нем просто не заходит речь. Напротив, здесь еще определеннее, чем в «Пище богов», проявляется страсть к отвлеченному иносказанию. Правда, начальные главы книги никак не предвещают ее конец. Это словно бы первый подступ к «Тоно-Бенге» — книге, которую иначе не назовешь как романизированной биографией автора. Нищий конторщик Уилли Лидфорд, от имени которого ведется рассказ, имеет нечто общее с Уэллсом на определенной стадии его духовного развития, его друг Парлоуд, увлекающийся физиографией, вызывает в памяти Ричарда Грегори, мать Уилли — это, конечно же, Сара Уэллс, а некоторые эпизоды романа явно навеяны воспоминаниями о не столь давних событиях жизни автора. Но в романе все донельзя сконцентрировано, драматизировано, подчеркнуто. Действие разворачивается в Стаффордшире, и это неспроста. Район «Пяти городов» подобен в изображении Уэллса «выжженной земле» военных времен. Но эту землю разорила не вражеская армия, а собственные помещики, фабриканты, домовладельцы. Жизнь людей здесь жалка и безрадостна, и единственная надежда, остав-

шаяся и м , — восстание, борьба не на жизнь, а на смерть. В этом и только в этом видит для себя выход Уилли Лидфорд. Он отвергает как обман все, чем живут власть имущие. Он атеист и враг церкви, которая защищает богатых от бедных. Он постоянно упоминает в разговорах о Марксе и Энгельсе, чем приводит в трепет приходского священника. Ему кажется, что Англию ждет некое подобие французской революции. Богатые отняли у него все. Он потому так жалок, так плохо одет, так физически недоразвит, так несчастен в любви, с таким трудом пробивается к знанию, что богатые лишили его права на счастье. И он готов бороться с ними всеми доступными средствами: разрушать их усадьбы, судить их в революционных трибуналах, — их, а заодно и тех, кто намерен отступить от священной войны против капитализма.

Уилли — не автопортрет Уэллса. Его юношеский радикализм никогда не принимал столь крайние формы. Он знает на собственном опыте, сколь оправдано подобное отношение к миру социальной несправедливости, однако не только сочувствует своему герою, но в известном смысле и судит его. Разве сам Уилли неподвластен дурным инстинктам, которые заставляют богатых жестоко относиться к бедным? Надежда на приход лучших времен заключена, по мнению автора, в моральном преобразовании человечества. Только тогда исчезнет зло.

Действие романа разворачивается в дни, когда зло достигает своего апогея.

На шахтах возникает стачка; и хотя требования рабочих вполне справедливы, хозяева отказываются их удовлетворить. Начинается война между Англией и Германией. В личной жизни Уилли тоже наступает кризис.

Он любит Нетти Стюарт, а она все ускользает от него, и однажды он узнает, что она сбежала из дому с молодым Верролом — сыном местной помещицы. Он лучше одет, чем Уилли, лучше держится на людях, он из мира, где не знают нужды и боязни за завтрашний день. Для девочки из мещанской семьи во всем этом непреодолимое обаяние... Уилли делает попытку забыть Нетти. Он женится на Анне Ривс. Но старая любовь не проходит. При случайной встрече с Верролом и Нетти в нем вспыхивает безумная ревность.

И герой начинает с револьвером в кармане охотиться за молодыми любовниками. Чувства оскорбленного разночинца переполняют его и делают его ревность еще страшней, еще мучительней. Настичь их, убить, а потом покончить с собой — вот расплата с этим отвратительным миром!

Вооруженный, бродит он по ночам, вынашивая планы мести. Он почти обезумел от обиды, от гнева, от голода. Он ничего не замечает вокруг себя, снедаемый злобой...

А над миром висит комета...

Она с каждым часом ближе к земле, и светлеют, а потом и совсем исчезают ночи. О ней никто не думает днем. Но по ночам,

когда люди забывают ненадолго о дневной суете, все больше народу выходит поглядеть на комету. Выходят, любуются ею, а утром возвращаются к обычным своим делам — трудятся, враждуют, борются за место под солнцем, за то, чтобы другой был внизу, а ты наверху...

А над миром висит комета...

В маленьком приморском городке Уилли настагает Веррола и Нетти. На море кипит бой между английским и немецким флотами. Сотни людей гибнут под грохот канонады. А на берегу еще один человек гонится с револьвером в руке за своими жертвами — за людьми, оскорбившими его своей любовью.

Но над миром висит комета. Она уже близко. Она уже столкнулась с Землей, и весь мир заливают потоки зеленого газа. Погоне не дано завершиться убийством. Прекращается морское сражение. Весь мир погружается в сон и просыпается, обновленный.

Проснулись солдаты на фронте и моряки на судах. С недоумением смотрят они на ружья и пушки. Проснулся Уилли. Он не может понять, зачем ему нужен был револьвер. Зеленый газ морально преобразил человечество, и отныне дела в нашем мире пойдут по-иному. То самое правительство, которое развязало войну, прекращает ее и становится инициатором общественных перемен. Хозяин домика, где живет мать героя, отправляется чинить ей крышу. Людям стыдно за то, какими они были раньше. Каждый год на первое мая по всей стране загораются гигантские костры — это жгут старую рухлядь, с которой приходилось жить неимущим, жгут старые дома, долговые обязательства, своды законов, защищавших эгоизм частных собственников. И коллективный радостный труд рождает новую жизнь. Нет больше неурядиц ни в частных делах, ни в общественных. Капиталисты так же трудятся ради общего блага, как и рабочие. Зачем теперь отнимать у них собственность? Иное дело — землевладельцы, обирающие общество. Покончив с ними, можно будет покончить с нищетой...

Уэллс и сам не заметил, как от социализма вернулся к Генри Джорджу, некогда его к социализму подтолкнувшему, но от социализма весьма далекому. Он, впрочем, довольно скоро неодобрительно отозвался о политической тенденции своего романа. «Это не социализм, а толстовство», — сказал он. Но современную Уэллсу критику заинтересовала совсем другая сторона его книги.

Когда зеленый газ залил планету, Уилли встретился с Верролом и Нетти, и девушка поняла, что любит и Веррола и Уилли и должна принадлежать им обоим. Анну он, конечно, тоже не бросит. Отныне они устроят свою жизнь на основе группового брака. Эта линия романа единственно и привлекла внимание критики. Уэллса поносили так, что времена «Острова доктора Моро» вспоминались ему теперь как мирные и блаженные. «Уэллс выступил как проповедник свободной любви». Никто сейчас ни о чем другом не говорил. И хотя на сей раз все соответствовало истине (а может быть именно поэтому), Уэллс необычайно всполошился. Ко-

нечно, о том, что он ведет жизнь весьма вольную, знали буквально все — слишком уж заметной он был фигурой. Но это как-то мало всех трогало. Вести себя, считалось, можно, как тебе заблагорассудится. Но вот говорить!.. И Уэллс принялся писать опровержения, грозился подать в суд за клевету, но никого не напугал. В Англии хорошо еще помнили, что Оскар Уайлд, по существу, сам заставил засадить себя за решетку: он обвинил в клевете тех, кто говорил о нем как о гомосексуалисте, довел дело до суда, и суд, разобравшись в деле, приговорил его к двум годам тюрьмы. Поэтому все понимали, что Уэллса можно травить, сколько душа пожелает. Масла в огонь подливало и то, что Уэллс считался социалистом и скандалу очень легко было придать политическую окраску. Едва кампания против Уэллса начала утихать, приблизились дополнительные парламентские выборы, и шум, поднятый вокруг романа Уэллса, оказался очень на руку правым, всегда обвинявшим социалистов в том, что они «за общность жен». По страницам газет пошла гулять фраза, брошенная в «Таймс литературы сапплмент»: «Социалисты обожают своих жен, а божество непозволительно держать для себя одного». Защититься Уэллс не сумел, да и защитников на стороне не нашел. Напротив, Бертран Рассел обвинил его в том, что он публично отрекается от своих убеждений. Уэллс ответил ему, что, как только сможет жить на проценты с капитала, он начнет вести себя по-другому. Но сочувствия в Расселе не вызвал...

Впрочем, все это уже — в далеком прошлом, и сегодня роман «В дни кометы» заслуживает интереса отнюдь не благодаря истории трех влюбленных, по-своему разрешивших возникшие перед ними трудности.

Политическую сторону романа «В дни кометы» тоже не стоит принимать слишком всерьез. Она явно того не заслуживает. Но зато Уэллс подчеркнул тему, заявленную еще Гете, считавшим, что окончательной победой можно назвать только победу нравственную. Конечно, выражаясь языком математиков, это условие необходимое, но недостаточное. Нравственная победа для части общества подготавливает, а для большинства закрепляет (потому она и оказывается окончательной) результаты преобразований социально-политических, но забывать об этой стороне человеческих отношений нельзя ни при каких обстоятельствах. Как хорошо сказал Ю. Карякин в своей статье «Не опоздать» (1986), законы нравственности тоже носят объективный характер, ибо «что такое объективность законов вообще? Это не только независимость их от человека, но еще — и зависимость человека от них. Объективность законов в том и состоит, что если не считаться с ними, то они рано или поздно, так или иначе, прямо или косвенно напомнят о себе, напомнят сурово, отомстят за себя, заставят себя признать, хотя бы от противного, хотя бы через катастрофу». «В дни кометы» и есть роман катастрофы. Но, в отличие, скажем, от «Войны миров», это — роман предотвращенной катастрофы. О возможнос-

ти катастрофы Уэллс не забывает. Он раз за разом будет еще о ней напоминать. Но он предлагает задуматься и о том, как ее предупредить. А это придает новый смысл его произведению.

«В дни кометы» находится на пересечении нескольких линий творчества Уэллса. Одна из них явно затухает. Многозначный, несущий в себе всю сложность мира фантастический образ куда-то ушел. Наследниками его оказались великаны из «Пищи богов» и «зеленый газ» романа «В дни кометы» — уже не образы, а символы. Но в этих книгах появилось и нечто другое. Молодой Уэллс многому научился у Свифта. Однако он не был просто сатириком, пусть даже сатириком-фантастом. Он принес в литературу XX века новый жанр — антиутопию, и очень непростая история нашего столетия обусловила в дальнейшем расцвет этого жанра. Но, следует подчеркнуть, — в дальнейшем. И Уэллс отнюдь не сделался его поклонником. Внука своего учителя, замечательного писателя Олдоса Хаксли (1894—1963) он, прочитав его роман «Прекрасный новый мир» (1932), назвал «выродком» и ни об одном из антиутопистов не сказал до конца своих дней ни единого доброго слова. Да и они Уэллса не жаловали. Например, один из родоначальников новой (послеуэллсовской) английской антиутопии Эдвард Морган Форстер (1879—1970) задумал свою классическую повесть «Машина останавливается» (1909) как пародию на Уэллса. Так вот, дороги Уэллса и его последователей разошлись как раз в тот период, когда он создавал свои последние фантастические романы — во всяком случае, те, которые еще можно было назвать «уэллсовскими», сохранившими какую-то связь с его ранним творчеством. Ибо «Пища богов» и «В дни кометы», в отличие от «Машины времени» и других романов, с которых он начинал, уже никак не антиутопии. Они находятся на полпути к утопии. Правда, утопический мир прочерчивается здесь лишь в самых общих чертах, но после «Пищи богов» ждать остается совсем недолго, а «В дни кометы» созданы писателем, успевшим годом раньше выпустить свою первую утопическую книгу «Современная утопия» (1905). Рассказанная год спустя после «Современной утопии», история конторщика Уилли была словно бы прощанием с прошлым, а «зеленый газ» — запоздалой данью былым временам. Фантастика и утопия, конечно, всегда были в чем-то сродни, но отношения их у Уэллса оказались более далекими, чем у фантастики и антиутопии. Фантастика на службе утопии выглядела бледной тенью фантастики, порожденной антиутопией. Там была твердая плоть — здесь ее заменил газ, и он рассеялся в воздухе.

И чем больше становился Уэллс утопистом, тем больше не любил антиутопистов. Они же, позабыв, кто их породил, платили ему тем же.

Впрочем, только ли об утопии и антиутопии позволительно рассуждать, перелистывая «Пищу богов» и «В дни кометы»? Разумеется, нет. В «Пище богов» Уэллс предстает перед нами превосходным юмористом, а в следующем своем романе достигает

той остроты психологического рисунка, какой прежде не знал. «Пища богов» и «В дни кометы» написаны человеком, который помнит еще свое прошлое, но уже целиком в настоящем.

Фантастика отныне занимала все меньшее место в его творчестве. Правда, окончательно он от нее не ушел. Но и фантастика у него теперь стала другой.

С конца XIX века Уэллс и Жюль Верн словно бы решили поменяться местами. Жюль Верн умер в 1905 году, но еще несколько лет продолжали по-прежнему, по два в год, выходить романы, заранее им заготовленные. И, как уже говорилось, Жюль Верн в последних своих романах пытался нащупать какие-то новые научные принципы. Порою в поздних романах Жюль Верна начинает чувствоваться влияние Уэллса, а один из них, «Тайна Вильгельма Шторица», был написан на сюжет уэллсовского «Человека-невидимки». С Уэллсом же происходило нечто совершенно обратное. От года к году он все больше стремился изображать конкретные формы техники, правда, основанные на новых научных принципах. Отчасти это становится заметно уже в «Воине миров», где немало конкретных технических предсказаний. В «Первых людях на Луне» Уэллс тоже достаточно подробно описывает конструкцию шара, доставившего его героев на ночное светило. Однако в этих книгах жюль-верновское живет рядом с уэллсовским «на условиях дополнительности». Положение меняется в романе «Когда спящий проснется». Здесь нет уже чего-либо, подобного марсианам или селенитам, зато в изобилии рассыпаны «чудеса техники XXI века». Далеко не все они являются плодом изобретательности самого Уэллса. Так, «самодвижущиеся платформы», заменившие в описанном Уэллсом Лондоне XXI века все виды городского транспорта, демонстрировались уже на Всемирной выставке в Париже. Правда, в том же преобразившемся Лондоне существует и весьма своеобразная форма «индивидуального транспорта» — человек садится на прикрепленную к наклонному канату крестовину и переносится с ее помощью с места на м е с т о , — но и это Уэллс не придумал, а подсмотрел, правда, на сей раз не на какой-либо выставке, а на сельском празднике: в Англии издавна существовал такой вид развлечений. А в трактате «Предвиденья» Уэллс, высказав несколько достаточно общих соображений об условиях материального существования в XX веке, за подробностями отослал читателя к незадолго до того вышедшей книге Джорджа Садерленда «Изобретения XX века». Нет, Уэллс, вопреки мнению своего друга Беннета, не был «большим Жюлем Верном, чем сам Жюль Верн», и если его тянуло изображать конкретные формы техники грядущего, то лишь потому, что и само грядущее ему хотелось показывать в конкретных социальных и политических формах.

Даже приближаясь в чем-то к Жюлю Верну, Уэллс оставался самим собой. У Жюль Верна то или иное изобретение всегда делает одаренный одиночка, использует его в своих целях, — и вот

уже положено начало приключенческому роману. В «жюль-верновских» романах Уэллса новые технические средства неизменно оказываются в руках государства, используются им в самых широких масштабах, и эти его книги иначе как социально-политически не назовешь.

Начиная с «Пищи богов» все его романы, появившиеся до первой мировой войны, имеют форму воспоминаний о давно минувших временах. Люди, живущие в счастливом и справедливом обществе, рассказывают о том, ценою каких страданий они завоевали новую жизнь. Утопия неизменно приходит после катастрофы, разрушившей старые установления. Люди будущего вспоминают прошлое с ужасом, а порой и с некоторым недоумением — уж очень оно было нелепым.

Но сами по себе утопические времена упоминаются пока лишь мимоходом. «Современная утопия» целиком отвечала своему заглавию. Это была утопическая книга как таковая. В романах же утопическое — немногим более чем укор настоящему.

Все это, если воспользоваться термином, принятым в нашей критике 50-х годов, «ближняя фантастика». А в подобной фантастике лучшего образца, чем Жюль Верн, просто нет.

Самый зависимый от Жюль Верна (при всех, разумеется, оговорках) роман Уэллса «Война в воздухе» появился в 1908 году. Технических подробностей в нем хоть отбавляй, что, впрочем, никак не улучшило отношения автора к своему роману. Сказать, что он его как-то стеснялся, значило бы погрешить против истины. Но его только и радовало в этой книге то, что он писал ее каких-то четыре месяца, а заработал три тысячи. Когда же Беатриса Уэбб (с ней нам еще предстоит познакомиться) призналась ему, что «Война в воздухе» понравилась ей гораздо больше, чем «Тонобенге», он ответил ей таким письмом, что эта дама, привыкшая отчитывать других, была поражена и решила, что Уэллс, должно быть, писал письмо в дурном настроении.

Между тем «Война в воздухе» — роман совсем неплохой, а местами и очень занятный. К тому же Уэллс, подражая Жюль Верну, своим тоже поступиться не пожелал, и значительная часть книги явно тяготеет к тем «приказчицким романам», которые он писал начиная с «Колес фортуны». Главный герой книги Берт Смоллуэйс — простой паренек, перепробовавший уйму занятий. Он был и сторожем в галантерейной лавке, и рассыльным аптекаря, и у доктора служил, и газовщику помогал, и молочнику, и бог весть еще чем себе на жизнь зарабатывал, но ни одно из этих дел его не удовлетворяло. Он был сторонником прогресса и нашел себя, лишь поступив в велосипедную мастерскую, а потом сделавшись компаньоном этой, к сожалению, далекой от процветания, фирмы. Чего только не предпринимали компаньоны в надежде улучшить свое положение! Даже глухую собаку завели, чтобы потребовать компенсацию с первого же автомобилиста, который ее задавит. Подумывали и о курах. И все не в прок! Но Берт

не унывал. Они с прогрессом были на короткой ноге. А когда он купил себе в рассрочку мотоцикл, можно было уже соревноваться с прогрессом и в скорости. Но Берт ошибся. Пока он гонял на своем мотоцикле, другие стали понемногу летать, и все заговорили о некоем мистере Баттеридже, бывшем владельце гостиницы в Кейптауне. Тот вроде бы изобрел, но скорее всего украл превосходный летательный аппарат тяжелее воздуха и, продемонстрировав его достоинства, недвусмысленно намекнул, что продаст его тому правительству, которое дороже заплатит.

С этим-то Баттериджем и столкнула БERTA судьба.

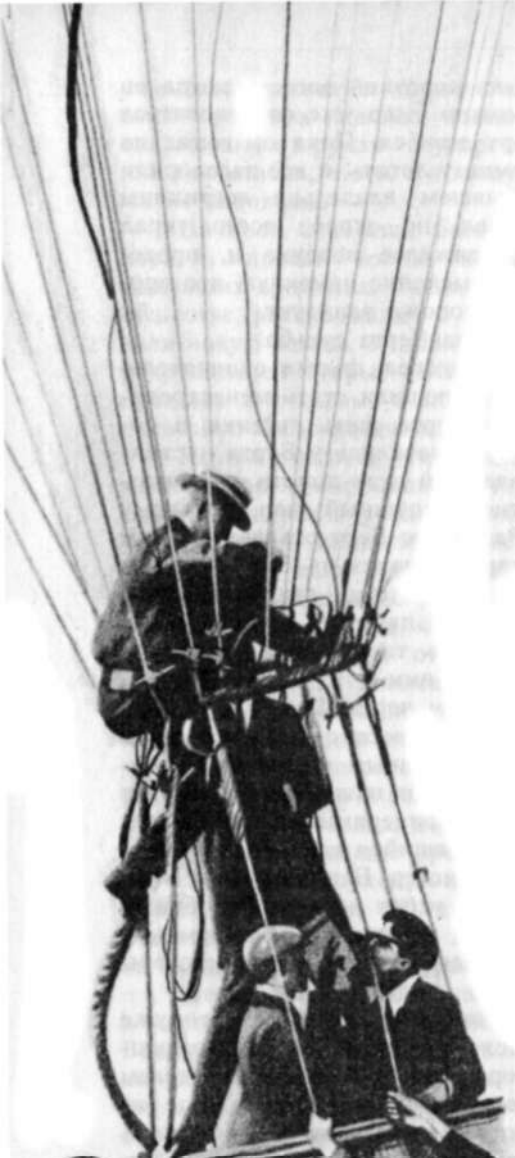
К тому времени мотоцикл у него сгорел, фирма окончательно разорилась, и недавние капиталисты решили стать менестрелями — ходить по пляжу на модном курорте, петь песенки и собирать доброхотные подаяния. И тут-то начались у БERTA настоящие приключения. Не успел новоявленный дуэт допеть свою первую песенку, как весь пляж заметил воздушный шар, которому никак не удавалось приземлиться. Разве мог Берт отказать людям в помощи? Едва шар коснулся земли, он залез на борт корзины и помог выбраться из нее какому-то усатому, свирепого вида человеку и потерявшей сознание дородной даме, но не предусмотрел возможных последствий. Лишившись такого основательного балласта, шар взвился в воздух, а с ним — и Берт. Сначала шар перенес его через Ла-Манш, а потом через Францию и Голландию, и так Берт улетел бы еще неизвестно куда, если бы в Германии его не сбили прямо над огромным полем, уставленным готовыми к отлету дирижаблями. И вот наш Берт Смоллуэйс предстал перед немецкими солдатами и офицерами в роли мистера Баттериджа, ибо свирепый человек, оставшийся где-то на английском пляже, был не кто иной, как мистер Баттеридж, а Берт, пока он пролетал над чужими странами, успел неплохо разобраться в бумагах и чертежах, лежавших в корзине. В Германии его давно ждали — Баттеридж, как выяснилось, вел переговоры с немцами.

Конечно, его без труда разоблачили, но случилось это уже на борту дирижабля, направлявшегося во главе огромного воздушного флота бомбить Нью-Йорк. Берт нечаянно стал свидетелем начальной фазы войны, масштабов которой никто себе еще не представлял. Как выяснилось, все страны в глубокой тайне готовились к воздушной войне, и, начавшись, она сразу же стала мировой. В пределах досягаемости новых, невиданных по величине дирижаблей и авиеток, которые они несли на себе, оказались самые отдаленные пункты вражеских территорий, не было больше фронта и тыла, люди гибли по всей планете, разрушались заводы, пути сообщения, в городах начинался голод.

Берт многое увидел своими глазами, но еще больше рассказал нам о причинах и ходе войны сам автор. «Война в воздухе» была для Уэллса не просто романом о возможных мировых катаклизмах. Он видел в этой книге еще один веский аргумент

в пользу мирового государства, о котором впервые заговорил в «Предвиденьях». «Развитие науки изменило масштабы человеческой деятельности. Новые средства сообщения настолько сблизили людей в социальном, экономическом и географическом отношении, что... новое, более широкое, единение людей превратилось в жизненную необходимость». Но «государства начали вести себя, как плохо воспитанные люди в переполненном вагоне трамвая: действовать локтями, толкать друг друга, спорить и ссориться». На вооружение было растрчено колоссальное количество умственной и физической энергии. И борясь между собой, правительства привели мир ко всеобщей катастрофе. Победителей не оказалось. Экономика рухнула, мир одичал, и потребовалось много поколений, чтобы мало-помалу возродилась цивилизация. Берт до этих времен, конечно, не дожил. И семеро его детей тоже.

И, само собой разумеется, — внуки. А может, и правнуки. Но жизнь у него сложилась неплохо. Он уцелел и вернулся



в родные края, где первым делом пристрелил главаря банды, управлявшей округой, а потом, сообразив, что отныне ему считаться либо убийцей, либо политиком, сам стал во главе этой банды. Вел он себя, впрочем, неплохо. Он пахал землю, растил детей, отражал нападения грабителей и в положенный срок кончил свой век. В прогресс он отныне не то что не верил, а просто о нем не задумывался. Другие у него теперь были заботы...

«Война в воздухе» в одном отношении поистине оказалась «ближней фантастикой». Когда несколько лет спустя, во время первой мировой войны, начались налеты немецких цеппелинов на Лондон, не один англичанин вспоминал, наверно, недавно прочитанный роман Уэллса. То, что автор «Войны в воздухе» отдал преимущество дирижаблям перед самолетами, никак не могло вызвать тогда удивления. Надо помнить, что первый полет братьев Райт в 1903 году имеет в истории авиации значение скорее символическое, нежели практическое. Их аппарат был еще очень несовершенен, и сами они далеко еще не достигли признания. По словам биографа этих изобретателей М. Чарнли, американские газеты заметили Райтов только во время полетов на аппарате модели 1908 года и, «читая газетные сообщения, все думали, что полеты 1908 года были первыми достижениями Райтов». Аэропланы военной поры тоже были еще очень несовершенны. Достаточно сказать, что за эти годы в результате аварий погибло намного больше самолетов, чем от огня противника.

С начала XX века Уэллс все чаще задумывается о надвигающейся войне. В «Предвиденьях» он посвятил ей целый раздел, выступив как сторонник сравнительно небольших, но чрезвычайно мобильных и хорошо вооруженных воинских соединений, в которых каждый солдат имеет отличную техническую подготовку. Эта концепция Уэллса, начисто опровергнутая в ходе первой мировой войны, возродилась в 20—30-е годы в форме так называемой теории малых армий. В Англии ее сторонником был известный военный теоретик полковник Фуллер, автор книги «Реформация войны» (1923), по мнению которого цель войны состоит в «проведении политики нации

с наименьшим ущербом как для себя, так и для противника, а следовательно и для всего мира, ибо интересы культурных государств так тесно переплетаются между собой, что разрушить одно значит поразить все остальные». В Италии теория малых армий разрабатывалась генералом Дуэ, во Франции — полковником Шарлем де Голлем, успевшим еще до войны приобрести репутацию «самого



интеллигентного офицера французской армии». И хотя вторая мировая война, как и первая, велась миллионами солдат, теория малых армий сыграла очень большую роль в разработке тактики родов войск.

В «Войне в воздухе» Уэллс уже видит — много раньше других — определенные недостатки теории малых армий — ни одной из сторон не удастся закрепить свою победу над авиацией противника, потому что у нее нет большой оккупационной армии, — но интерес к военной теории и технике его не оставляет. Если прикинуть, сколько технических прогнозов сделал Уэллс именно в военной области, этот «второй Жюль Верн» может, сравнительно со своим предшественником, показаться совершенным «ястребом». Особенно гордился Уэллс тем, что он изобрел танк. Идея «сухопутного броненосца» возникла не у него, и он отнесся к ней поначалу чрезвычайно скептически. Но в 1903 году его осенила мысль, что «сухопутный броненосец» делается по-настоящему грозным оружием, если его поставить на гусеничный ход. Этот свой «сухопутный броненосец» он описал в журнале «Стрэнд мэгэзин» за тринадцать лет до первой в мире танковой атаки на Марне (1916) и необычайно раздражался, если кто-нибудь оспаривал его приоритет. Когда в 1940 году генерал-майор сэр Эрнст Суинтон в своем выступлении по радио заявил, что мысль о танке ему первому пришла в голову, Уэллс немедленно откликнулся заметкой, составленной в таких выражениях, что старик генерал возбудил против него дело о клевете и без труда его выиграл. Правда, Би-би-си предложило заплатить за Уэллса часть штрафа, но это только заставило его разослать широкому кругу лиц свой «меморандум», где поношению подвергался уже не оставшийся где-то в стороне генерал, а само Би-би-си за свою безответственность и нежелание заплатить весь штраф...

То, что Уэллс еще за пятнадцать лет до начала первой мировой войны размышлял о возможном ее характере и последствиях, никак не было случайностью. В эти годы все говорило о приближении большой европейской войны. В 1904 году британский флот был выведен из Средиземного моря и сконцентрирован в Северном море, поближе к берегам Германии. Началась гонка вооружений. В 1906 году в Англии был спущен на воду знаменитый «Дредноут» («Бесстрашный»), в три раза превосходивший по огневой мощи любой из существовавших до того кораблей. Он, впрочем, очень недолго оставался непревзойденным. Водоизмещение «Дредноута» составляло около 18 тысяч тонн. За восемь лет, оставшихся до войны, в разных странах появились линейные корабли водоизмещением до 29 тысяч тонн, и соответственно оснащенные более мощным оружием. Армии всех европейских держав ежегодно увеличивались на несколько десятков тысяч человек. После так называемого Агадирского кризиса, когда в июле 1911 года кайзер Вильгельм II направил канонерскую лодку «Пантера» в Агадир (Марокко), чтобы продемон-

стрировать свои колониальные притязания, мало кто сомневался, что дело идет к войне. И о ней высказывалось немало предположений, причем Уэллс отнюдь не был первым, кто начал строить подобные прогнозы.

В 1893—1894 годах пятидесятилетний варшавский экономист, председатель правления и главный акционер нескольких железных дорог, Иван Станиславович Блюх напечатал в «Русском вестнике» серию своих статей о будущей войне и в 1894 году выпустил книгу «Экономические затруднения в среднеевропейских государствах в случае войны». В 1898 году исследования Блюха вылились в огромный пятитомный труд «Будущая война в техническом, политическом и экономическом отношениях», к которому была приложена еще книга «Общие выводы из сочинения "Будущая война..."». Профессиональные военные над Блюхом, разумеется, лишь посмеялись. Ишь куда занесся этот статистик! Но Блюх один только и предугадал в достаточно широком объеме характер и последствия надвигающейся войны. За границей к этой книге проявили больший интерес, чем в России. В 1899 году К. Т. Стед выпустил под заглавием «Возможна ли ныне война?» краткий английский перевод этой книги; французы перевели ее от начала и до конца. Уэллс прочитал сначала перевод Стеда, а потом, хотя, возможно, и не целиком, французское издание. Некоторые мысли Блюха показались ему особенно близки. Блюх писал, что война подорвет европейскую экономику и, быть может, приведет к гибели существующего порядка. Война окажется затяжной, в ходе ее профессиональное офицерство неизбежно будет перебито, место людей из высшего общества займут выходцы из других слоев населения, и не исключено, что армия по окончании войны не даст себя разоружить. Тогда-то и произойдут события, «даже худшие», чем во времена Парижской коммуны.

Уэллс изложил сходную мысль в серии статей «Война и здравый смысл», опубликованных в 1913 году в газете «Дейли мейл», хотя и сделал это в более образной форме. «Каждое современное европейское государство более или менее напоминает плохо построенный, с неверно найденным центром тяжести, пароход, на котором какой-то идиот установил чудовищных размеров заряженную пушку без откатного механизма, — писал он. — Попадет эта пушка в цель, когда выстрелит, или промахнется, в одном мы можем быть уверены — пароход свой она обязательно отправит на дно морское». Не сомневался Уэллс в колоссальных последствиях войны и потом, когда она была уже в полном разгаре. В феврале 1916 года в гостях у Уэллса побывали три члена приехавшей незадолго перед тем по приглашению английского правительства группы русских журналистов — А. Н. Толстой, К. И. Чуковский и В. Д. Набоков. Одному из них, В. Д. Набокову, удалось перед отъездом из Англии еще раз увидеться с Уэллсом. Говорили прежде всего о войне. «Он, конечно, не сомневается

в ее колоссальных последствиях, которые отразятся на всех сторонах жизни, на индивидуальной и общественной психологии, на политическом и общественном строе. И он хочет угадать, какую форму примут грядущие изменения», — рассказывал потом Набоков.

«Война в воздухе» была прежде всего предупреждением против надвигающейся опасности, а в известном смысле и спором с Блюхом, вернее, с той безоговорочной формой, в которой мысль Блюха была изложена в переводе Стеда, подчеркнувшего невозможность войны в современных условиях. По мнению Уэллса, новые виды оружия отнюдь не делают войну невозможной. Они только ставят под угрозу всю современную цивилизацию.

Четыре года спустя после «Войны в воздухе» воздушный флот сам по себе уже не казался Уэллсу видом вооруженных сил, способным коренным образом изменить характер войны. Для этого самолеты должны быть оснащены новыми разрушительными средствами. Летом 1912 года он задумал следующий свой роман о войне. С декабря 1913 года роман начал печататься в журнале «Инглиш ревью», а с января 1914 года — в русском журнале «Заветы». В том же году он вышел отдельными изданиями в Англии и в России.

Это новое предупреждение человечеству сделано, что называется, в последний момент. Уже через несколько месяцев после опубликования книги Синклер Льюис писал в своей статье «Закат капитализма»: «"Освобожденный мир" — отнюдь не утопический роман... В основе этой книги лежит подлинная жизнь — жизнь такая, какой мы видим ее сейчас, когда в Европе разыгрывается ужасающая трагедия». Прогноз Уэллса подтвердился менее чем через год после того, как попал в типографию его новый роман. Война началась, как он и предсказал, наступлением немецких войск на Францию через Бельгию. Он предвидел войну, знал, что ее недолго ждать, но ему не хотелось верить, что это случится так скоро...

Впрочем, отнюдь не самообманом можно объяснить то, что Уэллс в своем романе отодвигает начало войны на добрых сорок лет. Этот срок он выдает современным порядкам, чтоб тем вернее они рухнули после первого же серьезного удара. Не малоподвижные армии 1914 года решают исход войны и не дирижабли. Главная действующая сила в мировой драме на сей раз — самолеты, вооруженные атомными бомбами. И в результате гибнет нынешний социальный порядок, причем конец его виден еще до начала войны.

Новый источник энергии необычайно дешев. Он обладает малым весом, и его легко приспособить к любому двигателю. Золото перестает быть редким металлом — отныне это просто отход при производстве атомного горючего. Казалось бы, открылся невиданный простор для благосостояния всего человечества. Но атомные бомбы еще не сброшены, война еще не объявлена,

а мир уже выглядит так, словно его постигло огромное бедствие. Целые отрасли промышленности прекратили существование, десятки миллионов людей потеряли средства к жизни. В Америке бушует эпидемия самоубийств. В Англии дороги забиты толпами голодных людей. Финансовый кризис принимает небывалые размеры. Тогда-то правительства и начинают войну. Голодные и раздетые люди с восторгом идут в армию. Быть солдатом значит все-таки быть сытым, одетым, обутым. И вот к весне 1959 года двести городов уничтожено на земле. Всякий старается первым сбросить бомбу, чтобы опередить возможных противников. Животный страх руководит действиями всего человечества.

«Земля перестала быть безопасным убежищем для человека», — воскликнул Уэллс на заре своего творчества. Шестнадцать лет спустя он мог уже точно сказать, откуда придет опасность. Роман об атомном веке — это была счастливая находка для Уэллса. Многие туманные догадки дней его юности теперь обретали конкретность. Вряд ли для самого Уэллса «Освобожденный мир» был фантастикой. Это была книга конкретных предсказаний.

Мысли Уэллса о широком применении в сравнительно недалеком будущем атомной энергии могут показаться чрезвычайно смелыми, если сравнить их с тем, что говорили ученые двадцать и более лет спустя. Эрнст Резерфорд, который в 1903 году создал совместно с Фредериком Содди теорию радиоактивности, а в 1919 году осуществил первую искусственную ядерную реакцию, осенью 1933 года, выступая на годичном собрании Британской ассоциации, назвал вздором всякие разговоры о возможности получения атомной энергии в больших масштабах. Нильс Бор в 1939 году доказывал, что практическое применение процессов деления невозможно. Правда, были и оптимисты. Лео Силард уже в 1934 году пришел к мысли о возможности цепной реакции, но взять патент на свое открытие, сделав его тем самым общедоступным, отказался. Много позже он рассказал, как пришел к такому решению. В 1932 году в Германии был издан немецкий перевод «Освобожденного мира», и Силард, прочитав у Уэллса о возможных последствиях своего открытия, предпочел его похоронить. Правда, сам Уэллс к этому времени уже не верил в скорую реализацию своих предсказаний. Когда он писал «Освобожденный мир», еще не выяснилась вся сложность проблемы. В 20-е же годы Уэллс в романе «Тайники души» заявил, что атомную энергию удастся получить лишь через четыре тысячелетия.

Главным источником Уэллса в работе над «Освобожденным миром» была книга Фредерика Содди (1877—1956) «Разгадка радия» (1908). Это была первая в мире популярная книга о перспективах использования атомной энергии. «Человеческая раса, которая научилась бы превращению энергии, мало нуждалась бы в том, чтобы зарабатывать хлеб свой в поте лица своего», — писал он. — Судя по тому, чего добились наши инженеры,

располагая сравнительно ограниченными источниками энергии, она могла бы освоить пустыни, растопить полюса и превратить всю землю в эдемский сад, озаренный улыбкой».

Фредерик Содди дожил до хиросимского взрыва. Он умер в 1956 году академиком и Нобелевским лауреатом, но в последние годы занимался уже не только физической химией, но и вопросами социологии и политэкономии.

Незадолго до того, как должна была взорваться бомба над Хиросимой, семь чикагских ученых направили петицию военному министру США, в которой пытались убедить его отказаться от атомной бомбардировки Японии. Они писали, что наука уже не способна оградить человечество от атомной опасности. Для этого необходима новая политическая организация мира.

Уэллс заявил об этом еще в 1913 году.

«Освобожденный мир» задуман как грандиозная история борьбы человечества за энергию, борьбы за знания, открывающие великие кладовые природы. Роман начинается с истории дикаря, возмечтавшего поймать солнце, и кончается историей человека XX века, готовящегося к межпланетным полетам. История краха капитализма, описанная в романе, — необходимый эпизод в движении человечества к счастью.

«Величайшим из романов Уэллса» назвал «Освобожденный мир» Фредерик Содди; «книгой, поистине всеобъемлющей» назвал его Синклер Льюис. «Освобожденный мир» действительно был всеобъемлющей книгой. Уэллс высказал в ней все, что думал о будущем человечества, наиболее полно выразил свой взгляд на мир и человека. Понятно, что в нем не могла не отразиться и ограниченность взглядов Уэллса. Многие он угадал верно. Других его мыслей история просто не успела еще подтвердить. Но одно место в его книге она успела уже опровергнуть. Речь идет о том, кто кончит войну и повернет человечество на путь социализма. Когда мировая анархия достигнет предела, рассказывает Уэллс (совсем в духе романа «В дни кометы»), образуется мировое правительство из бывших королей, президентов и просто умных людей, которое сумеет извлечь уроки из случившегося. Сначала они попытаются восстановить общество на старых основаниях, но очень скоро объективный ход событий подтолкнет их к тому, чтобы принять социалистическую доктрину. Их поддержит общественное мнение, потому что люди на собственном горьком опыте поймут, что в социализме — единственный путь к спасению. Создание мирового государства, согласно Уэллсу, натолкнется на активное сопротивление, но вот социализм придет как-то сам собой. Увы, мы уже знаем, что никогда ничего подобного не случилось: создание нового общественного строя — дело труднейшее.

«Повесть о человечестве» — назвал Уэллс в подзаголовке «Освобожденный мир». Повесть о человечестве — не о людях. Люди здесь появляются мимоходом. Они словно на мгновение

вырваны из общего полумрака карманным фонариком автора и остаются в луче света лишь до тех пор, покуда хватит питания от крошечной батарейки. Машинистка в главном штабе в Париже, на чьих глазах погиб этот город, пилот, летящий с заданием бомбить Берлин, дамский портной, негодующий, что он не может вернуться в оцепленный войсками Париж, где теперь каждый камень излучает смерть... Иногда эти зарисовки великолепны. Солдат в окопе смотрит на кровавый обрубок, оставшийся от его руки, и вдруг осознает всю глупость и подлость войны: ведь это его правая рука, которой он мог столько сделать, столько построить, — умная рука человека! Так проклята будь война! Это проклятье войне, выкрикнутое с болью и гневом рабочим, сравнимо только с иными местами из романа Барбюса «Огонь». Но таких эпизодов в романе немного.

К «Освобожденному миру» трудно подходить с традиционными мерками. С поднобной точки зрения он не слишком удачен, и то, что он не имел широкого читательского успеха, — никак не случайность. И все же за теми, кто высоко его ставил, была своя правда, только лишь высказанная раньше, чем она смогла пробиться к широкому общественному сознанию. Время в полной мере понять эту правду пришло лишь в самые последние десятилетия. И здесь стоит вернуться к статье Ю. Карякина, по мнению которого «угроза гибели рода человеческого породила категорический императив, требующий сегодня сделать «последние» вопросы гуманистического идеала самыми первыми: вопросы философские, «вечные», — социальными, политическими, неотложными; вопросы, казавшиеся абстрактными, — самыми конкретными; вопросы, традиционно переживаемые в одиночестве великими умами и сердцами человечества, — вопросами масс, вопросами для всех и каждого. Происходит великая спасительная демократизация великих вопросов (не путем снижения их уровня, а путем возвышения людей к ним)».

Реальная опасность оказалась страшнее, чем предполагал Уэллс. У него речь идет о крушении цивилизации. Сейчас возникла угроза исчезновения всего живого с лица земли. И все же, если была бы создана предложенная Ю. Карякиным «Антология предупреждений», роман Уэллса занял бы в ней почетное место. И этим не исчерпываются его достоинства. В нем было все, с чем Уэллс-мыслитель подошел к началу войны. Он выступил здесь сразу и как писатель-фантаст, и как пророк грядущего крушения капитализма, и, наконец, как утопист, рисующий картины «эдемского сада» на земле, которая избавилась от скверны стяжательства.

Страшная буря в большом стакане воды

В начале второй пунической войны (218—201 до н.э.) карфагенский полководец Ганнибал вторгся в Северную Италию и римляне начали терпеть поражение за поражением. Третье из них — при Тразиментском озере (217 до н.э.) — было поистине катастрофическим. Пятнадцать тысяч римлян погибли, десять тысяч разбежались куда глаза глядят и начали, кто как мог, пробираться домой. Четыре тысячи конников, которых послали на помощь терпящему поражение войску, Ганнибал тотчас же захватил в плен. Если Ганнибал не взял тогда Рим, то лишь потому, что не сразу оценил масштаб и значение собственной победы.

Тут и настал час Квинта Фабия Максима Веррукоза. Он сам возглавлял посольство, объявившее войну Карфагену, но после побед Ганнибала понял две очень важные вещи. Во-первых, что Ганнибал — великий полководец. Во-вторых, что от подобного разгрома так скоро не оправившись. И сделал нужные выводы.

Фабий Максим происходил из древней знатной семьи. Восемь членов его рода успели прославиться до него. Но Фабий Максим завоевал свою славу совсем особым путем. Когда его назначили диктатором и он получил армию в свое распоряжение, он решил во что бы то ни стало избегать крупных сражений, изматывая противника в мелких стычках и затягивая войну. Ганнибал как-никак находился на чужой территории, войско его страдало от нехватки продовольствия и от болезней, порожденных неудобствами многолетней лагерной жизни. Само собой разумеется, у итальянских крестьян, которых грабило и разоряло чужеземное войско, подобная тактика удовольствия не вызвала. Тогда-то Фабия и прозвали Кунктатором — Медлителем. А некоторое время спустя лишили власти. Верх взяли сторонники решительных действий. Собрали армию в 86 тысяч человек против 50 тысяч, которыми располагал Ганнибал, и двинулись на него. Сражение, завязавшееся у деревни Канны (216 до н.э.), вошло в историю военного искусства. Численное превосходство римлян несколько им не помогло. Римляне всегда действовали по установленному шаблону, и поломать его значило лишить эту армию элементарной боеспособности. Ганнибал окружил противника, нарушил боевые порядки и вызвал поголовную панику. Под Каннами полегло 70 тысяч римлян. Карфагеняне же потеряли — и то главным образом в начале битвы — 6 тысяч человек. Кончилась она простым истреблением обезумевших от страха людей.

Пришлось снова призвать Фабия Максима. И теперь слово Кунктатор звучало уже как похвала. До конца войны Фабий не дожил, но римляне ее выиграли главным образом благодаря тому, что на определенном ее этапе следовали тактике, которой он их научил.

Поэтому когда в 1884 году группа левых интеллигентов основала в Лондоне Фабианское общество, они были совершенно уверены, что именно их тактика пропаганды социалистических идей во влиятельных слоях общества и постепенных реформ приведет со временем к далеко идущим социальным преобразованиям. В каком-либо «политическом идеализме» ни супругов Уэбб, ни Бернарда Шоу, ни других основателей общества обвинить было нельзя. Это были сугубые реалисты, мечтавшие захватить рычаги власти или, во всяком случае, руководить теми, кто уже держит их в руках. В этих целях Уэббы организовали в 1900 году клуб «Взаимосодействующих», куда должны были войти, с одной стороны, видные государственные деятели, а с другой — выдающиеся умы своего времени. В числе последних они пригласили в клуб Бертрана Рассела и Герберта Уэллса.

Уэллс ухватился за их предложение с восторгом. Ему был интересен этот доселе совершенно ему неведомый мир, и его не могла не привлекать возможность пропагандировать свои идеи в таком кругу. Одна из них все больше начинала захватывать его — идея мирового государства. Основой его должна была послужить Британская империя, преобразованная до неузнаваемости. Предполагалось, что она, распространяя английский язык и английскую культуру, послужит более тесному общению разных народов и в конце концов приведет к их духовному объединению. Разочарование во «Взаимосодействующих» наступило очень скоро. Уэллс был за империю, им самим придуманную, идеи же свои он пытался втолковать обычным империалистам, стоявшим за Британскую империю, какая она есть. Бертран Рассел, увидев, с кем имеет дело, просто вышел из клуба. Уэллс в нем остался. Он объяснял это тем, что в пределах клуба должен быть слышен «хоть один разумный голос». Но, думается, были и другие причины. Как-никак Уэллс был писателем, и человечески члены клуба были ему необычайно интересны. Он теперь знал чуть ли не всех, кто стоял у кормила власти. Что это за люди? Как он обнаружил, — по большей части милые, образованные, воспитанные. Особое впечатление произвел на него молодой человек, делавший умопомрачительную политическую карьеру. Он был само обаяние. Звали его сэр Эдуард Грей. В 1914 году он был уже министром иностранных дел — из самых, наверно, молодых в истории Англии, — и Уэллс потом называл его одним из главных виновников первой мировой войны, унесшей миллионы человеческих жизней...

Из клуба «Взаимосодействующих» прямая дорога вела в Фабианское общество. Оно тоже было чем-то вроде закрытого клуба. Правила приема были очень строгие. Требовались две рекомендации (Уэллсу их дали Бернард Шоу и Грэм Уоллес, профессор основанной Уэббом Лондонской школы экономики и политики, вошедшей позднее в состав Лондонского университета), но каждая кандидатура утверждалась потом исполкомом, и, чтобы отклонить ее, требовался всего лишь один голос против.

Конечно, для клуба Фабианское общество было великовато — в нем состояло около семисот человек, но для политической партии маловато. Оно было странным симбиозом клуба и партии, точнее — разросшейся политической группой, и в начале века фабианцы начали ощущать межеумочность своего положения. В 1900 году образовался Комитет рабочего представительства, переросший потом в лейбористскую партию. Фабианцы участвовали в его работе, но влияния в нем не имели, и единственным ощутимым для них результатом этого политического шага был окончательный разрыв с либералами, левое крыло которых притязало раньше на то, чтобы защищать интересы трудящихся. Отношения обострились до того, что исполком вынес постановление: всякий, кто поддержит на выборах кандидата либеральной партии, будет немедленно исключен из Общества. Постановление было нелепым, поскольку лейбористы выставили своих кандидатов далеко не во всех избирательных округах, и могло сыграть на руку разве что консерваторам. К тому же многие видные фабианцы были близки все к тем же консерваторам по самому острому вопросу тех лет — об отношении к англо-бурской войне (1899—1902). В то время как тогдашний руководитель левых либералов Ллойд Джордж в буквальном смысле слова бился насмерть против войны (его и в самом деле дважды чуть не растерзала разъяренная толпа), Бернард Шоу употреблял всю силу своего красноречия в поддержку войны. С его точки зрения, существование малых государств противоречило принципу коллективизма, и чем скорее они будут поглощены крупными державами — тем лучше. Многие тогда отвернулись от фабианцев, в самом Обществе царил совершенный разброд, поговаривали даже об его ликвидации. Постановление об исключении тех, кто выступал в поддержку либералов, разумеется, ни разу не было выполнено — Обществу и так грозило затеряться где-то между тремя (теперь уже тремя!) могущественными партиями. Надо было хоть как-то выжить. Тогда-то исполком, который в партии давно уже называли «старой бандой», принял решение «вливать в Общество новую кровь». В первую очередь их выбор остановился на Уэллсе. В 1903 году он был единогласно принят в Общество и показал себя на первых порах лояльным и деятельным членом. Правда, на очередных парламентских выборах он активно подержал Уинстона Черчилля, своего будущего врага, и сде-



дал это совершенно сознательно: Черчилль был тогда либералом, и Уэллс, лично с ним знакомый, восхищался его умом, энергией и политическим талантом, а из противостоявших ему кандидатов социалист Дэн Ирвинг не имел ровно никаких шансов на успех, так что, отдав ему голос, можно было только помочь заядлому реакционеру и тупице консерватору Джонсону-Хиксу. Однако в Фабианском обществе словно бы и не заметили, что Уэллс нарушил постановление исполкома. Он был для них ценным приобретением, и ссориться с ним они не собирались.

Ссориться с фабианцами начал сам Уэллс.

Исходные позиции у него были на первый взгляд четкие, и противоречивость их вскрывалась не сразу. Внести социалистическое сознание в усиливавшуюся на глазах лейбористскую партию не удалось. Не возникает ли отсюда необходимость создания самостоятельной социалистической партии? Фабианское общество может послужить ее ядром, но для этого оно должно в корне перестроиться. В сознании Уэллса крепко засело воспоминание о первой встрече с фабианцами в подвале Клементс-Инна. В душе его все восставало против эдакого профессорского тона, усвоенного Обществом. Не положено ли социалистам быть подемократичнее? Общество существует с 1884 года, а в нем до сих пор всего семьсот членов, принятых чуть ли не с франкмасонскими церемониями, да и среди них активно действующих — от силы сто человек! Конечно, фабианцы не притязают на звание партии. Тут с ними спорить не приходится. Но разве эта группа в ее теперешнем состоянии может стать ядром будущей политической партии? Не надо ли ей сперва самой измениться?

Впоследствии Уэллс писал, что предпринял тогда попытку создать в Англии некое подобие ленинской большевистской партии. Конечно, он не был таким теоретическим простаком, чтобы распространять это сравнение дальше определенных пределов.

Ленинская партия, отвергающая марксизм? Ленинская партия, опирающаяся не на сознательные слои рабочего класса, а только на прогрессивно ориентированную интеллигенцию, в том числе (и отнюдь не в последнюю очередь) на широко мыслящих, преодолевших свой эгоизм буржуа? Ленинская партия, боящаяся революции и возлагающая надежду на то, что она заполнит политический вакуум



после того, как старый порядок рухнет сам собой? Ни одну из подобных глупостей Уэллс, разумеется, произнести не мог. Упомянув о большевистской партии, он имел в виду лишь ее организационную структуру, как он ее понимал. В «Предвидениях» он писал о «новых республиканцах», которых в «Современной утопии» переименовал в «самураев Утопии» — крепкую группу, объединенную общей идеологией, преданностью делу, строгой партийной и духовной дисциплиной, спартанским образом жизни, а потому способную руководить массами, или, точнее, предлагать им именно те решения, которые масса уже «выносила» в себе, но еще не осознала в четких политических терминах. Впрочем, и само понятие «масса» для марксистов и Уэллса звучало по-разному. Он сформулировал это различие так: «Маркс был за освобождение рабочего класса, я стою за его уничтожение». Рабочий класс, по мысли Уэллса, в ближайшее время исчезнет. Его верхушка в ходе научной революции сольется с технической интеллигенцией. Что же касается тех, кто не сумеет найти себе место в новом индустриальном обществе (здесь Уэллс впервые поднимает одну из проблем современной западной социологии — «проблему неспособных»), то они деклассируются, превратятся в «людей бездны», и по отношению к ним у общества будет лишь одна забота — как прокормить их и тем самым обезопасить себя от них.

Уэллс именовал себя мелкобуржуазным социалистом. Но он был совершенно убежден, что именно мелкобуржуазному социализму и суждено восторжествовать в ближайшие десятилетия, и в пределах этого течения принадлежал к людям наиболее радикальным. Или, если употреблять бытовые понятия, — к людям весьма беспокойным. Что и предстояло почувствовать фабианцам.

В 1904 году совершенно для всех неожиданно он заявил, что в знак протеста против брошюры Шоу «Фабианизм и налоговая проблема» выходит из Общества. Когда ему объяснили, что в построенной на демократических началах организации, каковой является Фабианское общество, всякий вправе высказывать свою точку зрения и несогласные могут просто оспаривать ее, он, хотя и не сразу и не без больших капризов, взял свое заявление обратно. Уэббам пришлось приехать на два дня в Сендгейт и долго его уговаривать. В знак примирения был устроен торжественный обед, на котором кроме Уэллсов, супругов Шоу и супругов Уэбб присутствовали еще автор нескольких философских работ премьер-министр Артур Балфур и один из епископов. Беатриса Уэбб записала в своем дневнике, как ей в этот раз понравился Уэллс. Секретарь Фабианского общества Эдвард Пиз (в «Опыте автобиографии» Уэллс не забыл его упомянуть, обозвав квакером, сухарем и педантом) получил в эти же дни письмо, в котором Уэллс сообщал ему, что терпеть не может фабианцев.

Спокойнее всего к подобным выпадам Уэллса относился Шоу. Он считал, что просто Джейн избаловала мужа до безобразия. И вообще она ошиблась выбором. Когда они с Уэллсом пожени-

лись, он, Бернард Шоу, был еще холостяком. Очевидно, она этого тогда не знала.

Шоу, конечно, шутил. Он женился иначе, чем Уэллс, — не на бедной студентке, а на дочери своего бывшего нанимателя, крупного дублинского домовладельца. То, что он тем самым пошел по стопам Гарри Тренча, далеко не во всем симпатичного ему героя собственной пьесы «Дома вдовца» (1892), его нисколько не смущало: деньги, которые принесла Шарлотта Пэйн-Таунзэнд, давали ему возможность думать не о заработках, а о серьезных делах — реформе английского театра и пропаганде социализма.

И вообще он относился к Уэллсам с большим сочувствием. К Джейн — за все, что ей приходилось терпеть, к Герберту Джорджу — за его подвластность настроениям, неспособность контролировать себя, неумение вести себя и поддерживать хорошие отношения с людьми. И еще — за поразительное непонимание того, как делается политика. Хотя бы на самом элементарном уровне. Здесь Шоу не мог удержаться от того, чтобы все время давать Уэллсу советы — даже в тех случаях, когда тот выступал против него. Чуть что, он принимался писать ему письма — насмешливые, чуть издевательские, но неизменно доброжелательные. Написанные немного в той манере, в какой взрослые пишут детям. И в самом деле, Бернарду ли Шоу — великому оратору и изощренному политику — было бояться Уэллса с его истеричностью и — в минуты волнения — сбивчивой речью и голосом, поднимавшимся до визга? Но Уэббон он предупреждал, что сбрасывать со счета Уэллса нельзя. Он пользуется огромной популярностью в стране, и сами по себе его взгляды вполне разумны и найдут поддержку в среде молодых фабианцев. К тому же Уэллс не привык отступаться от своего.

И действительно, обед в присутствии премьер-министра нисколько не помог делу. Конфликт Уэллса с фабианцами, точнее — со «старой бандой», продолжал разгораться. Правда, открытое столкновение оказалось несколько отсрочено тем, что Уэллсу очень трудно давался «Киппс», над которым он тогда работал. К тому же он опять заболел и два месяца провел в постели. Впрочем, лучше относиться к фабианцам он за это время не стал. «Я собираюсь взорвать Фабианское общество изнутри и выбросить его в мусорный ящик», — писал он Форду. Надо, наконец, считал он, вместо расплывчатых разговоров о социализме как царстве справедливости сформулировать конкретные цели, которые ставит перед собой Фабианское общество. Целей этих должно быть, по его мнению, три: национализация земли и крупной промышленности, уравнивание в правах мужчин и женщин и обеспечение одиноких матерей. Последние два пункта должны были очистить английское общество от остатков викторианской морали и оздоровить его. Что касается суфражисток, считавших, что эти вопросы решаются предоставлением женщинам доступа к избирательным урнам, то над ними он смеялся.

Политический сдвиг в стране заставил его поспешить с началом своего наступления.

В январе 1906 года состоялись парламентские выборы, которые принесли невиданный успех либералам. К тому же в палату общин впервые были избраны лейбористы — сразу двадцать девять человек. Комитет рабочего представительства отныне получал возможность стать политической партией. Независимая рабочая партия, руководимая горняком Кейром Харди, превращалась из обыкновенной левой группы в серьезную силу и одну из главных частей лейбористской партии (эта партия основана на принципе коллективного членства).

Еще в декабре 1905 года Уэллс напечатал в «Индепендент ревью» большую статью «Беда с башмаками», где среди прочего издевался над теми, кто, «именуя себя социалистами, старается уверить вас, будто разговоры о понижении муниципалитетами цен на воду и газ это и есть социализм, и считает, что мельтешить где-то между консерваторами и либералами значит пролагать путь к Золотому веку». 9 февраля он прочитал на заседании Общества свой манифест «Пороки фабианцев». Там говорилось, что в современных условиях это Общество больше всего напоминает гостиную, где люди обмениваются непонятными для посторонних домашними шутками и ведут левые разговоры. Если фабианцы ставят своей целью пропаганду социализма, пусть всерьез его пропагандируют. Для того чтобы англичане повернулись к социализму, надо, чтобы они сперва побольше о нем узнали. Пора кончать с кастовым духом фабианцев! Надо довести число членов до семи тысяч, открыть местные отделения, достать деньги и начать издавать собственный орган. В принципе ничего неприемлемого для фабианцев во всем этом не было. В ином случае им было не отстоять право на самостоятельное политическое существование, а одно из требований Уэллса они выполнили при первой возможности — начали с 1913 года издавать еженедельник «Нью стейтсмен». Молодежь вся была за Уэллса, «старая банда» тоже склонялась к тому, чтобы принять его предложения. Конечно, Уэллс в тот момент был самым радикальным из фабианцев, но он все-таки был фабианцем и никем другим, и, когда Кейр Харди предложил ему стать членом Независимой рабочей партии, он отказался. Тут не было никакой непоследовательности. В 1906 году, ведя переговоры с одним американским издательством о своей новой политической книге, он специально просил, чтобы в заглавии не было слова «социализм», ибо он на корню отменяет самую идею классово-борьбы. Для него социализм, писал он, это прежде всего план переделки человеческой жизни, замены беспорядка порядком, и главное его, Уэллса, отличие от других социалистов состоит в том, что для него чрезвычайно важен вопрос о самообуздании и добровольном подчинении новым политическим институтам. И это писалось по поводу книги, вышедшей в 1908 году под названием «Новые миры вместо старых» и содержащей

больше элементов подлинной социалистической доктрины, чем любое другое произведение Уэллса! Нет и еще раз нет — Уэллс был именно фабианцем, пусть и особой масти. Против основ его идеологии фабианцам возражать не приходилось. Однако его выступление 9 февраля 1906 года так попахивало борьбой за власть и было так пересыпано личными оскорблениями, что «старая банда» всполошилась. Тем более, что на сей раз Уэллс выступал удачно. Шоу по-дружески предупредил Уэллса, чтоб он не связывался «со стариками». Он как-никак совершеннейший дилетант в политической игре, а восстанавливает против себя опытных профессионалов. Но Шоу, видимо, написал это письмо лишь для успокоения совести. Он ведь сам лучше других знал, что Уэллс от своего не отступится.

Новая отсрочка была вызвана отъездом Уэллса в Америку. Около двух месяцев он ездил с лекциями по университетским городам, был принят президентом Теодором Рузвельтом и неизменно расхваливал его потом в своей книге «Будущее Америки». После Теодора Рузвельта Уэллс встречался со всеми американскими президентами, но, кроме Франклина Делано Рузвельта, ни один из них не произвел на него какого-либо впечатления. Надо сказать, что Теодор Рузвельт далеко не всем запомнился в столь хорошем свете, как Уэллсу, — ведь именно он провозгласил политику «большой дубинки», — но приезжему англичанину многое должно было в нем импонировать. И то, что Теодор Рузвельт первоначально приобрел известность как историк, и то, что он, пусть и в очень ограниченных масштабах, был реформистом и — конечно, прежде всего на словах, — боролся за права «маленького человека». Не могло Уэллсу не польстить и то, что Теодор Рузвельт прочитал его «Машину времени» и она ему понравилась.

Интересно, знал ли Уэллс еще об одной заслуге хозяина Белого дома?

Теодор Рузвельт (1858—1919) был самым молодым из предшествовавших ему двадцати пяти американских президентов (он стал им сорока трех лет от роду, в 1901 году; только что выбранный в вице-президенты, он тогда занял место убитого президента Маккинли). Рузвельт увлекался охотой, даже написал несколько книг о своих охотничьих экспедициях и тем ввел как-то в искушение администрацию штата Миссисипи, решившую сыграть на этой его слабости. В ноябре 1902 года Теодор Рузвельт прибыл в этот штат, чтобы демаркировать часть его границы со штатом Луизиана, и власти Миссисипи начали прикидывать, как бы склонить его на свою сторону. В конце концов было решено устроить для президента медвежью охоту. Ему привели на веревке крошечного медвежонка и вручили заряженное ружье. Трудно сказать, почему Рузвельт пощадил медвежонка — то ли подобная «охота» показалась ему недостойной человека, ходившего на крупную дичь, то ли ему стало жалко маленького зверька, то ли он решил продемонстрировать свою неподкупность, — но стрелять он отказался.

Как могла пресса пожертвовать подобным сюжетом? Выдающийся американский карикатурист Клиффорд Берримен немедленно откликнулся на это событие рисунком в «Вашингтон ивнинг стар»: Теодор (или, как его предпочитали называть, Тедди) Рузвельт с возмущением отворачивается от предложенной ему живой взятки.

Этой картинкой все бы и кончилось, если бы среди современников Теодора Рузвельта не было еще и некоего Морриса Мичтома. Мичтом с женой держали в нью-йоркском предместье Бруклине маленькую лавочку сластей, но, поскольку их соседи были все больше такие же эмигранты из России, которые и сами не хуже них умели печь маковки и прочие еврейские лакомства, дела их шли не блестяще. К счастью, они с женой были еще и рукодельники и занимались изготовлением игрушек, благодаря чему приобрели возможность питаться не одними лишь нераспроданными сладостями из собственной лавки. Рисунок Берримена был для них счастливой находкой. В мастерской сыскался кусок коричневого плюша, из которого Мичтомы смастерили медвежонка, назвали его «медведь Тедди» и поместили на витрине под вырезкой из газеты. Медведя купили, Мичтомы сделали нового, потом еще одного — всех брали! И дело пошло. В то время у девочек были куклы, а мальчики не имели собственной игрушки, так что короткое время спустя Мичтом был хозяином собственной фабрики, а миллионы детей — обладателями плюшевых медведей, которых до сих пор в США и в Англии именуют «медведи Тедди» (teddy bears).

Теодор Рузвельт не остался сторонним наблюдателем «медвежьего бума». Продав своего третьего или четвертого медведя и заказав впрок побольше плюша, Мичтом обратился с письмом к президенту, и тот позволил использовать его имя для новой игрушки.

Если Уэллс узнал когда-нибудь эту историю, она не могла ему не понравиться — ведь как-никак сын его ученика Алана Александра Милна — Кристофер, тогда еще не родившийся, стал потом под именем Кристофера Робина большим другом такого выдающегося плюшевого медведя, как Винни Пух. Впрочем, когда Уэллс подплывал к берегам родной страны, мысли его были заняты другим. Он был уверен, что в своей борьбе со «старой бандой» близок к решающему успеху и ему остается только «добить» их.

Особенно его подбадривало то, что он пользовался теперь поддержкой молодежной группы, именовавшей себя «Кембриджское университетское фабианское общество». Возникла она в самом начале 1906 года и состояла сперва всего из двух студентов Королевского колледжа, принявших название «карбонарии» и увлеченных идеалами революции 1848 года. Одному из их друзей без большого труда удалось обратить их на путь фабианского социализма, и недавние карбонарии стали горячими последователями Уэллса. Число «кембриджских фабианцев» стремительно

росло, причем, к ужасу «старой банды», к ним присоединились их собственные дети. Эту группу порой называли «Фабианская детская». Среди «кембриджцев» был даже сын Сиднея Оливье, теперь уже сэра Сиднея.

И — что никак не должно пройти мимо внимания читателя — дочь очень активного члена Фабианского общества Уильяма Пембера Ривса (1857—1932).

Ривс был человек обиженный. Он происходил из Новой Зеландии, где ему прочили огромную политическую карьеру. В тридцать лет он был членом парламента, в тридцать четыре — министром просвещения, труда и юстиции. Но пять лет спустя случилась беда. Его отец оказался замешан в финансовых аферах, разорился, и дурная репутация семьи перекрыла Ривсу путь к вершинам власти. Все же его не захотели совсем уж выкидывать за борт и просто отослали подальше — направили в Лондон постоянным представителем Новой Зеландии. (Тогда эта должность называлась «Главный представитель», впоследствии — «Генеральный комиссар»).

Ривс сперва воспринял это назначение как достаточно почетное. Он представлялся себе чем-то вроде посла. Но когда на первом же большом государственном приеме его посадили где-то позади мэров больших городов, он понял, что это не так. Конечно, можно было попытаться сделать политическую карьеру в Англии, как это позже удалось выходцу из Канады Бонару Лоу, ставшему в 1922 году британским премьер-министром. Но в 1896 году, когда Ривс прибыл в Лондон, ему было уже под сорок, начинать все заново в незнакомом месте было поздно, и Ривс махнул на себя рукой, тем более что и здоровье стало пошаливать. Для той борьбы за власть, которую он затеял в Новой Зеландии, у него оказались слишком слабые нервы, и неудача заставила остро это почувствовать. Он страдал головными болями, несварением желудка и порой впадал в полную прострацию. На его счастье, он оказался очень нужен Сиднею Уэббу. Он пробовал свои силы в политической теории и в истории (среди его книг есть «История Новой Зеландии» и «Введение в историю коммунизма и социализма»), имел административный опыт, вообще любил кем-то и чем-то руководить, и Уэбб скоро догадался, что лучшего директора для своей Лондонской школы экономики и политики ему не найти. В 1908 году Пембер Ривс ушел с государственной службы и принял предложенное ему Уэббом место. Работа эта, видимо, не занимала всего его времени, поскольку он, кроме новых научных публикаций, сумел выпустить еще антологию новозеландской поэзии. С годами он из левого либерала превратился в социалиста и входил теперь в исполком Фабианского общества. Состоял он, разумеется, и в клубе «Взаимносодействующих», так что вправе был сказать, что по-прежнему принадлежит к «хорошему обществу».

Все это, впрочем, никак не делало его счастливым человеком, потому что корень бед был не в забывавшихся понемногу по-

литических неудачах, а в семье. Еще в Новой Зеландии он женился на очень красивой девушке много себя моложе и на всю жизнь испортил с ней отношения одной неосторожной фразой, сказанной в день свадьбы. Прежде чем отправиться в свадебное путешествие, он с привычной строгостью спросил ее, взяла ли она с собой достаточно денег, и она ему этого никогда не простила, тем более что от своего начальственного тона он отказаться был органически неспособен. У них были две дочери и сын, погибший потом в первой мировой войне, но дети их тоже не сблизили. Напротив, с годами Магдалена («Мод») все больше выказывала свою независимость. После смерти теток у нее появились свои деньги, она приобрела собственный круг друзей, считала ненужным сообщать мужу, куда уходит из дома, и, что хуже всего, сделала суфражисткой. Но семья сохранилась. Мод была религиозна, фанатически привержена «христианской науке», доказывающей, что причины всех заболеваний таятся в духовной сфере, и придерживалась строгих моральных принципов.

С Уэллсами Ривсы познакомились в 1904 году, когда Ривс задумал написать историю утопии. Пемберу было тогда сорок семь лет, а Мод сильно за тридцать, что не мешало ей сохранять свою красоту. Обаянием и живостью ума Мод тоже заметно превосходила мужа, так что в завязавшейся дружбе она всегда оставалась на первом плане. А поскольку Фабианское общество в чем-то напоминало семейный круг (там и склоки-то завязывались семейные, ибо не только Беатриса Уэбб была в обществе видной фигурой, но и Шарлотта Шоу, и даже Джейн Уэллс), это сыграло в дальнейшем немалую роль.

То, что Уэллс потребовал включить в программу Фабианского общества четко сформулированное указание на необходимость национализации земли и крупного капитала, несколько не заинтересовало Мод Ривс, но его борьба за полное равноправие женщин во всех сферах жизни сделала ее горячей его сторонницей. Более деятельного помощника в борьбе за овладение Фабианским обществом у Уэллса, пожалуй, и не было. Притом — помощника очень здорового и умелого. Политический опыт мужа для Мод не пропал даром. В отличие от Уэллса, она знала толк в политической игре.

Ну, а старшей дочери Ривсов, Эмбер, учившейся в одном из кембриджских колледжей, сам бог велел стать на сторону матери. И, надо думать, она многих своих однокашников увлекла за собой. Девушка это была яркая, брызжущая энергией, самоуверенная (старшим порой казалось, что просто нахальная), да и внешне очень привлекательная. Предки ее с материнской стороны происходили из Венгрии, и что-то в ней чувствовалось восточное. Подвижное смуглое лицо увенчивала копна черных волос, фигура у нее была тонкая, гибкая. Некоторые молодые люди, что называется, сходили по ней с ума, но для Уэллса она пока была просто еще одной его сторонницей в борьбе против исполкома. Он думал

лишь о предстоящих сражениях. Америка помогла ему поверить в себя. Выступления его проходили с большим успехом, он стал своего рода «светским львом». Неужто ему не суждено победить на родине?

27 мая 1906 года, ровно два месяца спустя после того, как трансокеанский лайнер «Кармейния», среди пассажиров которого был Герберт Уэллс, покинул Лондонский порт, другой лайнер, «Кембрия», пришвартовался к тому же пирсу, и Уэллс, полный боевого задора, сошел на родную землю.

Фабианцы уже готовы были его принять. К сожалению, не наилучшим образом. И тылы у них были совсем неплохие. Уэллс так травил тогда за роман «В дни кометы», что американский кураж начал быстро с него спадать. Когда 1 октября Уэбба, желая хоть как-нибудь примириться с Уэллсами, навестили их в Сендгейте, он сказал Беатрисе: «Еще один такой провал, и мне придется, чтоб как-то прожить, вернуться в журналистику». И все же он упорно продолжал настаивать на неперменном своем условии: надо для начала прогнать секретаря Общества Эдварда Пиза, который дважды отказывался напечатать его антифабианские статьи в качестве «фабианских трактатов» — официального издания этой группы. Вторую из них — «Реорганизация Фабианского общества» — Уэллс вынужден был даже издать за свой счет, разослать по почте части членов Общества, а для остальных разложить по стульям перед началом одного из его заседаний.

В ноябре Уэллс уехал ненадолго в Венецию — надо было как-то остыть и успокоить нервы. Писать он не переставал, напротив, работал над самым значительным своим романом «Тонно-Бенге», на который возлагал большие надежды, и буквально разрывался между своими литературными и политическими заботами. Но то, что тучи начинают сгущаться, он все же как следует не понимал. Одиннадцатого сентября Шоу прислал ему письмо, такое же шутовское, как всегда, но полное упреков. Почему с Уэллсом ни о чем нельзя договориться? Он, например, добиваясь, чтобы «Беда с башмаками» была опубликована в качестве фабианского трактата, пообещал, что выкинет оттуда все личные выпады. Почему в представленном тексте он этого не сделал? И вообще, неужели, выступая против Уэбба, он не задумывался о том, что сам он — тот же Уэбб, только взбесившийся? Пизу деваться некуда. Он от своих полутора сотен в год никогда не откажется. Но Уэллс не представляет себе, как сильно у «старой банды» (Шоу очень любил это определение!) искушение просто уйти от дел, перевалить все на его плечи и посмотреть, что у него получится. Пусть Уэллс помнит: он всего лишь писатель, да и то настоящее столкновение с жизнью произошло у него уже очень давно. У всех у них за плечами — диккенсовская фабрика ваксы, и их социализм — из протеста против нее. Но от талантливых людей ждут не эмоций, а продуманных планов. Уэллс же сегодня больше всего напоминает героя собственного романа «В дни кометы», причем

делает все возможное, чтобы еще не одна комета свалилась ему на голову.

Уэллс почему-то пришел в восторг от этого письма, о чем не замедлил сообщить его автору, и тот написал Уэббам, что, к счастью, ему удалось избежать личной ссоры со столь значительным человеком. Но речь шла только о сохранении личных отношений. У Шоу был свой способ отгеснить Уэллса. Надо было выступить с собственным планом реформы Общества и тем самым переманить на свою сторону радикалов, поддерживающих Уэллса. По существу, этот план был очень похож на уэллсовский. Шоу предлагал создать социалистическую партию, опирающуюся не столько на рабочий класс, сколько на средние слои общества. Если Шоу чем-то существенным и отличался здесь от Уэллса, так прежде всего — пониманием механики избирательной борьбы. Было ясно, что в ближайшее время политические шансы лейбористов и буржуазных партий должны сравняться и успех тех или других будет зависеть от поддержки средних слоев, не имевших пока своей политической организации. Повести их за собой становилось практической необходимостью. Этот план Шоу, как известно, со временем и осуществился, хотя достаточно парадоксальным образом. Никакой новой партии фабианцы не создали, но, войдя в состав лейбористской партии, послужили ферментом того ее крыла, которое как раз и говорит от имени средних слоев. Все предложения Шоу были сформулированы четко, убедительно, и когда перед решительным заседанием, назначенным на 7 декабря, Уэллс в числе остальных членов Общества (а они были разосланы всем поголовно), прочитал их, он совершенно смешался.

Он даже не понял, что предоставленная ему возможность выступить первым — не знак уважения, а политическая ловушка. Выступал он плохо, «словно приказчик, обращающийся к покупателю», как сказал Шоу, и даже самых горячих его сторонников охватило сомнение: годится ли этот человек на роль политического лидера? Уэллс то утыкался в бумагу, то поднимал голову к потолку, то начинал бормотать неразборчиво себе под нос, то вдруг выкрикивал что-то визгливым голосом. Он понимал, что проваливается, и все равно целый час не мог остановиться — все говорил и говорил, пока окончательно не сломился. Он потерпел поражение еще до того, как ему успели возразить хоть единым словом.

Когда же Шоу выступил со своей речью, Уэллсу пришел конец. В спокойной, корректной манере, ни на минуту не забывая следить за реакциями публики, выверяя с чутьем подлинного музыканта модуляции собственного голоса, то развлекая присутствующих непринужденной шуткой, то подчиняя их своей внутренней силе, он оставил от Уэллса мокрое место. Для того, чтобы разделиться с Уэллсом в этот день, не нужно было быть великим оратором, но Шоу, выступая перед публикой, становился им в любом случае.

Уэббы торжествовали, но Шоу попросил их умерить свои восторги. Он ведь обещал им «взять Уэллса на себя»? Так пускай дадут ему довести дело до конца. Заседание 7 декабря не приняло никакого решения, и оставалась опасность, что сторонники «старой банды» сочтут себя победителями, успокоятся, может быть, даже не придут на следующее заседание, а их противники, напротив, активизируются. Уэллса же надо добить. Раз и навсегда. Чтоб больше ему не подняться.

«Уэллсисты» и правда активизировались. Заседание, назначенное на 14 декабря, открылось очень умной речью Мод Ривс, призывавшей к единству и предупреждавшей об опасности раскола. И тем не менее никакой демонстрации единства не получилось. Обе партии явились в полном составе, возбуждение достигло предела.

И опять все решило выступление Шоу. Уэллс преподнес свои поправки как нечто подобное вотуму недоверия исполкому. «Значит ли это, что, если собрание поддержит исполком, Уэллс уйдет из Общества?» — спросил Шоу. Уэллс немедленно попался в эту ловушку. «Ни в коем случае!» — закричал он. «Что ж, это очень приятно слышать, — заметил Шоу. — Но не следует ли отсюда, что исполкому в подобных обстоятельствах тоже стоит подождать до следующих выборов?»

Все нападки Уэллса на «старую банду» теперь выглядели не слишком достойными, и он вновь потерпел поражение.

Нет, Уэллсу, вышедшему на бой с фабианцами, явно не хватало полководческих талантов Ганнибала. Разве не прав был Шоу, твердивший ему: «Лучше с нами не связывайся!»

И все-таки окончательный удар Уэллсу нанес вовсе не Шоу. Это сделала «Фабианская детская».

«Кембриджские фабианцы» оставались верны Уэллсу, несмотря ни на что. Теперь они ждали только обещанных на следующий год перевыборов (которые, кстати, укрепили положение «старой банды» и ничего не дали Уэллсу). Но дело было не только в поддержке его идей, для Уэллса, разумеется, лестной. На собраниях молодых фабианцев, в число которых проникало все больше людей, не имевших отношения ни к Кембриджу, ни к старшему поколению фабианцев, его охватывало чувство, что в Англии зарождается интеллигенция. Это русское слово, тогда еще не вполне укоренившееся в английском языке, для самого Уэллса значило очень многое. Культурный слой, лишенный сословных предрассудков, пришедший из демократической среды, — не об этом ли он мечтал?

Беда, впрочем, была в том, что это горячее чувство к единомышленникам сосредоточилось на молодых особах женского пола.

Сначала в жизни Уэллса возникла Розамунда Бланд, дочь видного фабианца Хьюберта Бланда и гувернантки мисс Хоатсон. Розамунда была до смерти напугана своим отцом, человеком

крайне морально распушенным. Она рассказала Уэллсу, что тот проявляет к ней отнюдь не отеческий интерес, и Уэллс, как он (надо надеяться, не без чувства юмора) написал в «Постскриптуме к автобиографии», решил предотвратить кровосмесительную связь, поставив себя на место Бланда. Но, несмотря на все благородство чувств, им руководивших, разгорелся скандал. Миссис Бланд, закрывавшая глаза на поведение собственного мужа, принялась писать оскорбительные письма Джейн, обвиняя ее в том, что та поощряет порок. А в один прекрасный день Хьюберт Бланд поймал Уэллса с Розамундой на Паддингтонском вокзале и в полный голос прочел ему лекцию о том, как нехорошо соблазнять молодых девиц. И тут выяснилось, что кровосмешение можно предотвратить более простыми средствами, чем избранные Уэллсом: Розамунду выдали замуж за молодого человека, в нее влюбленного. Так Уэллс приобрел еще одного личного врага в Фабианском обществе. Точнее, двух: Розамунда была девушка красивая, брат Гилберта Честертона, Сесил, входивший в Общество, тоже был в нее влюблен и тоже возненавидел Уэллса.

Но это была только прелюдия.

Среди молодых последовательниц Уэллса самой верной и увлеченной была Эмбер Ривс. Они много гуляли вместе, обсуждая дела Фабианского общества. Она обращалась к нему не иначе как со словом «Учитель», а он именовал ее «Дуза» (сокращенное от «Медуза», поскольку она в компании любила изображать из себя «Медузу» Челлини). Что касается тогдашних идей Уэллса, то ее больше всего интересовала не раз уже высказанная им мысль о допустимости группового брака...

Во время одной из таких прогулок Эмбер призналась Уэллсу, что влюблена, и, когда он спросил, в кого, просто бросилась ему на шею — к совершеннейшему его восторгу.

Так они стали любовниками.

Преданность Эмбер была столь велика, что Уэллс даже на старости лет не мог говорить об этой девушке без восторга. В ее увлечении идеей группового брака не было никакой женской уловки, и, когда Уэллс однажды в порыве страсти предложил ей выйти за него замуж, она решительно отказалась. Уэллса она любила самозабвенно, но и Джейн вредить не собиралась.

Незадолго до этого Эмбер перешла в Лондонскую школу экономики и политики. Начала она свою работу там с тем же блеском, какой отличал ее в Кембридже, но скоро все забросила. Ей теперь было ни до чего.

Джейн, как всегда, все знала. И, как всегда, терпела. Она предпочитала считать Эмбер просто другом семьи, и та не раз гостила у них в Спейд-хаусе. Так продолжалось весь 1908-й и часть 1909 года.

Но потом события приобрели опасный для Джейн поворот.

В апреле 1909 года выяснилось, что Эмбер беременна, и Уэллс решил бежать с ней из дому. Иначе как бегством это не назовешь.

Он вытребовал Эмбер на вокзал «Виктория», и та появилась там, побросав в чемодан самые необходимые вещи. Они уехали во Францию, сняли дом, и все шло к разрыву с семьей. Из Франции Уэллс написал известному драматургу Генри Артуру Джонсу, которому, он знал, понравился Спейд-хаус, и предложил тому срочно его купить за сравнительно небольшую сумму. Для Джейн с детьми он столь же поспешно купил дом в Лондоне (новый официальный адрес Уэллса теперь был Лондон, Хэмпстед. Чёрч-роу, 17) и начал торопиться с переездом. Он почти выкидывал их из дому. Они не успели даже как следует упаковаться. Но, когда это произошло, Уэллс понял, что расстаться с Джейн неспособен. И что во Франции ему тоже долго не усидеть. Ему нужен был Лондон. Оставаться с Эмбер во Франции значило демонстративно порвать с обществом. Эмбер, как всегда, первая нашла нужное Уэллсу решение, причем в этом ей помогло еще одно обстоятельство: здесь надо было самой вести дом, чего она не умела и учиться чему не желала. Уэллс же непрестанно требовал, чтоб о нем лучше заботились. Так что в один прекрасный день она сказала: если надо, они расстанутся. В нее уже несколько лет был влюблен молодой адвокат Бланко Уайт, который знал об ее отношениях с Уэллсом, о ее беременности и все равно продолжал ее добиваться. Она выйдет за него замуж. Из домика в Летуке, который они снимали, он проводил ее в Булонь, посадил на корабль и возвратился в Летуке. Ему нужно было хоть несколько дней, чтобы прийти в себя. Потом он попросил Джейн с детьми приехать к нему. Они появились, и ему было с ними удивительно хорошо. Он даже смог снова приняться за работу. Он писал «Мистера Полли» и был очень доволен тем, как у него получается.

Ну, а Джейн? «Джейн была удивительна», — написал он потом. Она никогда ни словом не попрекнула его ни за одну подобную историю: она ведь знала, что их отношения строятся на такой духовной близости, какую ничто не порушит, а его увлечение другими женщинами рассматривала как вспышки какой-то хронической болезни. Так было и на сей раз. Он же объяснял ей — и искренне сам в это верил, — что переезд в Лондон затеян ради нее: она любит музыку и сможет там ходить на концерты, да и к тому же слишком спокойная жизнь в Сендгейте толкала его на подобные эскапады...

Впрочем, на этом его отношения с Эмбер не кончились. Равно как и с ее близкими. Пембер Ривс рассматривал эту историю как еще одно испытание, посланное ему судьбой, но его чувства изливались не против отвлеченного понятия судьбы, а против конкретного исполнителя ее предначертаний. Уэллса он ненавидел. Уэллс, разумеется, ничего иного от него ждать и не мог, но что поразило его в самое сердце, так это реакция Мод Ривс. Она ведь стояла за равноправие женщин и государственную помощь одиноким матерям! Но равноправие равноправием, считала недавняя его добрая приятельница, а мораль моралью. Соблазнять молодых

девочек, да к тому же — дочерей своих друзей, было, по ее мнению, в высшей степени безнравственно. Да и на дочку свою смотреть как на невинную жертву коварного соблазнителя Мод не могла. Она неплохо знала свою Эмбер. И хотя Эмбер вышла замуж, она, в полном согласии с Пембером, отказала молодым в какой-либо материальной поддержке. Пришлось позаботиться о них коварному соблазнителю. Он снял для них домик, стал их навещать, и... опять все началось сначала. Все сложилось точь-в-точь как в «Днях кометы». Этот злосчастный роман никак не желал отпускать своего создателя. Но в атмосфере, которой дышали новые невольные его герои, не был разлит «зеленый газ», и в реальности подобные отношения доставляли им немало мучений. В конце концов Бланко Уайт, собравшись с духом, просто запретил Уэллсу появляться где-либо поблизости, и Эмбер во всем его поддержала. Уэллс, который опять воспыал страстью к Эмбер, пережил новое потрясение. Он ведь был так с ними с обоими хорош! Он никогда слова дурного не сказал Эмбер о Бланко или Бланко об Эмбер! Он помогал им, как мог. И разве он от кого-то прятался? После того, как Эмбер родила дочь (она назвала ее Анна-Джейн), он несколько раз демонстративно гулял с ними в Гайд-парке. Но «групповой брак» на деле выглядел несколько иначе, чем на бумаге. Да и сам Уэллс не был тем героическим борцом против условностей, каким себе временами казался. Или, точнее, был борцом, но отнюдь не героическим. Того же Пембера Ривса он боялся теперь как огня, объясняя себе это тем, что любой скандал, который тот устроит, заденет чувства Джейн. Пришлось подчиниться неизбежности. Они с Эмбер расстались и не виделись несколько лет. Потом, когда стало ясно, что их чувства угасти, Уэллсы пригласили Уайтов к себе в гости на воскресенье. После смерти Джейн Уэллс стал видиться с Уайтами немного больше. С Эмбер он встречался, правда, чаще, чем с Бланко, — тот оказался заядлым спорщиком, а Уэллс очень не любил, когда с ним спорят.

Такой, по видимости благополучный, конец этой истории не принес все же Уэллсу душевного покоя. Ибо и это был еще не конец.

Теперь его мучило, что его дочь растет без него и даже не знает, кто ее настоящий отец. За ее судьбу он не беспокоился. Эмбер оказалась хорошей и умной матерью. У нее было еще две дочери, и всех она сумела вырастить женщинами трудовыми, неизбалованными, а судьба Анны-Джейн сложилась совсем благополучно. Она с отличием окончила Лондонскую школу экономики и политики, получила степень бакалавра и уже в самом начале 30-х годов была на верном пути. Но она считала своим отцом Бланко Уайта, любила его, и объявить ей, кто ее настоящий отец, решились, лишь когда она окончила университет. Все эти годы, пока от Анны-Джейн скрывали правду, в душе Уэллса таилось что-то недоброе. Он все чаще думал о том, что у Эмбер есть хо-

рошо укрытые уголки, где гнездится нечестность. Даже былая любовь представлялась порою в новом свете. Не было ли в Эмбер чего-то от авантюристки? В 1915 году он написал роман «Великие искания», где изобразил Эмбер под именем Аманды. И она предстала там отнюдь не в лучшем свете. Если роман попал в руки Эмбер, она могла утешаться одним: он был так плох, что читателей для него не предвиделось. Но в чем-то она ошиблась. Конечно, людям с элементарным эстетическим чутьем роман этот оказался совершенно не нужен (увы, таких романов Уэллса с годами появлялось все больше и больше), но вместе с тем он был настолько автобиографичен, что люди, интересовавшиеся Уэллсом как мыслителем и личностью, прочли его от корки до корки...

И все-таки в 1932 году настал день, когда Анна-Джейн узнала, кто ее настоящий отец. Как она это восприняла?

Здесь, как принято говорить, источники расходятся. В «Постскриптуме к автобиографии» Уэллс рассказал свою версию этой истории. Поговорив с матерью, Анна-Джейн приехала к Уэллсу, и он этой встречей остался очень доволен. Она, как выяснилось, читала его книги, и мысль об их с Уэллсом кровном родстве показалась ей «привлекательной и романтичной». «Она произвела на меня впечатление работящей и в меру честолюбивой молодой женщины с хорошим характером... Я не думаю, что мы вправе ждать настоящего дочернего чувства от существа, которое сперва увидели грудным ребенком, а потом уже взрослой женщиной, но моя дочь для меня — дорогая и очень расположенная ко мне племянница, и всякий раз, когда она оказывается в Лондоне, мы с ней ходим в рестораны и в театр».

Другую версию сообщает побочный сын Уэллса Энтони Уэст. Конечно, его книгу нельзя даже назвать «не очень надежной». Она поразительно ненадежна. Порою создается впечатление, будто автор органически неспособен привести хоть одну верную дату, а иные беседы, в свое время от слова до слова зафиксированные, он передает с такой вольностью и так непохоже на правду, словно не верит в способность читателя протянуть руку к полке, взять нужную книгу и посмотреть, как все обстояло в действительности. Однако кое-где к нему все же стоит прислушаться — особенно в тех случаях, когда он опирается на собственные воспоминания.

Так вот, по его словам, дело обстояло несколько иначе. В 1932 году умер Пембер Ривс (дата, разумеется, проверена), и Уэллс в том же году повинился в автобиографии в любовной связи с Эмбер Ривс (чистой воды выдумка: и автобиография написана позже, и Эмбер в ней не упоминается). Затем он через общего знакомого стал убеждать Бланко Уайта в необходимости открыть Anne-Джейн правду о ее происхождении. Тот согласился, но она восприняла эту новость очень болезненно — она привыкла считать своим отцом Бланко Уайта, любила его, он был ее духов-

ной опорой. Все же она согласилась встретиться с Уэллсом, но, приехав к нему, увидела перед собой совершенно чужого и не очень-то ей симпатичного человека. Она знала, что он ждет от нее дочерней любви, но была неспособна на это чувство. А Уэллс этого не понял. Во всяком случае — понял не сразу. Им тогда владела идея перезнакомить всех своих детей, и он устроил встречу Анны-Джейн с Энтони.

Когда Энтони приехал к отцу «на чай» в неудобную квартиру, которую тот снимал тогда неподалеку от станции метро Бейкер-стрит, Анна-Джейн уже была там, и, поздоровавшись, они обнаружили, что говорить им, собственно, не о чем. За столом сидели три чужих человека, и один из них, тот, что постарше, изо всех сил старался развлечь компанию. Удавалось это ему с большим трудом. Он держался так, словно попал в небольшой зверинец и только ждал, какой зверь его первым укусит. Всем было неловко. Но хуже всех понимал, что происходит, сам Герберт Уэллс. Он не мог представить себе, что своей дочери просто не нравится. Со временем он это понял — с большим огорчением.

Что заставляет поверить рассказу Уэста? Прежде всего то, что он своего отца обожал и всегда сообщал только то, что говорило в его пользу. Биографию Уэллса он, следует повторить, написал апологетическую, и если сам чем-то подорвал к ней доверие, то просто по своей умственной неорганизованности, очень, кстати, его отца огорчавшей. Конечно, он мог ругновать Анну-Джейн к отцу, но это предположение все-таки лучше откинуть. И потому, что у Энтони Уэста не было и намека на ревность, когда речь шла о законных детях отца, и потому еще, что сам Уэллс не слишком настаивал на своей духовной близости с дочерью. В данном случае Энтони Уэст, очевидно, рассказал чистую правду.

Но мы забежали далеко вперед, в начало 30-х годов, и речь у нас пошла не столько о любви Уэллса к Эмбер, сколько, как принято было говорить в прошлом веке, «о последствиях этой любви». Впрочем, эта любовь имела более близкие последствия. Уже в 90-е годы. Ибо после скандала с Эмбер Уэллсу пришлось покинуть Фабианское общество. Разумеется, все это были «дела семейные», но разве Фабианское общество не было в известном смысле семейной организацией?

Не следует думать, однако, что после этого у Герберта Уэллса исчезла потребность заявить о себе как о самостоятельной политической фигуре и оказывать прямое влияние на ход государственных дел. Но он был политическим неудачником. В самом начале 1922 года он вступил в лейбористскую партию, но еще до этого под напором Гарольда Ласки и других видных деятелей социалистического движения (включая супругов Уэбб) согласился выставить свою кандидатуру в парламент от Лондонского университета. На выборах он из всех кандидатов получил наименьшее количество голосов. Год спустя пало консервативное пра-

вительство, были назначены новые выборы, и Уэллс снова выставил свою кандидатуру. Он опять провалился. Да и в период между 1908 годом, когда ему пришлось покинуть Фабианское общество, и двумя провалами на парламентских выборах он несколько раз пытался выйти на авансцену политики, однако безрезультатно. Как он ни влиял на умы, непосредственных политических успехов это ему не приносило.

Из всех его неудач первая, разумеется, легче всего объяснима. Он сам себе навредил, сколько мог. И слабыми выступлениями, и любовными приключениями. Но была еще одна причина, заслуживающая совсем другого отношения. Он не мог сосредоточиться как следует на партийной борьбе еще и потому, что был писателем. Все эти годы он продолжал писать. Много. И очень неплохо. Ведь тогда именно вышли романы «В дни кометы», уронивший его в глазах современников, но потом воспринятый куда благожелательнее, и «Война в воздухе», причем эти два романа составили лишь малую часть им написанного. После 1901 года он не только уходил от «уэллсовской» фантастики к «жюль-верновской», но и вообще от фантастики к бытовому роману. Совсем расстаться с фантастикой он ни тогда, ни потом не смог, однако самые честолюбивые его литературные упования были теперь связаны не с нею. Очень много надежд возлагал он на роман «Киппс» (1905), который и в самом деле остался своеобразной «малой классикой» английской литературы (в Англии и сейчас нетрудно встретить людей, только «Киппса» из всего Уэллса и читавших), но дался он ему с таким трудом, потребовал таких сокращений и так его по-писательски не удовлетворил, что в глубине души он не очень его любил, хотя и многому в нем не мог не радоваться. Прежде всего тому, что одним из первых дал такой подробный портрет «маленького человека».

Конечно, назвать «Киппса» литературным шедевром значило бы отклониться от истины. Нельзя не заметить искусственность его построения. Воспитанный в семье мелкого лавочника, Киппс в один прекрасный день узнает о своем «более высоком происхождении», получает наследство, дающее ему возможность проныкнуть в иной круг, теряет деньги, потом отчасти их возвращает, но теперь уже остается верен своей среде.

Если вдуматься, понимаешь, что «Киппс» — этот самый бытовой из бытовых романов Уэллса — в чем-то очень близок его фантастике. Ведь от «Машины времени» к «Первым людям на Луне» на передний план все более выдвигалась одна тема: человек в непривычных обстоятельствах. На беду, прием, с помощью которого Уэллс создает для своего героя «непривычные обстоятельства», на сей раз не столько фантастичен, сколько банален. Получил состояние, потерял его, снова его приобрел — не был ли весь XVIII и XIX век заполнен подобными историями? И не исчерпал ли до конца их возможности Диккенс в «Крошке Доррит»? В XX веке на литературную арену выходит иной герой —

из тех, кто собственными локтями пробивается к успеху. А Киппс, выражаясь столь близким Уэллсу языком биологии, только реагирует на внешние раздражители. Так и хочется сравнить его с подопытным кроликом. Другое дело, что опыт этот поставлен на редкость «чисто» и о кролике мы узнаем очень многое. Прежде всего — что существо он очень хорошее. И даже, что он на проверку оказывается вовсе не кроликом, а человеком. Правда — особой породы. Той, что с давних пор тоже служила лабораторным целям. В Киппсе очень много от «естественного человека», пришедшего от просветителей, а в творчество Уэллса впервые пришедшего в образе ангела («Чудесное посещение»). И хотя, рассказывая нам о Киппсе, Уэллс словно боится выйти за пределы человеческой усредненности, ему это удается далеко не всегда. Уэллс недаром воевал с Гиссингом, хотевшим, чтобы будни и были буднями. Он воспринимал мир иначе, а значит и писателем был совершенно иным.

Нередко те или иные черты писателя особенно четко открываются через книги его последователей. Из писателей младшего, сравнительно с Уэллсом, поколения особенным его поклонником был Пристли, и некоторые его романы выдержаны в той же тональности, что и бытовые романы Уэллса. В них близко соседствует мир серых будней с праздничным миром приключений и счастливой случайности. Один из героев романа Пристли «Далеко отсюда» (1932) говорит: «Человек открыл, что мир не романтичен, но человеческая природа требует волшебства». И в романах Уэллса достаточно волшебства. В «Киппсе» — меньше, чем в некоторых других, но тоже немало. Нет, речь идет не о волшебном превращении забитого приказчика в обеспеченного человека и столь же волшебном возвращении утерянного им состояния. Какое это в конце концов волшебство? Скорее, это искусственные авторские ходы, нужные в экспериментальных целях. Мы пока еще в лаборатории, а не в стране чудес. Но в «Киппсе» (даже в «Киппсе!»), пусть не столько, сколько было в «Колесах фортуны» и сколько еще будет в «Истории мистера Полли», немало истинного волшебства красоты, неожиданных встреч и диковинных происшествий. На этом преднамеренно сером полотне то и дело возникают яркие пятна подлинных человеческих чувств, неожиданных даже для самих героев поступков, самобытных характеров, вспыхивают мечты о прекрасном.

Слово «бытовые», прилепившееся к нефантастическим романам Уэллса, для них, пожалуй, слишком уж скромно. Даже если вспомнить, какой вклад в социальную психологию Уэллс внес своими портретами лавочников и приказчиков, об этих романах все равно будет сказано далеко не все. Это романы об изжитости буржуазной идеологии. И первый признак изжитости этой идеологии в том, что она стала попросту скучной. Незатейливость обстоятельств, в которых живут герои Уэллса, их ограниченность, смехотворность их представлений о жизни — прямое тому вы-

ражение. Конечно, они не какие-то идеологи. Многие из них, наверное, и слова такого не слышали. Но каждый из них — словно бы капелка воды, в которой отражается мир. Не весь, разумеется. Лишь доступный их обозрению. И отражается он в таких крошечных масштабах, что многого не разглядеть. И все же перед нами реальный мир, каким он является тем, кто неспособен выйти за его пределы.

В «Кипсе» это показано яснее всего. Герою здесь дано подняться на миг над своей социальной средой и даже сделать несколько отчаянных попыток приобщиться к культуре, которые, впрочем, поселяют в нем лишь ощущение страха перед этой неизведанной, но явно грозящей опасностями сферой жизни.

Столкновение приказчика с культурой — особая тема Уэллса. И Кипс — из тех, кому даже самые первые шаги в этой области даются очень болезненно. Его пребывание в «хорошем обществе» — это период постоянных мучений. Здесь каждый что-то читал или, во всяком случае, о чем-то слышал, здесь правильно произносят слова и знают, как вести себя за столом, как одеваться, что когда говорить. Здесь все доброжелательно к нему, даже внимательны, а для него все происходящее — непрерывная череда унижений. Ему уже не до литературы и искусства. Почти каждая его свободная минута отдана изучению «Правил хорошего тона», а все без толку. Пребывание в шикарном лондонском отеле, где он вошел в ресторан в новеньких дорогих и красивых, но почему-то вызвавших изумление окружающих шлепанцах, а напоследок дал на чай заевавшемуся торговцу бриллиантами, окончательно его доконало. Что уж тут говорить о литературном вечере, где он просто не может понять, когда о чем идет речь...

Впрочем, Уэллс не желает оставить читателя в заблуждении относительно превосходства «хорошего общества» над миром, в котором прежде обретался Кипс. Это «все тот же, немного подправленный, подчищенный и расширенный, мир... заурядного английского обывателя». Здесь так же остро чувство социальных различий, боязнь «простонародного». Здесь так же беспрекословно почитают общественные установления. Здесь говорят о другом, другими словами, но уровень суждений почти тот же самый, и если сюда проникают какие-то новые идеи, то с большим опозданием и в форме моды. Местные интеллигенты, к примеру, создают для тянущихся к культуре представителей «низшего среднего класса» «класс резьбы по дереву». Что за странное чудачество? Да нет, это вовсе не чудачество, а идеи Морриса об облагораживающем влиянии ручного труда, воспринятые дремучими провинциалами с опозданием на двадцать лет. Кипс и Дикенса-то в жизни не читал, а его уже приобщают к столь далекому от него духовному миру средневекового ремесленника. Моррис видел в ручном труде «красоту, которую творит человек». Она, в свою очередь, становится «средством свободной связи между людьми». Но «класс по дереву», куда поступает Кипс, иначе как

карикатурой на все это не назовешь. В душе Киппса от занятий резьбой по дереву только и остается любовь к красивой учительнице — мисс Уолшингем, которая, когда к нему приходят деньги, становится его невестой. Какое, казалось бы, выпало Киппсу счастье! Ведь о такой девушке ему раньше было и не мечтать! Но вот беда — он никак не может почувствовать себя с ней самим собой...

В конце концов Киппс бежит из «хорошего общества». И очень вовремя. Ведь единственное, что давало ему право в нем оставаться, это деньги, а их ему скоро суждено потерять...

Киппс имеет реального прототипа. Уэллс встретил его, когда работал в своем втором мануфактурном магазине. Но дальнейшей судьбой этого человека он не заинтересовался. Он предпочел ее придумать. Не для того ли, чтобы сама незначительность Киппса приобрела особый смысл?

«Естественные люди» просветителей приходили кто откуда. Монтескье сделал своим героем перса. Голдсмит — китайца. Но чаще всего в роли «естественного человека» предстал тот персонаж, которого в начале следующего века романтики изобразят как «благородного дикаря». Так вот, Киппс — из дикарей. Из тех дикарей, которых порождает современная цивилизация. И чем дальше — тем во все большем количестве. Как бы ни был с художественной точки зрения дурен роман Уэллса «Когда спящий проснется», он дает интересные образцы прогностики. Самый смелый из них — предположение, что обнищание трудящихся, характерное для определенных этапов развития буржуазного общества, примет в ходе лет форму духовного обнищания. Киппс, которого Уэллс вполне способен истолковать в свете современных социологических обстоятельств и критериев, вместе с тем предвещает тех, кто придет в мир два-три поколения спустя. Они прорвутся наконец к культуре, но к той, что приобретет определение «массовая» и послужит барьером на пути к истинной культуре. Ну, а массовая культура будет, в свою очередь, множить массовидного человека, «человека без качеств».

Круг замкнется.

Этого еще не произошло, но Уэллс уже задумывается над тем, почему совсем неплохие люди, подобные Киппсу, оказываются зачастую людьми столь ничтожными. Конечно, Уэллс дарует каждому из любимых (а он ведь и вправду их любит!) своих героев какой-то кусочек счастья. Не обошел он своими щедротами и Киппса. Порвав с мисс Уолшингем, Киппс женится на искренне его любящей Энн Порник, которую знал еще девочкой. Разве найти настоящую подругу жизни не счастье? И еще он покупает книжную лавку. Вернувшись в мир торговли, он вместе с тем приобретает теперь в нем более престижное положение. Разве так уж плохо определить свое, пусть скромное, но достойное место в обществе и не дрожать перед завтрашним днем? Но почему Уэллс выражает в конце романа желание, чтобы Киппс

не узнал себя в его герое? Не потому ли, что любую из его книг уже поздно давать в руки Киппсу?

Нет, раздумывая о Киппсе, никуда не уйдешь от вопроса о том, почему этот хороший человек — полнейшее ничтожество. И, чтобы ответить, мало одного социально-психологического исследования.

«Киппс» — отнюдь не последний из «приказчичьих» романов Уэллса. Пять лет спустя Уэллс опубликует самый любимый свой «приказчижий» роман «История мистера Полли» (1910). В «Киппсе» Уэллс писал о среде, хорошо ему знакомой. В «Истории мистера Полли» он рассказывает еще и о людях, с которыми много лет прожил бок о бок. Трапезы, которыми миссис Полли потчует мужа, очень напоминают те домашние завтраки, обеды и ужины, которые Уэллсу виделись в страшных снах еще на старости лет, а подавленное вольнолюбие, любовь к чтению и страсть к бродяжничеству, отличающие мистера Полли, заставляют вспомнить Джозефа Уэллса. И все же в романе описана история не Сары и Джозефа Уэллсов, а мистера Полли. Именно мистера Полли, и никого другого. Если что-то в судьбе героя совпадает с судьбой родителей автора, то лишь потому, что таков удел чуть ли не всякого мелкого лавочника. Дабы сделать это до конца ясным, Уэллс даже ввел в роман небольшое социологическое отступление о мелкой торговле, где писал о той огромной массе «неустроенных, необразованных, не обученных никакому ремеслу, никчемных и вместе с тем заслуживающих сострадания людей, которых мы относим к не имеющей четких границ и не дающей истинного понятия о положении дел категории низших слоев среднего класса... Огромная армия мелких лавочников, например, — это люди, которые вследствие беспомощности, проистекающей от полнейшей профессиональной неподготовленности или же бурного развития техники и роста крупной торговли, оказались вне сферы производства и нашли приют в жалких лавочках, где они бьются изо всех сил, стараясь увеличить свой капитал... Развитие торговых путей и средств связи за сто лет привели к необходимости организации торгового дела на широких экономических основах; если не считать вновь открытых стран с их хаотичной экономикой, время, когда человек мог заработать себе на жизнь мелкой розничной торговлей, ушло безвозвратно. И все-таки из года в год на наших глазах шествует навстречу банкротству и долговой тюрьме эта нескончаемая печальная процессия лавочников»... Об одном из этих несчастных он и взялся написать.

Впрочем, хотя роман называется «История мистера Полли», в нем заключена не одна, а целых три истории этого социального и психологического типажа.

Первая из них — это история формирования человека, которому только и дорога в приказчики. Его ничему не сумели толком научить, даже таким элементарным вещам, как грамота и логическое мышление. Речь у него, правда, какая-то больно уж затей-

ливая и причудливая, но это — просто из желания скрыть, что он не знает, как произносятся многие слова. Вот он и коверкает все слова подряд: лучше слыть остряком, чем невеждой. Он открыл для себя Рабле и Боккаччо, но в его среде никогда не произносили этих имен, и он придумывает собственную их фонетическую интерпретацию. Рабле превращается у него в Рабулюза, Боккаччо — в Бокашью. Впрочем, винить его не приходится, поскольку в Англии принято все фамилии, за исключением восточных и тех, что пишутся кириллицей, воспроизводить в их национальном написании, а откуда бедняге Полли и его друзьям-приказчикам знать, какие правила чтения придумали себе эти французы и итальянцы? Хоть в английских бы разобраться!

И все-таки Альфред Полли и два его друга из галантерейной лавки — существа отнюдь не безнадежные. Они не были предназначены от рождения к той именно роли, какую им пришлось играть в жизни. Но их так изуродовали школа и среда, в которой они выросли, что они оказались непригодны к какой-нибудь лучшей профессии. В зачатке они обладают нормальными человеческими качествами, и в духе из них даже бродит какое-то художественное начало. Коверкая слова из самозащиты, Полли постепенно развивает в себе потребность искать оригинальные определения всему окружающему, причем они далеко не всегда оказываются так нелепы, как можно было бы опасаться. А в его друге Парсонсе бушует художник-ниспровергатель. Правда, иначе, чем в оформлении витрины, ему негде проявиться, но право на самовыражение он отстаивает до конца и не в одних только словесных баталиях. Витрину, оформленную им согласно своим представлениям о прекрасном, он уступает врагу, лишь потерпев поражение в кулачной схватке. Конечно, его уволили, но он ушел с высоко поднятой головой.

И еще есть у них всех одно замечательное качество — молодость. Они переживают ту пору жизни, когда чувства еще не притупились, мир открывается с неожиданных сторон и так легко почувствовать себя исследователем новых земель, странствующим рыцарем, вообще — кем угодно. За полтора десятилетия до того, написав свой первый «приказчиный» роман «Колеса фортуны», Уэллс об этом как-то не задумывался. Его собственная молодость была так трудна, что он не понимал — по-своему и она прекрасна. А ведь у Полли и его друзей есть перед ним, бывшим, немалое, пусть и очень своеобразное преимущество: они довольствуются немногим, ни к чему особому, требующему напряжения духовных сил, не стремятся, а значит, и способны отдавать всю полноту чувств каждой минуте своей жизни.

Правда, и расплачиваться за это приходится дорогой ценой.

«Вторая» история мистера Полли от начала и до конца печальна. Получив после смерти отца наследство, женившись, купив галантерейную лавку, он предстает перед нами той самой вымирающей особью, которой посвятил свой очерк о судьбе мелкого

буржуа Герберт Уэллс. Одно только и хорошо теперь в мистере Полли — он чудак. Но хорошо лишь на взгляд автора и читателя. Соседские лавочки не больно-то его за это жалуют, а запойное чтение — здесь трудно не согласиться с его женой — отвлекает его от дел. Да и не бесплатно же книги ему достаются. Хоть каких-то денег, а стоят!

Пятнадцать лет — примерно такой же срок, что прошел между «Колесами фортуны» и «Историей мистера Полли», — просидел наш герой в своей лавке и, право, не стал от этого лучше. К путанице в мозгах прибавилось несварение желудка, усилившее его ненависть к окружающим. Так бы ему и кончать свой век, если б не надвигающееся банкротство. Семьдесят с лишним фунтов невыплаченной ренты — не бог весть какие деньги, даже по тем временам, но где их взять?

Мы знакомимся с мистером Полли, когда он, уйдя подальше с глаз нелюбимой жены, обдумывает свое положение и предается воспоминаниям. Вспомнить есть что. Не очень много, но есть. А вот выхода нет. Еще неделька-другая, и пойдешь по свету с протянутой рукой. Вернуться в чужой магазин? Но женатый младший приказчик, с несварением желудка, да еще почти сорока лет от роду, — кому он нужен? Нет, жизнь не удалась...

И тут ему в голову приходит план, сразу доказавший, что не зря он начитался книжек. Жизнь не удалась? Что ж, он ей положит конец! И притом — благороднейшим образом. Зачем страдать еще и жене? Не будет он мстить ей за то, что она так невкусно его кормила! Но лавка застрахована, его жизнь — тоже, вот он и поднесет ей двойной подарок: подожжет дом, а потом, сидя на верхней ступеньке горящей лестницы, перережет себе бритвой горло, и лавка станет его погребальным костром...

Конечно, мистер Полли — не первый лавочник, вынужденный поджечь свою лавку. Но уйти в небытие вместе со своим домом — нет, на такое способен не всякий! А то, с какой деловитостью приступает мистер Полли к осуществлению своего плана, показывает, что он не совсем уж растяпа. Все совершается с такой продуманностью, словно этот человек всю жизнь только и делал, что поджигал дома. Да что там один дом! Он в результате сжег весь квартал. Огонь перекидывался с одного строения на другое, и мистер Полли нечаянно осчастливил уйму народа, ибо его соседи-лавочники бедствовали примерно так же, как он. Правда, жизнь полна неожиданностей, и покончить самоубийством мистеру Полли не удалось, но зато ему выпало счастье спасти глухую старушку из соседнего дома и стать местным героем.

И все-таки он уходит от жены. Здесь и начинается третья история мистера Полли.

Как помнит читатель, в романе «В дни кометы» рассказывается, что с наступлением новой эры по всей стране каждый год, на первое мая, жгут отжившее свой век старье — начиная с домашней рухляди, оставшейся от былых времен, и кончая долговы-

ми обязательствами и сводами законов, защищавших эгоизм частных собственников. Так выглядят там революционные праздники. И мистер Полли, спалив свой дом, совершил, сам того не ведая, некое подобие собственной революции. Чем дальше, тем лучше начинает он это понимать. Да и автор, опасаясь, что читатель и на сей раз не до конца уразумеет им сказанное, бросает, словно бы мимоходом, что в поджоге нет ничего преступного. Думать иначе значит просто подчиняться условностям. Тем более что мистер Полли сжег как раз то, что и следовало сжечь. И быть может, — намного раньше.

Теперь мистер Полли наконец-то свободен. Впервые в жизни. В нем всегда теплилась способность радоваться прекрасному, его всегда тянуло к необычному, но если раньше он вычитывал необычное из книжек о путешествиях в далекие страны, то нынче научается открывать его в обыденной жизни. Полли-бродяга — это совсем иной человек, чем Полли-лавочник. Тот остался в далеком прошлом. В тридцать семь с половиной лет он считал себя уже стариком. Теперь он вдруг обнаруживает, что молод — гораздо моложе, чем прежде. Ибо молодость — это свобода. А разве был он когда-либо свободен?

Он и трудится теперь совершенно иначе — как свободный человек, принося пользу и получая от своего труда удовольствие. В загородной гостинице, к которой он пристроился, он с радостью исполняет десятки дел, а сооруженный им призывный щит с безграмотной надписью «Амлеты» привлекает в эту гостиницу, мало прежде известную, толпы посетителей. Люди так и называют ее теперь — «Амлеты».

Ему даже открывается мир приключений. Совсем как путешественникам в далекие страны, о которых он читал у Конрада, Приключения у него, правда, другие, но они никак не менее интересны. Осилить мучителя своей тетки, преступника и алкоголика, «дядю Джима» — чем не подвиг для недавнего слабосильного лавочника? Он проводит с «дядей Джимом» целых три сражения, и, хотя чаще всего «дядя Джим» гоняется за мистером Полли, победа всякий раз оказывается на стороне правды. Даже в последней стычке, когда «дядя Джим» принялся палить в мистера Полли из его собственного, купленного в целях самозащиты ружья, мистер Полли успел спрятаться в канаву. Ружье же он по неопытности купил такое, что после нескольких выстрелов это грозное оружие разорвалось в руках злоумышленника, перепугав того больше, чем если б оно оставалось у его противника.

«История мистера Полли», и прежде всего, конечно, последняя ее часть, написана для того, чтобы дать людям надежду — даже тем, кто, казалось бы, давно во всем изверился. За плечами Уэллса-бытописателя теперь стоит Уэллс-утопист, поборник перемен, а кому совершать перемены, если не людям, понявшим, как тяжела их жизнь, но верящим, что ее можно переменить?

Уэллса-бытописателя часто сравнивали с Чарлзом Диккенсом, а «Историю мистера Полли» в последние годы ставят в один ряд с «Записками Пиквикского клуба». Трудно сказать, правомерна ли такая оценка, но, во всяком случае, «История мистера Полли» — это самый диккенсовский из всех романов Уэллса. Он здесь предстает перед нами и как человек, знающий темные стороны жизни, и как писатель, склонный подмечать странности окружающих, и как блестящий юморист. По всей книге разбросаны крупницы превосходного юмора. Чего стоит, например, эпизод, когда мистер Полли, вызванный свидетелем в суд, в смятении чувств сразу же проходит на скамью подсудимых...

Чудак, извечный английский чудак, берет верх над мешанином. Чужачество Полли — форма выражения общечеловеческого, и поэтому он больше кого-либо из «маленьких людей» Уэллса оказывается сродни тем, кто сумел возвыситься над своим униженным состоянием.

Почти все бытовые романы Уэллса были «неудачными вариантами» его собственной биографии или, во всяком случае, биографии людей того круга, к которому он принадлежал от рождения.

Дальше всех прошел по пути Уэллса мистер Льюишем, а полнее всех освободился от душевных и социальных пут мистер Полли. Но между «Кипсом» и «Мистером Полли» Уэллс написал еще и роман о человеке, которому удалось по-настоящему реализовать свои возможности, — «Тоно-Бенге» (1909).

В этом романе столько элементов подлинной биографии Уэллса, что читатель, не оставивший вниманием лежащую сейчас перед ним книгу, уже очень много о нем знает. Конечно, герой «Тоно-Бенге» — отнюдь не во всем сам Уэллс. И тип способностей у него совсем иной. Он талантливый инженер, авиа- и кораблестроитель, а также человек с деловыми склонностями. И биография его то сближается с биографией Уэллса, то заметно от нее отдалается. Впоследствии, рассказывая о своей жизни, Уэллс не раз отсылал читателя к тем или иным страницам «Тоно-Бенге», но сколько бы личных впечатлений ни закрепилось в романе, вначале он страшно возмущался критиками, искавшими в его книге прежде всего рассказ о жизни автора. Когда появился первый подобный отзыв, Уэллс написал Форду Медоксу Форду («Тоно-Бенге» печатался в его «Инглиш ревью»), что стоило бы перерезать критику его поганую глотку. К счастью, Форд, хоть и был, по мнению Уэллса, «проклятым снобом» (а может быть, именно поэтому), на смертоубийство не пошел, да и сам Уэллс тоже ни разу на чужую жизнь не покусился. Когда же другой критик назвал «Тоно-Бенге» уэллсовским «Дэвидом Копперфилдом», все успокоилось. «Дэвид Копперфилд», самый личный из романов Диккенса, является, по мнению многих, и лучшим его произведением. Действительно, соотносительность романа с судьбой автора отнюдь не мешает хорошему писателю говорить о жизни общества в целом. И Герберт Уэллс, вынашивая планы «Тоно-Бенге», мечтал

написать не о себе и даже не о своем, во многом на него похожем, герое, а о современной Англии в целом, о болезнях экономики и общественной жизни. Ему хотелось создать некое подобие «Человеческой комедии» Бальзака в одном томе. Окрашенный личными воспоминаниями рассказ от первого лица не должен был этому помешать. Сделав своего героя человеком себе соразмерным, Уэллс мог теперь изображать мир таким, каким его увидел именно этот человек. Даже в теоретических отступлениях не было никакой безликости. Они становились частью художественного полотна, были нужны не «вообще», а как часть этой, и никакой другой, книги. В «Тоно-Бенге» художник несколько не теснит теоретика, теоретик — художника. Это и было как раз то, чего Уэллс теперь добивался. И не только для себя. Самой своей, по его словам, «полномерной» книгой он хотел проложить в Англии дорогу новому роману, в котором повествование выходит за рамки отдельной человеческой судьбы. Точнее — продолжить то, что уже было начато его великими предшественниками, но не закрепилось в сознании историков литературы как одно из главных условий существования большого, притязającego на всесторонний охват жизни романа. Разве Филдинг, Диккенс, Теккерей были заинтересованы только судьбами тех, кто появлялся на страницах их книг? Разве Бальзак не был великим социологом и поэтом в первую очередь — великим романистом? И разве Стерн не показал, какие возможности дает свободная форма романа? Но что в них всех самое замечательное, так это способность раскрыть жизнь не через рассуждения о ней, а через судьбы людей. Именно через судьбы. У каждого из их героев своя жизнь, прожитая на глазах читателя. Они остаются самими собой и все время меняются. Потому-то даже самый длинный роман Диккенса кажется слишком коротким.

В 1911 году Уэллс дал газетное интервью, которое превратил потом в статью «Современный роман». В ней он писал о не оцененных еще художественных возможностях романа и об огромной его роли в исследовании жизни. Это была своего рода декларация «воинствующего романа», произнесенная не только от своего лица, но и от имени таких единомышленников, как Арнольд Беннет и Ромен Роллан. «Мы приложим все силы, чтобы всесторонне и правдиво показывать жизнь. Мы намерены заняться проблемами общества, религии, политики... Мы будем писать обо всем. О делах, о финансах, о политике, о неравенстве, о претенциозности, о приличиях, о нарушении приличий, и мы добьемся того, что всяческое притворство и нескончаемый обман будут сметены с лица земли чистым и свежим ветром наших разоблачений. Мы будем писать о возможностях, которые не используют, о красоте, которую не замечают, писать обо всем этом, пока перед людьми не откроются бесчисленные пути к новой жизни. Мы обратимся к юным, любознательным, исполненным надежд с призывом бороться против рутины, спеси и осторожности. И жизнь сойдет

на страницы романа еще до того, как будет достигнута наша цель».

Для Уэллса это не было обещанием на будущее. Если бы так, можно было бы сказать, что посулы свои он не выполнил. Потому что наивысшее его достижение в области «нового романа» было уже в прошлом, пусть и весьма недалеко. «Тоно-Бенге» было уже написано.

«Тоно-Бенге» — самое значительное нефантастическое произведение Уэллса. Его уже не назовешь, даже со множеством оговорок, «бытовым романом». Сколь ни достоверен в нем быт, Уэллс на каждом шагу выходит за его пределы.

Сюжет «Тоно-Бенге» заставляет вспомнить те романы предшествующего века, которые Горький определил как «Историю молодого человека XIX столетия». Сын домоправительницы Блейдсовера (под этим названием в романе изображен Ап-парк), пробиваясь к успеху, проходит через множество перипетий, его положение в обществе постепенно меняется, и перед читателем открываются разные стороны жизни. Автор явно намерен дать своего рода «поперечный разрез» современного общества, увиденного глазами разночинца. Общества странного, опутанного множеством предрассудков, затуманивающих людской взор, и все-таки на каждом шагу выявляющего свою истинную суть. И если людям, окружающим героя, происходящее не всегда понятно, автору и его воплощению, действующему на страницах романа под именем Пондерво, все достаточно ясно. Деловая жизнь, приобретая новые масштабы, приобрела и новые качества. Пора забыть о деловой обстоятельности. Наступило время аферистов с размахом. И через череду эпизодов, составляющую жизнь героя, проходит история его дяди, предприимчивого аптекаря Эдуарда Пондерво, который, сумев на американский манер (очень похоже на то, как советовал Уэллс Макмиллану в связи с «Киппсом») разрекламировать не слишком-то вредный для здоровья тонирующий напиток, им изобретенный, приобрел огромное состояние. Как нетрудно заметить, Уэллс, среди прочего, предсказал еще и знаменитую кока-колу. Но история дядюшки Пондерво кончается менее благополучно, нежели история этой фирмы. Он пускается в финансовые авантюры, прогорает, ему грозит тюрьма, и спасение приходит только от племянника, который на изобретенном им самолете увозит его во Францию. Там, в тех самых местах, где Уэллс когда-то стоял у постели умирающего Гиссинга, кончат свои дни дядюшка Пондерво...

Он был неплохой человек, этот Эдуард Пондерво, смешной, добрый, способный, конечно, словчить, но и зла никому не желавший. Не какой-то финансовый воротила с замашками романтического злодея. И вообще — человек недалекий. Без помощи племянника он даже не сумел бы организовать свое огромное предприятие. Но и сказать, что ему просто «привалило счастье», тоже нельзя. Механизмы успеха в XX веке — иные, чем в XIX.

Успех дядюшки Пондерво объясняется тем, что он сумел уловить что-то от нового явления века — массовой торговли, которая в известном смысле сродни «массовой культуре». Тут тоже не называются какие-либо индивидуальные потребности или вкусы — просто «берут» то, что «берут» другие. Неважно, что. Лишь бы не отстать от других. Потому-то именно дядюшка Пондерво и сделал свое открытие. Раньше те или иные новшества были обаяны своим появлением людям выдающимся. Дядюшка же победил в силу своей заурядности — он все мерил на себя, а человек он был в высшей степени массовидный.

Джордж Пондерво то сближается с дядей, то отходит от него, но в его истории есть своя закономерность. Это отнюдь не история бальзаковского Растиньяка, пожертвовавшего ради успеха духовными ценностями, и даже не история Люсьена Шардона («Утраченные иллюзии»), не сумевшего победить в борьбе за житейский успех. Перед нами предстает не «молодой человек XIX столетия», а «молодой человек XX столетия», точнее — самый желательный его вариант. Джордж Пондерво достигает положения в обществе, но для него остается неразрешенной загадка бытия, и потому он не считает, что добился желаемого. Человек, перед которым открывался путь Растиньяка, предпочитает выйти на дорогу Фауста. Завоевание места под солнцем для него лишь одно из слагаемых более высокой задачи — постижения жизни. И для этого он разрывает свою сделку с дьяволом, явившимся на сей раз в образе безобидного и смешного дядюшки Пондерво. Пробриться от повседневности к чему-то иному, самому главному у, — вот в чем состоит задача.

Роман кончается символической сценой. Построив миноносец новой конструкции, герой выплывает на нем из Лондонского порта, и все дальше начинает отодвигаться ранее увиденное, пережитое, казавшееся некогда таким важным. «Один за другим гаснут огни, Англия и Королевство, Британия и Империя, былая гордость и былые привязанности соскальзывают за борт, за корму, скрываются за горизонтом, исчезают... исчезают... Исчезает река, исчезает Лондон, исчезает Англия...»

Впереди открывается Будущее...

Каким оно будет? Каким должно быть? Что из этого желаемого будущего можно увидеть в настоящем? Оно, настоящее, представляется калейдоскопичным. Но сквозь эту сумятицу «пробивается нечто такое, что одновременно и плод человеческих усилий и бесконечно чуждо человеку...

Иногда я представляю себе, что это — Наука, иногда — Истина. Мы с болью и усилием вырываем это «нечто» из самого сердца жизни... Люди по-разному служат ему — и в искусстве, и в литературе, и в подвиге социальных преобразований — и усматривают его в бесчисленном множестве проявлений, под тысячью названий. Для меня это прежде всего строгость форм, красота. То, что мы силится постигнуть, и есть сердце самой жизни. Только оно вечно.

Люди и народы, эпохи и цивилизации исчезают, внося свою лепту в общий труд. Я не знаю, что это, знаю только, что оно превышает всего. Это нечто неуловимое, быть может, это качество, быть может, стихия, его обретаешь то в красках, то в форме, порой в звуках, а иногда в мысли. Оно возникает из самой жизни всегда, пока живешь и чувствуешь, из поколения в поколение, из века в век...»

До чего старательно объясняет Уэллс собственные произведения! Но по-настоящему привлекательно в данном случае то, что «Тоно-Бенге» несколько в результате не теряет как явление искусства. В скором времени тот же автор преподнесет читателям вещи, которые удачнее всего назвать «романы-трактаты». Они написаны в доказательство определенного тезиса и целиком ему подчинены. Встав на этот путь, Уэллс начнет стремительно терять читателей. Но про «Тоно-Бенге» ничего подобного не скажешь. «Тоно-Бенге» — заметное событие в истории английского романа. Уэллс и в самом деле, как он немного погодя пообещает на будущее, пишет здесь «обо всем». В «Тоно-Бенге» воплотилась каждая из тем, упомянутых в статье «Современный роман». Но эта статья оказалась для самого Уэллса скорее подведением итогов, нежели планом намеченных работ. Вещей подобного художественного масштаба он больше не создаст.

Впрочем, об этом не знает до поры до времени ни он, ни кто-либо еще, хотя его смертельный враг Хьюберт Бленд в своей злобной рецензии, как ни странно, предсказал грозящую Уэллсу опасность: «Тоно-Бенге» показался ему таким странным смешением художественных и публицистических кусков, что он даже посоветовал выпустить эти «две книги», случайно оказавшиеся в одном переплете, в виде двух отдельных изданий. Но непредвзятые критики высказались иначе. Беатриса Уэбб, обладавшая не столь частой способностью отвлекаться от личных симпатий и антипатий, получив от Уэллса письмо, где тот возмутился предпочтением, которое она отдала «Войне в воздухе» перед «Тоно-Бенге», внимательно прочитала этот роман и согласилась с тем, что «Тоно-Бенге» лучше. Она даже отметила в своем дневнике, что первое ее высказывание об этих двух романах выдавало ее дурной вкус. При своем мнении она осталась только в одном: оба эти романа на редкость умны. Да и другие читатели и рецензенты не сочли ум автора его недостатком. «"Тоно-Бенге" — один из самых значительных романов современности, одна из самых искренних и бесстрашных попыток выявить и показать тяготы и опасности нашего сегодняшнего существования, на какую когда-либо отваживался писатель перед лицом своего поколения, — писал безымянный критик из газеты «Дейли телеграф». — У Герберта Уэллса нет другой книги, которая могла бы соперничать с этой по смелости и убедительности». И конечно, в высшей степени хвалебный отзыв написал Арнольд Беннет, особо подчеркнувший литературное новаторство Уэллса, его нежелание считаться с условностями.

Все более ясно становилось, что Уэллс и в сфере традиционного романа вышел на большие просторы. Причем на это ему понадобилось всего несколько лет. «История мистера Полли», которая начала печататься в журнальном варианте полгода спустя после того, как в мартовском номере «Инглиш ревью» за 1909 год появилась последняя часть «Тоно-Бенге», могла лишь подтвердить это мнение. Здесь Уэллс показал, ко всему прочему, как велик его художественный диапазон: ведь «История мистера Полли» и превосходный образец юмористики. Одно из таких мест — сцену свадебного обеда — Уэллс с большим удовольствием вспоминал даже на склоне лет. Право же, Уэллсу было ради чего жертвовать своими политическими успехами!

Сложнее обернулось дело с «Анной-Вероникой». Уэллс мог радоваться тому, что ему удалось нарисовать живой образ девушки, стремящейся самостоятельно завоевать место в жизни, и снова по этому случаю поспорить с Шоу, а заодно поиздеваться над суфражистками. Роман с Эмбер Ривс оживил в его памяти историю Джейн, и, хотя его героиня больше напоминала Эмбер, ее судьба складывалась так же, как у Джейн. Стать биологом ей не удалось, но зато она вышла замуж за своего университетского преподавателя Кемпа, которого искренне полюбила.

Принимаясь за эту книгу, Уэллс, как и всякий автор, разумеется, надеялся, что она не пройдет незамеченной. И правда, она была хорошо построена и легко читалась. Но ее не просто заметили. Она произвела фурор. К сожалению, нежелательного свойства.

Неприятности начались с того, что Макмиллан отказался ее печатать. В конце сентября 1908 года он получил рукопись, а 16 октября уже отослал ее обратно с письмом, в котором говорилось, что эта книга «придется очень не по вкусу читателям, покупающим издания нашей фирмы». Макмиллан, конечно, понимал, что этот шаг означает разрыв с Уэллсом, но и отношениями своими с ним дорожил теперь много меньше, и ответственным перед родной словесностью за подобный отказ себя не считал: «Анна-Вероника» при всех своих достоинствах к перворазрядным вещам Уэллса все-таки не принадлежит. В художественном отношении это довольно заурядная беллетристика. Фредерик Макмиллан со своим опытом не мог этого не понять. За Уэллса же он не боялся. Тот свою книгу всегда пристроит!

Уэллс и в самом деле пристроил «Анну-Веронику» без особых трудов и без большой задержки. Незадолго перед тем в издательскую фирму «Т. Фишер Ануин» вступил племянник владельца Стенли Ануин. Ему пришло в голову, что у известных писателей могут оказаться залежавшиеся рукописи, а значит, надо разослать всем им письма с предложением отдать эти рукописи в распоряжение их фирмы. Уэллс откликнулся на письмо Стенли немедленно и, чтоб не затягивать переговоры, сразу же назвал цену — полторы тысячи фунтов. Деньги это были немалые, но Стенли посоветовал-

ся с дядей и согласился. Осенью 1909 года книга уже была в руках читателей. И вызвала у них именно то отношение, какое предсказывал сэр Фредерик. Видно, люди, покупавшие издания Макмиллана, ничем не отличались от тех, что покупали издания Т. Фишера Ануина.

Себе на беду, Уэллс, рассказывая историю Анны-Вероники, очень близко следовал истории своей и Джейн. Кемп, как и тогдашний Уэллс, был женат и только потом, уже сблизившись с Анной-Вероникой, развелся с женой. Не значило ли это, что автор призывал мужей изменять женам? И еще одного Уэллс не понял ни тогда, ни когда-либо потом: он был теперь не малоизвестным преподавателем Университетского заочного колледжа, а всемирно прославленным писателем, а значит, и находился все время у всех на виду. В таких условиях да еще после наделавшего шуму бегства с Эмбер и скандала вокруг романа «В дни кометы» возвращаться к своей старой любовной истории — пусть завершившейся браком с такой достойной женщиной, как Джейн, — явно не следовало. А Уэллс был из тех людей, кому ни одна ошибка не проходит даром. Так что скандал разразился первостатейный. Уэллс был не на шутку удивлен: ведь в книге не было ровно ничего неприличного. Речь просто шла о любви. И рассказывалось о ней даже немного сентиментально. Но при том, какую репутацию успел завоевать Уэллс, оказалось достаточно и такой малости, как развод Кемпа.

Самая вежливая рецензия появилась в «Дейли ньюс». Роман назван был там «блестящим». Но все ведь знают, что Уэллс пишет романы лишь для того, чтобы распространять свои взгляды. А с его взглядами трудно согласиться. Никто не спорит: современная жизнь полна стеснительных условностей. Но откуда Уэллс взял, что женщины больше страдают от этих условностей, чем мужчины? И если это не так, зачем уделять столько внимания отношениям между полами?

С не меньшим тактом высказался и рецензент из «Ти пис уикли». Сейчас столько толкуют об отношениях полов, замечал рецензент, что духовному здоровью народа грозит тяжелая опасность. Ему словно вливают в кровь какую-то отраву. Конечно, нельзя ставить на одну доску Уэллса и этих людей, но разве он тоже не подрывает устои брака, прославляя женщину, занятую поисками любовных приключений?..

По-видимому, все подобные рецензенты показались гнилыми либералами главному редактору еженедельника «Спектейтор» Джону Лоу Стрэчи, который вел в это время кампанию по очищению нравов. Примерно месяц спустя, позабыв, правда, поставить свою подпись (они с Уэллсом были лично знакомы, и это, видимо, его как-то смущало), он разразился статьей «Книга-отрава». Книга эта способна отравить умы всех, кто прочтет ее, восклицал Стрэчи. И объяснял читателю, какие она таит в себе опасности не только для семьи, но и для государства. Разве семья не есть

первичная ячейка общества? И не следует ли отсюда, что, разрушив семью, мы подорвем тем самым его устой? Граждане должны воспитывать себя в духе долга, самопожертвования, самоконтроля, и это относится не только к национальной безопасности и общественному благосостоянию, но и к половым отношениям. Поэтому книгу Уэллса иначе как вредоносной не назовешь.

Две недели спустя «Спектейтор» поместил письмо Уэллса, где тот в очень спокойном и достойном тоне объяснял свою действительную позицию. Он не против семьи. Он просто за то, чтобы она строилась на любви и взаимных духовных и умственных интересах. В ином случае брак становится проклятием для женщин. В их интересах и написана эта книга.

И опять Уэллс сделал неверный шаг. Поместив его письмо, Лоу Стрэчи сопроводил его длинным «ответом редакции», где вылил на несчастного автора еще несколько ушатов помоев. Ответ этот, разумеется, был выдержан в том же погромном тоне.

Все это было так мерзко, что приличных людей начало тошнить. Сэр Фредерик мог поздравить себя с тем, что проявил прозорливость и его издательство осталось в стороне от скандала, но все происходящее было очень ему не по душе. И поскольку было ясно, что Т. Фишер Ануин будет теперь шарахаться в сторону при одном упоминании об Уэллсе, он написал оплеванному писателю и поинтересовался, что в последнее время вышло из-под его пера. Уэллс ответил ему, что только что кончил политический роман «Новый Макиавелли», и Макмиллан, получив эту рукопись, немедленно отдал ее в набор. Но, прочитав гранки, испугался. Конечно, Уэллс его не обманул. «Новый Макиавелли» с самого начала был задуман как некий аналог «Тоно-Бенге». В «Тоно-Бенге» давалась широкая картина деловой жизни Англии первого десятилетия XX века. «Новый Макиавелли» должен был представлять собой очерк ее политической жизни. Значительная часть книги действительно посвящена политике, но и эти ее главы вряд ли могли порадовать Макмиллана — в них были нарисованы такие похожие портреты Уэббов, Балфура и других известных людей, что стоило ждать неприятностей. Но что было ужаснее всего, Уэллс опять не удержался и заговорил о своих любовных делах. В книге появляется, хотя и под другим именем, Эмбер Ривс. Но ведь теперь всем было ясно, что Уэллсу начисто заказана эта тема. Последнее Макмиллан и сообщил Уэллсу. Тот согласился на некоторые переделки. Однако сэр Фредерик все же решил пристроить книгу в какое-нибудь другое издательство. Он прошуupal почву у Чепмена и Холла, но те сразу же отказались. Фирма, прославившаяся когда-то изданием «Пиквикского клуба», могла позволить себе роскошь не заводить отношений со столько раз обруганным в печати писателем. Макмиллан обратился к Уильяму Хейнману. Тот выказал некоторую заинтересованность, но его всполошила именно политическая часть книги. Ну и, само собой разумеется, он не хуже других знал, как на самом деле зовут

изображенную в романе любовницу главного героя. Хорошенько все обдумав, и он отказался.

Издателей не следует винить в излишней осторожности. Конечно, они знали, что Англия — классическая страна свободы печати, но, на беду, помнили еще и то, что в 80-е годы лондонский издатель Эрнст Визителли угодил в тюрьму за публикацию романов Золя...

Уэллс начал впадать в панику. Как-никак все это длилось уже несколько месяцев. В конце концов Макмиллану все-таки удалось пристроить ненужную ему книгу. Ее согласился издать Джон Лейн. Издательство это не числилось среди самых солидных, однако и на безвестность не могло пожаловаться. Напротив, издав в 90-е годы «Желтую книгу» — сборник, который критика сразу же окрестила декадентским, — оно мгновенно прославилось. Скандал ведь тоже приносит славу — скандальную. Конечно, Уэллс отнюдь не был доволен таким падением. Но он уже основательно утихомирился и, вопреки ожиданиям, не только не начал встать вокруг оскорблять, но и написал Макмиллану благодарственное письмо. Впрочем, эта публикация, кроме как в денежном отношении, для Уэллса в тот момент не имела первостатейного значения. «Новый Макиавелли» был уже к этому времени напечатан в «Инглиш ревью». Форд Медокс Форд, как дурно он в глубине души ни относился к Уэллсу, помнил, что тот помог ему организовать журнал, и исправно печатал этого автора. К тому же он сблизился с одной из любовниц Уэллса и чувствовал себя чуть ли ему не родней.

Самое приятное во всем этом было, что за свою смелость ни он, ни Лейн нисколько не заплатились. Книга наделала шума. Ее называли произведением очень значительным. И впрямь — разве могут не заинтересовать современников портреты, пусть карикатурные, людей, о которых они постоянно читают в газетах? Ну, а что касается самих пострадавших, то они вели себя достойно, так что скандала не было. Конечно, некоторые рецензенты отметили недостатки книги — прежде всего то, что она не существует как единое целое и что рассказанное автором не встает перед глазами читателей. Но самим читателям книга была интересна, и она имела успех.

К сожалению, только временный. Сегодня «Новый Макиавелли» воспринимается просто как первая из литературно слабых книг Уэллса, которые пошли теперь косяком.

Критика начинала приносить долгожданные плоды. С издателями Уэллс присмирел, в выборе тем образумился. Он теперь выпускал роман за романом, ни один из них не вызывал особых нареканий, и ни один из них, за исключением «Билби», нигде не годился. Он был при деле, ему шли хорошие деньги, только вот читать его становилось все скучнее. О любви он писал, но так неинтересно, что это уже мало кого трогало. Большим мастером любовных сцен он и раньше не был, теперь же разговоры между

влюбленными все больше превращались в теоретические дискуссии. Чем-чем, а «заразой» его новые книги назвать было невозможно. Они не вызвали эмоционального отклика, а значит, и не представляли ни малейшей опасности для нестойких душ. Конечно, они оставались «умными книгами», но и это не шло им на пользу. Они были совершенно лишены прелести новизны. Уэллс вновь и вновь повторял все одно и то же. Он словно бы решил, что если его идеи не были сразу подхвачены, значит, их надо вколачивать в головы тупоумной публике. Как педагог он знал: повторенье — мать ученья. Забыл только, что его ученики, то бишь читатели, уже не сидят за партами...

Впрочем, он, видимо, догадывался, что с ним происходит что-то неладное. Раньше казалось, с ним никому не справиться — ни людям, ни судьбе. Что бы ни случилось, творческая энергия так из него и била. Теперь он двигался вспять, писал неинтересно и все более неряшливо. Если что и выручало его, так это сила литературной инерции. Он был знаменитым писателем, и его продолжали печатать. Пробиваясь к славе, он от романа к роману писал все лучше. Достигнув ее, работал все хуже и хуже. Скандал, разразившийся после «Анны-Вероники», не заставил его усерднее приняться за дело. Он просто выбил у него почву из-под ног.

Как было со всем этим справиться? Уэллс понимал: нужна какая-то встряска. Он даже задумал кругосветное путешествие и составил его план. Предполагалось проехать на Ближний Восток, оттуда перебраться в Азию, а затем отплыть в США и, посетив Карибские острова, вернуться домой. Путешествие должно было занять около года. В ходе его он надеялся забыть и о писательских неудачах, и об Эмбер Ривс, и о провале в Фабианском обществе. Такое продолжительное путешествие ему, впрочем, не понадобилось. Оказалось достаточно поездок в Швейцарию и в Италию и еще двух, совсем коротких, — в Голландию и во Францию. Правда, не одному.

Огорчения, которые Уэллс пережил в связи с «Новым Макиавелли», хоть и немного, но для него окупились, когда он получил восторженное письмо от графини фон Арним — преуспевающей писательницы, с которой был немного знаком. Писательская похвала — как это было для Уэллса важно! Ведь только что пришло письмо от Генри Джеймса, где тот камня на камне не оставлял от «Нового Макиавелли». И Уэллсу очень захотелось поближе познакомиться с автором этого письма.

Элизабет фон Арним, урожденная Мэри Аннет Бошан, и в самом деле была занятной личностью. Детство она провела в Австралии, потом, когда семья переехала в Европу, познакомилась с немецким графом фон Арнимом, очень не понравившимся ее родителям, вышла, несмотря на их сопротивление, за него замуж и уехала в его разоренное имение в Померании. Там она увлеклась садоводством, начавшим приносить совершенно неожиданные плоды. О своих сельских занятиях графиня фон Арним в 1898 году

написала книжку «Элизабет и ее немецкий садик», имевшую большой успех в Англии и гораздо больше ее вознаградившую, чем сам по себе немецкий садик. Своему мужу, в котором ее привлекал только титул, она родила трех дочерей и сына и наняла им в учителя сначала Эдварда Моргана Форстера — того самого Форстера, который немного погодя напишет свой антиуэллсовский рассказ «Машина останавливается» — и Хью Уолпола, тоже ставшего позже известным английским писателем. К сожалению, в Нассенхайде, где располагался ее «немецкий садик», жил еще ее муж, и это сделало ее заядлой путешественницей. От захудалого померанского графа она получила титул и больше ни в чем от него не нуждалась. Пьеса «Присцилла убегает» принесла ей такие деньги, что она и вправду могла теперь отселиться от мужа. Она построила себе красивый дом в Швейцарии и часто навещалась в Лондон. Свое письмо Уэллсу она написала в ноябре 1910 года и в тот же месяц навестила его на Черч-Роу, 17. Перед ним предстала маленькая, прелестно сложенная женщина с немного неправильным, но полным очарованья лицом, воркующим голосом и вкрадчивой манерой. Она во всех своих проявлениях была так мила, что Джейн как-то сказала: «В ее устах даже немецкий язык кажется приятным». Литературные способности в ее семье были, видимо, прирожденными. Ее двоюродная сестра Кэтрин Мэнсфилд стала известной писательницей, хотя никакого «литературного клана» они не образовали. Напротив, Кэтрин очень не любила свою родственницу, причем именно за ее всепроникающую милоту. «Она вся от начала до конца сделанная», — говорила она. И ей верили. Она вообще славилась своей пронизательностью и честностью. Но стоило кому-либо очутиться в обществе Элизабет, и фраза эта тотчас же забывалась. Конечно, она была «вся сделанная», но сделано все было так искусно — совсем как настоящее. Даже лучше! Она не знала хороших и дурных настроений и всегда, со всеми, в каждый момент была само очарование.

Уэллсу ли было не поддаться ее чарам! У него к этому времени словно инстинкт какой-то выработался: стоило около него появиться приятной женщине, как он начинал тотчас же ее добиваться. Но Элизабет была не девочка и не собиралась вешаться ему на шею: она, хоть и выглядела на редкость молодо, была ему ровесница, опыта в обращении с мужчинами у нее было достаточно, и она заставила Уэллса сперва помучиться, поревновать и лишь после того, как он неожиданно-негаданно нагрязнул в ее швейцарское поместье, отступилась от своих строгих моральных правил.

Джейн тотчас об этом узнала, но никак на это не реагировала: если уж такой ей достался муж, пусть около него будет графиня фон Арним. Женщина она приятная и безопасная. О последнем можно судить хотя бы по тому, с какой регулярностью, не пропуская ни дня, пишет домой Герберт и как радуется ее письмам...

Эта связь продолжалась весь 1911, 1912 и начало 1913 года, и назвать ее, в отличие от других увлечений Уэллса, «романом» никак нельзя. Его чувства оставались незатронуты, ее тоже. К этому времени она была уже вдовой, но отбивать его у Джейн не собиралась, ибо, по глубокому ее убеждению, в мужья он не годился. Он требователен, капризен, да к тому же сейчас он с нею изменяет Джейн, а потом начнет с кем-то еще изменять ей. Он даже и любовником-то был далеко не идеальным: все эти ежедневные письма жене, его радость, когда он получает письма от нее, — кому это понравится? И еще: даже сейчас, когда он жил у нее в доме, она все равно чувствовала, что главное для него — работа. Ею он никогда не согласится пожертвовать. А близкой женщиной — пожалуйста, хоть завтра!

Он, со своей стороны, тоже кое-что примечал. Шале «Солей» («Солнце») было с самого начала построено с мыслью о будущих любовных утехах. Между спальней хозяйки и комнатой для гостей была потайная дверь, заставленная шкафом. Шкаф легко отъезжал на колесиках, и любовники избавлялись от необходимости пробираться друг к другу через площадку. Дом Элизабет всегда был набит гостями, так что с вечера они с Гербертом желали друг другу спокойной ночи и чинно расходились по своим комнатам, после чего тут же отодвигали шкаф.

Подобная предприимчивость в любовнице Уэллсу только нравилась. Но были в ней другие черты, которые устраивали его гораздо меньше. Прежде всего — ее бессмысленная и глупая ревность к Джейн. Он ни разу не распечатал письма от жены без того, чтобы она не выказала ему своего недовольства. Она взяла в привычку передразнивать Джейн. Она и его все время старалась как-то поддеть. Только что на людях она была само очарование, и вдруг откуда-то вылезало существо эгоистичное, мелковатое, злобноватое. Словом, ни о какой глубокой страсти ни с той, ни с другой стороны и речи не было. Это был эпизод в его жизни, не более того. В ее жизни тоже.

К исходу 1913 года выяснилось, что дело идет к концу. Они расходились по своим комнатам, и каждый ждал, что другой первым отодвинет шкаф. Но ни он, ни она этого так и не сделали. Потом он сложил свои вещи и после короткого объяснения уехал домой.

Через год началась война, и немецкая подданная графиня фон Арним забеспокоилась, как бы в Англии не конфисковали ее имущество. Она быстро вернулась в Англию, столь же быстро, с присущей ей деловитостью устроила развод одного из своих бывших любовников графа Джона Фрэнсиса Стэнли Рассела (1865—1931) — инженера-электрика, адвоката и видного фабианца, брата Бертрана Рассела — и из немецкой графини фон Арним сделалась английской графиней Рассел. С мужем она вскоре рассталась. Он написал пародию на ее анонимно изданную книжку «В горах», где мера сентиментальности, всегда ей присущая в ли-

тературе (не в жизни), оказалась слишком уж велика, а она в отместку написала роман «Вера», где как могла поносила и мужа, и всю его семью. Развода она ему, впрочем, не дала и так до конца своих дней и оставалась графиней Рассел. В жизни Уэллса она после этого возникала еще дважды. Когда в 1927 году он построил себе дом во Франции, она тоже построила себе дом неподалеку, и они иногда виделись. А в 1940 году, совершая свое лекционное турне по Соединенным Штатам, Уэллс обнаружил, что она уже живет во Флориде. Он получил от нее длинное веселое письмо, так же весело, с таким же чувством юмора ей написал, но ответа не пришло. Вернувшись в Англию, он узнал, что она умерла во сне. И ей и ему тогда уже основательно шло на восьмой десяток.

Когда, расставаясь с Уэллсом в Швейцарии, Элизабет оплакала его за то, что он не принимал их роман всерьез (правда, она и сама не принимала его всерьез, но тут трудно требовать какой-либо логики), она была совершенно права, ибо все время, пока они были близки, он был в первую очередь занят устройством своего семейного очага в Англии. Точнее — переустройством. Или, если быть совсем точным, — одним из очередных переустройств. Потребность без конца менять дома у него с возрастом не уменьшилась. А на сей раз для этого было больше оснований, чем когда-либо. Выкидывая Джейн с детьми из Спейд-хауса, он следовал безотчетному инстинкту, подсказывавшему, что каждая перемена в его жизни должна сопровождаться переменной жилища. Но дом на Черч-Роу, 17, предназначался для Джейн, с которой он тогда собирался расстаться. Самому же ему этот дом очень не нравился. Он был мрачным, тесным, холодным. К тому же при нем не было участка земли, где Джейн могла бы заниматься своим любимым садоводством. Снимая дом для Джейн, он об этом как-то не подумал, но сейчас, живя в нем сам, чувствовал, насколько ему не хватает сада и цветника, — он ведь так привык в Спейд-хаусе размышлять, расхаживая по дорожкам. И еще одно мешало ему любить свой лондонский дом. Здесь он был слишком на виду. А при его образе жизни этого лучше было избегать. Он и Элизабет постоянно изменял с какими-то поклонницами своего таланта, чьи имена стерлись потом из его памяти. Конечно, скрывать здесь было уже нечего. Все давно обо всем знали и, что хуже всего — не восхищались им и даже не возмущались, а просто его жалели. Слова «помешан на женщинах» звучали применительно к нему отнюдь не метафорой. Это было уже нечто большее, нежели еще одно проявление его эксцентричности. Англичанам, как известно, к эксцентричности не привыкать, но вот к Уэллсу они не смогли до конца привыкнуть.

Ну, а Джейн давно уже ничему не удивлялась. Разве что больше других его жалела. Она знала: его непрестанно захлестывают какие-то вихри. И знала еще: в известном смысле он паразитически к ней привязан. Что бы с ним ни случилось, она остава-

лась тем стержнем, вокруг которого вращалась его жизнь. История с Эмбер была единственным его срывом. После этого он и помыслить не мог о том, чтобы оставить жену.

Так и сейчас. Где-то в Швейцарии была фон Арним, а здесь, в Англии, шла совсем другая жизнь. И настала пора в очередной раз устраивать ее заново.

В начале 1911 года один из друзей Уэллса, редактор «Дейли экспресс» Р. Р. Блюменфельд, пригласил его на конец недели в свой загородный дом в графстве Эссекс, и Уэллсу там очень понравилось. Это была настоящая сельская Англия, и при том до Лондона рукой подать — каких-нибудь сорок миль. И до станции недалеко. Он заявил «Блюму», что с удовольствием поселился бы в этих краях, и тот оказался человеком весьма обязательным. Он поговорил с владелицей здешних земель леди Уорвик, которая не просто согласилась сдать за небольшую плату (сто фунтов в год) один из своих домов Уэллсу, но буквально загорелась мыслью иметь этого знаменитого писателя у себя под боком. Она и раньше заботилась о том, чтобы ее земли были заселены людьми образованными, а уж Уэллса никак не могла упустить. В конце августа 1911 года, когда переговоры о сдаче дома были уже близки к завершению, она написала Джейн, как ей не терпится видеть своими соседями ее и ее детей. Это не были пустые слова. Не только хозяйкой, но и соседкой леди Уорвик оказалась превосходной. Она, правда, не слишком баловала их собственными визитами и требовала, чтобы к ней они являлись во всем параде, но в остальном с ней было очень легко. Уэллсы сперва сняли у нее дом, чтобы наезжать туда на субботу и воскресенье, но два года спустя им так там понравилось, что они продали свой лондонский дом, сняли для наездов в город квартиру и окончательно перебрались в Истон-Глиб.

«Глиб» по-английски значит «церковный участок», а на языке поэзии — «клочок земли». Уэллсы назвали так свой дом не случайно. Просторное, сложенное из красного кирпича, здание в георгианском стиле (стиль, сформировавшийся в Англии в период правления первых трех королей Ганноверской династии, то есть с 1714 по 1820 годы) и вправду отвечало обоим этим определениям. Оно было когда-то построено для приходского священника и располагалось на примерно равном расстоянии от двух главных резиденций графов Уорвиков — старой и новой, но при этом находилось от них и не слишком близко. Окружено оно было обширными лужайками и — красное на зеленом — казалось поистине поэтичным. Оно было изолировано от всего окружающего и очень доступно, а о чем-то подобном Уэллс всегда мечтал. Он любил набивать свой дом гостями, но иногда ему хотелось побыть одному. Истон-Глиб предоставлял возможности для того и другого.

И еще: неподалеку от дома стоял старый амбар. Это был для Уэллса настоящий подарок. Из амбара, едва в доме появились новые жильцы, начал доноситься звук плотницких пил и топоров:

Уэллс переоборудовал его в спортивный зал. И, разумеется, он не отступил от всегдашней привычки все переделывать на свой лад. Старый пасторский дом тоже был основательно перестроен изнутри, и еще при нем появилась обширная ротонда. И теперь в него хлынул поток гостей из Лондона и других городов и стран. Их всех как-то размещали в доме, бывали случаи, что гости разбивали на лужайках палатки. А потом их сзывали в амбар. Живость и изобретательность Уэллса наконец-то нашла настоящий выход. В амбаре, на заново настланном и натертом воском полу, устраивали танцы или играли в мяч. Более точно определить эту игру невозможно, потому что Уэллс сам придумывал ее правила, а когда надоело одни, сочинял другие. И конечно, он неизменно принимал участие во всех играх, подбадривая свою команду громкими криками. Во дворе был еще отличный теннисный корт и, как вспоминал Синклер Льюис, «в тот час в воскресенье, когда больше всего хотелось вздремнуть, вас тащили туда, и, хочешь не хочешь, приходилось подчиняться. Я был лет на двадцать моложе Уэллса, худее, да и дюймов на шесть-семь выше ростом, но неугомонный дьявол в образе моего партнера уже через четверть часа игры доводил меня до полного изнеможения. Он так подпрыгивал, что, несмотря на румянец и белый фланелевый костюм, его трудно было отличить от теннисного мяча, и это путало все карты».

Он всех поражал своей неутомимостью. Трудно было поверить, что это тот самый человек, который в куда более юном возрасте то и дело принимался помирать. Впрочем, и тогда, чуть ему становилось лучше, природная живость тотчас брала свое. Достаточно вспомнить его долгие пешие и велосипедные прогулки, настолько составлявшие быт его дома, что Джейн даже считала спортивность одним из условий пребывания в их семье.

Велосипедное помешательство понемногу у него прошло, но тогда он купил себе автомобиль и сел за руль. Нет, не «принялся учиться вождению», а попросту сел за руль и, получив из книжки элементарные сведения о том, как пользоваться этим видом транспорта, взял и поехал. Вместо газа он нажимал на тормоз, а вместо тормоза на газ, но то, что случалось в результате с автомобилем и окружающими предметами (люди, завидев его за рулем, сами разбегались), помогало ему понять свою ошибку, и повторял он ее потом не более десяти-пятнадцати, от силы двадцати или двадцати пяти раз. Он, очевидно, принял сначала автомобиль за увеличенный в размерах велосипед и долго не мог освоиться с мыслью, что, совершив поворот, надо потом вращать руль в обратную сторону. Однако, несколько раз покрутившись на месте, он понял эту свою ошибку, после чего повторял ее всего лишь неделю-другую. Выезжая на станцию за гостями, он проскакивал на обратном пути мимо ворот поместья и, дабы не давать задний ход и не подвергаться снова подобному риску, ехал дальней окружной дорогой и, хотя с большой задержкой, в целости до-

бирался до дома. Что до гостей, то они, пока их везли на новом виде транспорта, даже не понимали, что им грозит, и не пугались: изумление перед водителем пересиливало в них все остальные чувства.

А как приятно было возвращаться домой после автомобильной прогулки! Какую радость доставлял он детям! «Папочка вернулся живой-здоровый!» — кричали они в восторге.

Жюль Верн, как известно, так ни разу в жизни и не проехался в автомобиле. Он упорно отказывался. Уэллс сам при первой возможности сел за руль. И хотя он сделал это с присущей ему эксцентричностью, в конце концов не автомобиль его одолел, а он автомобиль. В 20-е годы он виртуозно водил машину по опасным альпийским дорогам. Ну, а пока радовался недавно изобретенному электрическому зажиганию. Когда у него глох мотор, не надо было вылезать и крутить ручку...

Истон-Глиб поистине стал для Уэллса родным домом. Словно он и не снимал его за сто фунтов в год, а родился в нем или, во всяком случае, сам его построил. Он и правда так его для себя приспособил, что, наверно, нечто подобное ему временами по-настоящему начинало казаться. С хозяйкой же договориться не представляло никакого труда. Когда речь шла об Уэллсе, она на все была согласна.

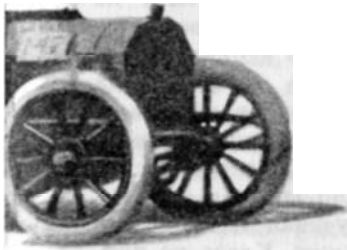
Леди Уорвик не меньше была интересна Уэллсу, чем он ей. Она ни в коем случае не была «охотницей за львами», как после «Пиквикского клуба» называют в Англии светских дам, озабоченных тем, чтобы собрать в своем салоне побольше знаменитостей. Ей это было ни к чему — она сама была прославленной светской львицей. И людей привечала тех, что были всерьез ей интересны.

Была она на пять лет старше Уэллса, но все еще сохраняла былую красоту и, что, пожалуй, легче понять, свою всегдашнюю эксцентричность. Будь леди Уорвик «из простых», ее в молодости можно было бы назвать «новой женщиной». Но она принадлежала к тем слоям общества, где свободные нравы перестали быть вновь со времен по крайней мере Генриха VIII, так что ее жизненный путь никого бы не удивил, не занесись она выше других молодых женщин своего круга. Двадцати лет от роду Фрэнсис Эвелин Мейнард, славившаяся не только своей красотой, но и огромным приданым, вышла замуж за графа Уорвика, но вскоре на нее обратил внимание принц Уэльский, старший сын королевы Виктории, и она не осталась к нему безразличной. Будущий Эдуард VII,



дождавшийся коронации к шестидесяти годам, действительно стоил ее любви. Он был, по общему мнению, человек милый и образованный, на всю жизнь влюбленный в искусство, не раз — в его представительниц (его любовницей была даже Сара Бернар), и многолетняя близость с ним не только позволила графине Уорвик царить в аристократических салонах, но быть своей среди интеллигентов. В числе прочих достоинств уже далеко не юного принца Уэльского было и отсутствие спеси. Кстати, именно Эдуард VII, взойдя на престол, учредил орден «За заслуги», которыми стали награждать людей литературы и искусства. И Уэллс, если бы не скандальные истории, все время с ним приключавшиеся, тоже бы его получил: Эдуард VII был большим его поклонником.

В начале нового века леди Уорвик увлеклась социализмом, вступила в лейбористскую партию и занялась благотворительностью. Особенно ее увлекала идея освобождения женщин, и она основала школу для девочек, где их учили садоводству, огородничеству, пчеловодству и заодно давали общие сведения по сельскому хозяйству. Построила она на свои деньги и дом для инвалидов. Членом партии она была очень активным и пыталась обратить лейбористское руководство на путь социализма. Именно ей Уэллс оказался обязан своим знакомством с Рамсеем Макдональдом, возглавившим после войны первое лейбористское правительство, а потом и коалиционное, в союзе с консерваторами, за что и был исключен из партии,



которой руководил. Обитателям Истон-Глиба он, впрочем, оказался человеком на редкость неинтересным. В спортивные игры он не играл — больно уж был неуклюж, — а в разговоре был скучен. Это было хуже всего. В амбар, в конце концов, гостей силком никто не затаскивал, но предполагалось, что посетителям Истон-Глиба всегда есть о чем поговорить. Пример подавал сам Уэллс, речами которого за чайным столом и на прогулках гости заслушивались. Один из его знакомых на вопрос, что ему больше всего нравится в Уэллсе, не стал перечислять его книги. «Он удивительно разговаривает», — ответил он. Даже на женщин его разговоры о необходимости и путях преобразования общества действовали сильнее любовных признаний. Его можно было слушать бесконечно. А он был способен — часто в ущерб другим собеседникам, перебивая их, порою даже не слушая, — произносить бесконечные речи. И он не просто говорил умно и складно. Он буквально излучал обаяние. Он не только хозяином был превосходным, но

и гостем. Сомерсет Моэм, рассказав в своем эссе «Романисты, которых я знал» о гостях, от которых долго потом приходится отдыхать, пишет далее: «Но бывают гости, которые испытывают наслаждение, общаясь с вами, стараются быть приятными, что им без труда удается, развлекают вас изумительными своими разговорами, гости с широким кругом интересов; их присутствие увеличивает ваш жизненный тонус, подбадривает вас — одним словом, они дают вам куда больше, чем вы при самом большом желании способны дать им, и их визиты всегда кажутся слишком короткими. Таким гостем был Герберт Уэллс. Он умел общаться с людьми. Когда собиралась компания, он старался, чтоб всем было хорошо».

Впрочем, Уэллс был не первым и не последним из людей, которые, теряясь перед большой аудиторией, оказываются блестящими собеседниками в кругу друзей. Да и лектором он оказывался порой очень неплохим. Чтобы хорошо говорить, ему надо было почувствовать себя перед студентами или школьниками, причем их свободно могли заместить в его сознании люди любого возраста, специально пришедшие его послушать, или даже просто гости, собравшиеся за его столом. Он никуда не годился только как политический оратор. Здесь он пасовал перед многими и даже не догадывался, какими трудами те поднялись к вершинам ораторского искусства. Его всегдашний оппонент Бернард Шоу не родился великим оратором. Он многие годы оттачивал свое мастерство, выступая в оранжерее Уильяма Морриса и в Гайд-Парке. Последнее он делал с такой регулярностью, что любая погода была ему нипочем: однажды он говорил даже в проливной дождь, хотя единственными его слушателями в тот день были полицейские — нельзя было уйти с поста. Черчилль, способностями и умом которого Уэллс восхищался, обычно готовил для выступления в парламенте три текста речи, заучивал их наизусть и, смотря по обстоятельствам, произносил нужную. Когда на парламентскую трибуну выходил Черчилль, депутаты из кулуаров стекались в зал его послушать. Перед ними стоял красавец с волевым и интеллигентным лицом, совсем непохожий на привычного нам по позднейшим фотографиям тучного старика с лицом породистой английской собаки, и говорил с огромным напором и всесокрушающей аргументацией. Кто бы мог подумать, что оратор — заяк и что эта безусловно только что родившаяся речь разучена со вчерашнего дня? Когда на трибуну поднимался молодой радикал Ллойд Джордж, поражавший всех не только страстностью, но и красноречием, кто вспоминал, что этот интеллигент вырос в семье сапожника? Можно ли было ждать чего-либо подобного от Уэллса? Английская политика тех времен — дело профессионалов, а Уэллс был в ней любителем. Уэллс на политической трибуне всегда был импровизатором, даже если он и подготовился к выступлению заранее. Ему так дорог был предмет спора, и он всегда так остро реагировал на любое возражение, что сразу начинал сбиваться, запинаться и скоро уже не говорил,

а визжал. Не хуже мистера Полли путал ударения и звуки. От него так и разило раздражительным лавочником. До чего же хорошо было после неудачи в Фабианском обществе опять почувствовать себя хозяином положения — пусть за собственным чайным столом!

Было у Уэллса еще одно замечательное качество. Терпя поражение, он терял над собой контроль, впадал в панику или начинал осыпать противника оскорблениями. Но потом встряхивался, словно собака, вылезшая из воды, и, подрожав минутку от холода, шел дальше своим путем. Особенно ему помогали обрести себя крупные события, случавшиеся в мире. Он ведь жил не только и даже не столько своими домашними делами, своими любовными приключениями, даже своими писаниями. Он жил прежде всего заботами большого мира. А они становились все более серьезными. Скоро всему предстояло отступить на второй план перед тем, что случилось в Европе.

На пороге стоял 1914 год.

4

Война и после войны

Кто знал, что это будет такой страшный год?

Конечно, все давно уже ждали большой европейской войны. Но ее удавалось предотвратить и раз, и другой, и третий, — почему же ей было разгореться именно в этот год?

А для Уэллса этот год начался интересно и счастливо.

Предыдущее лето они с Джейн и детьми провели в Нормандии, на Сене, недалеко от Руана, и было им хорошо и весело. Они купались, загорали, ходили, как всегда, в далекие прогулки и очень много смеялись. Классная комната в доме, который они снимали, показалась Уэллсу мрачной, и он решил украсить ее картинами. Первую из них он нарисовал сам. Взяв у детей цветные мелки, он изобразил на стене две фигурки и снабдил их подписью: «Мистер Редьярд Киплинг напоминает британскому рабочему о его долге перед Империей». И конечно, по всегдашнему своему обычаю, они буквально набили весь дом гостями. Один из них и заронил в душу Уэллса мысль об интересном путешествии, которое тому стоило бы предпринять.

Звали этого человека Морис Беринг, и к нему трудно было не прислушаться. Это был всеобщий любимец. С ним всегда и всем было приятно и удивительно интересно.

В литературную среду он попал не потому, что иначе как пером не мог заработать себе на жизнь, а, что называется, по велению сердца. Он происходил из семьи, эмигрировавшей в XVII веке из Германии и от поколения к поколению обраставшей заводами, банкирскими конторами, поместьями, а заодно и звуч-

ными титулами. Когда Беринги шли в оперу, их приглашали в королевскую ложу, их лошади выигрывали скачки, они держали собственную охоту и путешествовали на собственной яхте. Их дом прославился в Лондоне тем, что в нем одним из первых провели электричество. Уже несколько поколений они были не только заводчики и банкиры, а государственные деятели, поднимавшиеся до очень высоких постов, и перед Морисом, четвертым сыном лорда Равелстока, была открыта блестящая дипломатическая карьера. После университета он был зачислен в штат британского посольства в Париже, но скоро понял, что служебные обязанности отвлекают его от того, в чем он видел дело своей жизни, — литературы. Возможно, в этом убеждении его укрепила дружба с Сарой Бернар. Эта «верная дочь еврейского народа и католической церкви», как любила она себя называть, была особой невероятно экстравагантной, что, впрочем, людей от нее не отталкивало, напротив, и пожаловаться на недостаток к себе внимания она не могла. И все же молодого Беринга она отличала. Не только за его огромное обаяние. Люди, попадавшие в дом Сары Бернар, приходили в ужас. Он весь был заставлен, завешан, завален произведениями искусства, интересными, дорогими, подобранными со вкусом. Сара ведь не только была великой актрисой — она еще очень неплохо рисовала, выставялась как скульптор, писала стихи и временами выступала в собственных пьесах, так что могла судить и о достоинствах чужих работ. Беда лишь, что всего этого было слишком много. Непонятно было, как можно жить в этом доме. Хозяйку это, впрочем, не смущало. В одной из комнат стоял гроб, в нем она и спала. И коллекции свои продолжала пополнять с неустанным рвением. Вот тут-то Морис Беринг и отличился. Его отец издавна коллекционировал старинные брегеты, причем за сокровища свои не держался и, обнаружив какого-нибудь ценителя антиквариата, охотно начинал их раздаривать. Что-то из этой коллекции перешло к Саре Бернар, и двери ее дома широко открылись для молодого атташе английского посольства, так мило говорившего по-французски. А у Беринга была какая-то необыкновенная способность восхищаться другими людьми. Он преклонялся перед ее актерским дарованием, но этого было мало. Он не переставал удивляться многообразию ее талантов и, широко раскрыв глаза, смотрел на эту женщину, не замечая, что она без малого на тридцать лет его старше. Даже ее чудовищная худоба его умиляла. Он, как и все в Париже, знал тогдашнюю присказку: подъехала пустая карета, и из нее вышла Сара Бернар, но и в этом видел не иронию, а еще одну ей похвалу...

Сам он уже в семнадцать лет выпустил свой первый сборник стихов, потом сочинил несколько пьес, а, уйдя со службы, начал писать романы, рассказы и очерки. Сейчас он как писатель забыт, но в свое время его ставили, читали и он был заметной фигурой на лондонском литературном горизонте.

В Лондоне у него появилось новое увлечение. В 1903 году русским послом в Англии был назначен Александр Константинович Бенкендорф, много сделавший за тринадцать лет пребывания на своем посту для укрепления англо-русских связей, и Морис Беринг необыкновенно подружился со всей этой семьей. Со старшим сыном посла, Константином, который учил его русскому языку, он сделался неразлучен. В первое же лето Бенкендорфы пригласили его в свое имение Сосновку, в Тамбовской губернии, и там он быстро заговорил по-русски. Эти месяцы он считал счастливейшими в своей жизни. А когда началась русско-японская война, они с Константином (тот был военным моряком) прямо из Сосновки отправились в Маньчжурию. Морису не терпелось испытать себя под огнем. Ехали они вагоном третьего класса — Морис хотел получше присмотреться к простым русским людям.

В России он застрял надолго. Сделался военным корреспондентом «Морнинг пост», потом остался обычным корреспондентом, брал интервью у Витте и Столыпина, переводил русские стихи. Способность к языкам у него была замечательная, Россию он скоро уже считал почти что своей второй родиной, общался с широчайшим кругом людей и о русской жизни знал больше любого другого человека во всей Англии.

Когда Морис Беринг появился на французской даче Уэллсов, ему еще не исполнилось сорока, но ему было что порассказать, а одним из его замечательных качеств была полная неспособность что-либо таить про себя — он всё выкладывал друзьям и знакомым. Ну, а Уэллс, когда ему попался интересный человек, обуздывал свою потребность говорить самому и готов был слушать и запоминать. И ему было что послушать у Мориса. Прежде всего про Россию. Он знал о своей большой популярности в этой стране, но, хотя и был давно знаком с Берингом, плохо раньше ее себе представлял. В 1909 году издательство «Шиповник» затеяло Собрание сочинений Уэллса, и его попросили написать к нему предисловие. Уэллс с охотой выполнил эту просьбу, но некоторые строки его статьи нельзя читать без искреннего удивления.

«Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева и у моего друга Мориса Беринга. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов, где плохие пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли это».

Да, именно такой увидел Россию Беринг, когда приехал в Сосновку в 1904 году. Но в 1913-м он уже и сам, должно быть, стеснялся этих своих ранних лубков. С иконами и бородатыми

попами, конечно, все обстояло по-прежнему, деревенские улицы оставались такими же широкими и грязными, дома — деревянными, дороги не стали лучше, а расстояния короче, но вот «беззаботные и набожные, веселые и терпеливые» мужики успели за это время сжечь столько усадеб и убить столько помещиков, что как-то уже сделалось неловко прилагать к ним все эти эпитеты. Как-никак в России успела произойти революция! И тот же Беринг в своей большой книге «Русский народ» (1910) посвятил ей целых три главы.

Об этой-то новой России и мог теперь Беринг рассказать Уэллсу. Он уже хорошо знал Россию — был свидетелем Октябрьской стачки 1905 года, старательно собирал материалы о всех сторонах русской жизни. После книги «Русский народ» в 1914 он выпустил книгу «Движущие силы России». Как было все теперь непохоже на первые его впечатления! Ведь с момента Ленского расстрела (1912) послереволюционная Россия опять была Россией предреволюционной.

Она уже задолго до 1905 года была предреволюционной страной, только сроки до революции тогда назначались другие.

В 1839 году Николай I пригласил в Россию маркиза де Кюстина, сына графа Адама Филиппа де Кюстина, выбранного в Генеральные штаты в 1789 году. Граф де Кюстин тринадцатью годами раньше оказался в Америке с французскими войсками, посланными туда в пику англичанам в дни Войны за независимость, получил там генеральское звание, но заодно проникся революционными идеями. Когда в 1792 году к власти во Франции пришли якобинцы, он получил под свое командование армию и вскоре захватил Майнц. Удержать его Кюстину не удалось. Случилось это, на беду, как раз тогда, когда Комитет общественного спасения счел наилучшим способом борьбы за победу казнь всякого генерала, потерпевшего поражение, и гражданин Кюстин, бывший граф, пришедший в революцию, как выяснилось, с целью ее погубить, кончил свои дни на гильотине.

Его сын вырос в результате ярым противником революции. Этот парижский литератор упорно и последовательно выступал против всякого представительного правления. Престиж царской России за рубежом был тогда очень низок, и Николай I подумал, что, обласкав при дворе этого реакционера с легким пером, он сделает для себя полезное дело. Де Кюстин тоже с радостью принял столь лестное для него приглашение. Но, кажется, не только Николай, но и сам де Кюстин забыл, что он как-никак — сын революционного генерала, пусть даже несправедливо казненного. С момента, когда приглашенного царем маркиза обыскали на корабле, выискивая крамольные книги, а потом еще разок, на береговой таможне, и поместили в шикарнейшей гостинице, где его в первую же ночь чуть не до смерти заели клопы, ему что-то в Петербурге стало не нравиться. И хотя его жизнь в России была сплошным праздником, его день ото дня все больше мутило.

На самых шикарных царских приемах он приглядывался к этим холуям в расшитых золотом мундирах, и ему становилось противно. Когда ему захотелось посмотреть Москву, его отправили туда с царским фельдъегерем, и тот на его глазах в кровь избил чем-то ему не понравившегося молодого кучера, который, пока его били, все кланялся. Поехав в Россию, чтобы утвердиться в своих монархических идеях, де Кюстин вернулся убежденным либералом, а его книга «Россия в 1839 году» (у нас она в сильно сокращенном виде издана в 1930 году под названием «Николаевская Россия») попала в число тех самых крамольных книг, которые выискивали на таможне. Николай 1, едва просмотрев ее, пришел в иступление. Иначе отнесся к ней Герцен. «Книга эта действует на меня как пытка, как камень, приваленный к груди; я не смотрю на его промахи, основа воззрений верна. И это страшное общество, и эта страна — Россия», — записал он 10 ноября 1843 года в своем московском дневнике. И резюмировал: «Без сомнения, это — самая занимательная и умная книга, написанная о России иностранцем».

Так вот, уже маркиз де Кюстин в 1839 году не увидел в России «много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых». Он понял, что в народе накопилась огромная ненависть, и предсказал революцию, которая будет пострашнее французской. Произойти она должна была, по его подсчетам, через пятьдесят лет.

В 1913 году никто уже не назначал такие далекие сроки. Самодержавие гибло у всех на глазах. При дворе боялись и не любили всякого способного человека, даже если он употреблял свои способности на защиту царского строя. Самым сенсационным примером этого было убийство П. А. Столыпина в Киеве 4 сентября 1911 года. Столыпинская земельная реформа, а тем более предложенные им административные преобразования вызвали раздражение царя и царицы, органически не терпевших любых перемен. Председатель совета министров Коковцев, сменивший на этом посту Столыпина, рассказывал потом французскому послу Морису Палеологу, что, когда он, вступив в должность, заговорил с царицей о Столыпине, она просила его не упоминать при ней этого имени. А генерал П. Г. Курлов, руководивший охраной царя во время его поездки в Киев, рассказал в своих воспоминаниях, как оскорбительно держался двор со Столыпиным, и еще об одном обстоятельстве, о котором задолго до появления его книги и так толковала вся Россия: Богров, смертельно ранивший Столыпина в киевском театре, был не только бывшим эсером, но и бывшим агентом царской охраны. Когда же Столыпин вызвал Курлова к себе в больницу, Коковцев велел его к умирающему не допускать. Подробного расследования по делу Богрова, как ни настаивал на этом Курлов, не было проведено. Его поспешили казнить.

С. Ю. Витте царь так никогда и не мог простить написанный тем манифест от 17 октября 1905 года, и, когда черносотенцы

бросили бомбу в трубу его дымохода, очень, судя по всему, огорчился — не самим покушением, а тем, что оно не удалось. Зато какую радость он испытал 13 марта 1915 года, узнав о смерти отставного министра! Морис Палеолог, посетивший три дня спустя Николая II в ставке, расположенной неподалеку от Барановичей, услышал от него: «Смерть графа Витте была для меня большим облегчением». Император всероссийский, царь польский, князь финляндский и прочая и прочая... был, по словам французского посла, поразительно весел в тот день. И его по-человечески нетрудно понять: он знал, что бывший начальник службы движения одесской железной дороги, возведенный им в графское достоинство, считал его полным ничтожеством.

Впрочем, разве так думал один Витте? Ничтожество — другое слова было не подобрать. Этот человек, вступление которого на престол ознаменовалось знаменитой Ходынкой и который, сам того не подозревая, дал знак первой русской революции расстрелом 9 января 1905 года верноподданнической демонстрации, явившейся к Зимнему дворцу с хоругвями и иконами, никак не выглядел страшным убийцей. Он был прост в обращении, воспитан, приветлив, старался на всякого произвести как можно лучшее впечатление и, пока речь шла о вещах повседневных, казался совсем неглупым. Нельзя даже сказать, что у него не было государственного мышления. Беда лишь, что оно находилось на средневековом уровне. О себе он знал прежде всего, что он — помазанник божий. Ему дважды пришлось выступить перед Государственной думой, и это были для него минуты величайшего унижения. Он бледнел, запинался, стискивал и засовывал за пояс руки, чтобы не потерять дар речи. Когда мать выговаривала ему за очередную политическую глупость, у него был один ответ — он принимался кричать: «В конце концов, я — император!» Идея самодержавия, маниакально им овладевшая, не делала его, впрочем, хоть сколько-нибудь сильной личностью. В нем всегда подспудно таилось чувство обреченности. Иногда оно прорывалось наружу, и тогда близкие слышали от него: «За что я ни примусь, ничего не удастся. Провидение против меня. Я плохо кончу». Этот вот комплекс неполноценности и оборачивался порой роковым образом для окружающих.

Себя он считал фигурой символической и был в этом совершенно прав. Он и в самом деле воплощал в себе самодержавие, упорно, последовательно, упрямо идущее к неотвратимому концу.

Интересно, что из этого мог услышать Уэллс от Мориса Беринга? А впрочем, разве с одним только Берингом он говорил о России?

Среди друзей Уэллса был журналист и литературовед Гарольд Уильямс, жена которого, в девичестве Ариадна Владимировна Тыркова, познакомилась за несколько лет до этого со своим будущим мужем в Париже, где очутилась отнюдь не по своей воле. Ариадна Тыркова была видной публицисткой союза «Освобож-

дение», преобразованного в 1905 году в кадетскую партию. В 1904 году она была арестована на финляндской границе, когда перевозила тираж «Освобождения» — журнала, издававшегося союзом, — приговорена к двум с половиной годам тюрьмы, но сумела бежать, а потом была амнистирована. В 1912 году она вернулась на родину уже в качестве английской гражданки. В этот год Уильямс был назначен корреспондентом в Петербург и к 1914 году уже основательно там обжился. Там он в очередной раз и встретился со своим лондонским знакомым — Уэллсом.

Когда у Уэллса родилась мысль приехать в Россию? Трудно сказать. Но, скорее всего, он загорелся этим желанием именно летом 1913 года после разговоров с Морисом Берингом. Он отправился в Петербург вместе с ним. Свое намеренье посмотреть Россию Уэллс осуществил с присущей ему стремительностью. На русскую землю он вступил уже 13 января 1914 года.

В приезде Уэллса к нам в 1914 году есть одно странное обстоятельство. Он постарался поначалу совершить эту поездку инкогнито. Чем это объяснить? Конечно, лучше всего усмотреть здесь проявление его особой скромности. К сожалению, это выглядело бы не слишком убедительно: скромность никак не принадлежала к числу главных достоинств Уэллса, и, скажем, свои поездки в Америку он обставлял со всей возможной помпой. Боязнь, что всякого рода официальные церемонии отвлекут его и помешают по-настоящему познакомиться с жизнью страны? Это ближе к истине, но, думается, тоже ее не исчерпывает. Скорее всего, Уэллсом руководило опасение, что у кого-то может зародиться мысль, будто он хоть в малой мере симпатизирует русскому самодержавию. Подобный оттенок приобрела некогда поездка в Россию Александра Дюма-отца (та самая, во время которой французский писатель поведал изумленному миру, как он пил чай под развесистой клюквой), и Уэллсу вряд ли хотелось, чтобы о нем говорили что-либо подобное. А царская Россия была для тогдашнего западного интеллигента таким же *bête noire*¹, как кайзеровская Германия. Когда Франция, покупая себе союзника в войне против Германии, предоставила в 1906 году заем Николаю II, это вызвало настоящую бурю негодования в Англии и в самой Франции. О русских писателях, которые от десятилетия к десятилетию завоевывали все большее восхищение Европы, знали, что они подвергаются преследованиям у себя на родине, с русскими интеллигентами все чаще знакомились за пределами России. Таким популярным в Англии людям, как, скажем, Степняк-Кравчинский, путь на родину был заказан. Мог ли заядлый антимонархист Уэллс принимать самую отвратительную из монархий Европы?

Зато Россия как таковая интересовала Уэллса до чрезвычайности. Уже потом, из написанной шесть лет спустя «России во

¹ Предмет самой большой ненависти (*фр.*).

мгле», мы узнаем, сколько ходил Уэллс по петербургским улицам, каким похожим на Лондон показался ему этот город, как он про­с­жи­вал до­позд­на со сво­и­ми рус­ски­ми дру­зья­ми, слу­шая их споры. Его совершенно не тянуло осматривать памятники старины, но он с жадностью впитывал впечатления от современной жизни страны.

Побывал он и в Государственной думе, этой, как он назвал ее потом, «ленивой говорильне». Компанию ему составили Морис Беринг и еще один человек, о котором ему предстояло в дальнейшем вспомнить, — приятель Константина Бенкендорфа и его родственник граф Иван Бенкендорф (он же — Ганс Ульрих Ната­ниэль фон Бенкендорф).

В Петербурге Уэллс пробыл пять дней, потом двинулся в Москву, но по дороге заехал на два дня к брату Ариадны Уильямс, Аркадию Владимировичу Тыркову. Тот жил в деревне Вергежа, в пятидесяти километрах от Новгорода, и Уэллс не мог упустить такую возможность познакомиться с русской деревней. К Тыркову Уэллс добирался со станции Волхов по санной дороге, проложенной прямо по льду реки. Началась оттепель, поверхность льда покрылась водой, и казалось, что сани вот-вот провалятся под лед или перевернутся. Один раз они и правда перевернулись, но все кончилось благополучно. В Вергеже он много ходил по крестьянским избам и в сопровождении учительницы Нины Алексеевны Кокориной побывал в четырехклассной школе, которую помог построить Тырков. В ней была столярная мастерская и, что Уэллсу должно было особенно понравиться, хорошо оборудованный физический кабинет. И все же от своего пред­рас­судка о «счастливых русских пейзажах» он избавился именно в Вергеже. С той поры он всегда говорил о серьезности крестьянского вопроса для России. Это была одна из тем его беседы с Лениным в 1920 году. В написанной в тот же год «России во мгле» он характеризует русских крестьян уже совсем иначе, чем в статье 1909 года. Они безграмотны, грубо практичны, суеверны, но не религиозны в подлинном смысле слова, а в политике и общественной жизни их интересует лишь удовлетворение их непосредственных нужд.

Сохранились и фотографии, где Уэллс сидит в санях-розвальнях, вокруг него расположились Тырковы и Кокорина, а в некотором отдалении стоят деревенские бабы и мальчишки. Этой экзотической деталью, впрочем, далеко не исчерпывается все, что можно рассказать о поездке Уэллса к Тыркову, ибо Уэллса не мог не заинтересовать и сам хозяин имения.

А. В. Тыркову скоро должно было исполниться пятьдесят пять лет. Двадцать из них он провел в сибирской ссылке. В 1880 году студентом четвертого курса Петербургского университета Тырков примкнул к народо­воль­цам, готовившим покушение на Александра II, и стал членом «наблюдательного отряда», изучавшего маршруты и время поездок царя. Спустя две недели после

знаменитого покушения 1 марта 1881 года, в ночь с 13 на 14 марта, он был арестован. Но суда избежал. После освидетельствования в психиатрической лечебнице он был оставлен там до излечения. Тем не менее в 1884 году его в административном порядке выслали в Сибирь на жительство «без срока». Несколько раз ему предлагали заявить о раскаянье и подать прошение о помиловании, но он отказывался. В 1904 году его все-таки освободили, он вернулся в свою деревню, где всячески старался помочь крестьянам. В Сибири он виделся с В. И. Лениным, и, когда после революции оказался без средств к существованию, Владимир Ильич распорядился вернуть ему два-три гектара земли и двух коров. Умер Тырков через шесть дней после того, как ему исполнилось шестьдесят пять лет, 18 февраля 1924 года. Можно ли сомневаться в том, что Уэллс запомнил этого человека?

20 января Уэллс уже был в Москве. Морис Беринг туда за ним не последовал, но на вокзале его встретил кто-то из знакомых, и они пешком пошли с Каланчевской площади в центр города. Приехал Уэллс в Россию через Берлин и, пока они шли к Кремлю, все время рассказывал, как не нравится ему этот город, насколько Петербург лучше него, а Москва интереснее. «Кривые московские улицы, чередование многоэтажных домов с маленькими одноэтажными, разношерстная толпа, где рядом с полушубком попадает изысканное «английское» пальто, трамваи, автомобили и тут же извозчики сани, ломовики — все это очень его занимало», — рассказывал на другой день корреспондент «Русских ведомостей».

Особенное впечатление на Уэллса произвела Красная площадь с Василием Блаженным и Кремль.

«Я сейчас вспоминаю детство, — сказал он. — У меня был какой-то большой атлас с картой России, и там в углу были гравюры с такими же церквями, они всегда казались мне ненастоящими, но я с тех пор их связывал с представлением о России. Вот приехал в Петербург, но там ничего подобного нет, и я уж поверил было, что эти гравюры были только фантазией художника. А вот они вдруг ожили».

В Кремле как раз шли строевые учения какого-то полка, и Уэллс, сызмалу увлекавшийся игрой в солдатки, смотрел на них с не меньшим восторгом, чем мистер Пиквик на маневры в Рочестере.

В Москве Уэллс даже изменил своему правилу не тратить время на осмотр памятников старины и съездил в Загорск. Лубочная картинка с изображением Троице-Сергиевой лавры висела потом в его доме. Но главные его интересы по-прежнему оставались иными. Он ходил по ночным чайным, побывал на Хитровом рынке, где жили в ночлежках описанные Горьким босяки. И конечно, он осуществил свое заветное желание, зародившееся еще в Лондоне, — побывал в Художественном театре. Он посмотрел «Гамлета» в постановке Гордона Крэга и «Трех сестер». Послед-

ний спектакль привел его в такой восторг, что он отправился за кулисы благодарить исполнителей и начал уговаривать Станиславского, Книппер-Чехову и Немировича-Данченко привезти свои чеховские спектакли в Лондон. Потом он еще дал об этом спектакле восторженное интервью. Тогданняя Москва (он писал потом об этом в романе «Джоанна и Питер») произвела на него впечатление города «грязного, расплзшегося, неряшливого», но тем более восхитил его Художественный театр, который, «словно магнит, притянул к себе свой элемент из огромной варварской смеси западников, крестьян, купцов, духовенства и профессионалов, заполнивших московские улицы». Еще знакомые сводили его к Балиеву в кабаре «Летучая мышь». Побывал он и в Большом театре на вечере одноактных балетов, где танцевала Е. Гельцер, и в Третьяковской галерее. Словом, несколько московских дней были насыщены до предела. Потом он отправился обратно в Петербург и оттуда морем отплыл в Англию.

Как нетрудно заметить, инкогнито сохранить не удалось. Более того, сама попытка остаться в России незамеченным привела к смешному недоразумению.

Два дня спустя после приезда Уэллса в Петербург, 15 января 1914 года, в либеральной газете «Речь» появилось интервью, которое Уэллс, явно в порядке исключения, по просьбе общих знакомых дал известному журналисту В. Д. Набокову, отцу писателя В. В. Набокова. Он много говорил об английских делах, но о своих русских впечатлениях пообещал рассказать позже, когда они отстоятся. Это интервью послужило своеобразным сигналом для остальных газетчиков. Они немедленно кинулись в английское посольство узнавать, где остановился знаменитый писатель. Сэр Джорджу Бьюкенену, послу, Уэллс по приезде не представился, посольские же клерки направили корреспондентов к самому знаменитому, на их взгляд, английскому писателю, недавно прибывшему в Петербург. К нему корреспонденты и нагрянули утром 16 января. Знаменитый английский писатель, принявший их в доме № 10 по Фурштадтской улице, оказался человеком любезным и говорливым, так что материала корреспонденты получили в избытке. Всех опередила газета «Биржевые ведомости», читатели которой могли на следующее утро прочитать такую заметку:

«В настоящее время в Петербурге гостит мировой известности писатель Г. Д. Уэллс. Он остановился у штаб-ротмистра П. П. Родзянко, с супругой которого, англичанкой по рождению, знаком много лет.

Цель приезда к нам известного английского писателя — охота на медведя, которую и предлагает ему завтра штаб-ротмистр Родзянко в своем имении Витебской губернии...

Герберт Джордж Уэллс с целью охоты изъездил всю Африку вдоль и поперек, Северную Америку, Австралию, побывал в Новой Зеландии и, наконец, совершил путешествие от Шанхая в Омск через пустыню Гоби».

Как ни пытались корреспонденты навести знаменитого писателя на разговор о его романах, он, упомянув две книги своих путевых впечатлений, от дальнейшей беседы на эту тему уклонился, что, бесспорно, свидетельствовало о его необычайной скромности. Он предпочитал говорить о своих путешествиях и охотах, «представляющих, по-видимому, для него главную цель его деятельности».

Все это было чистой правдой. Единственная неточность состояла в том, что корреспонденты нечаянно взяли интервью не у Уэллса, а у спортивного писателя Уолтера Уайнса.

На другой день ошибка открылась, но опровержение напечатали почему-то не «Биржевые ведомости», а «День», где заодно была опубликована статья известной переводчицы З. А. Венгеровой об Уэллсе и направленный ему адрес Всероссийского литературного общества. В этом адресе подчеркивались два обстоятельства: во-первых, что русские читатели, знакомые и с бытовыми романами Уэллса, все же ценят его в первую очередь как фантаста, во-вторых, что его приветствуют еще и как человека, приехавшего из свободной страны.

Об этом тогда было самое время говорить. В том же номере «Русских ведомостей», в котором была напечатана заметка «Уэллс в Москве», почти целая полоса была отведена только что закончившемуся в Киеве процессу В. В. Шульгина, позволившего себе заявить в печати, что материалы по делу Менделя Бейлиса, обвиненного в «ритуальном убийстве христианского ребенка», были сфабрикованы черносотенцами. И хотя все свидетели, выступавшие против Шульгина, вынуждены были отказаться от своих показаний, его все-таки приговорили к трем месяцам тюрьмы. Личность обвиняемого заслуживает в данном случае особого интереса. В Киеве ведь судили не какого-нибудь революционера, а «своего» — Шульгин был убежденным монархистом, антисемитом и одним из лидеров правого крыла Государственной думы!

Уэллс еще в Англии слышал и читал о России, о многом узнал от своих знакомых в Петербурге и в Москве, но при этом дурное, что он видел, перекрывалось более важным: круг, в котором он здесь вращался, необычайно его привлекал. Он встречался с З. А. Венгеровой, В. Д. Набоковым, Ф. Д. Батюшковым, М. Ликиардопуло (Ричардсом) и другими литераторами. В этой России он был своим. К русским интеллигентам он тянулся душой, и это чувство подавило все остальные. В конце сентября или в самом начале октября 1914 года, уже после начала войны, он обратился к Ромену Роллану с предложением сделать совместное заявление в пользу России, и французскому писателю пришлось объяснять ему, что подобные заявления требуют больших оговорок. «Я воюю против одного чудовища (прусского империализма) не для того, чтобы при этом защищать другое, — писал он в о т в е т. — Найдите, дорогой мистер Уэллс, формулировку, отмечающую, что Россия,

которую мы любим, Россия, на которую мы надеемся и в которую верим, — это Россия свободная».

За те считанные дни, которые Уэллс провел в России, он постарался увидеть, сколько возможно. Но самого его тоже рассматривали и изучали. «Помню, как тогда его несколько прозаическая наружность меня поразила своим несоответствием с тем представлением, которое естественно создается об авторе стольких замечательных книг, то блещущих фантазией, то изумляющих глубиной мысли, яркими мгновенными вспышками страсти, чередованием сарказма и лиризма, — писал два года спустя В. Набоков. — Поневоле ждешь чего-то необыкновенного, — думаешь увидеть человека, которого отличишь среди тысячи. А вместо того — как будто самый заурядный английский сквайр, — не то делец, не то фермер. Но вот стоит ему заговорить со своим типичным акцентом природного лондонца среднего круга — и начинается очарование. Этот человек глубоко индивидуален. В нем нет ничего чужого, заимствованного. Иногда он парадоксален, часто хочется с ним спорить, но никогда его мнения не оставляют вас равнодушными, никогда вы не услышите от него банального общего места. По природе своей, по складу своего таланта он представляет редкую и любопытную смесь идеалиста и скептика, оптимиста и сурового, едкого критика. Эти противоречивые черты его духовной сущности выражаются и в книгах и в разговорах».

Даже случайные встречи с ним крепко западали в память. Лев Успенский рассказывал, как в январе 1914 года он — ученик коммерческого училища — шел со своим товарищем по Невскому и около какого-то дорогого магазина увидел два автомобиля и небольшую толпу. Ждали, когда выйдет из магазина графиня Брасова — личность по тем временам почти легендарная. Эта красивая, утонченная женщина, разведенная жена купца Мамонтова, потом — разведенная жена гвардейского ротмистра, сделала морганатической женой великого князя Михаила и получила графский титул от ненавидевшего ее Николая. Но когда она вышла, дверь магазина открылась вторично, и «из двери вышел плотный, крепкий человек, конечно — иностранец, несколько не аристократ. Несомненный интеллеktуал-плебей, как Пуанкаре, как Резерфорд, как многие. Его умное свежее лицо было довольно румяно: потомственный крикетист еще не успел подвднуть на злом солнце невероятных фантазий. Аккуратно подстриженные усы лукаво шевелились, быстрые глаза, веселые и зоркие, оглядели все кругом... Как мог я не узнать его? Я видел уже столько его портретов!

За его плечами показался долговязый юнец, тоже иностранец, потом двое или трое наших. Он задержался на верхней ступеньке и потянул в себя крепкий морозный воздух пресловутой «рашн уинте» — русской зимы. С видимым удовольствием он посмотрел на лихачей — «Па-ади-берегись», снег из-под их копыт, фонарики в оглоблях, — летящих направо к Казанскому и налево — к Мойке,

на резкий и внезапный солнечный свет из-за летучих облаков и, чему-то радостно засмеявшись, бросил несколько английских слов своим спутникам. Засмеялись и они...»

Конечно, далеко не всем русским пришлось дожидаться приезда Уэллса в Россию, чтобы лично с ним познакомиться. С Горьким он встретился еще в 1906 году в Нью-Йорке. Уэллс прожил уже почти неделю в этом городе до того, как туда приехал Горький, и он участвовал в подготовке торжественной встречи этого человека, символизировавшего для него русскую революцию. Горького он считал «не только великим мастером искусства... но и замечательной личностью» и, когда началась травля Горького, в полный голос высказал свое возмущение в книге «Будущее Америки». Горького Уэллс нашел в Нью-Йорке не без труда — того прогнали из гостиницы и не пускали ни в одну другую, — но он все-таки разыскал его в частном доме (у редактора «Вильтшайр мэгэзин») и провел в его обществе свой последний вечер в Нью-Йорке. Языкового барьера между ними не было: М. Ф. Андреева отлично владела английским.

Еще раз они виделись в Лондоне в 1907 году, куда Горький приехал на V съезд РСДРП. Впрочем, тогда они просто попали вместе на светский вечер и как следует пообщаться не успели.

В Москву в 1914 году Горький прибыл в тот же день, что и Уэллс, но почему-то они тогда не встретились.

Уехал Уэллс из России полный радостного чувства от обилия неожиданных впечатлений, приобщения к настоящему искусству, встреч с интересными и приятными людьми. Нет, Беринг не обманул его, обещая замечательную поездку!

А между тем надвигалась война.

Ее не только ждали, не только предсказывали возможный ее ход и последствия — ее пытались предотвратить.

Война нужна была Германии. Кайзер надеялся с ее помощью окончательно установить свою гегемонию в Европе. Война нужна была Франции — надо было вернуть потерянные в франко-прусской войне Эльзас и Лотарингию. Война нужна была России — с ее помощью хотели остановить вновь надвигающуюся революцию. Правда, начало войны планировали на 1917 год — пока что страна была ужасающе к ней не готова — и надеялись развязать ее на востоке, захватив у Турции Босфор и Дарданеллы. И еще война нужна была Англии. Большинство английских политиков понимало, что время работает на Германию и надо разгромить ее, пока она еще не победила в экономическом и военном соревновании.

Но война не нужна была ни немецкому, ни французскому, ни русскому, ни английскому народу. И с ее угрозой боролись. Против войны выступили все партии II Интернационала. Меньше чем за два года до начала войны, 24 ноября 1912 года в 10 часов 30 минут в Базеле, в зале заседаний «Бургвогтей», открылся Конгресс II Интернационала. В 2 часа дня делегаты Конгресса

начали шествие к зданию Базельского собора, предоставленного городскими властями для проведения митинга. Кроме нескольких тысяч, что вместил в этот день собор, вокруг него собралось еще пятнадцать тысяч человек. Среди тех, кто выступал на этих двух митингах и на Конгрессе, были Жан Жорес, которому суждено было погибнуть в первый же день войны от пули озверелого националиста, руководитель Независимой рабочей партии Кейр Харди, Клара Цеткин, вся верхушка немецкой социал-демократии, круто потом изменившая позицию и голосовавшая в рейхстаге за военные кредиты. В Базеле была и делегация русских социал-демократов. В решениях Базельского конгресса ответственность за возможную войну возлагалась на все без исключения буржуазные правительства. «Пролетариат считает преступлением стрелять друг в друга ради увеличения прибылей капиталистов, честолюбия династий или во славу тайных договоров дипломатии», — говорилось в Базельском манифесте.

Еще до этого, 13 августа 1911 года, на лондонской Трафалгар-сквер состоялся грандиозный антивоенный митинг, на котором присутствовали представители ряда других стран. 8 сентября того же года антивоенный призыв принял очередной конгресс тред-юнионов.

И совсем уже близко к началу войны последовало еще одно весьма серьезное предупреждение. Когда в июле 1914 года президент Пуанкаре приехал в Петербург, чтобы упрочить русско-французский союз, забастовала Выборгская сторона. Пришлось менять программу президентских поездок. Но в России менее, чем где-либо, склонны были внимать предупреждениям. Забастовку объяснили — не для других, для себя! — происками немецких агентов.

Повод к войне к этому времени уже был.

28 июня 1914 года австро-венгерский эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник престарелого неудачника императора Франца-Иосифа, прибыл на маневры в Боснию. Это был явный вызов Сербии, мечтавшей об объединении всех южно-славянских земель. Босния и Герцеговина, отвоеванные у турок, были по Берлинскому договору 1878 года отданы под управление Австро-Венгрии, которая в 1908 году объявила об аннексии этих земель. И хотя Босния и Герцеговина получили в 1910 году самоуправление, сербские националистические организации, очень сильные в этих областях, продолжали бороться за их присоединение к Сербии.

В 10 часов 25 минут утра в автомобиль Франца-Фердинанда, торжественно проезжавшего по улицам Сараева, был брошен букет цветов, из которого валил дым. Эрцгерцог схватил его и бросил в сторону автомобиля, в котором ехала его свита. Взорвавшаяся бомба ранила двух членов свиты и шесть человек из публики.

После торжественного приема в ратуше эрцгерцог отправился в госпиталь навестить тяжело раненного по его вине подполков-

ника Мерицци. На повороте, когда автомобиль замедлил ход, из толпы выскочил студент Гаврила Принцип и выстрелил сначала в эрцгерцога, потом в его жену герцогиню Гогенберг. Легко раненый взрывом бомбы генерал Поттиорек, сидевший на сей раз в машине эрцгерцога, решил, что обе пули не попали в цель: и эрцгерцог и герцогиня оставались совершенно неподвижны. Но очень скоро выяснилось, что выстрелы были смертельны. Через четверть часа после того, как автомобиль въехал в ворота резиденции эрцгерцога, они с женой уже были мертвы.

«Сараевское убийство» наделало много шума. Балканы давно уже были «пороховым погребом Европы», и ничто, происходящее там, не оставалось без внимания. Тем более — событие такого масштаба. Газеты изощрялись в поисках тех, кто стоял за спиной двадцатилетнего студента. Военный губернатор Боснии и Герцеговины, не дожидаясь расследования, сообщил, что во всем повинны социалисты. Английская «Дейли кроникл» увидела здесь «руку России», а черносотенное «Русское знамя» напечатало статью «Убийство эрцгерцога Франца и жида».

Теперь Вильгельму II достаточно было позаботиться лишь о том, чтобы это происшествие не осталось без серьезных последствий. Он начал добиваться, чтобы Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, сформулированный в неприемлемом духе. Война между Австро-Венгрией и Сербией неизбежно должна была привести в действие весь механизм межгосударственных союзов и превратиться в войну общеевропейскую. Единственное, чего Вильгельм боялся, это вступления в войну Англии. Баланс силы, и без того не слишком выгодный для Германии, резко изменился бы в подобном случае в пользу союзников. Вильгельму нужна была нейтральная Англия, и этого, казалось, можно было ждать. За нейтралитет высказался при личной встрече английский король Георг V, и, хотя он тут же предупредил кайзера, что это не более чем его личное мнение, тот как-то не придал его словам особого значения: ведь его личные мнения очень быстро становились мнениями правительства. Неужели в Англии все настолько иначе?

И еще был «милейший сэра Эдуард Грей». Он не только нравился всем членам клуба «Взаимносодействующих». В том, что человек этот совершенно прелестный, сходились и все иностранные послы, аккредитованные в Лондоне. Немецкий посол не составлял исключения. И он доносил своему правительству, что, хотя ничего определенного он от английского министра иностранных дел добиться не мог, из всего его тона следует: Англия воевать не будет.

Войну 1914 года начала Германия. Спровоцировала ее Англия.

Вступление Англии в войну вызвало резкий протест европейской либеральной интеллигенции. Против войны выступила очень влиятельная литературная группа «Блумсбери», куда кроме Вирджинии Вульф и других писателей входили знаменитые историки

и литературоведы Леонард Вульф и Литтон Стречи, а также крупнейший английский экономист Мейнард Кейнс. Pamфлет «Здравый смысл и война» опубликовал немного спустя Бернард Шоу. Совершенно определенную антивоенную позицию заняла Вернон Ли — общеевропейский авторитет в области итальянской культуры. Из Швейцарии пришла книга Ромена Роллана «Над схваткой». Среди этих людей многие были друзьями Уэллса. В первые же дни войны он их потерял. Бертран Рассел и Литтон Стречи просто отказывались подавать ему руку. Занятую им позицию они называли не иначе как позорной.

Именно Уэллс бросил крылатую фразу, которая сделалась официальным лозунгом английских милитаристов. Империалистическую войну он назвал «войной против войны», пообещав, что с разгромом германского милитаризма на земле воцарится вечный мир. Он лучше многих знал, каким воплощением всего самого мерзкого был царский трон, и падение царизма в 1917 году стало для него огромной радостью, но, поскольку кайзер объявил, что воюет против реакционной русской монархии, Уэллс протестовал, когда русский государственный строй называли «тиранией», — ему казалось, что говорить так значит играть на руку вражеской пропаганде.

«Война против войны» — такое заглавие Уэллс дал сборнику своих статей, вышедших в 1914 году, и эта книга навсегда осталась пятном на его репутации.

А ведь он, казалось ему, всего лишь помогал истории. Во всяком случае, не мешал ей.

15 декабря 1887 года Фридрих Энгельс писал из Лондона, что в будущем следует ждать всемирной войны, которая за три-четыре года принесет такие же опустошения, что и Тридцатилетняя война. Ее результатом будет голод, эпидемии, всеобщее одичание, а затем развал всех хозяйственных и политических механизмов — торговли и кредита, промышленности и государственной системы. Это будет такой крах, что короны дюжинами будут валяться на мостовой и никто не захочет их подбирать...

Уэллс, заговаривая о будущей войне, по сути дела, давно уже писал о чем-то сходном. И теперь, когда война разразилась, он хотел, как тогда говорилось, «принять участие в военных усилиях», чтобы случившееся привело к коренному преобразованию мира. От грехов, в которых обвиняют Германию, не свободны Англия и Америка. Германский милитаризм можно назвать «тевтонским кипплингизмом», но в Германии вся эта мерзость воплощена наиболее полно. Надо помнить, что существует опасность самим заразиться от противника его худшими пороками. Война против Германии должна, напротив, помочь Англии очиститься от этой скверны. Задача войны — в том, чтобы способствовать краху германского милитаризма, возможной революции в побежденных Германии и Австро-Венгрии, а заодно и социалистическим преобразованиям в странах-победительницах. Это война не против

немецкого народа, а против Вильгельма и Круппа. Три из одиннадцати статей, составлявших сборник «Война против войны», он издал отдельной брошюрой под заглавием «Социализм и война» (эта книжечка есть в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле). Уэллс доказывал там, что некоторые вынужденные мероприятия, предпринятые правительством в условиях войны, — такие, например, как контроль за производством и потреблением — должны закрепиться после ее окончания, сдвинув общество в сторону социализма. Этот сборник заключал в себе столько критических слов о существующем порядке, что, переведенный в России, он был основательно изуродован цензурой. Когда же Уэллс был привлечен к работе в пропагандистском ведомстве, он там не ужился. Он увидел, что обращенный к немцам разговор о целях войны ведется нечестно, и не захотел участвовать в этом обмане.

И все же Уэллс еще долго оставался белой вороной в среде левой английской интеллигенции. Сколько бы оговорок он ни сделал, он поддержал войну. Именно этот вопрос был важнейшим.

Как было вести себя в создавшихся обстоятельствах? Он и сам не знал. В 1915 году, когда ему предложили поездку на фронт, он отказался, заявив, что он пацифист и ненавидит военщину. Но в 1916 году на фронт все-таки поехал. И в тот же год появился антивоенный роман Уэллса «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна».

Война вернула миру Уэллса — большого писателя. «Мистер Бритлинг» был полной неожиданностью для тех, кто готов был поставить крест на этом романисте. А для Европы, уже достаточно истерзанной войной, — настоящим духовным открытием.

Уже в «Войне против войны» были абзацы, в отношении которых трудно поверить, что они — из книжки, написанной в поддержку войны. Вот что заявил, например, Уэллс в споре с одним из противников войны, сказавшим, что война «невыгодна».

«Доходна война или нет, она отвратительна, безобразна, жестока, она разрушает все лучшие человеческие ценности... Даже если война будет давать двадцать один шиллинг на фунт... уменьшит ли это отвращение, которое испытывает к ней всякий порядочный человек?»

Все, что мог сказать против войны порядочный человек, и было заключено в новом романе Уэллса.

В конце «Войны против войны» все чаще повторяется мысль о том, что надо «присвоить» войне освободительную и антивоенную идею. Действительные цели войны были далеки от тех, которые он ей приписывал. Об этом и написан роман. Роман о детях, которые гибнут на «чужой войне».

После появления «Мистра Бритлинга» Истон-Глиб на какое-то время сделался местом паломничества читателей Уэллса. Именно здесь развернулись события, изображенные в романе.

Персонажи романа по большей части принадлежали к ближайшему окружению Уэллса. Леди Уорвик изображена под фа-

милией леди Хомартайн. Прототипами персонажей романа послужили также местный пастор, преподобный Симонс, генерал Бинг, часто посещавший Уэллсов, молодой немец-губернер Бютов, сменивший к тому времени фрейлейн Мейер. В романе подробно и достоверно описано множество мелких событий, действительно случившихся в доме Уэллса, — вплоть до истории о том, как герр Генрих (Бютов) потерял любимую белочку, а мистер Бритлинг (Уэллс) обнаружил ее у себя в постели. С важными событиями, изображенными в романе, дело обстояло иначе. Они были плодом авторской фантазии. Однако почитатели Уэллса восприняли их как нечто совершенно документальное. Еще долго случайные посетители Истон-Глиба деликатно и сочувственно просили Уэллса или кого-нибудь из семьи показать место, где писатель плакал, потеряв на войне сына...

Сейчас большая часть романа не производит прежнего впечатления. Но для тех дней он был событием выдающимся. Уэллс вновь заговорил о том, что занимало умы миллионов его читателей: об отношении к войне, о горечи человеческих утрат, о том, каким будет мир после войны. «Несомненно, это лучшая, наиболее смелая, правдивая и гуманная книга, написанная в Европе во время этой проклятой войны! — писал М. Горький Уэллсу в конце 1916 года. — Я уверен, что впоследствии, когда мы станем снова более человечными, Англия будет гордиться тем, что первый голос протеста, да еще такого энергичного протеста против жестокостей войны, раздался в Англии, и все честные и интеллигентные люди будут с благодарностью произносить Ваше имя».

В романе «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» возмущение Уэллса войной пересилило все те «далеко идущие планы», которыми он руководствовался в своей поддержке войны. В эти годы против войны открыто выступили А. Барбюс, Г. Манн, Б. Шоу, Л. Франк, и Уэллс оказался в этом замечательном ряду. «Мистер Бритлинг — это я сам, — говорил Уэллс. — Это история моего сознания во время войны». Сказано это не очень точно. Сознание Уэллса, достаточно сложно развивавшееся до «Мистера Бритлинга» и в момент его написания, и дальше заставляло его совершать неблагородные поступки. Так, в появившемся год спустя трактате «Война и будущее» он обливал грязью пацифистов, сохранивших верность своим убеждениям, и выглядело это некрасиво: все эти люди, включая его бывшего друга Бертрана Рассела, сидели в эти дни в тюрьме. Нет, мистер Бритлинг — это не воплощение «сознания» Уэллса, а история его совести, восставшей против его «сознания».

Мистер Бритлинг ведет патриотические разговоры. Он пишет статьи и брошюры в защиту войны. А на фронте идет война. Не война идей. Не война против войны. Идет мировая война. По городам и селам идет война. Тяжелой поступью кирзовых немецких сапог и свиной кожи солдатских ботинок идет война.

В мышинного цвета немецких мундирах и цвета хаки английских мундирах, одинаково заляпанных грязью окопов и забрызганных свежей кровью, идет война. Четверть миллиона английских семей оделись в траур. Один за другим уходят на фронт люди, которым Бритлинг в порыве риторики твердил: «Никто не имеет права оставаться безучастным». Уходит на фронт его сын... Совсем недавно слова теоретиков и писателей были просто слова. Теперь это людские жизни.

Ради чего ведется война? Ради гуманизма? Но такими ли гуманистами показали себя англичане в колониях? И разве не приходится мистеру Бритлингу, возмущенному зверствами немцев в Бельгии, слышать от английских солдат, как «повеселятся» они, когда попадут в Германию? Ради свободы? Но в стране, где спекулянт, землевладелец и ростовщик имеют столь явное преимущество перед производителем, вряд ли стоит слишком распространяться о свободе...

От Хью с фронта приходят письма о боях, о товарищах, об окопной жизни — и о том, как все меньше и меньше он понимает, зачем пошел на войну. В ней нет ничего, кроме безумия! Это не их война — не мистера Бритлинга и не Хью...

А потом приходит еще одно письмо. Не от Хью. Из военного министерства. Мистер Бритлинг знает, что в нем написано. Не ранен. Не «пропал без вести». Не «взят в плен». Убит.

Эта война затем, чтобы сыновья умирали от пули, выпущенной таким же мальчишкой, сидящим в противоположном окопе, — так погиб Хью; чтобы сгнивали от ран в плену — так погиб на другой стороне губернёр Генрих; чтобы тонули в Мазурских болотах, чтобы их разрывало в куски под Верденом, чтобы они бежали и падали в корчах, захлестнутые волнами газа под Ипром, — так погиб не один и не два — так погибло одиннадцать миллионов...

Эти сцены прозрения и горя мистера Бритлинга, история секретарши Бритлинга Летти, к которой возвращается пропавший без вести муж, письма Хью с фронта были художественной сердцевиной романа. Они не могли не вызвать отклика в душе любого человека, когда-либо пережившего войну. Именно благодаря им книга Уэллса составила этап в духовной жизни английского общества. Она надолго осталась выдающимся образцом антивоенной литературы. Можно сказать, что эта книга явилась предшественницей антивоенных романов представителей «потерянного поколения».

Правда, один из них — Эрнест Хемингуэй — очень ее не любил, о чем и заявил в романе «Прощай, оружие». И думается, у него были для этого основания. Он был уверен, что Уэллс мало что понял в причинах войны и сделал из нее неверные выводы. А выводы Уэллса и в самом деле вызвали протест, причем не десять лет спустя («Прощай, оружие» появилось в 1928 году), а сразу же. С ними не согласился Горький. С ними спорил

ведущий английский критик тех лет Уильям Арчер. И многие другие.

С «Мистера Бритлинга» начинается богостроительский период в творчестве Уэллса. Для людей, внимательно следивших за развитием его взглядов, в этом не было особой неожиданности. С самого начала нового века Уэллс заявляет себя сторонником некоей новой веры, напоминающей «философскую религию» просветителей. Но конец «Мистера Бритлинга» и несколько богословских произведений, появившихся в последующие годы, непосредственно посвящены разработке этой религиозной системы.

Почти одновременно Уэллс-просветитель предпринял другую попытку завладеть умами людей. Он задумал создать новую концепцию истории, в которой на первый план вышло бы *человечество*, показанное не в своих национальных и социальных различиях, а в своей способности к созиданию и постижению мира. И закипела работа. Четверо секретарей и Джейн прорабатывали горы материала, делая для Уэллса конспекты и выписки. Несколько видных историков и культурологов не знали ни сна ни отдыха; на них градом сыпались вопросы Уэллса, в результате чего под уже написанными страницами появлялись обширнейшие комментарии. И каждые две недели подписчики получали большого формата, превосходно иллюстрированный выпуск. Все эти выпуски предстояло потом переплести в специально присланные красные обложки, с тисненными золотом словами «Очерк истории».

Это был поистине всеобъемлющий очерк истории. Он начинался с формирования Земли и возникновения на ней органической жизни и кончался разделом, озаглавленным «Следующая стадия». Первая глава этого раздела носила название: «Возможное объединение мира в единое сообщество, руководимое Знанием и Волей». Как хорошо сказали об этой книге супруги Маккензи, «Уэллс, обобщив все прошлое человеческого рода, сделал его аргументом в пользу своего представления о будущем».

Уэллс постарался придать этому аргументу наивозможную весомость. Читатели получали не просто рассуждения о ходе истории, но и множество полезнейших сведений. Книга кончалась обширными хронологическими таблицами и указателями. Уэллс явно рассчитывал, что, прочитав его учебник истории, никто уже не будет нуждаться ни в каком другом. Конечно, в таком огромном труде, выполненном за один год, были неизбежны ошибки, но они от издания к изданию старательно исправлялись, а примечания исчезали. Изданий же потребовалось множество. Уже подписчиков на первые выпуски оказалось 100 тысяч человек (а значит, скорее всего, сто тысяч семей), в ближайшие же два года только в Англии и США было напечатано более двух миллионов экземпляров этой огромной книги, не говоря уже о переводах на многие иностранные языки. Задуманная в 1918 году, написанная в основном в 1919 году, она была последний раз напечатана в Англии в 1961 году с изменениями, которые

Уэллс успел внести перед смертью. Если бы он не сумел столько сделать во множестве других областей, «Очерк истории» можно было бы назвать делом жизни Уэллса. И, конечно, крупнейшим его за всю вторую половину жизни успехом. Ему удалось внушить свое представление о мире миллионам людей.

В 1922 году Уэллс выпустил еще и «Краткую историю мира», которая переиздавалась вплоть до 1965 года. Уэллс предварил ее коротенькой заметкой, где объяснял, что эта его книга может быть прочитана бегло, как читается роман. Это, объяснял он, никак не сокращенный вариант «Очерка истории», а «еще более всеобщая «История», заново задуманная и написанная». «Краткая история мира» была в 1924 году дважды переведена на русский язык, причем один из этих переводов (худший) выдержал два издания.

Сказать, что «Очерк истории» принес Уэллсу одни только лавры, конечно, нельзя. Ему пришлось отбиваться от критики, а на редкость короткий срок, на протяжении которого была написана эта книга, помог даже полубезумной канадской феминистке Флоренс Дикс возбудить против него дело о плагиате. Месяца через два после того, как Уэллс принялся за свой «Очерк истории», она принесла в отделение издательства Макмиллана в Торонто рукопись своей книги «Паутина истории» и теперь была уверена, что, отказавшись ее печатать, Макмиллан передал эту рукопись Уэллсу. Она преследовала Уэллса целых пять лет, и когда, обратившись напоследок к английскому королю, наконец оставила его в покое, у него словно гора с плеч свалилась...

В годы войны Уэллс не потерял связи с Россией. Он не раз встречался с переводчиком Хагбертом Райтом, большим знатоком русского языка и России, организовавшим посылку русских книг русским военнопленным в Германии (солдаты, отметил он, больше всего просят учебники), а в 1916 году принял у себя трех членов приглашенной английским правительством делегации журналистов — А. Н. Толстого, К. И. Чуковского и В. Д. Набокова. Все трое описали эту поездку — А. Н. Толстой в книге «В Англии, на Кавказе, по Волыни и Галиции» (1916), В. Д. Набоков в книге «Из воюющей Англии» (1916) и К. И. Чуковский в книге «Англия накануне победы» (1917). И все трое сохранили самые теплые воспоминания об этом воскресном дне. Утром за ними зашел Хагберт Райт, они отправились на Ливерпульский вокзал и, выйдя на станции в часе езды от Лондона, увидели на платформе небольшого роста человека в мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником и резиновых сапогах. Приветливо улыбаясь, он усадил их в основательно уже укрощенную машину и повез к своему дому сначала по оставшейся с римских времен сельской дороге, а потом, аккуратно и без видимого труда въехав в ворота, — по очаровательному оленьему парку. У дверей их ждала Джейн — милая, с не очень уже молодым лицом. Она то появлялась около гостей, то исчезала: не Уэллсу же было вдаваться

в заботы по дому! А домом своим Уэллс необычайно гордился. Он показал гостям каждую комнату, каждую ванную, каждую уборную, и всюду была удивительная чистота, нигде — ничего лишнего. Потом их повели посмотреть английскую деревню и даже попросили хозяйку местного кабачка открыть для гостей ненадолго свое заведение. К обеду они вернулись домой. Уселись за полированный, без скатерти стол, и Уэллс принялся разбивать суп, резать ростбиф, накладывать овощи, раскладывать по тарелкам гостей сладкий пирог. Потом в гостиной он стал рассказывать о своих последних работах. Он как раз писал «Мистера Бритлинга».

А затем, разумеется, началась игра в мяч. В доме гостила жена Эмиля Вандервельде — руководителя Бельгийской рабочей партии, с 1914 года и почти до самой смерти занимавшего различные министерские посты. Была она англичанка по национальности, резка, независима и весьма смущала остальных гостей неллицеприятными отзывами об известных и уважаемых людях. Пришел по-соседски с женой и двумя девочками Блюменфельд. Его «Дейли экспресс» была газетой самого консервативного направления, но он отлично ладил со всеми этими социалистами. Набежали в амбар еще какие-то соседи. Играли с азартом, особенно Уэллс. Джейн, когда промахивалась, смущенно улыбалась и мельком взглядывала на мужа; он, будто не замечая ее промахов, один только раз пожал плечами. Незадолго до пятичасового чая она ушла, и ровно без пяти пять всех позвали к столу.

А потом было уже пора отправляться на станцию. Джейн, стоя у заведенной машины, слегка поеживалась, словно от холодного ветра, всем кивала и улыбалась...

Когда Уэллс в следующий раз появился в России, А. Н. Толстого и В. Д. Набокова он там не встретил. Оба были в эмиграции. Толстой — в кратковременной, Набоков — в недавнем прошлом управляющий делами Временного правительства — в пожизненной. Он умер за границей в 1922 году, успев еще раз повидаться с Уэллсом и основательно с ним на политической почве поспориться.

Шесть лет между 1914 годом и 1920-м могли показаться столетиями. Россия была обречена проиграть войну. Треть солдат на фронте не имела винтовок. Всякая попытка наступления проваливалась из-за нехватки снарядов, хотя в Архангельске их скопились сотни тысяч, присланных союзниками: железнодорожное сообщение было совершенно дезорганизовано. Уже в 1915 году для внимательных наблюдателей стало ясно, что Россия воевать не может. В 1916 году это понимали почти все. Экономика разваливалась, администрация трещала по швам. Когда командующие всеми фронтами, желая спасти монархию и династию, заставили Николая II отречься от престола, уже нечего было спасать: в России 1917 года началась революция. Еще только нача-

лась: ей предстояло расширяться, углубляться, захватывать все более широкие массы...

В сентябре 1920 года в Лондон приехала советская торговая делегация во главе с Л. Б. Красиным, и ее член Л. Б. Каменев пригласил Уэллса посетить Советскую Россию. Уэллс откликнулся мгновенно. В конце сентября он уже был в Петрограде. Остановился он у Горького, в доме 23 на Кронверкском проспекте (теперь проспект Горького), в огромной, соединенной из двух, квартире, вечно набитой людьми — и теми, кто постепенно в ней оседал в эти голодные годы, и теми, кто просто засиделся допоздна и остался на ночь. Для Уэллса и Джипа освободили комнату. В этот раз в Уэллсе с сыном всюду узнавали иностранцев уже потому, что вид у них был сытый, а щеки тщательно выбритые. Уезжая, Уэллс оставил Горькому весь свой запас лезвий. Он снова много ходил по городу, ужасаясь изрытым улицам, пустырям, оставшимся от пошедших за зиму на дрова деревянных домов, забитым досками витринами магазинов, с порога одного из которых он каких-то шесть лет назад с восторгом глядел на летевших по Невскому лихачей. Он побывал в Доме ученых и в Доме искусств, бывшем доме Елисеева, где его и других приглашенных угостили скудным обедом, поданным на роскошных сервизах вышколенной елисеевской челядью, слушал Шаляпина в «Севильском цирюльнике» и «Хованщине», слушал «Садко», видел Монахова в «Царевиче Алексее» и в «Отелло», где тот играл Яго. Уэллс часами разговаривал с Горьким. И не с ним одним. На квартире у Горького он познакомился и с некоторыми руководителями «Северной коммуны», как тогда называли Петроград и его окрестности, и со многими петроградскими интеллигентами. Ну, а Джип сошелся с компанией молодежи и порой пропадал на целые дни. Валентина Ходасевич, племянница поэта, жившая в квартире на Кронверкском, узнав, что Джип зоолог, решила повести его в зоопарк, благо он был совсем рядом — в конце того же проспекта. Звери были голодные, лев, перешедший на вегетарианскую пищу, очень грустный, на многих кожа висела складками, как одежда с чужого плеча, но, как бы там ни было, они в эти годы выжили, а некоторые даже весьма «умудрились». Джип пришел в полный восторг от слона, который, как выяснилось, разбирался в деньгах и, когда ему давали керенки, злобно бросал их на землю и топтал ногами. А за ходовые деньги он покупал у служителя кусок хлеба. Этого слона Джип ходил смотреть чуть ли не ежедневно.

При том, что Джип кончил школу в Ондле, где по инициативе Уэллса был впервые в Англии, наряду с английским и французским, введен еще и русский язык, по-русски он говорил еле-еле и, вопреки надеждам Уэллса, переводчиком для него не стал. Но без помощи Уэллс не остался. Переводчица нашлась.

Звали ее в девичестве Мура Закревская, была она дочь черниговского помещика, который перебрался с детьми в Петербург,

сделал неплохую карьеру по судебному ведомству и отдал дочку в Смольный институт, а брата ее Платона пристроил в русское посольство в Лондоне. Особых дипломатических высот Платон не достиг, но с Бенкендорфами подружился, а когда в Лондоне появилась его сестра, ввел ее в этот дом.

В Англию Мария Игнатьевна Закревская приехала учиться в женском колледже в Ньоне. Учили английскому там, судя по всему, куда лучше, чем в Ондле русскому, и Мура сделалась хорошей переводчицей *на английский*. Правда, она всю жизнь говорила на этом языке с чудовищным русским акцентом, но настолько чувствовала его своим родным, что ее собеседники-англичане, думается, уже через несколько минут начинали сомневаться в правильности собственного произношения.

В Лондоне она и познакомилась с дальним родственником посла Иваном Бенкендорфом, тоже состоявшим на дипломатической службе. В 1911 году его назначили секретарем посольства в Берлин, и там она вышла за него замуж. В 1913 году у нее родился сын Павел, в 1915 — дочь Таня. Лето 1917 года они провели в эстонском имении Бенкендорфов Янеда, но в октябре она решила навестить в Петроград, проверить, все ли в порядке с квартирой, и вернуться уже не смогла. 19 апреля 1919 года Ивана Бенкендорфа убили на дороге, ведшей в поместье. Убийцу не нашли, а может быть, и не искали — Бенкендорфов в Эстонии не любили. Дети остались на попечении гувернантки.

Дальнейшая жизнь Марии Игнатьевны в годы революции относится то ли к области большой политики, то ли к области детективного романа. В январе 1918 года она встретила в Москве Брюса Локкарта, влюбилась в него, была арестована по делу о «заговоре послов», быстро освобождена, снова арестована при попытке перейти эстонскую границу и снова освобождена: ведь ее целью на сей раз было всего лишь разыскать детей.

К Горькому ее привел Чуковский. Когда в 1918 году было организовано издательство «Всемирная литература», она явилась к Корнею Ивановичу и сказала, что хочет переводить Уайлда и Голсуорси. Он, однако, усомнился в ее возможностях, и не без причины. Мария Игнатьевна прожила в Англии не слишком долго, но почему-то говорила: «Я ходила туда на лошади» и «Сейчас происходит плохое время». Тем не менее Чуковский каким-то чутьем уловил, что работник она хороший, и, раз появившись в доме Горького, она скоро сделалась там незаменимой. Она навела порядок в его бумагах и домашнем хозяйстве, взяла на себя переписку на всех европейских языках (в Берлине она пробыла три года с мужем, французский знала с детства, итальянский выучила как-то между делом, сама того не заметив), а поскольку жить ей было негде и ночевала она у своего бывшего повара, скоро она и совсем переселилась на Кронверкский, где сделалась центром притяжения этой коммуны: ведь она обладала еще красотой, полнейшей непринужденностью и удивительным тактом.

На Кронверкском всем давали прозвища. Ее прозвали Титкой (Теткой) — она была женщина крупная и с Украины.

С Уэллсом «Титка» (тогда еще — графиня Бенкендорф) познакомилась в 1914 году, но он ее начисто забыл, хотя в этом ей не признался. Сейчас же он день ото дня проникался все большим восхищением этой женщиной.

На утро 6 октября 1920 года было назначено свидание Уэллса с Лениным. Он выехал в Москву, где остановился в доме № 17 на Софийской набережной (теперь там находится английское посольство). И вот, пройдя через все посты проверки, Уэллс оказался в кабинете Ленина.

Об этой встрече очень много писали, а еще больше говорили ораторы, выступавшие по торжественным датам, и всякий раз создавалось впечатление, что Уэллс и Ленин все полтора часа только и рассуждали о плане ГОЭЛРО. О нем действительно в ходе беседы зашла речь, и Уэллс объяснял потом свое неверие тем, что не знал об огромных гидроресурсах России. Но в основном Ленин и Уэллс спорили о возможности построения социализма в стране, основную часть населения которой составляет неграмотное крестьянство, и о будущем ходе истории. Потрясенный открывшейся ему картиной разрухи, Уэллс настаивал на том, что социалистическая революция — крайнее средство и что капитализм может в результате длительной воспитательной работы перерасти в «коллективистское общество». Ленин доказывал ему, что предварительным условием построения нового общества должно быть падение капитализма. «Не скрою, что в этом споре мне пришлось туго», — признался Уэллс. И неудивительно: в большинстве его предвоенных романов построение нового общества начинается после разрушения старого. Ленин говорил с полной убежденностью. У его собеседника ее не было.

Впрочем, Уэллс и Ленин не только спорили. Они и просто разговаривали о происходящем. Ленин расспрашивал Уэллса о его впечатлениях, делился некоторыми внешнеполитическими планами. Он разговаривал с ним с полной искренностью.

Ленин поразил Уэллса и как человек — очень простой и непосредственный, и как мыслитель, и как исполненный веры в свое дело, но при этом и очень трезвый политик.

«Благодаря ему я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все же таит в себе огромные созидательные возможности, — писал он. — После того, как я перевидел среди коммунистов столько унылых фанатиков, одержимых идеей классовой борьбы, столько твердолобых, выхолощенных доктринеров, после моих встреч с заурядными приверженцами марксизма, вымуштрованными и исполненными пустой самоуверенности, этот удивительный невысокий ростом человек, который откровенно признает, что строительство коммунизма — это грандиознейшая и сложнейшая задача, и скромно посвящает ее осуществлению все свои силы, буквально пролил бальзам на мою душу. Он, по крайней

мере, видит преобразенный, заново построенный мир, этот мир воплощенных замыслов». Слова «Кремлевский мечтатель», которыми Уэллс озаглавил раздел «России во мгле», посвященный встрече с Лениным, звучали в его устах величайшей похвалой.

В тот же день Уэллс ночным поездом возвратился в Петроград. 7 октября он выступил на заседании Петроградского Совета, а на другой день собирался выехать в Ревель (Таллин), чтобы там сесть на стокгольмский пароход. Муре он обещал повидать ее детей и сообщить потом ей о них дипломатической почтой.

Вечером этого же дня Уэллсу были устроены торжественные проводы. Достали хорошего вина, пять коробок сардин, сыр и три банки фаршированного перца. За время отсутствия Уэллса население коммуны разместилось по-новому, и он мог даже провести последнюю ночь в отдельной комнате. Среди ночи к нему пришла Мура... Все, что нужно, он, следует думать, в Эстонии для нее узнал и сделал. Во всяком случае, он пропустил свой стокгольмский пароход и 20 октября писал Горькому все из того же Ревеля.

По возвращении Уэллса в Англию в еженедельнике «Санди экспресс» появились пять его статей, собранных потом в книгу «Россия во мгле» (1920). Шум эта книга произвела невероятный. Уэллс не был первым видным англичанином, приехавшим в Советскую Россию и беседовавшим с Лениным. До него у нас побывала рабочая делегация, к которой присоединился (не являясь официально ее членом) Бертран Рассел, успевший до поездки Уэллса опубликовать две статьи о своих впечатлениях, а по возвращении Уэллса из России, но еще до выхода отдельным изданием «России во мгле» — книгу «Теория и практика большевизма». В ней, как и в «России во мгле», утверждалось, что большевики — единственная партия, способная в настоящее время править Россией, а русская революция провозглашалась «одним из великих героических событий мировой истории». Однако книга Рассела, в отличие от уэллсовской, не вызвала широкого отклика ни у нас, ни в Англии. Объясняется это прежде всего тем, что за пределами английской интеллектуальной элиты Уэллс был намного известнее Рассела.

«Россия во мгле» написана словно бы в споре с Расселом. Правда, Рассела Уэллс прямо упоминает только однажды, но, поскольку эти две книги вышли буквально одна вслед за другой, люди, читавшие их, не могли не заметить этой полемики. Чем ее объяснить? Бесспорно, Уэллсу очень хотелось взять верх над Расселом. Для этого были весьма веские личные причины — Рассел некогда занял куда более принципиальную позицию по отношению к клубу «Взаимосодействующих», Рассел пошел в тюрьму, но ни слова не сказал в поддержку войны, Рассел первым увиделся с Лениным. А поскольку в книгах Уэллса и Рассела многое совпадает, надо было всякий раз хоть как-нибудь по-

казать свою самостоятельность. И все же Уэллс расходился с Расселом далеко не во всем.

Рассел отметил честность и бескорыстие большевиков. Типичный коммунист, по его словам, «щадит себя не больше, чем других. Он работает по шестнадцать часов в сутки... Он добровольно берется за любую самую трудную и опасную работу... Несмотря на то, что ему принадлежит власть и в его распоряжении находятся все запасы продовольствия, он живет, как аскет. Он не преследует личных целей. Его задача — создать новый социальный порядок».

Специальную главу Рассел посвящает жизни в Москве. В городе, пишет он, плохо с одеждой и продовольствием, людям приходится много трудиться, но нет никаких ужасов, о которых кричит английская пресса. В городе царит совершенный порядок, все устроены на работе, никто, если только он не выступает против советской власти, не чувствует неуверенности в своей судьбе, преступность и проституция сведены почти на нет.

Большевики, пишет Рассел, несут очень малую ответственность за беды России. В основном она лежит на организаторах блокады, которые, ко всему прочему, не понимают, сколь устойчиво Советское правительство. Сбросить его при помощи блокады не удастся, хотя определенное действие она, разумеется, может оказать, — крайне, впрочем, нежелательное даже для тех, кто ее организовал...

А вот что писал по этому поводу Уэллс:

«Лишь совершенно искажая международную обстановку и толкая людей на ошибочные политические действия, можно утверждать, что те ужасающие бедствия, которые сегодня испытывает Россия, в сколько-нибудь серьезной степени вытекают из деятельности коммунистов; что злодеи-коммунисты довели Россию до таких бедствий, и стоит лишь свергнуть коммунистов, как вся Россия тотчас вновь обретет полнейшее благоденствие. В бедственное положение Россию ввергла мировая война, а также нравственное оскудение ее правящих и имущих кругов». «Я убежден, что всякий, кто разрушит законность и порядок в Москве, вообще уничтожит последние остатки законности и порядка по всей России. Разбойничье монархистское правительство снова зальет кровью русскую землю, покажет, на какой чудовищный погром и белый террор способны эти благородные господа, и после короткого зловещего торжества развалится и сгнет. Вновь воскреснет Азия... Города обратятся в руины среди пустыни, дороги придут в негодность, рельсовые пути изъест ржавчина; реки опустеют, суда сгниют...»

«Кто же такие эти большевики, столь решительно взявшие власть в России? Если верить самым истеричным из английских газет, это заговорщики, агенты некоей загадочной расистской организации, тайного общества, в котором самым чудовищным образом смешались евреи, иезуиты, франкмасоны и немцы. В дей-

ствительности же, свет не видел ничего более явного, чем идеи, цели и методы большевиков, организация их меньше всего походит на тайное общество... Марксисты ничего не скрывают. Они все говорят прямо. И они стремятся осуществить именно то, о чем пишут».

Это — главная тема «России во мгле». Рассказ о бедствиях, которые терпит Россия, всякий раз предназначен быть доказательством того, что спасение страны — только в большевиках. Одна из глав книги носит название «Созидательная работа в России». Большевики, пишет Уэллс, перед лицом чудовищных трудностей «прилагают все усилия к тому, чтобы из развалин поднялась новая Россия... Конечно, среди большевиков есть твердолобые, закоренелые доктринеры, фанатики, убежденные в том, что достаточно уничтожить капитализм, упразднить деньги и торговлю, ликвидировать общественное неравенство — и сам собою наступит... золотой век. Есть среди большевиков такие недалекие люди, которые готовы отменить преподавание химии в школе, если их не убедят, что это «пролетарская» химия, и запретить любой орнамент, если в него не вплетены буквы РСФСР... как реакционное искусство... Но есть в новой России и другие деятели с более широкими взглядами, они, если дать им возможность, будут строить. Среди деятелей, обладающих творческими возможностями, я назвал бы таких людей, как сам Ленин, который... недавно выступил в печати с резкой критикой крайних взглядов своих же единомышленников; Троцкого, который... отличается замечательными организаторскими способностями; наркома просвещения Луначарского, Председателя Совета Народного Хозяйства Рыкова; госпожу Лилину из Петроградского отдела просвещения; а также... Красина. Я назвал фамилии, которые первыми пришли мне на память, но ими далеко не исчерпывается список большевиков, которые заслуженно могут называться государственными деятелями. Невзирая на блокаду, гражданскую войну и интервенцию, им уже удалось кое-что сделать».

Уэллса в первую очередь заинтересовала постановка преподавания в школе, и он пришел к заключению, что «большевики сумели поднять дело просвещения на поразительную высоту».

Правда, здесь с Уэллсом произошло забавное недоразумение. Первой школой, куда его повели, была бывшая Тенишевская гимназия, где учились по преимуществу дети петроградских интеллигентов. Пришли они туда уже после конца занятий, так что на уроках побывать не удалось, дисциплина оставляла желать лучшего, а ученики обнаружили столь редкостное знание творчества Уэллса («Такие пигмеи, как Мильтон, Диккенс и Шекспир, пресмыкались у ног этого гиганта литературы», — заметил по этому поводу Уэллс), что он заподозрил обман. Через три дня

он отменил все встречи, назначенные на утро, и потребовал, чтобы ему показали наугад какую-нибудь из соседних школ. Но школа, куда он попал, понравилась ему гораздо больше предыдущей! Правда, там никто не читал Уэллса. И тогда он отказался от мысли, что посещение первой школы специально подстроено властями, но зато пришел к иному, не менее решительному выводу: желая сделать ему приятное, учеников заранее подготовил К. И. Чуковский. Прочитав это о себе, Корней Иванович так возмутился, что до конца своих дней при каждом упоминании об Уэллсе начинал говорить о нем с неутраченной обидой. Ведь тенишвыцы в самом деле зачитывались Уэллсом!

Как нетрудно заметить, Уэллс и Рассел во многом близки. И все же Уэллс написал совершенно другую книгу.

Книга Рассела открывается словами восхищения Россией. Многие места книги не вызывают сомнения в объективности автора. Однако автор не скрывает ни своей враждебности марксизму, ни полного неприятия диктатуры пролетариата, и полемический задор его так велик, что порою начинает казаться, будто предисловие и некоторые из последующих глав писали люди, стоящие в оценке русской революции на диаметрально противоположных позициях.

Уэллс, напротив, словно бы не заметил героизма революции. Он пишет о России в тоне гораздо более спокойном, но эмоционально и более последовательном. Его задача, как и у Рассела, — заставить западные державы снять блокаду и начать торговлю с Россией, но Рассел посвящает этому несколько абзацев, вкрапленных в поток рассуждений о той опасности для мировой цивилизации, которую несет революция. Уэллс к этому ведет всю книгу. Рассел много говорит о жестокости большевиков, извиняя их, правда, тем, что они честны и что Россия привыкла к таким только методам. Уэллс говорит о жестокости белого террора, а большевиков старается показать «такими же людьми, как мы с вами». Подобная разница в подходе ощущается на каждом шагу. Поэтому Уэллс не стал спорить, когда услышал в Петрограде замечание о том, что Рассел неблагоприятно отозвался о новой России.

Да и отношение Уэллса к революции не похоже на расселовское.

О том, что старое общество само собой развалится в результате войны, Уэллс писал уже много раз. В русской революции он увидел прежде всего подтверждение этого своего прогноза. Она, считал он, доказала справедливость и другой его мысли. В тех же романах и трактатах рассказывается о том, как после гибели старого мира просвещенные и деятельные люди начнут строить новый, причем в «Современной утопии» эти люди объединены в подчиненную строгой дисциплине организацию, именуемую «самураи Утопии». Нечто подобное он увидел в большевиках. И если боль-

шевики делали что-то не так, то объяснение для этого у него было двоякое. Во-первых, они были чрезвычайно неопытны в государственных делах, а во-вторых, приняли ошибочную теорию Маркса. Она помешала им понять, что на самом деле произошло и происходит в России.

В этом — главная причина той небывалой враждебности к Марксу, которую Уэллс проявляет в «России во мгле». При том, что Уэллс никогда не принимал теорию классово́й борьбы, он раньше высказывался о Марксе в совершенно ином тоне. Вот, например, что он говорил о нем в трактате «Новые миры вместо старых». Маркс первый поставил социализм на историческую основу. Маркс доказал, что современное буржуазное общество имело начало и неизбежно будет иметь конец. Он первый соединил демократию и социализм. «Его интеллектуальная сила была так велика, что он озарил светом своей концепции всю современную историю человечества... И сколько бы софизмов ни удалось найти, отрицающие величие Маркса (можно ведь найти софизмы и для того, чтобы заставить усомниться в величии Дарвина), — он остается великим основоположником современного социализма». Однако желание доказать, что революция в России произошла «не по Марксу», заставило Уэллса словно бы забыть, что он писал о Марксе до этого.

Впрочем, поношение Маркса в «России во мгле» имело, по-видимому, и другую причину. Посылая «Россию во мгле» Горькому, Уэллс писал ему: «Вы увидите, что я не польстил большевикам. Если бы я сделал это, результат был бы обратный тому, которого я добивался». И действительно, подчеркнуто антимарксистская позиция Уэллса лишь придавала в глазах большей части английской публики достоверность его русским наблюдениям. Рассел спорил с Марксом на протяжении всей второй половины своей книги. Уэллс в столь продолжительные споры не вступает. Он только делает все возможное для того, чтобы публика поверила в его объективность.

Русский перевод «России во мгле», изданный в 1922 году Государственным издательством Украины, был уже вторым ее русским изданием. Годом раньше она была напечатана в Болгарии с предисловием князя Трубецкого, который заявил, что книга Уэллса «должна быть признана вредной». И правда, «Россия во мгле» прежде всего противостояла белогвардейской пропаганде, невероятно в то время злобной, а отстраненность Уэллса от марксизма, его поза стороннего наблюдателя только усиливали действенность этой контрпропаганды. В Англии же книга Уэллса оказалась аргументом в споре, который вели между собой политики.

Когда до Лондона дошла весть о февральской революции и отречении Николая II, Ллойд Джордж воскликнул: «Одна из целей этой войны уже достигнута!» Однако подобный приступ радости испытывал в английском правительстве, пожалуй, только

его глава. Правое крыло в кабинете министров было очень сильно. Черчилль, Керзон и Сесил отнюдь не были в восторге от случившегося в России и заставили кабинет присоединиться к приглашению в Англию, посланному Георгом V Николаю II. Положение дел изменила лишь твердая позиция английского посла в Петрограде Джорджа Бьюкенена. Бьюкенен (недаром Николай терпеть его не мог!) сначала убедил министра иностранных дел Временного правительства Миллюкова не передавать телеграмму адресату, а затем добился от Лондона отмены приглашения. Приход к власти большевиков и угроза выхода России из войны резко сдвинули вправо позицию всего кабинета, но в 1920 году, когда война уже закончилась победой, Ллойд Джордж начал склоняться к точке зрения Уэллса: надо помочь России выжить как цивилизованному государству и установить с ней столь выгодные для Англии торговые отношения. Приезд советской торговой делегации в Лондон недаром предшествовал поездке Уэллса в Петроград и Москву. А книга Уэллса была тем более веским аргументом в споре политиков, что была непосредственно обращена к общественному мнению, привыкшему прислушиваться к словам этого человека. Сейчас, когда война закончилась победой, когда в России и Германии, как он предсказывал, произошли революции, а Австро-Венгрия развалилась, его уже не попрекали за то, что он поддержал войну.

К тому же Уэллс прямо вмешался в шедший в верхах политический спор.

Октябрь так напугал английское «общество», что было решено поставить самые жесткие препоны возможному «большевистскому влиянию», и сохранявшаяся еще военная цензура настолько в этом переусердствовала, что возникла некая опасность «самоотравления пропагандой». О происходящем в России теперь плохо знали не только читатели газет, но и те, кто задавал им тон. Поэтому в феврале 1919 года президент США Вудро Вильсон и Ллойд-Джордж направили молодого атташе американской делегации на Парижской мирной конференции В. Буллита (впоследствии — первого американского посла в СССР) с секретной миссией в Советскую Россию. В своем официальном отчете Буллит, подобно Уэллсу, много пишет о трудностях, переживаемых населением Москвы и Петрограда, но тут же добавляет, что «разрушительная фаза революции закончилась, и вся энергия правительства обращена на созидательную работу» и «Советское правительство, по-видимому, в полтора года сделало больше для просвещения народа, чем царизм за 50 лет». «Советская форма правления установилась твердо, — продолжает Буллит... — Население возлагает ответственность за свой несчастья всецело на блокаду и поддерживающие ее правительства... В настоящий момент в России никакое правительство, кроме социалистического, не сможет утвердиться иначе, как с помощью иностранных штыков, и всякое правительство, установленное таким образом, падет в тот момент, когда эта поддержка

прекратится». О Ленине, продолжает Буллит, уже создаются легенды. В личном общении он «замечательный человек, прямой и решительный, но вместе с тем веселый, с большим юмором и невозмутимый».

Уэллс написал приблизительно то же самое, но не в секретном окладе, а в книге, которую, он знал, прочтут многие.

Первый, кого это всполошило, был Черчилль. 5 декабря 1920 года в том самом еженедельнике «Санди экспресс», где перед этим печаталась по главам «Россия во мгле», была опубликована статья Черчилля «Мистер Уэллс и большевизм», где он утверждал, что Уэллс ничего не понял в России. Страдания России объясняются отнюдь не блокадой, а тем, что коммунизм подорвал дух предпринимчивости. Помочь России можно, лишь освободив ее от большевиков.

Уэллс не остался в долгу. О том, какую непримиримую позицию заняли правые в кабинете, он уже знал: по возвращении из России он посетил Керзона, но тот не прислушался к его аргументам. И Уэллс решил попросту отхлестать Черчилля. Тот в своей статье иронизировал над ним. Уэллс же устроил над Черчиллем подлинное издевательство. От его былого увлечения либералом Черчиллем не осталось и следа. С консерватором Черчиллем Уэллс после этого воевал всю жизнь. Он помирился с ним лишь во время второй мировой войны, но незадолго до ее конца, в декабре 1944 года, потребовал в «Дейли трибюн» отставки Черчилля, «этого будущего английского фюрера». «Или мы покончим с Уинстоном, или Уинстон покончит с нами», — заявил он. Это была последняя статья Уэллса о Черчилле. Первая, написанная в 1908 году с риском исключения из Фабианского общества, называлась «Почему социалисты должны голосовать за мистера Черчилля».

Едва выехав за пределы нашей страны, Уэллс сразу же занялся продовольственной помощью и посылкой научной литературы советским ученым (в этом ему помогал Ричард Грегори). Первую партию книг он получил уже в Ревеле, а вернувшись в Англию, организовал комитет при Королевском обществе для снабжения русских ученых книгами и начал в этих целях сбор пожертвований. О подобной деятельности Уэллса, очевидно, знал Ленин. Во всяком случае, в письме Горькому от 6 декабря 1921 года он просит Горького написать Уэллсу, чтобы тот взялся помогать сбору средств в помощь голодающим Поволжья.

Но главная польза от поездки и книги Уэллса была, конечно, в том, какое воздействие на общественное мнение Запада они оказали.

В доме для гостей правительства на Софийской набережной, где остановился Уэллс, жила в это время его лондонская знакомая, скульптор Клер Шеридан, вдова погибшего на фронте прямого потомка Ричарда Бринсли Шеридана и двоюродная сестра Черчилля. В политических взглядах она со своим родственником решительно расходилась и в Москву приехала лепить бюсты Ленина, Троцкого

го и Дзержинского. Потом она опубликовала свои московские дневники. 4 октября она сделала запись о встрече с Уэллсом. «Он со своим быстрым умом сумел за считанные дни понять и увидеть так много, что другому понадобилось бы на это столько же месяцев, сколько ему дней». Книга Уэллса производила впечатление большой достоверности, она заставляла людей ей верить. «Я кончил свою книжку о России. Я сделал все возможное, чтобы заставить наше общество понять, что Советское правительство — это правительство человеческое, а не какое-то исчадие ада, и, мне кажется, я много сделал, чтобы подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы», — писал Уэллс Горькому 21 декабря 1920 года.

Это значение книги Уэллса было сразу же понято.

Как известно, В. И. Ленин тщательно проштудировал «Россию во мгле», сделав на ней множество пометок. В. И. Ленин отметил антимарксистские заявления Уэллса, но наибольший интерес проявил к тем его высказываниям, которые противостояли белогвардейской пропаганде. Выделил В. И. Ленин и те места, где Уэллс касается вопросов конкретной политики.

«Мы, коммунисты, можем быть довольны результатами поездки Уэллса в Советскую Россию. Советская Россия, несмотря на всю разруху, завоевала Уэллса. Это совсем недурной результат», — писал в апреле 1921 года А. Воронский в статье «Г. Д. Уэллс о Советской России».

И все же Уэллс в Петрограде 1920 года был эмоционально чужой. Это чувствовали все, кто с ним сталкивался. «Каким сытым он нам казался, каким щегольски одетым и, увы, каким буржуем!» — рассказывала в 1946 году в «Стейтсмен энд нейшн» Дженни Хорстин, которая в 1920 году петроградской девочкой Женей Лунц видела Уэллса во время посещения им тенишевской гимназии. «Я выругал этого Уэллса с наслаждением в Доме искусств, — вспоминал В. Шкловский. — Алексей Максимович радостно сказал переводчице: „Вы это ему хорошо переведите“». Ольга Берггольц, никогда не встречавшаяся с Уэллсом и только помнившая Петроград 1920 года, написала в своей автобиографической повести «Дневные звезды» страницы, полные возмущения тем Уэллсом, который «видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы, он видел нас. Но мы жили, а он смотрел. Смотрел, как на сцену, из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезенными из Англии». Он казался слишком благополучным на фоне всеобщей нищеты, слишком рассудительным в одних случаях, слишком придирчивым в других. Он был внутренне неприемлем для людей, привыкших к тяготам тех лет и видевших в них свою дань будущему. Мало сказать, что Уэллс не умел слушать музыку революции — он просто не слышал ее. Ленин тоже не мог этого не понять. Троцкий вспоминал, что, встретив Ленина перед заседанием Политбюро, куда тот пошел сразу после встречи

с Уэллсом, услышал от него: „Какой мещанин, какой филистер!“» Это очень похоже на правду.

Эту своеобразную «несовместимость» Уэллса с революционной Россией чувствовали не только те, кто считал революцию своим делом. Та же Клер Шеридан была удивлена тоном, каким Уэллс говорил с нею об условиях жизни в Петрограде. Он непрерывно по этому поводу шутил. «Легко смеяться над чужой бедой», — заметила она по этому поводу. И еще ее неприятно поразило, что Уэллс столько говорил о мелких неудобствах, выпавших на его долю. Он мечтал поскорее вернуться домой.

Судьба Клер Шеридан сложилась несчастливо. Она опубликовала книгу своих воспоминаний («Дневники миссис Шеридан») — книгу, по словам Уэллса, «занимательную и искреннюю» — и в результате оказалась исключенной из «общества». «Моя жизнь была перевернута, друзья потеряны, родственники стали чужими — и все лишь потому, что я верила в Россию», — писала она в своей следующей книге «Голая правда». Лондон, говорила она в той же книге, «за одну неделю больше сделал меня большевичкой, чем когда-либо могла сделать Москва». Ее дела и дальше не задались. Она уехала в Америку, и ее лекции о Советской России сначала слушали с интересом, но потом началась травля. Чарли Чаплину она при встрече сказала, что, несмотря ни на что, по-прежнему увлечена «своими милыми большевиками...»

С Уэллсом ничего подобного случиться не могло. И потому, что он тверже стоял на ногах. И потому, что он принадлежал к другому кругу. И потому, наконец, что период его наибольшего политического радикализма ушел уже в прошлое. В той мере, в какой писатели поддаются политической классификации, Уэллс был в ту пору типичнейшим правым социал-демократом. Правда, из самых порядочных.

5

В это же время и позже

В середине сентября 1913 года Уэллс прочитал в еженедельнике «Фри вумен» («Свободная женщина») разгромную рецензию на свой роман «Женитьба» и, вопреки своему обычаю, нисколько на нее не обиделся. Даже отчасти обрадовался. Рецензия была подписана псевдонимом «Ребекка Уэст», а статьи под этой фамилией он не раз уже встречал, и они очень нравились ему остротой и смелостью мысли. Журнал был феминистский, но Ребекка Уэст относилась к суфражисткам примерно так же, как и он. Она понимала, что эмансипация женщин отнюдь не сводится к предоставлению им избирательных прав. Да и сам по себе ее псевдоним не мог ему не понравиться — так ведь звали самую, наверно, человечески привлекательную из «женщин с прошлым», изображенных

в литературе и драматургии, — героиню ибсеновского «Росмерсхольма». Теперь, когда сошедшая с подмостков Ребекка Уэст принялась за него, появился повод с ней познакомиться. Уэллс написал ей и пригласил ее в гости. В назначенный день и час, 27 сентября 1913 года, перед Уэллсом и Джейн предстала именовавшая себя Ребеккой Уэст Сесили Фэрфилд, сразу и во всем их поразившая. Как выяснилось, ей было всего двадцать лет, но она казалась сразу и очень юной, и совершенно взрослой. Хороша собой она была необычайно, умна, открыта, весела, остроумна, не по возрасту начитанна и, судя по тому, как легко и точно сразу начинала цитировать из любой упомянутой книги, обладала отличной памятью.

Про себя она все выложила без утайки. Ее отец, сын гвардейского майора и сам офицер, рано подал в отставку и занялся журналистикой. Должно быть, он верил, что это избавит его от пагубной страсти к игре, но перемена профессии не помогла, и, уйдя из разоренной им семьи, он умер в ливерпульской богадельне. Его младшая дочь Сесили всю свою последующую жизнь не могла надивиться странному сочетанию его качеств. Этот беспардонный гуляка был вместе с тем человеком во всех серьезных вопросах на редкость принципиальным.

Троих детей выводила в люди мать, учительница музыки. В Ребекке было что-то южное, и она объяснила Уэллсам, что причиной этому — происхождение матери. По ее словам, она была из Вест-Индии. Однако латиноамериканские предки матери остались, очевидно, где-то в далеком прошлом, потому что она принадлежала к аристократической шотландской семье, заметно к этому времени обедневшей, если не сказать обнищавшей. И к тому же не обладавшей хорошей наследственностью. Ребекка в детстве болела туберкулезом (что, впрочем, не помешало ей дожить до девяноста с лишним лет), мать страдала тяжелой формой ревматизма и сделалась так раздражительна, что девочки только и мечтали поскорее начать самостоятельную жизнь. Сесили хотела стать актрисой, играла в любительских спектаклях, и в роли Ребекки Уэст ее заметила преподавательница Королевской академии театрального искусства Розина Филиппи. Она и помогла ей год спустя поступить в это знаменитое учебное заведение. К несчастью, она в том же году, разругавшись с директором, ушла с работы. Кеннет Барнс, директор, решил сорвать злобу на студентке, приведенной мисс Филиппи, и исключил ее. Официальным предлогом было «отсутствие индивидуальности». Занятно, что потом тот же Кеннет Барнс под тем же предлогом исключил из академии Карлотту Монтерой, будущую жену Юджина О'Нила — женщину, поражающую всех, подобно Ребекке Уэст, именно своей большой оригинальностью.

Некоторое время Сесили безрезультатно пыталась проникнуть в какой-нибудь лондонский театр, но скоро ее судьба определилась сама собой. Она послала статью в «Фри вумен», ее сразу же там напечатали, а молоденькую авторшу так приветили, что она с их легкой руки сделалась профессиональной журналисткой, а по-

том — уже после встречи с Уэллсом — и очень известной писательницей. Позже она получила звание «дамы», соответствующее рыцарскому достоинству.

С Ребеккой Уэст у Уэллса скоро начался роман — из главнейших в его жизни. Однажды, перебирая вместе книги на полках его библиотеки, они вдруг поцеловались, и Ребекка тут же сказала ему, что видит в этом поцелуе обещание на будущее. Ей было двадцать лет, ему — сорок шесть, но ее это нисколько не смущало, напротив. Сверстников своих она презирала, была твердо уверена, что ей предстоит стать знаменитой писательницей, и о том, чтобы сблизиться с человеком меньшего масштаба, чем Герберт Уэллс, просто не могла и подумать. Что, впрочем, не мешало ей сохранять по отношению к нему независимость и критичность. Она не требовала от него никакой поддержки в литературных делах, а его замечания выслушивала внимательно, с пользой для себя, но ни на минуту не забывая, что они — писатели разного рода. Некоторые его проявления казались ей дикими, неинтеллигентными. Она и на старости лет рассказывала, каким комическим самоуважением он проникался, ощутив себя в очередной раз значительной общественной фигурой. После встречи с Лениным, вспоминала она, он ходил, раздувшись от важности, а когда во время очередной своей поездки в Америку убедился, что при всяком его появлении перед слушателями весь зал дружно встает, сделался просто невыносим. Однажды, когда они поехали в Гибралтар и у него случился сильный насморк, он заявил хозяину гостиницы (местный врач был в отпуске), что тот должен связаться с командующим британским флотом, базирующимся в Гибралтаре, и сказать ему: «Уэллс заболел. Немедленно вышлите врача». Ребекка чуть не сгорела тогда от стыда.

И при этом она горячо его любила. У нее не раз возникало желание бросить его, но она ничего не могла с собой поделать. Она чувствовала себя униженной, замечая, как он, при том, что об их связи знает весь свет, прячется от людей, не хочет водить ее в театр и предпочитает бегать с ней по захолустным киношкам. Он словно забыл о разнице в их возрасте и устраивал скандалы, когда она вдруг решила сходить на танцы. И чем более укреплялась ее собственная литературная репутация, тем более двусмысленной становилась ее роль любовницы Уэллса. Когда она совершила поездку в Америку, она однажды услышала такой разговор: «Почему она так скромно одета? Ведь Уэллс со своими миллионками, все знают, увешал ее бриллиантами!» А ставший уже знаменитым писателем Скотт Фицджеральд устроил над ней издевательство, казавшееся, по понятиям американской богемы, невинным розыгрышем: он пригласил ее в гости, а сам уехал в другую компанию, где все очень веселились, воображая, как эта «Уэллсова Ребекка» подъехала к дому, а дверь заперта!

В августе 1914 года Ребекка родила Уэллсу сына Энтони, и начались новые трудности. Устроиться по-семейному они не мог-

ли. Уэллс снимал для них то один деревенский дом, то другой, появляясь там в роли родственника. Ребекке хотелось работать, но найти себе подходящую женщину в помощницы она не могла — мешало ее ложное положение в обществе. Мечта Уэллса о легализации одиноких матерей, а тем более о государственной им помощи была весьма еще далека от осуществления. На время в жизни Уэллса снова возникла Вайолетт Хант — на этот раз как подруга Ребекки, искренне желающая сделать для нее все, что удастся. Но ее возможности тоже были не безграничны.

К тому же отношения Уэллса с его возлюбленной начали портиться. Ребекка решила как-то, что нашла выход из положения: пусть Уэллс на ней женится. Он же от одного упоминания об этом пришел в ярость. После истории с Эмбер он уже твердо знал, что никогда в жизни не бросит Джейн.

Так тянулось годами. Энтони подрос, его отдали в хорошую школу, но он сделался для родителей новым источником огорчений. Единственное, что он от них унаследовал, — это дурное здоровье (тоже, кстати говоря, с годами поправившееся). Но в нем не было ничего ни от острого ума, ни от талантов, ни от трудолюбия Уэллса или Ребекки. Учился он плохо, в университет не поступил, пробовал себя как художник, потом завел молочную ферму и наконец начал писать романы, в каждом из которых в том или ином обличье появлялись то его отец, то мать, причем отношение к ним от романа к роману менялось. Сначала перед публикой возник Уэллс, не желающий позаботиться о собственном сыне, затем в черных красках предстала Ребекка. В последней из этих книг она выглядела уже таким воплощением всех пороков, что ей пришлось воспрепятствовать ее публикации в Англии. В 1950 году Энтони эмигрировал в США и сделался штатным рецензентом журнала «Нью-Йоркер». О художественном творчестве он больше не помышлял, но с 1948 года поставил себе целью написать биографию Уэллса. Над этой книгой он трудился долго, упорно, и, выйдя из печати в 1984 году, она, в отличие от его предыдущих произведений, поразила уже не только любителей дешевого чтения, но и весь ученый мир. За двадцать шесть лет изнурительных трудов Энтони Уэст так и не успел добраться до самых элементарных источников, на которых базируется биография Уэллса, зато придумал много своего, показавшегося ему, видимо, гораздо более интересным, включая письма Уэллса, которые тот никогда не писал. Как уже говорилось, Уэллс в этой книге восхвалялся до небес, зато умершая за год до того Ребекка Уэст была представлена чуть ли не злодейкой.

Как относились к своему неудачному отпрыску Уэллс и Ребекка? В общем, достаточно похоже. Уэллс неплохо его всю жизнь обеспечивал, не сказал о нем ни одного дурного слова, но, видимо, все больше проникался мыслью, что люди подобного типа — подходящий материал для фашистов. Во всяком случае, перед смертью у него появилась стариковская мания, что сын его стал

членом какой-то фашистской организации, и, хотя Энтони регулярно его навещал и сидел рядом с ним часами, упорно отказывался с ним разговаривать. Что же касается Ребекки Уэст, то и она не вступала в пререкания с сыном, молчала в ответ на любые его выпады, но, видимо, тоже оставила за собой последнее слово. Во всяком случае, ее бумаги, купленные Йельским университетом (США), имеют пометку: «Не подлежит просмотру и публикации до смерти моего сына».

Роман Уэллса и Ребекки Уэст продолжался десять лет. Больше она не выдержала. Для Уэллса разрыв с ней был настоящей душевной травмой: именно с того момента, как в сознании Ребекки начала вызревать мысль уйти от него, он по-настоящему ее полюбил. Потом между ними восстановились добрые отношения, а в своем «Постскриптуме к автобиографии» он писал: «Я никогда не встречал женщину, ей подобную, и не уверен, что когда-либо существовала женщина, ей подобная, или что нечто подобное снова появится на земле».

Совершенно в ином духе он написал о следующей женщине, возникшей в его жизни. Хотя в оригинальности отказать ей тоже не мог.

Звали ее Одетта Кён, и, характеризуя ее, Уэллс выстраивает такой длинный и отливающий всеми оттенками ряд бранных слов, какими умели украшать свою речь разве что герои Рабле. Вкратце он определяет ее как Дрянную Бабу. И все же она была ему интересна до чрезвычайности. Это легко понять. Впоследствии, расставшись с Одеттой, Уэллс написал роман «Кстати о Долорес», героиня которого не просто Дрянная Баба, а некое воплощение всех возможных женских пороков, исследованных подробнейшим образом.

Одетта была дочерью переводчика голландской дипломатической миссии в Константинополе и без особого труда превзошла отца в знании языков. Она, как на родном, говорила по-английски, французски, гречески и чуть хуже — по-немецки, по-итальянски и по-турецки. Выросла она в огромной, шумной и немирной семье, кишевшей ее сводными (частью — незаконными: отец был большой любитель женщин и детей) и родными братьями и сестрами. Воспитывалась она в пансионе, но после смерти отца оттуда бежала, а когда ее поймали и привели к голландскому консулу, надавала ему пощечин и стала ждать, что будет дальше. Ее отправили в религиозную школу-пансион в Голландии, и ей там понравилось. Она кончила школу среди первых, и более преданную дочь протестантской церкви в это время трудно было сыскать. Вернувшись в Константинополь, она завела любовника и написала по-французски свой первый роман «Девицы Дэзн из Константинополя» (1916), который вышел в свет в год, когда она достигла совершеннолетия. Писала она с чудовищной быстротой, всегда карандашом, потому что, объясняла она, перо не поспевает за ее мыслью. Но тут ее охватил новый приступ религиозности, она перешла в ка-

толичество, уехала в Тур и поступила там послушницей в монастырь. Один из монашеских обетов ее, впрочем, совсем не устраивал, и она покинула монастырь, сделавшись проповедницей свободной любви, в чем, казалось ей, она нашла поддержку в книгах Уэллса. С одним из своих любовников она попала в Алжир, там связалась с каким-то французским офицером, который бросил ее, поскольку был помолвлен и пришло время жениться, и это вызвало к жизни новый ее роман «Современная женщина». В романе высмеивались французские католики, особенно офицеры, и рассказывалось об одной замечательной женщине, стоявшей выше всяких условностей. Роман был посвящен Уэллсу. Когда его перевели на английский и Уэллс попросили об отзыве, он отметил в своей рецензии, что автор — существо в высшей степени занятое, и тотчас получил письмо, где именовался «героем ее жизни». Было это в 1923 году. Его отношения с Ребеккой Уэст уже дышали на ладан, и он затеял с Одеттой переписку. Она, как выяснилось, тоже побывала в стране большевиков, правда, не по своей воле. С каким-то любовником она случайно очутилась в Тифлисе, где тогда хозяйничали англичане, и те, сочтя ее подозрительной особой, выслали ее в Крым, где она произвела такое же точно впечатление на чекистов. Отсидела она, впрочем, совсем немного, и ее снова выслали — на сей раз в ее родной Константинополь, где она тотчас же разразилась книжкой «Под Лениным», переведенной на английский под названием «Мои приключения в большевистской России». Позднее, когда Уэллс прочитал эту книжку, он назвал ее клеветнической, пока же отметил про себя лишь одно: «Она тоже побывала в России». Словом, все шло к тому, что у них будет роман.

В 1924 году, в августе, когда Уэллс, окончательно расставшись с Ребеккой, поехал, чтобы как-то встряхнуться, в Женеву, Одетта немедленно кинулась туда, остановилась в недорогой гостинице и попросила его ее навестить. Когда он вошел в надушенный жасмином номер, где горел один лишь слабенький ночничок, навстречу ему кинулась миниатюрная женщина в прозрачном халатике и, обнимая и целуя его, начала клясться в вечной любви. Она показалась ему тогда очень молоденькой. И в самом деле, ему было пятьдесят восемь лет, ей — всего тридцать шесть.

Одетта была очень заботлива, экономно вела хозяйство, не мешала ему работать, и он решил, что наконец-то нашел тихую пристань в теплых краях. В английскую его жизнь Одетта не вмешивалась, на то, чтобы сопровождать его в Лондон или Париж, не притязала. Перемена житейских обстоятельств неизменно должна была сопровождаться у Уэллса сменой жилища, и они сняли во Франции хорошую виллу в ожидании, когда будет построен для них собственный дом. Одетта писала письма Джейн, где объясняла, с каким чудесным человеком она соединилась и как будет о нем заботиться. Настоящим ангелом ее, конечно, и тогда назвать было трудно. Она изводила прислугу, ни с того ни с сего отказыва-

лась разговаривать с Уэллсом и так скандалила с жившей неподалеку владелицей виллы, что та только и мечтала о дне, когда они съедут. Уэллс относился ко всему этому с необычным для него хладнокровием. То, что существо это мелкое, злобное, не слишком порядочное, заметить, конечно, было нетрудно, но сам он был не очень в нее влюблен, а потому и не терял от ее выходов душевного покоя, да к тому же верил, что оказался объектом горячей любви. Над камином дома, который они в 1927 году, наконец, построили, они решили выбить надпись: «Этот дом построили двое влюбленных». Там у них, кстати, однажды побывал Чарли Чаплин, решивший почему-то, что Одетта — русская. Скорее всего, он видел где-то ее книжку «Мои приключения в большевистской России», хотя, наверно, не потрудился ее раскрыть.

Дом этот они назвали Лу Пиду. Это было немного неловкое сокращение от *Le Petit Dieu* — «маленький бог» — так Одетта окрестила Уэллса. От католицизма она отошла, и ее религиозное чувство, уверяла она, теперь целиком сосредоточилось на ее знаменитом любовнике. Тому от этого, впрочем, было не легче. С момента, когда исчезла возможность травить хозяйку чужой виллы, она принялась за Уэллса. Ум у нее был живой, быстрый, способностью впадать в истерику она намного превосходила «маленького бога», и он быстро понял, что тягаться с ней не способен. Особенно она любила поддеть его при посторонних. Однажды, когда у них гостил Энтони Уэст, она принялась в машине обсуждать интимнейшие подробности их отношений, а услышав от него: «Не надо при ребенке», поняла, что попала в точку, и совсем разошлась. Уэллс остановил машину и кинулся вперед по дороге. Она выскочила и помчалась за ним. Минут десять спустя они вернулись. Уэллс был красный как рак, с него градом лил пот, она же находилась в отличнейшем расположении духа. В другой раз, когда они обедали с сэром Алфредом Мондом, экономистом и промышленником, впервые разработавшим теоретические основы системы транснациональных корпораций, она, прервав его на словах «Мы считаем...», вдруг издевательски спросила: «Кто это «мы»? Англичане или евреи?» Уэллс был готов сгореть от стыда, она же взглянула на всех с удивлением: почему это они вдруг замолчали? Молчание прервал Алфред Монд. «Мы, е в р е и, — сказал он, — побили бы вас камнями и ни минуты об этом не пожалели». Тут уж Одетта не нашлась что ответить. Она была достаточно образованна, чтобы знать: в древней Иудее камнями побивали распутных женщин. Лучше бы он просто обозвал ее непотребным словом! Тогда бы она почувствовала себя в своей стихии: ведь это и был ее излюбленный лексикон!

Однажды Уэллс вызвал каменщика и велел сбить надпись над камином. Потом попросил ее восстановить. Потом снова сбить. В конце концов каменщик отказался от этого дурацкого занятия.

Амбиции Одетты все возрастали. Она уже требовала, чтобы он купил дом в Париже и устроил там политический салон, кото-

рого она была бы хозяйкой. Мысль эта сразу же показалась Уэллсу идиотской, но у нее она приобрела характер мании. Их спорам, впрочем, не суждено было продолжаться долго. Из Англии пришла весть о болезни Джейн, и Уэллс, наскоро закончив свои французские дела, помчался в Истон-Глиб.

Отношения с Джейн все это время не только не прерывались — они были лучше, чем когда-либо в последние годы. В марте 1927 года Уэллса пригласили прочитать лекцию в Сорбонне, и он захотел, чтобы Джейн сопровождала его в Париж. Она быстренько подновила свои знания во французском и всех, кто общался с ней в эти дни, поражала своей беглой и правильной французской речью.

Месяц спустя Уэллс приехал в Истон-Глиб на свадьбу своего старшего сына. Джип женился на Марджерии Крэг — главной секретарше Уэллса, которая так потом и осталась хозяйкой в семье и заботилась о своем свекре до конца его дней. Наутро после свадьбы, 21 апреля, Уэллс уехал во Францию, а еще день или два спустя Джейн обратилась к врачу. Ее давно пугали боли в желудке, но она об этом молчала. Как выяснилось — слишком долго.

Последние пять месяцев Уэллс провел с Джейн, неизменно, что бы ни случалось, составлявшей центр его жизни.

У Джейн был рак. Страшно запущенный, неоперабельный. Уэллс всегда был уверен, что Джейн переживет его, и теперь, когда ему рассказали о неотвратимости быстрого конца, был совершенно потрясен. Его мучило ощущение своей вины перед ней, он восхищался ее всегдашней стойкостью, несколько не изменившейся ей перед лицом смерти. Пока она была в силах, она спускалась к завтраку, аккуратно одетая и завитая, потом ее поместили внизу, купили ей инвалидное кресло, и она выезжала на нем такая же аккуратная, завитая, с приветливой улыбкой. Она каталась по саду и следила, чтобы на обеденном столе всегда стояли свежие розы. Однажды удалось даже свозить ее к морю. К ней приходили друзья, и она любила сидеть около теннисного корта, аплодируя удачным ударам и смеясь каким-нибудь забавным промахам. В доме давно уже появился граммофон, и они с Уэллсом часами слушали Баха, Бетховена, Перселла и Моцарта. Она приводила в порядок свои дела, чтобы и после ее смерти близким не было никакого беспокойства. Среди ее бумаг оказалась написанная четким почерком записка: «Я хочу, чтобы мое тело кремировали».

Сейчас величайшей ее мечтой было дожить до свадьбы младшего сына. Перед болезнью она с ним и его невестой ездила в Швейцарию и Италию. Венчание было назначено на 7 октября 1927 года, она отдала все распоряжения насчет свадебного завтрака и больше всего боялась теперь испортить молодым радость своей смертью.

Она умерла шестого.

Было решено, что не надо обманывать ее надежд, и свадьба все-таки состоялась в назначенный день. Ее только перенесли на

два часа раньше — с одиннадцати на девять, — чтобы обойтись без гостей.

Отпевали Джейн в соборе святого Павла при огромном стечении народа. Это были не сторонние люди — только друзья. Но ее любили все.

Уэллс взял у настоятеля собора образцы поминальных проповедей и одну из них переписал от начала до конца. Среди последних слов этой длинной проповеди были такие: «Она при жизни была подобна звезде, и теперь огонь возвращается к огню, свет — к свету».

«Это было ужасно, ужасно, *ужасно!* — писала жена Шоу Шарлотта. — Мне было невероятно тяжело... Когда орган заиграл траурную мелодию, мы все встали и, мне казалось, простояли много часов, а орган все играл и играл и рвал в куски наши нервы. Эйч Джи заплакал как ребенок. Он пытался сдержаться, но потом уже не скрывал своих слез. А орган все играл и играл, и нашим мучениям не было конца. Наконец органист остановился, мы сели, и священник, очень похожий на Балфура, начал читать проповедь, написанную, как он сказал, самим Уэллсом. Трудно передать, как это было страшно. В этом было какое-то самоистязание страждущей души. Мы словно окунулись в целое море страдания... И в самом деле — Джейн была из самых сильных людей, каких мне когда-либо довелось встретить... А потом священник дошел до места, где говорилось: «Она никогда не позволяла себе чем-нибудь возмутиться, она никогда никого не осудила», и тут слушателей, каждый из которых, кто больше, кто меньше, был знаком с подробностями личной жизни Уэллса, словно обдало порывом холодного ветра, по собору пронесся какой-то шелест, будто не люди здесь стояли, а расстилалось поле пшеницы, и Эйч Джи — Эйч Джи вдруг громко завыл... Я старая женщина, но только тут я, кажется, поняла, наконец, одну вещь: тяжко бывает грешнику...»

Узнав о болезни Джейн, Уэллс написал ей самое, наверное, нежное письмо, какое когда-либо кто-либо от него получал, и после смерти искал способ увековечить ее память. Всю жизнь она урывками писала, и он собрал ее рассказы и выпустил отдельной книгой, которую озаглавил «Книга Эми Катерины Уэллс». Его Джейн снова была Катериной. Он хотел, чтобы читатели познакомились, наконец, не просто с женой Уэллса, некогда переименованной им по своей прихоти, а с самостоятельной и по-своему выдающейся личностью. Он написал к «Книге Эми Катерины Уэллс» обширное предисловие. Джордж Филипп (Джип) превратил его потом в своеобразное предисловие к книге «Уэллс в любви».

Потрясение, испытанное в момент похорон, не помешало Уэллсу, впрочем, вернуться к Одетте, цену которой он теперь знал, и даже уступить ее желанию переселиться в Париж. Лу Пиду они тоже не покинули, и лучше всего ему работалось все-таки в этом доме. Именно там из-под его пера вышли две книги, каждая из

которых оказалась весьма заметной вехой в его творческой биографии.

Первая из них — «Открытый заговор» (1928) — суммировала социально-политические теории Уэллса, вызревавшие на протяжении многих лет и получившие наиболее развернутое выражение в вышедшем за год до этого обширном романе-трактате «Мир Уильяма Клиссольда». Послевоенный Уэллс все больше становится кейнсианцем, иными словами, сторонником регулируемого капитализма. В это же время у него начинает складываться предчувствие грядущей «революции менеджеров».

«Революция менеджеров» — так назвал Бернхем свою опубликованную в 1940 году книгу, где он зафиксировал далеко зашедший процесс размежевания между собственником и управителем собственности. Книга Бернхема была воспринята как своеобразное открытие. Между тем уже Маркс в «Капитале» отметил различие между капиталом-собственностью и капиталом-функцией и предсказал возможное преобладание функции над собственностью. Однако марксисты из II Интернационала оставили эти слова без внимания, что и дало потом возможность правым социал-демократам использовать Бернхема против Маркса. В «революции менеджеров» они увидели качественную общественную переменную, чего Маркс, конечно, в виду не имел.

Но в «Открытом заговоре» Уэллс предсказал еще одно направление буржуазной общественной мысли. Совсем как это сделает несколько десятилетий спустя Джон Кеннет Гелбрейт в книге «Новое индустриальное общество», он пытается объединить идеи «революции менеджеров» с кейнсианской идеей регулируемого капитализма. Так теперь выглядит уэллсовское представление о «творческой революции» — эволюционном преобразовании буржуазного общества. «Компетентным восприимчивым властью» должна в результате стать интеллектуальная элита, связанная с наукой, техникой и экономикой. Эти перемены, согласно Уэллсу, приобретут всемирный характер и сделаются основой для построения мирового государства, объединенного общей научной идеологией и общими экономическими интересами. Отсюда, кстати, и дружба Уэллса с Мондом, который оказался даже одним из героев «Мира Уильяма Клиссольда».

В тот же год, что «Открытый заговор», появляется фантастический роман Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Ремпол», исполненный такого негодования против существующего общества, что делается ясно — мир, каков он есть, Уэллс по-прежнему не принимает. Он просто надеется, что этот мир удастся преобразовать без тех катаклизмов, какие он предсказывал перед войной и которые в ходе войны и после нее стали реальностью.

Чем сам он мог помочь преобразованию и объединению мира? Уэллсу казалось, что его личным вкладом в это великое дело должна быть проповедь *общечеловеческого*. Первый шаг в этом направлении он сделал «Очерком истории». Теперь он задумал

популярную книгу по биологии под названием «Наука жизни». Выполнить эту задачу в одиночку он не решился и взял себе в помощники Джипа и Джулиана Хаксли. Последний вспоминал об этом периоде своей жизни с ужасом. Уэллсом он восхищался. Он в жизни не встречал человека, способного работать в таком бешеном темпе, с таким напряжением сил. Но, к сожалению, он требовал того же и от помощников и начинал скандалить, когда они не укладывались в намеченные сроки. Как и «Очерк истории», «Наука жизни» печаталась двухнедельными выпусками, и через тридцать одну неделю читатели получили все три тома этой огромной книги. Завершена она была в 1930 году, а в 1934—1937 годах переиздана в девяти томах. Эта книга тоже имела большой успех. Но когда в 1931 году Уэллс выпустил третью часть своей «образовательной трилогии» — «Работа, благосостояние и счастье человечества», его постигла неудача: в период мирового экономического кризиса само название книги звучало насмешкой.

С Одеттой он оставался до 1932 года, но уже с трудом ее переносил. Особенно в Париже. А когда она без его ведома заявила в Лондон, она показалась ему там такой неуместной, что он твердо решил с ней порвать. Надо было только уладить какие-то общие дела. Она грозилась продать его письма, и пришлось их у нее выкупать. Он любил Лу Пиду, хотел его оставить за собой, но скоро махнул на это рукой: он понял, что она просто затаскает его по судам. Она еще долго ему досаждала ночными звонками, поносила его у общих знакомых, писала ему оскорбительные письма. Одно из них он показал Сомерсету Моэму. «Ну как?» — спросил он. «Просто вонь идет!» — ответил Моэм. Когда в 1934 году Уэллс выпустил свою автобиографию, она написала такую гнусную рецензию на нее, что больше навредила себе, чем своему бывшему любовнику. Требовать чего-либо от него после этого было уже невозможно. Так Уэллс наконец отделался от этого своего приобретения двадцатых годов...

6

Тридцатые годы

Для тех, кому сейчас шестьдесят и больше, эти слова имеют особый смысл. В 1933 году в Германии пришел к власти Гитлер, и противостояние двух лагерей стало наглядно, как никогда. Не только для нас, мальчишек с московских дворов, не знавших еще, что из тех, кто постарше нас на год, на два, на три — пока еще участников наших игр, — большинство не вернется домой. Это сделалось ясно и для живших далеко от нас, в каком-то другом мире, «за границей», чьи имена мы находили на обложках книг и страницах газет. В эти годы все человеческое было антифашизмом. Честное искусство было антифашизмом. Высокие чувства

были антифашизмом. Нежелание — для нас органическая неспособность — различать людей по цвету кожи и национальности было антифашизмом.

Мы вырезали и вклеивали в самодельные, из плохой бумаги альбомчики сообщения об итало-абиссинской войне, потом о гражданской войне в Испании, и не было большей радости для нас, чем взятие республиканцами Теруэля. Мы не могли понять, почему ушли из Испании интернациональные бригады, успевшие уже превратиться для нас в прекрасную легенду, почему не отвечают на наши вопросы люди, побывавшие в Испании, и почему они один за другим исчезают с наших глаз. Рядом с нами и со многими из нас начинало твориться что-то страшное, но те, кого это ближе других коснулось, первыми потом пошли на фронт, потому что это были дети все тех же тридцатых годов. Для них все благородное было антифашизмом.

В эти годы те из нас, кто успел уже прочитать «Человека-невидимку» и вообще все, что попадалось под руку из фантастики Уэллса, познакомились еще с одним — нельзя сказать, что совсем другим, но все же еще с одним — Гербертом Уэллсом. В 1937 году вышла на русском языке повесть «Игрок в крокет», где фашизм был показан как возвращение доисторических времен и звучал протест против так называемой «политики невмешательства» в испанскую войну — политики поощрения фашистских аггрессоров. Год спустя мы прочли сценарий фильма «Облик грядущего» — еще одной очень сильной антифашистской вещи Уэллса. Снятый в 1936 году по этому сценарию фильм посмотрели на Западе миллионы зрителей. Орган Единого фронта «Лефт ревью» назвал его «великим и в смысле техники, и по идеям», а также «лучшим образцом антифашистской критики, когда-либо появившимся в кино». Поверхностному наблюдателю могло показаться, что «Облик грядущего» напоминает «Войну в воздухе». Здесь тоже речь шла о последствиях мировой войны. Мир распадается на слабо связанные друг с другом общины, во главе которых стоят заправилы-бандиты. Но Беатриса Уэбб недаром назвала некогда «Войну в воздухе» очень умным романом. В нем действительно были заключены возможности, о которых сам автор в момент его появления не подозревал. Одна из таких полудикарских общин, показанных в фильме, поразительно напоминала теперь государство фашистского типа, а ее «босс», блестяще сыгранный выдающимся английским актером Ральфом Ричардсоном, — фашистского диктатора.

Авторитет Уэллса как антифашиста увеличивало то, что он был первым крупным европейским писателем, создавшим антифашистский роман «Накануне» (1927). Он появился в те дни, когда в Англии было немало людей, восхищавшихся Муссолини («При нем поезда начали ходить по расписанию. Навел порядок!»), причем в их числе был и Бернард Шоу, давно уже противопоставлявший буржуазной демократии культ «сильной личности».

Уэллс, напротив, изобразил итальянских фашистов как подлое хулиганье, призванное к власти крупной буржуазией. «Дикая реакция — неизбежный спутник каждой революционной бури, — писал он в этом романе. — И если говорить о каком бы то ни было дальнейшем прогрессе, то всем прогрессивно мыслящим людям придется организовываться как для обороны, так и для нападения. Это бой за землю и за человека. В такой войне кто может жить спокойно, кто может быть оставлен в покое?» И Уэллс не оставался в покое. В 1930 году появился его новый антифашистский роман «Самовластие мистера Парэма», где рассказывалось о возможности фашизации Англии, причем среди людей, поддержавших фашистов, упоминался и некий мистер Бринстон Берчилль, очень похожий на Уинстона Черчилля. Антифашистские выступления Уэллса следовали одно за другим. Особенно он активизировался после прихода Гитлера к власти. И фашисты по-своему удостоили Уэллса великой чести — он был включен в список англичан, подлежащих уничтожению немедленно после осуществления операции «Морской лев» (захвата Британских островов).

Но рядом с этим шла такая вереница безобразных выходов и политических бестактностей Уэллса, что порой вокруг него образовывалась пустота. Когда составлявшие гордость английской литературы Томас Харди и Джон Голсуорси были награждены орденом «За заслуги», Уэллс пришел в ярость. «У меня достанет гордости не принять орден, которым были награждены Харди и Голсуорси!» — кричал он принесшему эту новость Мозму. В 1938 году, словно забыв о собственном «Игроке в крокет», он опубликовал повесть «Братья», где проповедовалось общечеловеческое единство. Однако, поскольку действие происходит в Испании в период гражданской войны, в контексте времени эта повесть звучала как призыв к примирению с фашизмом. В ней фактически ставились на одну доску республиканцы и фалангисты. Приблизительно тогда же он вытворил такое, что у всех порядочных людей просто захватило дыхание. Когда Ребекка Уэст, против которой Уэллс затаил глубокую обиду, возглавила комитет защиты немецких евреев, в Уэллсе разыгрался бромлейский лавочник, и он отказался присоединиться к воззванию этого комитета, уже подписанному всеми ведущими английскими писателями и общественными деятелями, добавив при этом, что евреи сами виноваты, что их преследуют. Через несколько дней он получил краткую телеграмму от Элеоноры Рузвельт: «Позор, мистер Уэллс» — и пришел в иступление, а узнав, что телеграмма стала достоянием гласности, принялся оправдываться — как всегда неловко и неубедительно. На этом кончилось его знакомство с Рузвельтами, которым он так гордился. Ни Франклин, ни Элеонора Рузвельт просто не желали больше о нем слышать.

Поездка в Москву в 1934 году тоже не принесла ему радости.

Он готовился к ней очень давно. В книге «Работа, благосостояние и счастье человечества» главы, посвященные Советскому

Союзу, поражают обилием материала. Мимо Уэллса не проходит ничто, касающееся нашей страны. Советские издания, впечатления иностранцев, побывавших в Советском Союзе, работы социологов и экономистов, посвященные «русскому эксперименту», политические обзоры, советские кинофильмы — все это нескончаемым потоком переливается на страницы книги. «Его порыв в будущее не имеет прецедентов в истории», — пишет Уэллс о Советском Союзе, а себя причисляет к «теплым его доброжелателям».

22 июля 1934 года Уэллс появился в Москве. Сойдя с самолета, он заявил звукооператорам «Союзкинохроники»: «Ленин во время нашей встречи в 1920 году сказал мне: «Приезжайте через десять лет, и тогда посмотрите нашу страну». Прошло четырнадцать лет, но я вторично приехал».

В один из ближайших дней он посетил Мавзолей В. И. Ленина и снова увидел этого человека, знакомством с которым гордился всю жизнь. «Он показался мне еще меньше, чем прежде, лицо его было бледно-восковым, борода более рыжей, чем мне запомнилось, всегда беспокойные руки неподвижны. В нем были достоинство и простота и что-то немного трогательное, какая-то детскость и мужество — великие свойства человеческой души. Он спит. Он уснул слишком рано для России» — так немногим более чем месяц спустя Уэллс подытожил впечатления этих минут и далекого прошлого.

Главной целью поездки 1934 года была встреча со Сталиным. Незадолго перед этим Уэллс побывал в США, где (разумеется — до разрыва с ним) беседовал с Рузвельтом. Реформы «Нового курса» поразили его — он увидел в них воплощение своей давней, сформулированной еще в «России во мгле» мечты, что капиталисты начнут учиться у коммунистов. Страна, которая в 1906 году произвела на него впечатление оплота хищного частнособственнического капитализма, теперь, казалось ему, поворачивает в сторону социализма. В беседе со Сталиным он, видимо, хотел выяснить, не собираются ли коммунисты, в свою очередь, отказаться от понятия классовой борьбы и тем самым пойти на сближение с Западом.

Сталину тоже нужна была эта встреча. Уэллс был в свое время принят Лениным. Соображения престижа и логики требовали, чтобы теперь он был принят Сталиным.

Сталин встретился с Уэллсом 23 июля 1934 года — на другой день после его приезда в Москву. Он был очень предупредителен, прост, приветлив. Он не мог не понимать, что в лице Уэллса перед ним предстает общественное мнение Запада, и Уэллс, до этого высказывавшийся о Сталине достаточно неблагоприятно, ушел от него очарованный и м., — несмотря на спор, который между ними возник. Уэллс упорно втолковывал Сталину, что понятие классовой борьбы устарело и не отражает реальность. Сталин, возражая ему, спокойно излагал свою собственную точку зрения на этот вопрос. Говорил он убедительней, и опубликованный текст беседы вызвал комментарии, в большинстве своем неблагоприятные для Уэллса.

Беседу переводил К. Ф. Уманский, впоследствии назначенный послом в Мексику и погибший с семьей в авиационной катастрофе. Личность переводчика в данном случае очень важна. Уманский был человеком блестящим. Он славился феноменальной памятью и необыкновенной способностью к языкам. Перед ним можно было на секунду разложить десяток карт, а потом он безошибочно раскладывал их в том же порядке. Вручая верительные грамоты президенту Мексики, он сказал ему, что через шесть месяцев будет говорить с ним по-испански — и в самом деле, через полгода он превосходно говорил на этом языке. Поэтому хотя Уманский записывал беседу Уэллса со Сталиным по памяти, он мог воспроизвести ее точнейшим образом. Однако запись слишком коротка сравнительно со временем, в течение которого продолжалась беседа. Все выглядит так, словно после каждых нескольких слов Сталин и Уэллс замирали и лишь некоторое время спустя выходили из оцепенения. Не значит ли это, что мы имеем дело не с полным текстом, а со своего рода конспектом? Но даже и в этом случае все в этой записи безусловно соответствует сказанному. Получив ее от Уманского, Сталин и Уэллс ее подписали. И тем большее впечатление производит одно место беседы. Дело в том, что Сталин сделал в ходе ее грубейшую историческую ошибку, а деликатный собеседник его не поправил. Уманский — тем более. Ошибка же была элементарная, nepозволительная не только для корифея науки (обычное титулование Сталина), но и просто для человека, проработавшего начальный курс истории. А поскольку речь шла о важнейшем факте истории рабочего движения, эта ошибка была совершенно nepозволительна и для вождя мирового пролетариата (другое титулование Сталина). Когда речь зашла о чартистах, создавших, как известно, свою организацию через пять лет после парламентской реформы в Англии, Сталин сказал, что именно они добились этой реформы...

В Англии беседа Уэллса со Сталиным была опубликована 27 октября 1934 года в еженедельнике «Нью стейтсмен энд нейшн». Уже в следующем номере, 3 ноября, появился комментарий Бернарда Шоу, который возражал против мнения Уэллса, что капитализм — это «хаос» и, если придать ему организованность, он приобретет черты социализма. Напротив, по словам Шоу, капитализм «в качестве способа извлечения оптимального социального результата из системы частной собственности обладает полнотой и логикой», попытка же Уэллса убедить Сталина, что понятие классовой борьбы устарело, выглядит как простая бестактность. На этом, впрочем, теоретическая часть спора кончалась, и дальше шло неприкрытое издевательство над Уэллсом, который, по словам Шоу, «прокрался на цыпочках в Кремль». Дело в том, что в 1931 году Шоу тоже побывал в Москве, но не один, а с целой группой известных людей, куда входило семейство виконтов Астеров, маркиз Лотиан и журналист Чарлз Теннент. Правда, его из всей группы сразу же выделили, отвели ему в гос-

тинице «Метрополь» лучший номер; по поводу его семидесятипятилетия было устроено торжественное заседание в Колонном зале Дома Союзов, на котором большую речь произнес А. В. Луначарский, но отдельной беседы со Сталиным он не удостоился. Хуже того, во время общей беседы он и шутку позволил себе неуместную. «Почему у вас есть площадь Революции и Музей Революции? — сказал он Сталину. — Революция уже в прошлом, теперь должны быть площадь Порядка и Музей Порядка». Сталин, очень не любивший, когда люди читали его тайные мысли, придя домой, заметил, что Шоу ему не понравился. Очевидно, это как-то проскользнуло и во время беседы с Уэллсом. Тот сделал несколько примечаний к опубликованному тексту беседы, и в одном из них был на это прозрачный намек. И теперь все негодование Шоу обрушилось не на кого-либо, а именно на Уэллса. Сталина как «сильную личность» он не переставал почитать до последних своих дней. Среди портретов, висевших над диваном, на котором он умер, была и фотография Сталина.

В том же номере была опубликована заметка Эрнста Толлера, немецкого писателя-эмигранта, недавно вернувшегося с Первого съезда советских писателей. Толлер спорил с мнением Уэллса, что советские писатели лишены свободы высказываний, тоже содержащимся в примечании к тексту беседы.

Все это положило начало длительной дискуссии, развернувшейся на страницах того же еженедельника. С ответом Шоу выступили Кейнз и сам Уэллс. Кейнз писал, что Сталин и Шоу «смотрят назад, на то, каким мир был, а не вперед, на то, каким мир будет». Что касается Уэллса, то он просто высказал горькую обиду на то, что они с Шоу, приближаясь к концу жизни, не придумали ничего лучшего, как обличать друг друга. «После шестидесяти пяти смешно пыжиться друг перед другом и пытаться выделиться за счет другого». Но на этом дискуссия не кончилась, превратившись в простую перебранку между Шоу и Уэллсом. Все это время в журнал шли письма читателей с упреками в адрес Шоу, но никто не поддержал Уэллса по основному вопросу: угасает ли классовая борьба. Так, не в пользу Уэллса, закончился «один из самых оживленных публичных споров в левых кругах за всю историю Англии», как охарактеризовал его известный американский политолог Уоррен Уэйгер.

Это была самая короткая из всех трех непродолжительных поездок Уэллса — в 1914 году он пробыл в нашей стране двенадцать дней, а в 1920 — пятнадцать, на этот раз только одиннадцать, — но она была очень насыщенной. Вот далеко не полные данные о том, где он успел побывать и что увидеть. 24 июля он осматривал Москву и знакомился с планом ее реконструкции. 25-го присутствовал на параде физкультурников на Красной площади, а потом побывал на Первом подшивниковом заводе. 26-го беседовал с наркомом просвещения А. С. Бубновым о школьном образовании и развитии культуры, после чего поехал на Между-

народную выставку детского рисунка. 27 июля Уэллс беседовал с начальником Метростроя П. П. Ротером и осматривал строительство метро. 28-го он беседовал в планировочном отделе Моссовета с главным архитектором города профессором Чернышевым. 1 августа Уэллс встретился в Колтушах с академиком И. П. Павловым, а потом отправился в Петергоф, где познакомился с работой Биологического института Ленинградского университета. В тот же день он встретился с известным популяризатором Я. И. Перельманом и писателем-фантастом Александром Беляевым, а также несколькими другими людьми, занимавшимися научной фантастикой.

Журналисту Г. Машкевичу, организовавшему эту встречу, Уэллс показался больным. Писатель и в самом деле чувствовал себя эти дни совершенно разбитым. В Москве он пережил большое огорчение.

В его личной жизни тридцатые годы начались раньше своей календарной даты. В 1929 году его пригласили прочитать лекцию в рейхстаге, и когда он приехал в Берлин, то нашел в гостинице, где для него был забронирован номер, письмо от своей петроградской знакомой Муры. Она писала, что, если только достанет билет, обязательно придет на его лекцию. После лекции он увидел ее у входа — бедно одетую, но такую же прямую, полную достоинства, с твердым взглядом, и сердце его забилося от радости. «Мура!» — чуть не закричал он.

В жизни Марии Игнатьевны Закревский с момента их последней встречи случилось многое. Она получила официальное разрешение выехать в Эстонию, но там была арестована, и адвокат, взявшийся ей помочь, нашел только один способ узаконить ее пребывание в этой стране: выдать ее замуж за барона Будберга — прощельгу, искавшего какой-нибудь способ выбраться с родины, где его слишком хорошо знали. Они обвенчались и отправились в Берлин. Там новоявленная баронесса Будберг сблизилась с Горьким, и они заплатили ее мужу, чтобы тот убрался куда подальше. Он выехал в Бразилию, но с полдороги вернулся, потребовав большего отступного. Скоро он и в самом деле куда-то исчез.

Все последующие годы Мура прожила в качестве секретаря Горького под Неаполем, в Сорренто (на Капри Муссолони не позволил ему вернуться), но после окончательного отъезда Горького в Советский Союз осталась одна, и они с Уэллсом снова стали любовниками. До 1933 года, пока Уэллс не порвал с Одеттой, они скрывали свою связь, но потом жили открыто, и Уэллс мечтал лишь об одном: чтобы Мура вышла за него замуж. Он несколько раз делал ей предложение, но она неизменно отказывалась. Еще несколько раз он пытался порвать с нею, — и опять ничего не получалось. Мура с одинаковым спокойствием пропускала мимо ушей и его предложения пожениться, и его заявления, что между ними все кончено. Однажды она, правда, пригласила знакомых на свадебный ужин, однако тут же объявила им, что все это — розыг-

рыш. «Пусть лучше Марджори о нем заботится», — шепнула она своей приятельнице.

«Я женат, но моя жена не желает выходить за меня замуж», — говорил после этого Уэллс.

Во время знаменитого юбилейного обеда 1936 года они с баронессой Будберг встречали гостей, стоя рука об руку, и никого это не удивляло.

Каждое лето Мура Будберг уезжала в Эстонию навестить детей. Правда, дети ее уже с 1929 года жили в Англии, но Уэллс этого не знал, и эти отлучки не нравились ему просто потому, что без Муры он чувствовал себя одиноким. Когда было договорено, что он едет в Москву, он попросил Муру сопровождать его и быть его переводчицей — как в 1920 году. Но та отказалась. «Разве ты не знаешь, что мне запрещен въезд в Советский Союз?» — спросила она и, заметив опередив его, поехала в Эстонию. Под Москвой, на даче у Горького, он случайно узнал за обедом от Уманского, что Мура «всего неделю назад была здесь». Тут Уэллс принялся расспрашивать Горького и услышал от него, что в прошлом году Мура навещала его целых три раза. Уэллс был потрясен. Разговор с Горьким и так не заладился. Старый друг показался Уэллсу человеком, утерявшим внутреннюю независимость, упоенным своим положением живого классика. В этой мысли его особенно укрепило то, что Горький решительно отверг его предложение о вступлении советских писателей в Пен-клуб, председателем которого Уэллс стал после смерти Голсуорси. А тут еще эта история с визитом Муры! В эту ночь он не спал. Он писал одно за другим письма Муре и рвал их. В конце концов он решил все-таки ехать в Эстонию. Им надо объясниться.

Все оставшиеся дни в Москве и Ленинграде он был сам не свой. Он не переставал думать о предстоящей встрече с женщиной, жестоко его обманувшей.

Мура ждала его в Таллинском аэропорту и была, как всегда, ласкова и невозмутима. Да, она действительно навестила Горького, но приглашение пришло так неожиданно... Она и до этого трижды приезжала в Москву? Нет, это ошибка. Переводчик что-то напутал!

Они прожили в Эстонии три недели, потом через Скандинавию вернулись в Лондон, и все у них пошло по-старому. Во всяком случае, так могло показаться. Но в душе Уэллса осталась незаживающая рана: он ведь любил свою Муру.

Что утешало его в эти годы, так это кино. Ребекка Уэст напрасно в свое время обижалась на него, что он таскает ее по захолустным киношкам: он кино обожал. Причем — как ни трудно в это поверить — еще до того, как оно возникло.

В его фантастических романах с самого начала накапливались элементы будущего кинематографа.

Эйзенштейн в свое время заметил, что крупные планы изобрели вовсе не кинематографисты, а Диккенс. В первой строчке

«Сверчка на печи» он написал: «Начал чайник», и в воображении читателя сразу возник «крупный план» чайника. Уэллс не меньше Диккенса любил крупные планы. Но особенно ему нравилось изображать движение — сугубо кинематографически.

В «Машине времени» путешественник, тронувшись в путь, видел, как в лабораторию вошла его домоправительница и, не заметив его, двинулась к двери в сад. «Для того, чтобы перейти комнату, ей понадобилось, вероятно, около минуты, но мне показалось, что она пронеслась с быстротой ракеты», — рассказывает он. Подобный эффект, только достигнутый методом «ускоренной», а не «замедленной съемки», использован и в рассказе «Новейший ускоритель». В конце же «Машины времени» Уэллс употребляет прием, который особенно трудно представить себе в 1895 году: он «прокручивает ленту в обратную сторону». Возвращаясь из своей первой поездки, Путешественник «проскакивает» через тот отрезок времени, из которого он отправился в путь, и снова видит свою домоправительницу. «Но теперь каждое ее движение казалось мне обратным. Сначала открылась вторая дверь в дальнем конце комнаты, потом, пятась, появилась миссис Уотчет и исчезла за той дверью, в которую прежде вошла».

Неудивительно, что Уэллс был среди первых, кто пытался создать технические средства кинематографа. В 1894 году он совместно с лондонским оптиком и механиком Робертом Уильямом Полом взял патент на аттракцион, который, предвосхищая свой появившийся на будущий год роман, назвал «машиной времени». Эта «машина времени» представляла собой некое подобие железнодорожного вагона, в котором под тряску и постукивание возникали движущиеся проекции. Целью аттракциона было «рассказывать истории при помощи движущихся картин». Когда же год спустя экран был завоеван другой системой, Уэллс не почувствовал к ее создателям ни малейшей ревности. Он был одним из немногих, кто в раннем, очень еще примитивном кинематографе разглядел, по его собственным словам, «зародыш таких изобразительных средств, которые по силе воздействия, совершенству и универсальности превзойдут все, что имелось до сих пор в распоряжении человечества». Кинематографисты оценили вклад Уэллса в «предысторию» своего искусства. Кинорежиссер, историк кино и видный прогрессивный деятель Айвор Монтегю в своей книге «Мир фильма» упоминает Уэллса в числе великих людей, сумевших оценить возможности кино раньше своих современников и даже до появления киноаппаратуры. И действительно, кино не было для Уэллса, в отличие от многих, кто приобщился к этому искусству в пору его младенчества, детства и отрочества, всего лишь способом пересказывать литературные произведения при помощи «движущихся картин» или воспроизводить столичные пьесы для провинциалов. Оно должно было заговорить собственным языком, который помог бы в каждый момент соотнести между собой пространство и время, природу и человека. Такой кинема-

тограф рисовался Уэллсу как способ перестроить мышление человека, помочь ему пристально и беспристрастно взглянуть на мир. Но было, конечно, в занятиях Уэллса и чисто детское увлечение кинематографом. «Плохих картин не бывает. Уже одно то, что они движутся, само по себе изумительно!» — сказал он однажды Чаплину.

Легко догадаться, что и после неудачи со своим «железнодорожным аттракционом» Уэллс не остался в стороне от кино.

Экранизировать Уэллса начали очень рано. В 1902 году Жорж Мельес (1861—1938), один из пионеров художественной кинематографии, снял пятнадцатиминутный фильм «Путешествие на Луну», считающийся лучшим из им созданных. Правда, путешественники Мельеса попадали на Луну по-жюльерновски — в артиллерийском снаряде, но, изображая Луну, Мельес воспользовался романом Уэллса. На экране появляются гигантские грибы, «лунный король», селениты, напоминавшие членистоногих. Селенитам удастся взять в плен путешественников, но те убегают, отыскивают свой снаряд и на парашюте спускаются на Землю...

В Англии этот фильм шел в нескольких мюзик-холлах, с которыми Мельес имел договор. Во Франции его с большим успехом показывали в ярмарочных павильонах. Но наибольший успех фильм Мельеса имел в США. С него были сняты сотни «пиратских» копий, и он шел повсюду, где только были проекционные аппараты. Большой успех «Путешествия на Луну» в провинциальном городе Лос-Анджелесе, одно из предместий которого носило название Голливуд, навел какого-то дельца на мысль открыть в городе постоянный кинотеатр, чем нечаянно был предreshен вопрос о будущем центре американской кинематографии...

В 1909 году фирма Шарля Пате сделала фильм «Невидимый вор», от которого, к сожалению, сохранилось лишь несколько кадров, а в 1914 году Пате заключил с Уэллсом контракт на право экранизации его романов, но ничего не сделал — помешала война. В дальнейшем, однако, Уэллса принялись экранизировать очень интенсивно. Сейчас насчитывается около тридцати фильмов по Уэллсу, частью телевизионных. К моменту написания «Опыта автобиографии» их было десять, но он из всех них выделял «Человека-невидимку». Этот фильм поставил в 1933 году Джеймс Уэйл — бывший английский актер, завоевавший известность ролями Епиходова в «Вишневом саде» и Медведенко в «Чайке» (он был также оформителем этих спектаклей). Выйдя в режиссеры, Уэйл поставил пьесу Роберта Седрика Шериффа «Конец пути», которую не хотел брать ни один театр, и добился колоссального успеха. Увидевшая свет ramпы в 1928 году, в год появления романов Ремарка «На Западном фронте без перемен», «Прощай, оружие» Хемингуэя и «Смерти героя» Олдингтона, она принесла на сцену тему «потерянного поколения». Тот же Уэйл экранизировал «Конец пути» в Голливуде, пригласив в качестве сценариста ее автора, что сделало Шериффа, успевшего до «Конца пути» написать

шесть пьес, ни одна из которых не достигла профессиональной сцены, «самым дорогим» из голливудских сценаристов, а Уэйла — ведущей фигурой голливудской режиссуры тех лет. «Человека-невидимку» он тоже поставил по сценарию Шериффа. В 1935 году уэйловско-шериффовский «Невидимка» был с огромным успехом показан на нашем экране. Это, кстати, был первый иностранный фильм, дублированный на русский язык.

В 1928 году у Уэллса появилась счастливая возможность самому поработать с кинематографистами. Его младший сын Фрэнк Ричард начал пробовать свои силы как сценарист, и, решив ему помочь, Уэллс написал три комические новеллы — «Васильки», «Тонизирующее» и «Мечты». Фрэнк сделал из них сценарии трех короткометражных фильмов, поставленных Айвором Монтегю и Адрианом Бранелом. Эти короткометражки в Англии почти не заметили, но они имели большой успех в Германии. В них, кстати, сыграли свои первые роли в кино выдающиеся актеры Чарлз Лаутон и Эльза Ланчестер.

Ну, а потом судьба столкнула его с такой незаурядной личностью, как Александр Корда (1892—1956).

«Корда» («кинолента») — это, конечно, псевдоним. Происходил Корда из Венгрии, звали его Шандор Кельнер, и был он одним из мальчишек десятых годов, до смерти увлеченных кино.

Поражение венгерской революции 1918—1919 годов и неизбежно связанный с каждым периодом политической реакции разгул антисемитизма заставили его покинуть родину, и в течение десяти лет он вместе с женой, звездой венгерского кино Марией Корда, и двумя младшими братьями, Золтаном и Винсентом, тоже кинематографистами, мотался между Берлином, Веной и Голливудом, набираясь опыта и стараясь заработать на жизнь. Крупный успех фильма «Частная жизнь Елены Троянской» (1927) поставил его, наконец, на ноги, и в начале 30-х годов он уехал в Англию, где основал собственную фирму «Ландон филм продакшнс». Там он и поставил в 1933 году окончательно прославившую его «Частную жизнь Генриха VIII». Этот фильм, ставший классикой мировой кинематографии, был первым большим международным успехом *английского* кино, а Корда — главным его представителем. Деньги шли к нему как-то сами собой, он о них не задумывался и, если это сулило художественный успех, брался за такие предприятия, которые до смерти напугали бы других продюсеров. И чуть ли не каждый раз добивался еще и коммерческого успеха. Корда разорился лишь после того, как решил, что английская кинематография должна располагать не меньшими техническими возможностями, чем американская, и построил огромную, оснащенную современным оборудованием студию. В 1939 году ему вновь пришлось отправиться на заработки в Голливуд, и здесь он в 1940 году поставил «Багдадского вора», а в 1941 году «Леди Гамильтон». Теперь он опять был на коне, вернулся в Англию и снова принялся за свои безрассудные выходы.

В 1942 году он, первый из английских кинематографистов, был возведен в рыцарское достоинство и отныне именовался «сэр Александр», хотя для всех, с кем работал, как был, так и остался просто Кордой. В последний раз он разорился в 1954 году.

Этот человек и создал, взяв себе в помощники режиссера Камерона Мензиса, «Облик грядущего». Уэллс был на седьмом небе. Наконец-то осуществилась его мечта — разговаривать с экраном с миллионами зрителей! И от Корды он был в совершенном восторге, хотя последний, кажется, его чувств не разделял. За Уэллсом в эти годы все больше утверждалась репутация «капризного гения», и Корде, работая с ним, не раз приходилось прибегать к посредничеству баронессы Будберг. Она дружила с Вивьен Ли, сыгравшей главную роль в «Леди Гамильтон», и была своим человеком в мире кино.

Год спустя Корда принял к постановке сценарий Уэллса «Человек, который мог творить чудеса», но картина настоящего успеха не имела, и теперь Уэллс и о Корде говорил куда хуже, чем прежде, и о его предыдущем фильме. «Облик грядущего» считается классикой. Недавно о нем написана целая книга. Но после неудачи с «Человеком, который творил чудеса» Уэллсу не нравилось в «Облике грядущего» решительно все — начиная с собственного сценария. Когда же Корда отказался от сценария Уэллса «Новый Фауст», отношения между ними совсем испортились.

1937 год вообще был для него годом больших разочарований. И не только личных. И. М. Майский, тогдашний посол в Лондоне, рассказывает в своих воспоминаниях «Бернард Шоу и другие» (1967): «Социалисты и реформисты всех толков немедленно подхватили сведения об арестах и репрессиях, приходившие из СССР, широко популяризировали их на фабриках и заводах и в заключение говорили: «Вот к чему приводит коммунизм». Хорошо помню, как английские коммунисты, которых в те годы мне приходилось видеть, с горечью, почти с отчаянием задавали мне тот же вопрос, который мне задал Уэллс: «Что у вас происходит? Мы не можем поверить, чтобы столько старых, заслуженных, испытанных в боях членов партии вдруг оказались изменниками». И рассказывали, как события, происходящие в СССР, отталкивают рабочих от Советской страны, подрывают коммунистическое влияние среди пролетариата. То же самое происходило тогда во Франции, Скандинавии, Бельгии, Голландии и многих других странах».

Незадолго перед тем были выведены из Испании интернациональные бригады, республика потерпела поражение и начался резкий спад левого движения на Западе. Правда, в рядах западных левых оставались люди, продолжавшие помнить, что в предстоящем генеральном сражении с фашизмом главная надежда — на Советский Союз, а потому готовые на многое закрыть глаза — даже на так называемые «московские процессы», во время которых были физически уничтожены видные деятели партии, когда-либо — пусть за много лет до этого — выступавшие против Сталина. На

одном из этих процессов присутствовал Лион Фейхтвангер, выпустивший затем книгу «Москва 1937 года», где он оправдывал все происходящее и утверждал, что советские люди живут в условиях свободы. Это было сказано в год жесточайшего террора, количество жертв которого исчислялось уже миллионами, и среди немецких эмигрантов-некоммунистов Фейхтвангера поддержали только Бертольт Брехт и Генрих Манн. Брехт резко изменил свою позицию после XX съезда КПСС. Манн до этого события не дожил — он умер в начале 1950 года.

Уэллс, разумеется, реагировал и на «московские процессы», и на массовый террор совершенно иначе, чем Фейхтвангер. О Сталине он с этого времени говорил как о человеке, нанесящем огромный ущерб идее социализма, и ждал от него новых проявлений жестокости. В 1940 году Уэллс предсказал уже «дело врачей». Предсказал он даже и то, что эта позорная акция не успеет завершиться ввиду смерти ее организатора. Однако в 1937 году гнев Уэллса обратился не только против Сталина, но и против людей, насколько в происходящем не виноватых.

Когда в 1937 году секретарь ПЕН-клуба пригласил на вечер, посвященный юбилею Пушкина, посла Майского и председателя Клуба левой книги известного популяризатора советской литературы Виктора Голанца, Уэллс — председатель ПЕН-клуба — отправил ему негодующее письмо, требуя отменить приглашение. Занятно, что Виктора Голанца он назвал там «неким левым издателем», хотя именно Голанц опубликовал в 1934 году его «Опыт автобиографии» — книгу, сделавшуюся в те годы самым читаемым произведением Уэллса.

За несколько лет до ее выхода к Уэллсу явился молодой человек, его однофамилец, Джеффри Уэллс, просивший поддержки в деле, за которое он горел желанием взяться. Он задумал написать биографию Уэллса. Тот принял его очень радушно и поставил только одно условие: этот «другой Уэллс» должен взять псевдоним: ну, скажем, Уэст.

Эта книга Уэста очень помогла Уэллсу, когда он в 1933 году приступил к работе над своим «Опытом автобиографии». Джеффри сумел разузнать о таких событиях его жизни, о которых сам он успел забыть. Голанц поставил ему жесткие сроки, так что кончал Уэллс свою автобиографию уже в Эстонии, в 1934 году. Изложение событий его жизни кончалось 1900 годом: он не хотел писать о людях, которые были еще живы. Точнее, делать достоянием гласности свои мысли об этих людях, ибо за «Постскрипtum к автобиографии», предназначенный к посмертной публикации, он принялся в том же 1934 году. До торжественного обеда в честь его семидесятилетия оставалось еще два года, но это было уже прощание. Точнее, начало прощания. К своему семидесятилетию Уэллс и как писатель, и как мыслитель успел уже сказать почти все, что имел сказать.

КОНЕЦ

Семидесятилетие Уэллса было отмечено не одним лишь обедом в дорогом лондонском отеле. Это событие вызвало отклики по всему свету. В тот год окончательно утвердилось его положение классика мировой литературы, причем применительно к Уэллсу слово «литература» понималось в широчайшем своем значении.

Самую короткую и, быть может, самую умную юбилейную статью написал Карел Чапек.

«С первого взгляда его можно было бы принять за коммерсанта, судью или человека любой иной рядовой профессии; дать ему можно было бы самое большее лет шестьдесят, в действительности же он как раз отмечает семидесятилетие...

Он представляет собой исключительное явление среди современных писателей и мыслителей в силу своей необыкновенной универсальности; как писатель он соединяет склонность к утопическим фикциям и фантастике с документальным реализмом и огромной книжной эрудицией; как мыслитель и толкователь мира он с поразительной глубиной и самобытностью охватывает всемирную историю, естественные науки, экономику и политику. Ни наука, ни философия не отваживаются сейчас на создание такого аристотелевского синтеза... какой оказался по плечу писателю Уэллсу... Но... Уэллс не ограничивается познанием и систематизацией исторического опыта человечества; для него этот опыт — только предпосылка будущего, более прогрессивного мироустройства. Этот всеобъемлющий исследователь является одновременно одним из самых настойчивых реформаторов человечества — он не стал догматическим вожаком и пророком, но избрал роль поэтического открывателя путей в грядущее. Он не предписывает нам, что мы должны делать, но намечает цели, которые мы можем поставить перед собой, если разумно используем все, чему нас учат история и физический мир.

Герберт Джордж Уэллс никогда не будет принадлежать исключительно истории литературы, в равной и, возможно, еще большей степени он войдет в историю человеческого прогресса».

Уэллс, впрочем, не считал, что семидесятилетний юбилей подвел черту под его творчеством. Перелистывая его библиографию, видишь под каждым обозначением года не меньше, а порою и больше названий, чем в предшествующий период. В 1937 году появились, например, целых три повести Уэллса: «Рожденные звездой», «Брунгильда» и «Кэмфордское посещение», но ни одна из них не вызвала, да и не могла вызвать настоящего интереса. Писал Уэллс не меньше, чем прежде, да вот беда: читали его все меньше.

А ведь далеко не все, написанное в эти годы, кануло в Лету. Напротив, с годами выяснилось, что ни свой пророческий дар, ни свой масштаб мышления Уэллс не потерял. Он не просто приближался к концу — он подводил итоги. Роман «Необходима осто-

рожность» (1941) рассказал о том, в каком направлении предстояло развиваться Киппсу и мистеру Полли. Уэллс немало уже успел к этому времени сказать о фашизме. Но теперь он говорил еще и о людях, составлявших массовую его опору. Он их не относил к числу человеческих особей. Это была какая-то особая порода животных — не *homo sapiens* (человек разумный), а (по имени главного героя романа) *homo Tewler*, — отличающаяся ненавистью к прогрессу, интеллигентам и евреям. Так Уэллс прощался с теми, кому прежде, на предшествующем этапе их развития, отдал немало любви. И правда — уэллсовский мелкий буржуа успел с момента своего появления на страницах его книг наделать немало подлостей. Не он вершил мировыми делами. Он был только скромн, законопослушен, всегда готов «откликнуться на призыв». Но на него опирались те, кто, по выражению Уэллса, желал «увеличить сумму мирового зла». Он не был, упаси бог, идеологом фашизма и, по мере того как фашизм компрометировал себя, готов был употреблять слово «фашист» как брань. Он даже защищал свой садик от чужих, немецких фашистов. И все же он был одним из тех, на кого опирается фашизм. Он был против слова «фашизм». Но он не был против того, что за этим словом скрывается.

Появились и другие вещи Уэллса, которые никак нельзя сбросить со счетов. Написанный за два года до этого роман «Божье наказание», повествующий о перерождении революционера, получившего абсолютную власть, был по-настоящему оценен лишь после XX съезда КПСС. Трактат «Покорение времени» (1942) принадлежит к числу лучших философских работ Уэллса, а брошюра «Новые права человека» (1942) готовила многие положения устава ООН.

Уэллс уходил из литературы, это верно, но отступал он с ожесточенными арьергардными боями.

И все же дело явно шло к концу. Ч. Чаплин рассказал, как после окончания третьей части «Образовательной трилогии», которую Уэллс первоначально предполагал назвать «Анатомия денег», он побывал у Уэллса и увидел, что тот совершенно измотан.

«— А что вы собираетесь делать теперь? — спросил я.

— Писать другую книгу, — устало улыбнулся он.

— Боже милостивый, — воскликнул я, — неужели же вам не хочется отдохнуть или заняться чем-нибудь другим?

— А чем же еще можно заниматься?»

Так вот, от года к году, Уэллсу все труднее было заниматься «единственным делом, которым можно заниматься». Или, если быть совсем уж точным, — главным, что составляло смысл его жизни. «Необходима осторожность» — последний роман, им написанный.

Что вторая мировая война разразится через год-другой, Уэллс понял сразу же после Мюнхенского соглашения. В Невиле

Чемберлене, тогдашнем премьер-министре Англии, многие увидели тогда миротворца, Уэллс же — предателя. И в знак протеста он выдвинул кандидатом на Нобелевскую премию президента Чехословакии Бенеша.

Уэллс мечтал о разгроме гитлеровской Германии, но, когда в 1939 году началась вторая мировая война, допуская и мысль о ее победе. Он слишком хорошо знал правящие классы своей страны, среди которых было немало людей, сочувствовавших фашистам, не говоря уж о людях просто некомпетентных. Он неплохо представлял себе и тех, кто пришел к власти во Франции после поражения Народного фронта. И все же в первый день войны он произнес замечательную фразу: «Бешеная крыса может искушать и погубить человека. Но человек все равно остается человеком, а крыса — крысой».

Выступая раз за разом против немецких фашистов, он не забывал и своих — английских. В 1943 году в органе английской компартии «Дейли уоркер» появилась статья Уэллса, направленная против тогдашнего руководителя английских фашистов Освальда Мосли «Мослианская мерзость».

Жаль, что сил оставалось все меньше и меньше. В 1940 году он выехал на три месяца в США и предпринял свое последнее лекционное турне по этой стране, где у него было столько триумфов. Увы, оно кончилось полным провалом. Как это подействовало на Уэллса, можно понять по записи в дневнике, которую сделал 14 октября 1940 года Клаус Манн — сын Томаса Манна и сам крупный писатель, автор знаменитого «Мефисто». Клаус Манн в это время задумал издавать литературный журнал и хотел добиться поддержки Уэллса, остановившегося в доме одного американского банкира.

«...Уэллс еще спит, хотя я пришел в назначенный час. Его будит камердинер. Потом подается чай с пышками и апельсиновым джемом, все это отличного качества. Мэтр сразу обнаруживает удивительно желчно-агрессивное настроение. Мрачный, тусклый, злой взгляд, которым он меня изучает, еще больше леденеет, когда я осмеливаюсь намекнуть на свой журнал.

— Литературный журнал? — Уэллса просто трясет от негодования и презрения. — Что за ребяческая идея. Какое мне до этого дело!

И при этом он мне пододвигает пышки не без некоторой старомодной отеческой «политес». Список моих сотрудников, который он изучает с необыкновенной тщательностью, дает ему повод к новым атакам. По поводу каждого имени ему приходит в голову что-нибудь миленькое: «Хаксли — какой дурак! Бенеш — полнейший неудачник, от общения с ним скулы сводит». В таком стиле. Сострадательная улыбка, с которой он качает головой при имени «старого бедняги Стефана Цвейга», еще более уничтожающая, чем гневный жест, которым он сопровождает имена своих бывших соотечественников Одена и Ишервуда. «Они — конченные

люди! Почему они покинули свою страну? Они сделали ошибку. Теперь им уже никогда не вернуться в Англию!»

Так как я все еще сохраняю хорошее настроение и спокойствие, он меняет тему и сообщает мне свои взгляды на немецкий характер. Все немцы — он на этом настаивает своим сварливым, тонким голосом — дураки, хвастуны, шуты гороховые и потенциальные преступники. «Эмигранты тоже», — восклицает задиристый старец. «А немецкой культуры вообще не существует. Что такое немецкая поэзия в сравнении с английской? Разве можно поставить вашего Гете рядом с нашим Шекспиром? И при этом эти смешные немцы считают себя избранным народом, солью земли».

Я радостно подхватываю: «До чего же вы правы! Но самую большую глупость немцев вы даже еще не оценили. Ведь некоторые доходят до того, что всерьез принимают Баха и Бетховена! Представить только!»

Этому смеется даже этот мрачный старик. Так как ему не удается меня спровоцировать, он внезапно становится очень мил. Я сижу у него целый час. Интересный разговор о необходимости «всемирной республики после войны». Идея «Империи» представляется этому английскому патриоту давно отжившей. «И вообще, — уверяет он меня, почти с торжеством, — никакой Империи больше не существует. Есть только рыхлая федерация Государств, которую было бы легко включить во Всеобщий союз государств. Так называемая Империя перестала быть реальностью, это всего лишь воспоминание, всего лишь сон. Империя — это галлюцинация».

...Великолепный старикан, при всей своей ершистости! И юмор у него, как у всех добрых британцев. На прощание он становится лукавым и ищущим примирения. Я уже стою у дверей, когда он кричит, оставаясь за чайным столом: «Этот Гете, из которого вы, немцы, делаете невесть что, ну может он был не так уж бездарен. А что касается вашего дурацкого журнала, молодой человек, ну там посмотрим! Если у меня будет какой-нибудь непристроенный пустычок... Но все же идея эта у вас бредовая. Литературное обозрение — надо ж такое вообразить!»

Потом у него завязалась новая газетная баталия с Бернардом Шоу. Большим разочарованием кончилось и одно его новое знакомство. Весной 1941 года ему захотелось встретиться с «этим большеногим троцкистом Оруэллом», но Оруэлл был еще более неуживчивым, чем Уэллс, и внимание стариканисколько ему не польстило. Напротив, он опубликовал статью, где изобразил Уэллса отжившим свой век утопистом и технократом, чем вызвал страшное его негодование. И действительно, кем-кем, а технократом Уэллс не был.

С Истон-Глиб он к этому времени давно уж расстался. У леди Уорвик с годами портился характер. Еще при жизни Джейн она стала устраивать им скандалы. Въезжая на машине

в поместье, они забывают закрывать за собой ворота — чего доброго, весь скот разбредется по окрестностям! У них бывает слишком много гостей, и иные из них едут к дому прямо по лужайкам. Прежде она все бы это стерпела, но теперь, когда надвигалась старость, а материальные дела шли все хуже и хуже, она начинала задумываться — не Уэллсы ли во всем этом виноваты? В августе 1930 года Уэллс съехал. Леди Уорвик это не помогло. Она умерла год спустя, находясь в очень стесненных обстоятельствах.

С 1935 года Уэллс жил в новом доме, на Ганновер-Террас. Слово «дом» здесь, правда, надо воспринимать в английском смысле слова. Это был отдельный подъезд в длинном двухэтажном здании, построенном во времена регентства архитектором Нешем на холме, возвышающемся над Риджент-парком. Подъезд этот был тринадцатым в доме, и Уэллс собственноручно вывел у дверей огромную цифру 13, употребив для этого фосфоресцирующую краску, — чтоб и ночью шокировать людей с предрасудками. Во дворе, прямо против черного хода, стоял сарай, и новый хозяин разрисовал его картинками. Он устраивался основательно. Перекупая этот дом у поэта Алфреда Нойеса, он сказал ему, что нуждается в жилище, где доживет свой век. Так оно и случилось. Здесь он встретил и пережил войну с ее лишениями и бомбежками, оставшись единственным обитателем этого, очень заметного с воздуха, дома в центре Лондона. Если не считать его поездки в Америку в 1940 году — тоже далеко не безопасной, — он, пока шла война, так его и не покинул, отказываясь даже спускаться в подвал во время бомбежек.

Мура жила неподалеку, но порой уезжала из Лондона, чтобы отоспаться после ночных воздушных тревог.

Уэллс кончал свои дни, месяц от месяца и год от года все более погружаясь во мрак. Все чаще и чаще он возвращался мыслью к вопросу о месте человека в природе и выводы делал самые неутешительные. Новая война, казалось ему, опровергла устоявшееся мнение, что человек — разумное существо. «В качестве нации мы сейчас представляем собой толпу ничему не способных научиться олухов, воюющих против сеющего заразу психопата и его жертв», — писал он Шоу.

В 1942 году у него был первый легкий удар, и, оправившись от него, он придумал себе эпитафию: «Я вас предупредил, так будьте вы все прокляты».

Он теперь редко выходил из дому — разве что посидеть на лавочке и погреться на солнышке в Риджент-парке. Но потом и туда перестал ходить — подниматься на холм было трудно.

В 1944 году у него обнаружился цистит печени. После этого Уэллс перестал подходить к телефону. Он велел домашним отвечать: «Уэллс подойти не может. Он занят. Он умирает».

Но он продолжал работать. В 1945 году вышел в свет его небольшой трактат «Разум у предела». В нем старый писатель

подводил итог своим размышлениям о жизни. Они были не-радостны. Человеческий разум, писал Уэллс, не сумел восторжествовать над силами, угрожающими существованию человечества. Возможности человека исчерпаны. Оптимисту остается надеяться лишь на то, что теперешнего человека сменит новое, лучшее, чем он, существо. Уэллс не приводил доказательств. Он просто пророчествовал. Его книга была воплем отчаянья человека, отдавшего жизнь борьбе за «утопию во всемирном масштабе» — за мир без войн и несправедливости, но так и не дождавшегося исполнения своей мечты.

Уэллса лечил лейб-медик лорд Хордер. Однажды, спустившись из его спальни, он сказал домашним, что пациент приговорен. Ему осталось, может быть, всего несколько месяцев жизни. Марджори, которая по-прежнему вела у него хозяйство, и Мария Игнатьевна решили Уэллсу этого не говорить. Но Джип, помнивший, как достойно встретила смерть его мать, возмутился. Он заявил, что это — неуважение к его отцу: тот все должен знать. И сам ему все сказал. Однако Уэллс не проявил мужества, какое выказала Джейн. Он впал в тоску. Мура теперь проводила у него все свободное время. Он радовался ей, когда ее узнавал. Но в минуты просветления к нему возвращалась привычка быть в центре происходящих событий. У него очень ослабело зрение, он не мог больше читать, но приходил Мозм и читал ему вслух газеты.

24 мая 1945 года «Дейли уоркер» опубликовала письмо Уэллса:

«Я являюсь избирателем лондонского круга Мерилебон и активно поддерживаю возродившуюся коммунистическую партию. Я собираюсь голосовать за нее.

Между тем, когда бы я ни пришел в районный комитет социалистической партии, он всегда закрыт и на дверях висят приглашения на вечер виста и другие неуместные объявления в этом же роде. И это сейчас, когда надо будоражить избирателей, бросать призывные лозунги.

Что случилось? Неужели консерваторы, стремящиеся разобщить левых, заручились поддержкой профессиональных раскольников, действующих в их интересах?

Мне известно, что сейчас людям исподволь внушают, что следующая война будет войной Англии и Америки против России. Вся эта кампания ведется слишком одинаковыми методами, чтобы не быть подготовленной заранее».

Выборы 1945 года были первыми после войны, и Уэллс, с помощью близких, оделся по-праздничному и отправился на избирательный участок. К своему огорчению, он обнаружил, что коммунисты не выставили кандидата по этому избирательному округу. Он проголосовал за лейбористов.

Люди, прочитавшие письмо Уэллса в «Дейли уоркер», не могли не вспомнить конца его последнего романа: сын Тьюлера уходил к рабочим.

Уэллс умер 13 августа 1946 года, не дожив чуть больше месяца до своего восьмидесятилетия. Шестнадцатого его кремировали. Джон Бойнтон Пристли произнес над его гробом речь о «великом провидце нашего времени». Почти за двадцать лет до этого молодой поэт и критик Пристли, не успевший еще написать ни своего первого романа, ни своих первых пьес, посвятил несколько страниц только что успевшему отпраздновать свое шестидесятилетие Уэллсу, где говорилось о нем как о человеке, учившем людей ничего не принимать на веру и все время задавать вопросы жизни. Его фантастику он относил к лучшему, что когда-либо было написано в этом роде, «Человека-невидимку» и «Страну слепых» — к абсолютным шедеврам. «Тоно-Бенге» называл эпосом, а из других его вещей выше всего ставил «Киппса» и «Мистера Полли». И при этом замечал, что, кто такой на самом деле Уэллс, сказать невозможно. Слишком он многосторонен.

Потом Пристли выступал на семидесятилетии Уэллса, а еще три десятилетия спустя председательствовал и выступал на торжественном заседании ПЕН-клуба, посвященном столетию со дня рождения «Великого англичанина», как теперь называли Уэллса.

После кремации сыновья Уэллса забрали урну с его прахом и немного спустя, исполняя его волю, рассыпали его с острова Уайт по волнам Ла-Манша.

С того самого дня люди продолжают задаваться все тем же вопросом — кто был Уэллс?

И самый общий ответ на этот вопрос является вместе с тем самым верным.

Он был великим англичанином.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>П. Париндер. Уэллс в сегодняшнем мире (Перевод Б. Ю. Кагарлицкого)</i>	5
«Всякий человек»	8
Предыстория	13
НАЧАЛО	29
1	
Первые попытки сделать из него человека	30
2	
Берти сам задумывается о своей судьбе	39
3	
«Мистер Уэллс»	52
4	
И снова просто Герберт Уэллс	59
ИНТЕРМЕДИЯ	83
1	
с очень дурным началом	84
2	
...с продолжением, которое должно порадовать всех, кто хоть немного успел привязаться к нашему, не лишенному недостатков, но не такому уж плохому герою	89
3	
...с отступлением, которое, впрочем, вправе опустить всякий, кто не любит рассказов Уэллса	110
4	
...и со счастливым концом	126
СЕРЕДИНА	137
1	
О чем же он все-таки писал	138
2	
Пророк в своем отечестве	200
3	
Страшная буря в большом стакане воды	242
4	
Война и после войны	287
5	
В это же время и позже	320
6	
Тридцатые годы	330
КОНЕЦ	343

Кагарлицкий Ю. И.

К12 Вглядываясь в грядущее: Книга о Герберте Уэллсе / Предисл. П. Париндера. Рис. А. Бегака. — М.: Книга, 1989. — (Писатели о писателях)

Что мы знаем о Герберте Уэллсе? В общем, очень мало. Хотя зачитывались его фантастикой, наверно, все. И вот впервые нам представил Уэллса — писателя и человека — знаток его творчества, вице-президент Уэллсовского общества, известный литературовед и театровед Ю. И. Кагарлицкий. Он воскрешает эпоху, ее живые типы. Перед нами проходят отец и мать Уэллса, его учителя в науке, его друзья и противники. Его порывы, увлечения, заблуждения, не всегда удачные шаги в политике. И главное — его романы, всемирно известные и менее знакомые нашему читателю. Особая тема — Уэллс и Россия, три его поездки в нашу страну.

Для широких кругов читателей.

К 4702010201-005
002(01)-89 24-89

ББК 84Р7-4

Юлий Иосифович Кагарлицкий

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ГРЯДУЩЕЕ

Книга о Герберте Уэллсе

Зав. редакцией Т. В. Громова
Редактор Э. Б. Кузьмина
Художественный редактор Т. В. Добер
Технический редактор И. С. Вититина
Корректор Э. В. Ежова

ИБ № 1557

Сдано в набор 22.12.87

Подписано в печать 05.08.88.

А 13322

Формат 60 X 90/16

Бумага офсетная № 1

Гарнитура Т. Таймс.

Печать офсет.

Усл. печ. л. 22. Усл. кр.-отг. 44,25.

Уч.-изд. л. 24,21

Тираж 200 000 (2-й завод 80 001—
200 000) экз.

Изд. № 4492. Зак. № 1324.

Цена в колленкоре 2 р. 10 к., в бум-
виниле 1 р. 90 к.

Издательство «Книга»

125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союз-
полиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли,
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.